95 коп.

1.4

Индекс 73276



«Нева», 1988, № 5, 1—208

НЕВА 5 1988

ISSN 0130-741X

НЕВА

5 | 1988



НЕВА

Выходит
с апреля
1955
года

5 | 1988

Ежемесячный
литературно-
художественный
и общественно-
политический
иллюстрированный
журнал

Орган
Союза
писателей
РСФСР
и Ленинградской
писательской
организации



Ленинград.
Издательство
„Художественная
литература."
Ленинградское
отделение

Содержание

В номере вклейки: «Молодой живописец Галина ПЕРОВА» и «Фотолетопись „Невы“. В старом Петербурге».

На обложке: гравюра А. УШИНА «Над Невой».



Герман ГОППЕ

⊡ ⊡ ⊡

А правда смягчается
даже честнейшей строкой.
И хочешь — не хочешь —
война все равно приукрашена.
Ты словно в санбате.
И память глядит медсестрой.
И шепчет тебе,
что окончилось самое страшное.

⊡ ⊡ ⊡

Ах, суд потомков!
Он, понятно, прав.
Суд с высоты, чтоб в мелочах не мешкать,
Где в том числе и я,
к земле припав,
Судьбу свою прикинул в перебежке.

Любой ценой — докатится приказ
С высот дивизионных по ступеням,
Чтоб неизбежно упереться в нас.
Не сможем мы,— остаток роты сменят.

Две высоты.
До каждой далеко:
Что до потомков, что и до комдива.
А меж высот — высотка за рекой.
Возьмем ее —
и судьи будут живы.

⊡ ⊡ ⊡

Где там сложность нынешних времен.
В детстве чудо сотворялось проще:
Дважды в год, как в сказку погружен,
Я на танке выезжал на площадь.

Счастьем переполненный малец
Чувствовал — оно несокрушимо:
Ведь не кто-нибудь, а мой отец
Вел в колонне первую машину.

Вел танкостроитель, не танкист,—
В праздник получал такое право.
Зеленел над нами майский лист,
А потом ноябрьский в небе плавал.

И под нами колыхался мир,
В такт ему машина колебалась.
Кто я был? Считайте,— пассажир.
Как отцу такое удавалось?

Не узнать и не спросить теперь.
Мой отец в числе «врагов народа»
В долгом списке горестных потерь.
До потерь военных за два года.

Но когда ковал броню Урал,
Маршалы решали —
где нужнее,
Мой отец посмертно помогал
Тем фронтам, которые южнее.

Детство — в танках.
Юность — пешеход
В обделенной танками пехоте.
Там, где танк не сможет, не пройдет,
Объясняли,— вы должны, пройдете.

Как прошли?
Прошли в конце концов.
Спрашивать не надо, сделай милость...

Сколько лет за памятью отцов
Робкая плетется справедливость.

◘ ◘ ◘

Да, верой жили.
Да еще какой!
Ее убить пытались, не убили.
Она травой взрывалась на могиле,
Но возвращалась в поредевший строй.

Да, верой жили.
И она слепой,
Как говорят, была.
Не замечали.
Не замечали, черт возьми, в начале,
А за началом начинался бой.

Да, верой жили.
И не нам с тобой,
Носившим беспросветные погоны,
Теперь причины зная поименно,
Мудрее быть, чем были в жизни той.

Мы все равно виновны.
По вине
Не гнули нве солдатские котомки.
За вашу зоркость,
мудрые потомки,
Мы заплатили полною ценой.

◘ ◘ ◘

Все имеет конец и начало.
Очевидность своей простотой
Ничегошеньки не означала,
Легким птенчиком отлетала,
Только к старости стала ручной.

Тяжелеет.
И в мудрости мнимой
Дни считает уже, не года.

Нет, чтоб так же неуловимо
Пролетела, как в юности мимо,
Не оставив на сердце следа.

Только все еще, видимо, туго
Очевидности я признаю.
Отвлекаюсь: на ветке упругой
До чего же бесстрашно пичуга
Ладит первую песню свою.

Виктор КУРОЧКИН

Записки народного судьи Семена Бузыкина

В повести «Записки народного судьи Семена Бузыкина» Виктор Курочкин использовал собственный опыт. С 1949-го по 1951 год он был народным судьей в поселке Угоргош Новгородской области. Хронологические рамки повести четко определены именно этим временем, хотя писалась она в 1962 году — когда писательская рука Курочкина уже окрепла.

В «Записках...» нет ни сенсационных разоблачений, ни ниспровержения дутых авторитетов, повествование построено на фактах и событиях, казалось бы, очевидных каждому, почти обыденных. Сегодня не вдруг поймешь, отчего повесть пролежала в столе у писателя 25 лет, в чем усматривали крамолу.

Эпиграфом к повести, да, пожалуй, и ко всей жизни ее создателя, могли бы стать слова В. И. Ленина: «Первая обязанность тех, кто хочет искать „путей к человеческому счастью" — не морочить самих себя, иметь смелость признать откровенно то, что есть» (Полн. собр. соч., т. 1, стр. 407).

Писатель Курочкин, возможно, не знал этих слов Ильича, но всегда поступал именно так: не морочил ни себя, ни читателя, имел смелость откровенно признавать то, что есть.

Смелость Курочкина — не просто врожденное качество его личности, она воспитана судьбой. Он пережил блокаду, а ленинградцы, как известно, в осаде не только перемогали голод, но и на пределе человеческих возможностей трудились во имя Победы. Семнадцатилетним парнишкой будущий писатель на заводе швейных машинок с домашне-уютным названием «Игла» обтачивал артиллерийские снаряды. Затем, переменив не одну «самоходку», с двумя перерывами по ранению, прошел в боях от Курской дуги до Берлина.

А вот умение видеть в известном сокрытое, чутко слышать дыхание времени, пользоваться словом как живительным веществом — это дар природы.

Этот дар, в сочетании с отличным знанием существа дела и высоко развитым, пролитой кровью оплаченным чувством личной ответственности за судьбы Родины, по мнению тех, кто читал повесть в рукописи, позволил писателю создать произведение остросоциальное, значительное по проблематике и художественно убедительное.

К сожалению, автор не дождался выхода в свет «Записок народного судьи Семена Бузыкина» в том виде, в каком он их создал. Предпринятая в середине 70-х годов журналом «Аврора» публикация отдельных фрагментов повести лишь огорчила писателя, ибо в них утратился социальный заряд произведения.

В 50-е — начале 60-х годов Виктор Курочкин был постоянным автором журнала «Нева» и свое многострадальное произведение рассчитывал увидеть на его страницах. Он был убежден, что повесть «Записки народного судьи Семена Бузыкина» дождется своего часа и явится не только правдивым свидетельством прошлого, но и послужит будущему.

Г. НЕСТЕРОВА-КУРОЧКИНА

УЗОР

Поселок Узор вытянулся вдоль шоссе от моста через речку Каменку до конторы «Заготсырье». Каменка потому так и называется, что в реке больше камней, чем воды, а летом ее куры вброд переходят. На обрывистом берегу в березовой рощице — больница. За конторой «Заготсырье» — пастбище, поросшее мелким ольшаником, выбитая копытами животных земля напоминает свежее пожарище. А вокруг топкое непроходимое болото.

Поселок пересекает железная дорога. Местный старожил, старик еще бодрый, но глухой, как пень, рассказывал мне так: «Утопул бы Узор в болотах, кабы не могутная воля барчука Парнова. Закупал он во всей округе скот и торговал мясом, а в Узоре свою бойню держал. Страшный богач был. Подпоил начальство, и сделали здесь станцию. Не быть бы тут Узору: его место в городищах, верст за пять отселева. Потому как там место лобное, весной и осенью сухое».

Раньше поселок Узор являлся районным центром. Это было в те времена, когда Дом колхозника битком заселяли уполномоченные и заготовители всевозможного рода. Здесь годами проживали уполминзаги и по мясу, и по зерну, и по молоку, по овощам, по картофелю, по сену, лесу — всех теперь не перечтешь; но хорошо помню, что одно время там околачивался уполномоченный по ликвидации яловости скота. Но и это не все. Периодически район бурным потоком наполняли представители областных организаций. Это были «кампанейские» ребята. Потому что появлялись они на период посевной и уборочной кампаний... И тогда не хватало коек в «гостинице». Они ютились где попало. У меня в суде, на холодном кожаном диванчике, частенько ночевал третий секретарь обкома партии Мареев — умный, добрый и общительный человек, который не гнушался ни откровенными разговорами, ни скромным гостеприимством.

Говорят, когда-то Узор насчитывал до полутысячи домов. После войны и сотни не осталось бревенчатых домиков с жидкими палисадниками под окнами; стоят еще два десятка кирпичных коробок с темными мрачными глазницами вместо окон.

Здание райисполкома — самое солидное и богатое в поселке: двухэтажное, с балконом и колоннами у входа. В насмешку над местной природой архитектор залепил карнизы тучными кистями винограда. Дом райкома партии тоже каменный и двухэтажный. Но здесь архитектор показал свое полное пренебрежение к излишествам и красотам. Поставил огромный серый ящик с тремя десятками окон, а под карнизами вырубил две круглые слуховые дыры и от них во все стороны пустил стрелы.

Первое, что я увидел из вагона поезда, сразу за переездом — триумфальную арку, увитую рыжей хвоей. В сильный ветер арка качалась и угрожающе скрипела. Полгода обходил ее районный прокурор. Потом позвонил начальнику милиции. Начальник милиции — пожарному инспектору. После этого я видел, как арку два пожарника около столовой раскатили на дрова.

Моя резиденция — приземистое, неуютное, как сарай, здание с вывеской «Народный суд» — оказалась по соседству с конторой «Заготсырье», на самой окраине поселка. Зимой его нередко чуть ли не до крыши заносило снегом. Моя уборщица и сторож Манюня широкой деревянной лопатой весь день разгребала тропинку от крыльца до шоссейки; иногда ей помогали истцы с ответчиками, и мне всегда казалось — не без тайного умысла.

Жил я у Василисы Тимофеевны Косых. Весь свой дом с комнатками и комнатушками она сдавала внаем. Сама же ютилась на кухне. Однако квартиранты у нее долго не задерживались. Снимал я у нее узкую, темную, как печная труба, комнатушку с одним окном. До меня в ней жил агроном сельхозотдела. По уверениям хозяйки, «беспробудный пьяница, бабник, сожрал три связки луку и, не заплатив, съехал с фатеры».

Я знал агронома. Застенчивый человек, трезвенник, большой труженик и неудачник, он никак не мог оправдаться перед Косихой. Правда, лук он ел с какой-то непонятной жадностью и пропах им насквозь, как баранья котлета.

Меня хозяйка терпела и соседкам говорила: «Удобный квартирант — платит хорошо, обходительный, не путаник, а ведь совсем холостой, только табакур. Накурит, так накурит, хоть из дома беги». И все удивлялись. Удивлялся и я, но не долго. Зимой на каникулы с бухгалтерских курсов приехала ее дочь Симочка. Взглянул я на нее и сомненье взяло: да дочь ли она Косихи? Так они не походили друг на друга. Мать напоминала почерневшую, но еще крепкую доску. Симочка была воплощением мягкости и круглости. На ее белом пухлом, с легким румянцем лице, словно огромные изюмины, торчали изумленные глаза.

Вечером она зашла ко мне как к старому знакомому. Развязность иных женщин, порою граничащая с наглым вызовом, меня теперь не удивляет. Я видывал и не то... Но в поведении Симочки все было так просто, непринужденно, доверчиво и красиво, что мне стало отрадно, словно я ее ждал, и ждал давно, с нетерпением и трепетом. Не помню, чем я тогда был занят — не то читал, не то писал, в общем, как-то разумно бездельничал. Симочка подвинула стул, села, положив на кромку стола упругие, как мячи, груди, и стала смотреть мне в лицо с пристальной серьезностью. Я тоже не мигая смотрел на нее, как зачарованный. Ее розовое, теплое лицо было очень серьезно, Симочка старалась серьезничать. И это ей удавалось, но с большим трудом. Нижняя губка у нее дрожала, а в зрачках этих странных глаз то вспыхивали, то гасли радужные искры. Подобную световую игру глаз я наблюдал в темноте у кошек. Так мы смотрели друг на друга минуту, две, а мне показалось — целую вечность.

— И не страшно вам? — не опуская глаз, спросила Симочка и, помолчав, пояснила, почему это страшно: — Вы засудите человека, его посадят в тюрьму. А потом он отсидит там свой срок, вернется домой и убьет вас.

Я смолчал. Ну что я мог ответить на ее доводы? Она же, приняв мое молчание за полное согласие с ней, стала меня наставительно поучать:

— Вы не очень строго судите людей. Конечно, больших преступников можно и построже. А простых надо жалеть. Потому что преступление они делают не по желанию, а по нужде и глупости...

Я плохо слушал ее наставления. Я думал о том, что вот Симочка поговорит и уйдет. А мне этого не хотелось... Я мучался и гадал: уйдет или не уйдет? А то, что за стенкой ее мать скребет песком пузатый тульский самовар, меня тогда ничуть не смущало.

«Неужели уйдет?» — с тоской думал я. Мои опасения и муки Симочка решила неожиданно просто и разумно. Она пригласила меня в кино... На другой день мы опять ходили в кино, на третий — тоже, и все на одну картину.

Хозяйка усилила ко мне внимание. Появились жертвы. Первым потерял голову петух, за ним Васюта вытряхнула из шубы годовалого барана. Теперь Симочка появлялась в моей комнате в халате, непричесанная, и командовала мне: «Подъем!» Породнился бы я, наверное, с Васютой Тимофеевной, но внезапно кончились каникулы. Я заметил, что Симочка забыла о своих курсах. Я же холодно и трезво стал убеждать ее временно все это оставить и закончить учебу. Она слушала меня внимательно с широко раскрытыми удивленными глазами. Только теперь в них не играли огни. Они были влажными, лиловыми и преданными, как у побитой собаки. Симочка согласилась со мной и, тяжко вздохнув, сказала:

— Ах, Семен, Семен, зачем?

Через день она уехала и увезла с собой и свет, и тепло, и уют. В моей комнатушке стало скучно, пусто и холодно, как осенью в остывшем овине...

Я очень тоскую по Симочке. Ее тихий грустный упрек: «Ах, Семен, Семен, зачем?» стал тревожным криком моей души. Чтоб забыться, не слышать его, опять пишу свой дневник, который я с радостью забросил при Симочке...

(Мои откровения, вместо предисловия)

...Я тоже родился... Желали того мои папа с мамой или не желали, или это было просто случайно, но я все-таки появился на свет и выжил. А когда стал судьей, то познал, что не всегда родители желают, чтобы дети рождались.

До семи лет я ходил без штанов и считался чудо-ребенком. Но когда мне надели портки, а через плечо повесили сумку с букварем, то родители увидели, что их чадо не такое уж и чудо. А когда я натянул батькины брюки, сказали: «Поскорей бы его в армию взяли да дурь выбили». Наконец, с помощью ротного старшины я влез в тиковые солдатские штаны и из меня начали выбивать дурь. Долго и старательно, словно пыль из тюфяка, выбивали из меня эту дурь, потом торжественно объявили, что теперь я могу с гордостью носить синие диагоналевые с малиновым кантом офицерские шаровары.

Как ни близоруко было начальство, но и оно в конце концов разобралось, что, хотя дури-то во мне несколько поубавилось, однако ума не прибавилось. И вот в синих диагоналевых шароварах меня выпустили на «гражданку». Два года я щеголял в них, мечтая о шевиотовых брюках. Кем я только не был: и счетоводом-контролером, агентом, воспитателем, артистом, затейником, торговал гвоздями, ловил камсу, морил клопов и травил крыс, но нигде не проявил таланта и не заработал на новые брюки. За это время мои диагоналевые штаны отшлифовались до совершенного лоска, и ветер в них разгуливал, как в осеннем шалаше... И тогда-то меня осенило: «А не пойти ли мне в юристы?!» И я пошел, и долго шел, и не был легок мой путь, но все-таки я дошел.

На мне добротные суконные брюки, но я надеюсь сменить их на габардиновые.

КАК МЕНЯ ВЫБИРАЛИ

Неужели я кандидат в народные судьи?! Даже не верится. Вторую неделю живу в Узоре, разъезжаю по району и знакомлюсь со своими избирателями. После шумного суетливого города мне положительно повезло. Меня пугали, что Узор — глубокая яма. Луж и канав много, но ямы я не видал, наверное, ее нарочно засыпали к моему приезду. Почему я так думаю? Потому что меня здесь любят, уважают и, кажется, радуются, что я у них буду судьей. Все смотрят на меня с улыбкой и величают Семеном Кузьмичем.

Вчера какой-то незнакомый седенький старичок до слез меня растрогал. Я шел из столовой, а он — мне навстречу. Снял шапку, низко поклонился, долго стоял без шапки и все смотрел мне вслед. Мне было как-то неудобно и в то же время жутко приятно.

Мне все здесь нравится, все. Домики маленькие, аккуратные, и вечером в них приветливо, заманчиво горят огни. Представляю себе, как там тепло и уютно. Я живу в «гостинице», там тесновато, но клопы не тревожат, и белье чистое. Правда, когда прямо с улицы зайдешь в свой двенадцатикоечный номер, тяжеленько смердит, но я ловко научился принюхиваться. Надо зажать нос и дышать ртом часто-часто, потом потихоньку по очереди отпускать ноздри.

А какой здесь народ! Я объездил почти все колхозы, и везде меня с почетом встречали, во всем старались угождать и хвалить. И не как-нибудь там за глаза, а при всех, публично. Выходит человек на трибуну или просто к столу и говорит, какой я умный, образованный, преданный сын... Откуда это они все про меня знают? Они же в первый раз меня видят. Удивительно прозорливые и умные в Узоре люди.

Первый секретарь райкома лично сам пригласил меня в свой кабинет и, как с равным, серьезно, по-деловому, полчаса беседовал о трудностях и задачах, стоящих перед нами на данном историческом этапе, и о том, что предстоит сделать, чтобы вытащить район из отстающих в передовые, и какая роль отводится в этом важном деле народному суду. Я заметил, что суд ни от кого не зависит и подчиняется только закону. Первый секретарь сказал: «Правильно. Но нельзя забывать партию. Она — основная руководящая и направляющая сила в стране». Я сказал, что это очень хорошо знаю и помню, потому что по основам марксизма в юридической школе у меня были круглые пятерки. Это очень обрадовало секретаря, и он пообещал назначить меня руководителем кружка по изучению краткой биографии Сталина в каком-нибудь отдаленном колхозе. Я поблагодарил за доверие, а сам про себя подумал: «Черт меня дернул за язык хвастаться пятерками». В общем, первый секретарь — умный и добрый человек. Мы расстались друзьями, дав друг другу слово работать в тесном контакте.

Однако есть и такие, повторяю, таких очень мало, что смотрят на меня прищуренным глазом... Вот, например, председатель райисполкома. Человек он, конечно, положительный, но уж слишком прямолинеен и резок. Когда я пришел к нему и представился, он долго и пытливо разглядывал меня, словно заморскую диковину, и, наглядевшись вдоволь, ехидно спросил:

— А усы зачем? Для солидности? Сбрей. Не усы, а какая-то грязь под носом.

Я молчал, а он, не стесняясь, говорил обидные слова да еще жалел меня при этом.

— Молод ты еще, ох как молод. Жаль мне тебя... Поэтому хочу дать три напутственные заповеди. Они слишком примитивны, но если ты за них будешь держаться, то, может быть, просидишь свои три года до следующих выборов. Первая заповедь — не бери взяток, вторая — не залезай в государственный карман и третья — не лапай девок, с которыми будешь работать.

Это уже было слишком. Разве я не знал моральный кодекс судьи? Но я не в силах был вымолвить ни слова и сидел, согнув голову, униженный и побитый. Сергей Яковлевич подошел ко мне, взлохматил волосы.

— То, что я тебе сказал, пусть останется между нами. Никому ни слова. Понял? Никому... А если тебе потребуется от меня помощь, помогу.

С какой благодарностью я пожал его цепкую и жесткую, как щепка, руку! Так искренне и крепко я еще никому в жизни не пожимал. Я думаю так, что порядочность в человеке ценнее доброты...

Инструктору райкома Ольге Андреевне Чекулаевой, вероятно, лет двадцать пять. Она высока, полновесна, остра на язык и даже красива. Но красота у нее не своя — краденая. К ее сильной ловкой фигуре с сочным голосом ну никак не пристало тонкое, нежное лицо хрупкой белокурой девушки. И чем меньше я стараюсь на нее смотреть, тем больше она насмехается надо мной и язвит. Я все терплю. А что мне остается делать? От нее зависит моя судьба. Я отдан ей в руки на весь период предвыборной кампании. Она развозит меня по району на показ избирателям и расхваливает. А когда остаемся одни, с глазу на глаз, говорит мне, что я кот в мешке, которого навязали ей возить и расхваливать.

Сегодня была моя последняя встреча, с избирателями льнозавода. Как и все предыдущие, она прошла в теплой дружеской обстановке, если не считать одного маленького недоразумения.

Собрание шло серьезно, по-деловому, все выступающие говорили про меня правильно и хорошо, а одна старушка даже перестаралась. Ее никто не просил выступать, она сама вылезла к трибуне, занвила жалобным голосом:

— Давайте выберем его в судьи. Парнишка он молоденький. Жить ему тоже хочется,— и заплакала. А все, кто был в зале, покатились со смеху. Одна только не смеялась Ольга Андреевна. Положив мне на колено руку, она сказала, чтобы я не волновался, потому как старуха выжила из ума. А я и не волновался, мне стало очень грустно.

Вот я сижу, пишу, вижу эту плачущую старушку и думаю: «Эх, Семен, Семен, зачем?..»

Я избран почти единогласно. Против меня был всего лишь один голос. И скажу вам по секрету: этот голос мой!

КАК Я СЛУШАЛ ПЕРВОЕ ДЕЛО

Итак, я — народный судья. С нарочитой ленивой солидностью и взволнованный до холодного пота, сажусь за длинный с зеленым сукном стол слушать первое дело. По бокам усаживаются мои заседатели. Солидно кашляю и глухим утробным голосом объявляю, что слушается дело по иску гражданина Сухореброва к гражданину Семенову о возврате собаки, и с трудом отрываю глаза от серой папки. Прямо передо мной сидит плотный, черный, косматый, как цыган, ответчик Семенов и, сжав коленями, держит черненькую, с белыми лапками лайку. Человек и собака не отрываясь смотрят на меня. Только глаза у человека какие-то ошалелые, а у собаки — веселые.

— Истец Сухоребров здесь? — спрашиваю я.

На последней скамье подпрыгивает маленький, в новом дубленом полушубке, мужичок и, как рыба, глотнув воздух, торопливо шпарит:

— Моя собака, гражданин судья. Ей-богу, моя. Кого хошь в деревне спроси, моя.

— Погодите,— останавливаю его.— Вы поддерживаете иск?

Сухоребров ежится и удивленно раскрывает рот.

— Поддерживаете вы иск? — повторяю вопрос, обязательный по процессуальному кодексу.

Сухоребров молчит и вид у него жалостный, испуганный. Бедняга не понимает, что такое поддерживать иск. А когда я ему объясняю, что это есть то же самое, что требовать возврата собаки, он обрадованно кивает головой.

— Моя собака. Ей-богу, моя. Кого хошь спроси в деревне.

— Семенов, признаете иск? — обращаюсь к ответчику.

Семенов неуклюже встает и, глядя из-под нависших бровей, сипит:

— Брешет он, гражданин судья. Собака моя. У цыган купил за двести целковых.

Вызываю к столу свидетелей, беру с них подписку об ответственности за ложные показания. Для пущей объективности удаляю их из зала в холодные сени и начинаю следствие.

С первого же дня я убеждаюсь, что в суде даже разумный человек внезапно глупеет, теряет способность понимать и думать.

Допрашиваю Сухореброва. Он удивительный болтун и бестолочь... Слова сыплет, как горох из мешка... Долго роюсь в этой бессмысленной словесной каше и, наконец, выясняю, что три года назад у Сухореброва была собачонка, по его выражению, «тютелька в тютельку, как эта лайка», а потом пропала. Сухоребров о ней, конечно, никогда бы и не вспомнил, собака ему была совершенно не нужна. Когда соседский мальчонка Васятка Морозов сказал ему, что видел эту собаку в деревне Рыдалиха у охотника Нила Семенова, Сухоребров, махнув рукой, сказал: «А на кой лях она мне нужна. Только хлеб даром жрет». Потом до Сухореброва дошел слух, что эта собачонка оказалась счастливой добытчицей. Только за один год Нил добыл с ней несметное количество белок, куниц и перебил всех глухарей в округе. Эта весть, как ножом, полоснула сердце Сухореброва, и он решил во что бы то ни стало отобрать у Нила Семенова свою собаку.

Из ответчика Семенова выжать ничего невозможно, на все вопросы он отвечает одним словом: «брешуть». У его ног, завернув кренделем хвост и навострив уши, лежит «удачливая добытчица» и, зевая, повизгивает. Спрашиваю охотника, правда ли, что собака — необыкновенная добытчица, он, ухмыляясь, мотает головой:

— Да брешуть, гражданин судья.

Это меня настораживает. В ответе Семенова я улавливаю недобросовестность. Мелькает мысль, что, вероятно, цыгане стащили собаку у Сухореброва и продали Семенову. Я ухватываюсь за эту версию и пытаюсь выяснить, где и когда была куплена Семеновым лайка. Но это мне оказывается не под силу. Ответчик твердит одно и то же: «брешуть». А Сухоребров внезапно все забывает, даже кличку своей собаки.

Допрос же свидетелей окончательно все запутал. Их показания были так противоречивы и нелепы, что в этот день я еще сделал одно открытие: нигде и никто так не врет, как свидетель в суде.

А несовершеннолетний свидетель Васятка Морозов насмешил меня, растрогал, вогнал в пот. Мне представлялся Васятка озорным веснушчатым курносым мальчонкой. И я был очень удивлен, когда около стола появился белобрысый верзила в огромной лохматой шапке из заячьей шкурки.

— А шапку-то перед судом надо снимать,— заметил я.

Васька стащил с головы шапку, подержал в одной руке, потом в другой, спрятал за спину.

— Сколько же вам лет?

Васька мгновенно нахлобучил шапку на голову, но, опомнившись, опять поспешно снял ее, зажал в руках и растерянно замигал. Я повторил вопрос. Васька уронил свою шапку, торопливо схватил и спрятал за спину. Я понял, что все внимание у свидетеля сосредоточено на шапке, она мешает ему не только думать, но даже мало-мальски соображать. Я приказал Ваське положить шапку на скамейку. Но это не привело к лучшему. Без шапки он совсем растерялся и, растопырив руки, как затравленный зверек, смотрел на меня ошалелыми от страха глазами.

— Василий Морозов, сколько вам лет? — в третий раз спросил я.

Васька глотнул воздух и выпалил:

— Не знаю...— и, испугавшись своего голоса, густо покраснел и поддернул ладонью нос.

— Как же ты не знаешь, сколько тебе лет?

Теперь у Васьки покраснели шея и уши, и он, набычившись, буркнул:

— Сколько нам лет, не знаю. А мне шашнадцатый.

Я понял, что говорить с Васькой на «вы» — только зря терять время.

— Ты знаешь эту собаку?

Свидетель радостно кивнул головой.

— Чья же она?

— Дяди-Петина.

— Какого?

— Да вот этого,— и Васька ткнул пальцем в сторону Сухореброва.

— Почему ты так утверждаешь?

— Не знаю.

— Фу ты, черт возьми,— прошептал я и почувствовал, что меня начинает трясти, но сдержал себя и спросил, как можно мягче:

— Вы раньше видали ее у Сухореброва?

— Видали.

— Кто «видали»?

— Да я.

— Так бы и говорил, что видал,— процедил я сквозь зубы, злясь не столько на свидетеля, сколько на себя, на свои вопросы, на свое неумение вести допрос.

— Когда ты ее видел?

— Давно,— ответил Васька и от себя добавил: — Я тогда еще с ней играл.

Это проливало кое-какой свет, и я обеими руками ухватился за наивное Васькино признание.

— Как же ты с ней играл?

Васька широко и глупо заулыбался.

— Положу на спину и давай брюхо щекотать, а она визжит и кусается.

— А как звали собаку?

— Альма.

С таким же вопросом я обратился к ответчику.

— Брешет он, гражданин судья. Пальмой кличут мою собаку,— ответил Семенов.

Я опять принялся пытать Ваську.

— Как же пропала у Сухореброва собака?

— Волки сожрали.

— Откуда ты это знаешь?

— Да дядя Петя сказывал.

То, что собаку Сухореброва волки сожрали, подтвердили все свидетели.

— А может быть, ее цыгане увели, а потом продали Семенову? — осторожно спросил я Ваську.

Он охотно подтвердил мою версию, сказав, что цыгане — ужасные воры и хапают все, что попадет под руку.

Теперь оставалось выяснить, чья же, в конце концов, собака у ответчика.

— Вася,— спросил я, указывая на лайку, которая, сощурив глаза и высунув язык, лежала под лавкой,— это та собака или не та?

Васька пристально посмотрел на лайку и пожал плечами.

— Кажись, та.

— Ты говори прямо, та или не та? — строго приказал я.

Васька опять посмотрел на собаку и опустил голову.

— Не знаю.

— Почему? Ведь ты же играл с ней?

Васька молчал.

— Отвечай, какие были особые приметы у дяди-Петиной собаки?

Васька молчал, как глухонемой.

— Отвечай, что было у собаки, с которой играл,— сквозь зубы процедил я.

— Хвост,— прошептал Васька.

— Хвост есть у всех собак. Ты мне назови особые приметы, которые бы отличали один индивидуум от другого. Ну что еще было у той собаки?

Васька каким-то чужим голосом выдавил:

— Уши.

Свидетель меня не понимал. Мы разговаривали с ним на разных языках... Я почувствовал свое полное бессилие и не знал, что делать. К счастью, выручили свидетели. Они просто и легко объяснили Ваське, чего я от него добиваюсь. Он бойко, без запинки пересчитал по пальцам все приметы украденной собаки. Они совпали, как уверял Сухоребров, «тютелька в тютельку» с приметами лайки, кроме одной. Васька уверял, что на груди у той собаки Альмы была белая полоска. Семенов поднял собаку-лайку за передние лапы и показал суду собачий живот с белым пятном.

— Замарал полоску, ей-богу, замарал, гражданин судья,— закричал Сухоребров,— прикажите потереть собаке грудь.

Семенов поплевал на ладонь и принялся ожесточенно тереть лайке живот. Она отчаянно царапалась, визжала и лаяла.

Сухоребров дело проиграл, но не сдавался и потребовал проделать фокус. Он отошел к двери и стал подзывать к себе собачонку. И она подошла, потерлась о его валенки и покорно уселась у ног.

— Пальма, стерва, подь сюда,— дико закричал Семенов, и собака стремглав бросилась к нему, подпрыгнув, лизнула его волосатое лицо и радостно залаяла.

«Вот дрянь»,— зло подумал я и спросил Сухореброва:

— Вы охотник?

— Никак нет, гражданин судья. Мы больше рыбешкой балуемся.

— Так зачем же тебе охотничья собака? Она же тебе совершенно не нужна.

— Знамо дело, не нужна,— согласился Сухоребров.

— Зачем же тогда эту судебную канитель завел?

— Как зачем? — изумился Сухоребров.— Собака моя, ей-богу, моя. Спросите в деревне, и все скажут, моя.

Суд отказал Сухореброву, ссылаясь на то, что нет доказательств, что лайка раньше принадлежала ему. Когда я разъяснял решение суда, Сухоребров согласно кивал головой и поддакивал: «Так, так, понятно, гражданин судья». А потом спросил, как быть теперь с его собакой. Сейчас ее отдаст ему Семенов или он заберет у него с милиционером. Я сказал ему резко и категорически, что собака Семенова, а он на нее никаких прав не имеет. Сухоребров швырнул на пол шапку и пригрозил, что пойдет выше, до Москвы, а животину свою все равно отсудит, и стал настойчиво просить: пока он будет ходить по судам, отобрать у Семенова собаку и наложить на нее арест, чтоб тот ее не продал или нарочно бы не испортил. Это поставило меня в тупик. Требование Сухореброва было законно, но я не знал, как его удовлетворить. Позвонил начальнику милиции и просил помочь мне наложить на лайку арест. Начальник милиции заявил, что у него для арестованных собак нет камер и не положено, и посоветовал оставить временно собаку у хозяина под сохранную расписку до вступления решения суда в законную силу. Но Сухоребров и слушать не хотел о расписке. Этот коротконогий, с лицом скопца, мужичонка, сбросив маску простачка, проявил такую энергию, упорство и знание законов, что я растерялся. Передо мной стоял хитрющий, махровый сутяга, который способен на любую пакость, и я трусливо пошел на уступки. Я предложил истцу с ответчиком найти человека, которому бы они на время доверили на сохранность собаку.

Я ушел к себе в кабинет, закрылся на ключ. Меня бил озноб, болела голова и тошнило. Подмывало желание плюнуть на все это и бежать отсюда не оглядываясь. В дверь постучали. Я открыл и опять увидел их вместе с собакой. Они ввалились в мой кабинет и заявили, что пока они будут тягаться, решили на это время оставить собаку у меня, как у самого надежного в районе человека. Я не знал, что мне делать: плакать или смеяться. Впрочем, мне было все равно, и я, устало махнув рукой, согласился. И они ушли, оставив мне лайку.

— Фу, наконец-то от них отвязался,— облегченно вздохнул я и прилег на диван. Но меня поджидал новый удар. В кабинет вошла секретарь и спросила, как теперь быть с протоколом. Оказывается, она не записала ни одного слова из того, что говорилось в течение трех часов.

— Вы мне не сказали, что надо записывать. А бывший судья всегда мне говорил и допрашивал медленно,— с наивным упреком пояснила она.

«Протокол — зеркало судебного заседания! Значит, все надо начинать снова!» Я схватился за голову и дико захохотал. Секретарь посмотрела на меня, как на сумасшедшего, и выскочила из кабинета.

Всю ночь я сочинял протокол судебного заседания, мучительно припоминая, что говорилось истцом, ответчиком, свидетелями. На диване, свернувшись, лежала Пальма. Она вела себя спокойно: зевала и изредка потихоньку повизгивала, а потом начала скулить. Я отдал Пальме свой ужин: ломоть хлеба с маслом. Она понюхала, отошла к двери и залаяла. Я попытался ее успокоить, но она, подлая, оскалилась... Я распахнул дверь и выгнал Пальму в сени, и сел дописывать протокол. Но так мне и не удалось его дописать. Через пятнадцать минут Пальма начала драть когтями дверь и сотрясать дом оглушительным лаем. Лай я еще, скрипя зубами, терпел, но когда она протяжно завыла, мне стало жутко.

Около печки на гвозде висела веревка, на которой уборщица носила дрова. Я схватил веревку и, дрожа от страха, открыл дверь в сени. Пальма с радостным визгом бросилась ко мне и уткнулась носом в колени. Я торопливо привязал к ее ошейнику веревку, выволок на улицу и привязал к забору. Закрыв дверь на железный засов, я лег на диван, с головой накрылся шубой и заткнул пальцами уши. «Довольно,— сказал я себе решительно,— утром отправлю собаку с милиционером к ее хозяину».

Однако моему благоразумному намерению не суждено было свершиться... Меня разбудил визгливый голос уборщицы Манюни. Она выскребала железной лопатой смерзшийся собачий помет и отчаянно ругалась. Я вспомнил о собаке, быстро оделся и выбежал на улицу... и нашел у забора одну лишь веревку с оборванным концом. Все уверяют, что это дело волков. Ничего нет удивительного, волки здесь до того обнаглели, что по ночам привольно разгуливают по поселку. Я же над этим не задумываюсь. Не все ли равно, кто увел собаку: волки ли, человек ли, а может быть, она сама убежала,— отвечать-то теперь за все придется мне.

УЗОРСКИЕ ЮРИСДИКТЫ

Суд тесно связан с прокурором, милицией и адвокатом. Есть еще МГБ. Эта организация занимает в районе особое положение. Она никому не подчиняется, ни перед кем не отчитывается и никто толком не знает, чем ее люди занимаются. Она полна мрачной тайны. Официально — ведет в районе борьбу с врагами народа и шпионами. Но вот я уже проработал полгода и не встретил ни одного врага, да и вряд ли встречу.

Здешний народ очень добрый и преданный, он готов отдать Родине все, и отдает все, вплоть до последнего зерна с луковицей, а если потребуется, и жизнь. А что касается шпионов, то им здесь делать совершенно нечего, а если бы какой-нибудь захудалый шпионишка и затесался в наш район, то он чувствовал бы себя здесь как дома. Эмгэбэшники — ребята отчаянные и самоуверенные. Метод их работы до примитивности прост: выстукать и выпытать.

Как-то зимой, когда я ужинал в пустой полутемной чайной, ко мне подошел лейтенант в фуражке с синим околышем и пожелал познакомиться с судьей, а по этому случаю и выпить. Я заказал водки, и мы выпили... Разговор не клеился. Лейтенант предложил повторить. Мы еще выпили, и — разумеется — за мой счет. Лейтенант, не стесняясь, распоряжался моим карманом, как собственным, и чем больше выпивал, тем становился развязнее и наглее.

— Слушай, судья,— внезапно переходя с «вы» на «ты», откинувшись на спинку стула, небрежно процедил он сквозь зубы,— о чем вы это шепчетесь по ночам с Шиловым?

Вопрос был до нелепости странным, и я не знал, что и ответить. Он же принял мое смущение за испуг и требовательно постучал по столу вилкой.

— Так зачем же вы ходите к председателю исполкома? Что у вас за такие важные дела?

Я действительно частенько заходил к Сергею Яковлевичу сыграть партию-другую в шахматы. Я хотел было грубо обрезать его, но в голове мелькнула озорная мыслишка: покуражиться над лейтенантом. Я, пожав плечами, небрежно махнул рукой.

— Да так, есть у нас с ним кое-какие делишки.

Лейтенант насторожился, оглянулся назад и, перегнувшись через стол, доверительно зашептал:

— Пожалуйста, не в службу, а в дружбу. Поверьте мне, товарищ Бузыкин, не о нем, а о вас в первую очередь заботимся. Честно, хотим вас оградить от дурного влияния. Скажите, какие вы с ним разговоры разговариваете?

Я по-детски надул губы и, глядя исподлобья, буркнул:

— Скажи вам, а потом меня — к стенке и шлепнете, как муху.

— Честное слово офицера, коммуниста, волоса на твоей голове не тронем,— горячо заверил меня лейтенант.

Я мучительно придумывал, что же ему сказать такое ядреное, глупое, чтобы лейтенанта сшибло с ног. Я поманил лейтенанта пальцем и, когда он подставил к моим губам ухо, рявкнул густым басом на всю столовую:

— Готовим государственный переворот!

Если и не лопнули барабанные перепонки у лейтенанта, то лишь потому, что они, наверное, крепче его офицерского лба. Лейтенант с минуту, выпучив глаза, обалдело смотрел на меня, как на сумасшедшего, а потом загоготал.

— Комик... артист... ну и ну, ай да судья,— бормотал он, задыхаясь от смеха. Потом неожиданно резко оборвал смех и погрозил пальцем: — Ты смотри, не очень-то распускай язык, а то попадешь на такого, что и за правду эту ерунду примет.

— Да разве я не вижу, с кем имею дело,— смиренно опуская глаза, ответил я.

— Хитрец, хитрец,— опять захохотал лейтенант и, насмеявшись вдоволь, серьезно заметил: — А с этим Шиловым ты поосторожней. У него отец в эсерах ходил.

На это я ему сказал, что Володарский с Урицким тоже ходили в эсерах. На что лейтенант не менее резонно отвечал, что нельзя сравнивать ананас с поросячьим хвостом, хлопнул меня по спине лапищей, назвал славным парнем с чистой биографией и предложил выпить. У меня больше не было денег.

— Вот чудак! — воскликнул лейтенант.— Займи у меня!

Мне показалось, или я ослышался, или лейтенант просто весело шутит. Но глаза у него были серьезные, и он без тени смущения повторил:

— Займи у меня. А с получки отдашь.

Меня передернуло, хмель и злоба бросились в голову, все закружилось, и из глаз покатились желтые кольца. Когда я выходил из столовой, меня бросало из стороны в сторону, а лейтенант смеялся и говорил официантке:

— Во как набрался. А еще народный судья, выборный человек. Нехорошо. Очень нехорошо.

Когда я попытался рассказать об этом случае начальнику отдела МГБ майору Угрюмову, он грубо оборвал меня и с угрозой предупредил, чтобы я бросил разводить клевету на их органы.

Отчаянные ребята эмгэбэшники. Им ничего не стоит безнаказанно оскорбить судью, унизить прокурора и даже прикрикнуть на секретаря райкома.

Начальник милиции капитан Фалалеев Фалалей Фалалеевич — личность незаурядная и любопытная. Он высок, тяжеловат, широкоскул; у него татарское лицо и добрейшая русская душа. Фалалеев, пожалуй, самый некультурный и малограмотный начальник в нашем районе. И это его очень угнетает. На образованных людей он смотрит, как на идолов, страшно им завидует и становится совершенно беспомощным в их обществе. Мне довелось вместе с ним и прокурором праздновать Новый год в компании врачей. Он боялся, как бы не оконфузиться в интеллектуальном обществе, и всю ночь до утра, не вылезая, просидел за столом, красный, потный, совершенно трезвый и голодный. К простому люду Фалалеев относится с добродушной грубостью и зверски ненавидит воров с хулиганами. Свою карьеру Фалалеев начал с рядового милиционера. Разумеется, институтов, правовых школ он не кончал, однако в юридических вопросах Фалалей Фалалеевич разбирался не хуже нас, ученых юристов.

...Как-то мы с прокурором завели длинный и нудный разговор о мародерстве; заспорили, что является объектом преступления при ограблении трупов, находящихся на нейтральной полосе. Я доказывал, что личное имущество убитого солдата. Прокурор утверждал, что государственное имущество, поскольку после смерти солдата все остается государству. Фалалеев, по обыкновению, слушал нас внимательно, потом вмешался в спор и убедительно доказал, что в данном случае объектом преступления является воинская дисциплина.

— Потому что нейтральная полоса — это ничейная земля,— говорил он медленно, с трудом подбирая слова и страшно потея от напряжения,— значит, и сапоги тоже ничейные. А солдат, который пытается стяжать эти ничейные сапоги, нарушает дисциплину, свой воинский долг.

Как работник капитан цены не имеет. В районе не было случая, чтобы преступление прошло не раскрытым. И в этом в первую очередь заслуга Фалалеева.

На второй день праздника рождества на окраине глухой деревушки был найден убитый моряк, прибывший в соседнее село на побывку. Рядом с ним валялось три березовых кола. И никаких других доказательств. По подозрению взяли из деревни трех парней, которые гуляли вместе с моряком. Но они начисто отрицали свою причастность к убийству. Следствие вела прокуратура. Были опрошены жители не только этой деревни, но и всех окрестных сел, и ничего, кроме акта судебно-медицинской экспертизы, подтверждающей, что убийство было совершено при помощи найденных березовых кольев, приобщить к делу не смогла.

Прокурору грозил жесточайший нагоняй. Совершенно подавленный, он пришел к Фалалееву и пригласил меня посоветоваться, что делать. Мы поговорили и решили, что дело на языке юристов «дохлое» и ничего не остается делать, как сдать его в архив. А задержанных ребят выпустить. Прокурор тяжко вздохнул, согласился и с ненавистью сунул дело в серой папке в свой великолепный желтой кожи портфель. Мы уже с ним вышли на улицу, когда нас окликнул дежурный милиционер и попросил вернуться к начальству. Мы вернулись. Фалалеев стоял посреди своего кабинета, таинственно улыбался, скреб затылок.

— А что ты мне пообещаешь, прокурор, если я это дело на твоих глазах раскрою? Сейчас мы провернем один фокус: авось клюнет,— капитан загадочно улыбнулся и принялся раскалывать дело.

Он накатал валиком на пальцы черную краску, взял три чистые листа бумаги и на каждом сделал по жирному оттиску пальцев. Потом вызвал дежурного милиционера, приказал ему принести в кабинет «арестованные» колья и доставить одного из парней.

Милиционер ввел жилистого, с острым носом, с виду лет семнадцати подростка. Несмотря на тяжесть преступления, в котором его подозревали, держал он себя дерзко, самоуверенно и сразу же заявил прокурору претензию.

— Прокурор, на каком основании ты меня закатал в этот клоповник?

— За убийство,— обрезал его капитан.

— Чего это? А где доказательства? Меня не напугаешь. Законы тоже знаем, выпускай немедля, а то протестовать зачну,— сказал подросток, лихо плюнув на пол.

Фалалеев, держа за спиной лист бумаги с оттисками собственных пальцев, вплотную подошел к подростку.

— Ты хочешь иметь доказательства? Так вот они!

Раньше я не верил, а сейчас увидел, как сами по себе у человека шевелятся на голове волосы. Он смотрел на бумагу и прямо на наших глазах серел и старился.

— Что, узнаешь свои пальчики? Свеженькие, с этих колышков сняты,— ласково и нежно пояснил капитан.

— Сволочи вы все,— прошептал преступник и горько заплакал.

Фалалеев дал ему выплакаться, а потом спокойно приказал:

— А теперь колись до конца... Подай инструмент, которым ты орудовал.

И он подал увесистую с толстым концом палку.

— А остальные чьи, Садиков? — живо спросил прокурор.

— Ничьи, я их нарочно подбросил,— угрюмо сказал Садиков и сел без разрешения на стул.

— Значит, один убил?

Садиков вместо ответа опустил голову.

— А за что же ты его убил? — поинтересовался я.

Садиков поднял на меня прозрачные, как стекло, глаза.

— А так... ни за что... за потаскуху Наську Косоглазую. Хотел на ней жениться, а она спуталась с этим...— он длинно и матерно обложил убитого матроса.

Когда преступника увели, капитан хитро подмигнул мне.

— Видал, судья, как работает туполобая милиция? А ведь сознайся, считал ты меня туполобым? Ладно, не оправдывайся. Все нас считают такими, впрочем, я и не отрицаю и не обижаюсь,— грустно заметил Фалалеев и устало махнул рукой.

На редкость интересный человек капитан Фалалеев. Милиция давно ему надоела, но держится он за нее обеими руками. У Фалалеева куча ребятишек, двое стариков и жена — мать-героиня. От родов, бесчисленных абортов и постоянной беспричинной ревности она высохла и пожелтела, как соломина. В минуты лирического настроения Фалалеев мечтает о должности начальника тюрьмы или его помощника, впрочем, он согласен, на худой конец, стать простым опером.

— Засяду я за каменные стены,— говорит он в таких случаях, улыбаясь,— закроюсь на все сто запоров и собак спущу. Вот тогда пусть она попробует меня взять.— Под словом «она» он имеет в виду свою половину, которую капитан не терпит и оттого почти круглые сутки сидит в милиции: здесь он работает, по вечерам играет с дежурным в шашки, даже иногда ночует.

При случае Фалалей Фалалеевич заходит ко мне, как он выражается, покалякать с «энтеллектуальным» человеком. И я охотно калякаю с ним и о политике, и о литературе, и даже о музыке. Особенно Фалалеев любит разговоры на юридические темы... Он, не моргнув глазом и не раскрыв рта, часами способен слушать про Анатолия Федоровича Кони и до слез смеяться над анекдотичными выкрутасами адвоката Плевако.

— Ах, тот Плевакин, ну и стерва порядочная,— бормочет он и, вздохнув, грустно добавляет: — Завидую вам, энтеллектуальным. Все-то вы знаете.

Когда я предложил почитать книгу о знаменитых юристах, то он наотрез отказался, заявив:

— Чтобы читать книги, надо иметь лошадиную память, а у меня после контузии в голове ветер гудёт.

Наши задушевные беседы, как правило, заканчивались жалобами Фалалеева на свою собачью работу и мечтами о привольной и спокойной жизни в тюрьме.

В поселке ходят упорные слухи, что капитана Фалалеева собираются куда-то перевести. Очень жаль, если это случится. Фалалеев — опытный работник, и перевод его — слишком дорогая потеря для района.

Есть слова, которые так и просятся, чтобы их произносили громко, например: «прокурор», «адвокат». Но когда я познакомился со своим адвокатом, то с тех пор это слово выговариваю чуть ли не шепотом. Есть люди, о которых много не скажешь. А о моем адвокате вообще нечего сказать. Невероятный тип юриста, да и только. Он наделен природой такими чертами характера, которые совершенно не нужны адвокату. Единственно, что еще в какой-то степени может соответствовать его должности, так его фамилия, красивая и звонкая — Илларион Парамонович Санжеровский. Во всем же остальном он безлик, бесцветен, как полевая мышь.

В канцелярии суда около печки его рабочее место: стол, стул и чернильница. Каждый день ровно в десять он является на службу с огромным, весом в полпуда, портфелем. Положив на стол портфель, адвокат принимается разматывать свой желтый шарф. Этот шарф знаменит своими невероятными размерами и выносливостью. Зимой и летом он бессменно висит на шее адвоката, как хомут. В районе когда-то адвоката так и звали «хомутом». Потом эта кличка с течением времени видоизменялась и совершенствовалась, пока не обрела совершенно новое нелепое звучание: «Халтун». Так его все и зовут: в глаза и за глаза. Смотав с шеи шарф, адвокат аккуратно складывает его и, как вожжи, вешает на гвоздь. Потом, зябко съежившись, долго трет руки, все равно — будь в канцелярии собачий холод или же невыносимая жара. После этого Халтун садится за стол и начинает готовиться к приему клиентуры. Разгружает свой портфель, в котором уместилась юридическая литература за все годы советской власти. (Кстати, пользоваться этим богатством Халтун до сих пор не научился. Как-то мне до зарезу потребовалось толкование пленума Верховного суда по одному аналогичному делу. Он весь день потратил на его поиски и не нашел. А постановление это находилось в обычном комментированном кодексе.) Разложив по стопкам законы, указы, постановления, Халтун кладет перед собой чистый лист бумаги, берет в руки карандаш и замирает. Сидит он час, другой, третий — никого. На измятом старостью, с маленькими скользкими глазами, лице адвоката ни смущения, ни волнения: оно спокойно и равнодушно. Он давно знает, что, сиди он хоть сто часов подряд не вылезая, к нему все равно никто не придет. Халтун — на редкость безавторитетный адвокат.

Первое время я старался помогать ему. Всех, кто обращался ко мне по всем юридическим вопросам, и особенно защиты, я отсылал к адвокату Санжеровскому. И меня всегда спрашивали: «А кто это такой?» и, узнав, отчаянно махали руками: «Нет, только не Халтуна».

В процессах он выступает лишь в тех случаях, когда сам суд назначает защиту, которая обычно в таких случаях нужна подсудимому не больше, чем мертвому свинцовые примочки. Говорит он солидно, как и подобает человеку его положения, но слова подбирает тяжелые, вычурные и с таким трудом, словно вытаскивает их из потайного кармана, и речь свою он всегда заканчивает так: «Прошу суд снизить меру наказания моему подзащитному»,— независимо от того, виновен ли подсудимый или не виновен. Все остальное время он сидит у печки за своим столом. И когда меня отсюда выгонят, он все равно будет сидеть; придет другой, и того пересидит, как пересидел всех судей до меня.

Поэтом надо родиться. Магунов Виктор Андреевич родился прокурором. Он старше меня всего лишь на три года, а кажется — на все десять. Высокий, полный, рыхлый, с холодным скучным лицом и очками вместо глаз, он невольно вызывает страх и уважение. Магунов строг, но не зол, по-своему добр, но доброта эта скорее пугает, чем радует; справедлив, но справедлив, как сам закон. Он ни на кого не жмет, но все чувствуют тяжесть его руки.

Прокурор, как все смертные, наделен и слабостями, и пороками, но скрывает их так умело и ловко, что простым глазом не заметишь. А самое главное — Магунов умен, чертовски упрям и настойчив. Я уверен, он добьется высокого положения, по крайней мере, должность областного прокурора ему обеспечена.

Одно время мы дружили, правда недолго, а потом разошлись, чтоб навеки стать непримиримыми врагами.

Кажется, это было на третий день после выборов. Я тогда очень много и упорно работал: дни и ночи просиживал за столом, подготавливая дела к слушанию. Изучая к предстоящему процессу одно очень спорное арестантское дело, я обнаружил, что протокол об окончании следствия не был подписан обвиняемым. Нарушение это было чисто формальным, но оно давало мне повод прямо без судебного разбирательства направить дело прокурору на доследование.

Я решил на первых порах не портить отношений с прокурором, которого я еще не знал. Взяв дело под мышку, я отправился в прокуратуру исправить ошибку, да и заодно познакомиться с Магуновым. Секретарь доложила о моем приходе, и тотчас я был принят. Когда я вошел в кабинет, Магунов стоя разговаривал по телефону. Видимо, разговор для него был очень важный и обнадеживающий. Он растягивал в улыбке рот, повторял одни и те же слова: «Благодарю, слушаюсь, спасибо». Не отрывая от уха трубки, он широким жестом разрешил мне сесть в кресло около стола и вяло пожал мне руку.

Закончив приятный разговор, Магунов заложил руки за спину, прошелся по кабинету, сказал: «Так-с, неплохо и даже очень неплохо»,— сел за стол, снял очки, протер их безукоризненно чистым платком и, рассматривая свои холеные руки с пухлыми, как сосиски, пальцами, спросил:

— Ну так как дела, Фемида?

Я сказал, что так себе, поначалу трудновато приходится. Прокурор громко чихнул, промокнул клетчатым платком рот и заметил, что это естественно, так и должно быть, но дело не в этом. Откинувшись на спинку стула, он снял очки, поиграл ими, посадил на место и, пристально разглядывая меня, мягко спросил:

— Вы по призванию или по наитию стали юристом?

Я резко ответил, что в этом я ни перед кем не намерен исповедоваться. Он высоко поднял брови, посмотрел на меня поверх очков и улыбнулся.

— Жаль, очень жаль, молодой человек.

— Это почему же вам жаль? — грубо спросил я.

Он же моей грубости противопоставлял утонченную оскорбительную вежливость.

— Дорогой мой, юристом, как и поэтом, надо родиться. А я в вас этого не заметил. Простите, но не заметил,— Магунов широко развел руки и поклонился.

Мне стало смешно: прокурор дал маху, он переиграл, как плохой артист. Это как рукой сняло всю злобу и обиду, я принял беззаботный веселый вид и сказал, что разные бывают поэты, а юристы — тем более, потом положил на стол дело.

— Виктор Андреевич, здесь вкралась небольшая ошибочка,— сказал я, как бы между прочим.

Магунов надменно выпрямился.

— Что? Какая ошибочка?

— Посмотрите сто первый лист,— небрежно кивнул я.

Прокурор, морщась, полистал дело и вдруг ахнул.

— Бог мой! Да это же прямой повод к отмене! — потом бросил на меня встревоженный взгляд.— Семен Кузьмич, а вы по нему подготовительное заседание проводили?

Я сказал, что только из-за этого и не проводил. Магунов облегченно вздохнул и заверил меня, что этот казус он сегодня же исправит. Он вызвал следователя, прямо на моих глазах сделал ему жесточайший нагоняй и приказал немедля отправиться в город, в тюрьму к арестанту подписать протокол. После этого мы разговорились, но уже по-другому, по душам, и прокурор пригласил меня заглядывать к нему вечерами на огонек.

Надо отдать должное, Виктор Андреевич — прекрасный собеседник. Он хорошо образован, начитан, очень не равнодушен к искусству, особенно к театру, когда-то был актером-любителем и по секрету признался мне, что и сейчас с удовольствием поломался бы на сцене. Я ему верю: по крайней мере, рассказы Чехова он читает превосходно. Но это еще не все достоинства прокурора. Он великолепный преферансист. И играет с умом: чтобы не потерять партнеров, иногда и проигрывает.

Однако ни общность наших взглядов на искусство, ни преферанс не смогли скрепить нашу дружбу. Вскоре мы разошлись. Из-за чего?.. Из-за палочки.

Палочка — условный знак, а фактически — показатель работы. Судье она ставится только за отмененный приговор. Прокурору — и за необоснованный протест, и за оправдательный приговор, а также и за отмененный, если он его не опротестовал.

Подсудимый думает, что он — главная фигура в процессе. Как он близорук! Впрочем, это очень хорошо. Если бы подсудимый подозревал, что не он главный, а невидимая неосязаемая палочка, и что из-за нее между прокурором и адвокатом происходят ожесточенные словесные бои, и что суду совершенно безразличен он как человек, лишь бы так решить дело, чтобы не получить палочки, то ему стало бы жутко.

Прокурор всегда требует подсудимому осуждения, даже если он не виновен, и очень редко, в исключительных случаях, отказывается от обвинения. Для этого надо быть великодушным. А в наше время великодушие — вещь старомодная и смешная. А кому хочется прослыть смешным? И уж конечно, не прокурору.

Начальство отличает Магунова и ставит в пример другим как работника, проводящего строгий прокурорский надзор. Что верно, то верно. Ни одно правонарушение не проходит безнаказанным. По количеству уголовных дел наш район переплюнул все районы области. У Магунова болезненная страсть заводить уголовные дела.

В начале мая он завалил суд делами о самовольном захвате колхозниками земли. Их набралось около двух десятков. Самовольный захват выражался в том, что при контрольном обмере приусадебных участков было обнаружено, что у этих колхозников они увеличились сверх норм — от двух до трех соток. На суде все колхозники в один голос отрицали свою вину. Суд определил создать авторитетную комиссию по вторичному обмеру их приусадебных участков. И оказалось, что первый обмер был произведен неправильно. В результате по всем делам были вынесены оправдательные приговоры. И Магунов в горячке все их опротестовал. Но все протесты были сняты областным прокурором. Таким образом, Магунов сразу схватил охапку палок и вдобавок еще — строгое предупреждение. И наша дружба размякла и стала скользкой, как глина после дождя. А следующее дело, по которому прокурор получил полное удовлетворение, а я — палочку, сделало нас врагами.

На скамье подсудимых — семнадцатилетняя девушка с милым грустным лицом и яркими, как вечернее солнце, волосами. Свет ее волос, кажется, течет по фигуре чистыми переливчатыми струями. Ее можно было бы назвать прелестной, если бы не большие красные руки, которые она старательно прячет за спину, и недевичьи ноги в грубых кирзовых сапогах. Она преступница: работая почтальоном, присвоила пособие в пятьдесят рублей, которое получала старушка-колхозница за пропавшего без вести на фронте сына. Ей грозит семь лет исправительно-трудовых лагерей.

На соседней скамье сидят: ее мать, вялая безликая женщина, а дальше рядком расселись, как цыплята, братья и сестры подсудимой, такие же яркowолосые, босоногие, беззаботно веселые, словно явились не на суд, а в кукольный театр. На краешке скамейки примостилась обиженная старушка. Она сегодня выступает как свидетель и потерпевшая. Но эта роль ей явно не по душе, да и пришла она сюда по строгому требованию прокурора. Чтобы как-то разжалобить судей, старушка хнычет и трет глаза какой-то черной тряпкой.

Поддерживает обвинение Магунов, защищает — Халтун. А дело, как говорят, проще пареной репы. После судебного следствия, которое устанавливает, что подсудимая на присвоенные деньги купила чулки, стеклянные бусы, губную помаду и крошечный флакончик духов, прокурор кратко и логично излагает социальную сущность преступления, его вред и пагубные последствия, а потом просит суд с учетом смягчающих обстоятельств, как-то: глупость и вопиющая бедность подсудимой, определить ей полтора года лишения свободы. Мать мешком валится на пол, протягивает руки и голосит, как на похоронах: «Пощадите ее, гражданин судья! Одна она у нас корми-и-и-лица!» Ее дружным хором поддерживают ребятишки.

Старушка тоже плачет и причитает: «Простите ее. Уж бог с ними, с деньгами-то. Не нужны они мне. Не по своей воле взяла. Нужда заставила. Уж больно они бедные-то. Уж так бедны, и словом не сказать».

Прокурор съежился, опустил голову и не может оторвать от пола глаз. Халтун спокоен и невозмутим: за свое многолетнее сидение в суде он ко всему привык.

Суд предоставляет подсудимой последнее слово. Она встает, пристально смотрит на прокурора, потом на меня и удивленно протягивает: «Неужто посадите? — и, вздохнув, с легкой грустью добавляет: — А мне ведь все равно. Небось в тюрьме-то хуже не будет».

В комнате тайного совещания на этот раз не было оживленных споров. Чувствовалась какая-то недоговоренность, неловкость, подавленность. Мои любимые заседатели — колхозный казначей Вадим Артемьевич Ухорин — философ, моралист, и районный санинспектор Лидия Михайловна Афонина, черноглазая насмешница и хохотунья, сидят хмурые, стараются не смотреть друг на друга. Ухорин беспрерывно курит злой вонючий самосад. В комнате от него настолько тяжелый и спертый воздух, что подкатывает тошнота. Я распахиваю окно. В комнату врывается вместе с беззаботно веселым свистом скворца весенний ветерок.

Ну так как же решим, товарищи заседатели? — наконец с трудом подаю я дежурный вопрос.

Ухорин, швырнув в окно окурок, спрашивает:

— А что, разве требование прокурора для нас обязательно? — Я поясняю, что прокурор от нас вообще ничего требовать не может. Суд ни от кого не зависим и подчиняется только закону.

— Тогда надо оправдать,— решительно заявляет Вадим Артемьевич.

— Нельзя, преступление доказано. Закон нарушен.

И вдруг резко, крикливо заговорила Лидия Михайловна:

— Закон — не столб... И вообще... Если бы я знала, что такое дело, то ни за что бы не пришла. Если вы ее думаете посадить, то сажайте, но приговора я ни за что не подпишу.

Лицо ее покрылось красными пятнами, а на глазах — слезы. Я понял, что она свою угрозу наверняка выполнит. Я сел и быстро написал приговор с условным осуждением. Заседатели с радостью его подмахнули.

Магунов в тот же день затребовал дело и подшил к нему протест на мягкость наказания. Протест его был удовлетворен: областной суд приговор отменил, мне поставили палочку, а дело переслали на новое рассмотрение, но уже в другой суд.

Через две недели прокурор по телефону мне радостно сообщил:

— Слыхал, Бузыкин, почтальону-то твоему размотали всю катушку. А виноват в этом только ты. Я тогда просил полтора года. А ты не послушался. Жаль девчонку, очень жаль, семь лет получила, бедная.

Он еще что-то стал говорить о согласованности, о контакте в работе, но я не дослушал и повесил трубку.

После этого я стал задумываться над жизнью, и мне стало невыносимо тяжело. Ведь кому не известно, что жизнь только тогда хороша или, на худой конец, сносна, когда о ней не думаешь.

С прокурором теперь не разговариваю, а если это и приходится делать, то только на официальном языке. Пакостим друг другу на каждом шагу. Но все это не выходит из рамок официальности и закона. А работать трудно, ох, как трудно!

ЗАСЕДАТЕЛИ И ЗАМЕСТИТЕЛИ

Заседатели наделены всеми правами судьи, но пользуются ими с большой неохотой и почти не несут никакой ответственности. Во всем и всегда виноват судья, даже если он никакого отношения к делу не имеет.

Всего у меня по району шестьдесят заседателей. И только на десяток из них можно рассчитывать как на судей. Остальные в полном смысле слова — заседатели. Они заседают, да и только. В суде сидят строгие, с вытянутыми лицами, словно перед фотографом. Так они способны просидеть пять часов подряд, не моргнув глазом и не сказав ни одного слова.

Разобрав дело и удалившись в комнату тайного совещания, спрашиваю:

— Ваше мнение, товарищи судьи?

Они молчат, улыбаются, словно бы мой вопрос никакого отношения к ним не имеет. Начинаешь им разъяснять, что они — такие же судьи, как и я, и их

голос равноценен голосу председательствующего. Они внимательно слушают, поддакивают, согласно кивают головами. Убедившись, что наконец-то они поняли свои права, опять задаю тот же вопрос. Они переглядываются, пожимают плечами и заявляют в один голос:

— Как вы рассудите, гражданин судья, так пусть и будет. Только не очень уж строго.

Эта тупая покорность поначалу меня возмущала и коробила, но вскоре я к ней привык. Сочиняю приговор, и заседатели, не читая, охотно подписываются под ним.

Такова основная масса заседателей. Но среди них попадаются строптивые, которые идут не только против закона, но и здравого смысла. Был случай, когда заседатели настояли на своем и заставили подписать явно несправедливый приговор. Я долго подозревал их в подкупе, но, как выяснилось,— это были люди с характером идти всему наперекор. Я больше их не привлекал к слушанию дел. Но вот однажды мне все-таки пришлось вспомнить о них.

Под суд попал председатель колхоза «Труд Ленина» Илья Антонович Голова. Нас с ним сблизила и спаяла охотничья страсть. А познакомил меня с Головой председатель райисполкома Сергей Яковлевич Шилов.

В первый год работы я старался не за страх, а за совесть: до полуночи засиживался за изучением судебных дел. Как-то вечером раздается телефонный звонок. Узнаю голос Сергея Яковлевича.

— Судья, ты охотник? — спрашивает он и просит срочно зайти к нему в райсовет.

Прихожу и вижу: сидит у него курчавый, с выпученными озорными глазами мужик. Сергей Яковлевич кивает на него и улыбается.

— Знакомься. Сам Голова — знаменитый председатель колхоза «Труд Ленина».

Мы познакомились. «Ну и что дальше? — думаю я,— к чему это знакомство?»

Шилов, посмеиваясь, посматривает то на меня, то на Голову.

— Ну что, Илья Антонович, возьмем парня?

— Куда? — удивленно спрашиваю я.

— За глухарем,— отвечает Шилов таким тоном, словно бы речь шла о каком-то пустяке. И не дав мне ни опомниться, ни возразить, что я не только не охотник, но даже и ружья в руках ни разу не держал, Сергей Яковлевич приказывает, чтоб я через час был готов.

На исполкомовском «газике», по сквернейшей дороге, в такую глухую темень, хоть ножом режь, мы выехали в колхоз «Труд Ленина». Всю дорогу Шилов с Головой хвастались друг перед другом своими охотничьими удачами. Я же с ужасом думал о походе по болоту за глухарем. На мне было легкое осеннее пальтишко и ботиночки с калошами. Но мои опасения были преждевременны. У Головы нашлось все: и резиновые сапоги-заколенники, и куртка, и ружье. Илья Антонович отдал мне все лучшее. Когда я опоясался тяжелым патронташем, сбоку подвесил новенький ягдташ и закинул за спину двухстволку, Сергей Яковлевич насмешливо посмотрел на меня и сказал:

— Тартарен из Тараскона.

Я, разумеется, никого не убил. Шилов с Головой стукнули по великолепному глухарю. Я им не завидовал, не раскаивался, да и сейчас не раскаиваюсь в этой поездке. Я видел, я слышал весеннее утро в лесу. Раньше я только читал о нем в книжках. Но какое может быть сравнение!

Когда мы возвращались с Сергеем Яковлевичем в Узор, он спросил:

— Ну и как?

Я глубоко вздохнул и закрыл глаза от удовольствия.

— Чудесно!

— Да... Ты прав. Чудесно! Лучше и не скажешь.

Охотничий зуд не давал мне покоя. Я не утерпел, позвонил в колхоз Голове, договорился с ним на неделе провести зорьку в лесу. Он с радостью согласился, и я принес Васюте тяжелого глухаря. Васюта взвесила его на безмене. Глухарь без малого весил пятнадцать фунтов. После этого я зачастил к Илье Антоновичу. Потом обзавелся собственным ружьем. С Головой я ходил

и на зайцев, ходил и на кабана, и даже раз мы с ним завалили семнадцатипудового лося.

Голову знает весь район. Да еще бы не знать. В войну он командовал партизанским отрядом. «Отчаянный мужик»,— говорят о нем. У Ильи Антоновича два ордена Отечественной войны, орден Красного Знамени и куча медалей. Характер у Ильи Антоновича горячий, резкий. Однако душа в нем добрая и даже возвышенная. В общем, это ярко выраженная натура вольнолюбца. Работая председателем, встречая на каждом шагу несправедливость, насилие над своей волей, Голова ожесточился и из доброго, хотя и взбалмошного человека, превратился в отчаянного гордеца, забияку, способного на самую безрассудную выходку. Но при всем этом он не утратил своих добрых чувств: ему совершенно чужды месть и злоба. Видимо, поэтому он завоевал любовь среди простого народа и снисхождение у начальства.

Голова горяч, но отходчив. Был случай, что он чуть не пристрелил меня на охоте. По неопытности я подбил глухарку. У Ильи Антоновича от гнева совсем вывалились из орбит глаза, он схватился за ружье и так заорал, что перепугал всех птиц в лесу. А через пять минут сам же успокаивал меня, чтоб я не очень-то переживал, потому что со всяким бывает, и привел мне пример, как он сам из озорства пульнул по дятлу. «Так батька,— рассказывал он,— взял этого дятла и ну мне по морде. И до тех пор хлестал, пока всего дятла не измочалил. С тех пор я понапрасну ни по одной птахе не стрельнул. А стреляю я во как, смотри...» Он мгновенно вскинул ружье и хлопнул на лету сойку.

— Видал-миндал, как надо стрелять?!

Голова подобрал сойку и отрезал у нее лапы, сунул их в карман.

— Зачем они тебе? — спросил я.

— Для лицензии. Настреляю сто пар, сдам в охотничье общество и получу лицензию на отстрел лося.

Работу председателя Голова не любит и не дорожит ею. У него в жизни три страсти. Наипервейшая — охота. Вторая страсть — предаваться воспоминаниям по былым, незабвенным делам партизанским. Если ему попадал в лапы слушатель (а мне-таки приходилось не раз), он всю ночь напролет рассказывал ему о вероятных и невероятных подвигах своего отряда. Когда слушателей нет, он вспоминает сам для себя. На него тяжелым грузом наваливается томительная и сумбурная бессонница. Перед широко открытыми, выпуклыми, как лупы, глазами кинолентой бегут ожесточенные бои, дерзкие налеты на железнодорожные станции, походы, переправы, рукопашные схватки и прочие жутко интересные штуки. Он то смеется, то скрежещет зубами и, вскакивая, ругается и проклинает себя. «У, черт, дурак, баранья голова, как глупо я упустил тогда этот эшелон с танками. Если б я его свалил — наверняка был бы Героем». Его разгоряченный мозг дорисовывает картины боев и придумывает новые. Это привело к тому, что теперь Илья Антонович и сам не может разобраться, где в его рассказах правда, а где вымысел.

Есть еще одна страсть, которой он страшно стыдится, хотя в этой страсти ничего позорного нет. Илья Антонович очень любит макароны. Когда они случайно появляются у нас в поселке, Голова все бросает и мчится в Узор за макаронами. В деревнях спать ложатся ранним вечером. И если в глухую ночь в Березовке у председателя горит свет, а из трубы валит дым, все знают, что Илья Антонович жарит макароны.

Как председатель Голова очень посредственный, а как хозяйственник и гроша ломаного не стоит. Райком его терпит, поскольку Голова — фигура знаменитая и поскольку есть председатели и еще хуже Ильи Антоновича.

У него дом, огород, корова, овцы и другая живность. Но все это — дело рук и ума его супруги. Самого же его ничто не интересует, кроме охоты. Случись, умри супруга, он все на второй день распродаст, похерит и уйдет куда глаза глядят.

Колхозом он командует, как командовал когда-то партизанским отрядом: дерзко и решительно. А по существу, руководит колхозом, да и самим Ильей Антоновичем, его зять — счетовод Иван Тимофеевич Лобанов, человек очень хитрый и толковый. А председатель в его руках — просто погоняло.

Встает Голова раньше всех в колхозе, с петухами. Ружье — за спину, на лошадь и в лес. К началу трудового дня возвращается прямо в правление. Там счетовод ему вручает листок бумаги, на котором расписано, что сегодня делать и кому что делать. Получив наряд, Илья Антонович опять садится на лошадь и, огрев ее плетью, направляется на левый край села. Отсюда он начинает свой деловой объезд. Подскакав к дому, не слезая с лошади, стучит по раме плеткой и кричит:

— Наташка, навоз возить!

— Ладно,— отвечает Наташка.

— Выходи!

— Дай печку дотопить!

— Выходи, мать в перемать, а то я тебе всю печку по кирпичику разнесу,— орет Голова на всю деревню.

Наташка выскакивает из дому, как ошпаренная, и, отбежав на приличное расстояние, начинает поносить председателя самыми что ни на есть последними словами: зверь, изверг, макаронник.

Но ее гнев нисколько не волнует Илью Антоновича. Он свое дело сделал и направляется к следующему дому. И опять плетью по раме...

— Макар!

Открывается окно, и показывается плешивая голова старика.

— Чего тебе?

— Пойдешь... Постой, куда же ты пойдешь? — Голова вытаскивает из кармана листок.— Ага! Пойдешь и переложишь печку на скотном дворе, в водогрейке.

— Не можется мне нонче, Илья Антонович, поясницу ломит,— жалуется Макар.

— Пойдешь и переложишь. Понял? — строго говорит Илья Антонович.

— Не пойду. К доктору пойду,— и Макар захлопывает окно.

Но Илья Антонович настойчив и неумолим. Он сам открывает окно, просунув голову, спрашивает:

— Макар, где корова?

— Известно где. В поле,— отвечает Макар.

— Вот что, Макар, сейчас ты пойдешь в поле за коровой. Приведешь ее и поставишь на двор.

— Это почему же? — возмущается Макар.

— Потому что поля и трава — колхозные, а колхоз тебе не дармовая кормушка. Понял? И не дожидайся того, чтоб я ее сам привел,— с угрозой заканчивает председатель, вспрыгивает на лошадь и направляется к дому Макарова соседа. А Макар, проклиная всех: председателя, и советскую власть, и свою жизнь, собирается на работу. Не потому, что боится угроз Головы, который, впрочем, только грозит, но никогда не переходит к решительным действиям, а потому что знает, что Илья Антонович, пока не выгонит его из дома, не успокоится.

Наряд отдан, Илья Антонович едет домой завтракать. Позавтракав, опять берет в руки плеть, садится на лошадь и направляется наблюдать за ходом работ. И весь день в полях, на скотных дворах гремит зычный командирский голос председателя.

Если бы Голова прилагал столько же усилий жить спокойно и незаметно, сколько он прилагает к тому, чтобы показать себя и выделить среди других, то он, наверное, не имел бы столько выговоров и неприятностей. Когда его вызывают в райком драить и перевоспитывать, а это случается частенько, Голова выдерживает головомойку, а потом, придав себе удивленный вид, наивно спрашивает: «А зачем такой длинный разговор, зачем эти громкие слова? Не нравлюсь? Плохой я председатель? Так снимите». Да и вообще при всяком случае старается напустить на себя гордость и независимость.

Нынешней весной во многих колхозах не хватило семенного картофеля. Райком собрал председателей и предложил им взять картофель на посадку у колхозников. Распоряжение было нелепым. У колхозников нечем было засаживать собственные огороды. Но никто из председателей, кроме Головы, не возразил. Илья Антонович вспыхнул и грубо выкрикнул:

— Как это взять?
— Ну, это все равно что позаимствовать,— разъяснил секретарь райкома. Голова встал и озоровато скосил свои рачьи глаза.
— Значит, мешок на плечо и пошел по миру трижды орденоносец Илья Голова. Тетушка, дай Христа ради десяток-другой картофелин. А тетушка мне: «Милай, нетути у меня картошечки-то. Прошлой осенью мне колхоз ничегошеньки на трудодень не дал».
Разыграв комическую сценку, Илья Антонович решительно заявил, что он против такой антигосударственной практики. Его дружно поддержали председатели, и затея райкома была с треском провалена.
Как ни был райком добродушно-снисходительно настроен к Голове, но этого простить не смог. Затаив обиду, он теперь ждал случая с ним рассчитаться. А случай не заставил себя ждать.
Накануне ноябрьских праздников Голова на общем собрании внес предложение, текст которого дословно взят мною из протокола:
«Торжественно всем колхозом отметить день Великой Октябрьской социалистической революции. Для этого:
а) из кладовой колхоза выделить на самогон десять пудов ржи,
б) забить на мясо яловую корову Буренку,
в) праздничное гулянье провести в помещении избы-читальни культурно, без всяких скандалов и безобразий,
г) просить гармониста Василия Семипалова не напиваться и весь вечер играть на гармонии,
д) ответственность за проведение вечера возложить на председателя колхоза Голову.
Принято единогласно».
Говорят, что постановление это было выполнено по всем пунктам: праздник был проведен весело, организованно. Пьяных было мало, а сам председатель с Васькой Семипаловым только для приличия выпили по стопке самогона. Потом они, уже после гулянья, на рассвете, напились до умопомрачения у Ильи Антоныча дома.
Об этом я узнал слишком поздно, когда ко мне из прокуратуры поступило дело о привлечении Головы к уголовной ответственности за самогоноварение. «Ну, теперь ему крышка»,— подумал я и схватился за голову. Что делать? Случай из ряда вон, и как раз в момент кампании по борьбе с самогоноварением. «Теперь ему крышка,— снова подумал я, и сердце сжалось.— Неужели райком с такой легкостью разрешил прокурору завести уголовное дело на председателя колхоза, коммуниста?! Обычно он такую санкцию дает с большой неохотой».
Я снял трубку и позвонил председателю райисполкома.
Сергей Яковлевич вздохнул и сказал:
— Я тут — пас. У райкома с ним особые счеты.
Позвонил секретарю райкома и спросил их окончательное мнение по этому делу. Кондаков ответил мне так:
— А почему вы, товарищ Бузыкин, нас спрашиваете? Вы судья, у вас законы. Как решите, так и будет. Мы своим авторитетом на суд не давили и не собираемся давить.
Я хорошо понял Кондакова: «Сажай, и никаких гвоздей». Но сажать Илью Антоныча очень не хотелось, да и это было бы с моей стороны чудовищной неблагодарностью. А что делать? Заявить себе отвод и умыть руки? О нашей дружбе известно всему району. Самоотвод — самый разумный и законный выход из этого положения. Кому тогда доверить разбор дела? Своим заместителям?.. Авениру Темкину. Конечно, он бы с величайшей радостью согласился, только доверь, провел бы суд с помпой и размотал бы Илье Антонычу всю катушку. Ивану Михайловичу Иришину? Этот по доброте своей душевной осудит его на год лишения свободы, больше-то у него не поднимется рука написать, тогда никакие жалобы, ни апелляции не помогут. Областной суд, не глядя, заштампует этот приговор, а год для Головы при его характере — вечность. Нервы его не выдержат, выкинет какой-нибудь фортель, попадет в лагерный суд, и тогда уже ему оттуда не выбраться. Просить областной суд

нарушить подсудность и передать дело в соседний район? А что толку? Самый умный и милейший судья не согласится на условное осуждение: приговор по протесту прокурора наверняка будет отменен за мягкость. Если же я сам буду слушать это дело и вынесу условное наказание, то меня наверняка смешают с грязью. Лучше бы сам областной суд вынес Голове условный приговор. Тогда бы никто не стал бы ни протестовать, ни возражать. Но как сделать, чтоб областной суд в этом вопросе взял на себя инициативу? Трудную задачу мне задал друг Илья Антоныч Голова. Долго я над ней думал и наконец сказал сам себе: «Что будет, то будет. А дело разберу сам. Проведу процесс со всей строгостью закона, с заседателями, которые идут судье наперекор».
Дня за три до суда ко мне в кабинет явился сам Голова. Глаза у него блестели, а из-под шапки выбивался кудрявый спутанный чуб. Он плюхнулся на диван, с хрустом потянулся.
— Ну что, судить будешь?
— Буду.
— Ну-ну, валяй, наяривай,— тоскливо улыбаясь, сказал Илья Антоныч.
— Вон из кабинета,— строго приказал я.
Он встал, сморщился, затряс головой.
— Спасибочка, Семен Кузьмич, от всего сердца благодарен,— и вышел.
Я смотрел в окно. Он шел от суда по дороге к чайной и вытирал шапкой лицо.
Спустя часа два он явился. Трезвый, робкий, совершенно подавленный.
— Ходил... думал... А на сердце такая тяжесть, словно убил я человека. А что я сделал? Честно выполнил волю народа,— с грустью пожаловался Илья Антоныч.— Нет, ты скажи, неужели колхозник не имеет права на культурный отдых в свой революционный праздник?
На его вопрос я не стал отвечать. Да и что я мог ему сказать?
Он пристально посмотрел на меня и жалобно протянул:
— А, молчишь. Значит, я ни в чем не виноват.
— Как мог твой разумный зять допустить такое дикое решение? — спросил я.
Он тупо уставился в пол.
— Зятя не было. В больнице зять: положили печенку лечить,— он оторвал глаза от пола и испуганно посмотрел на меня.— Много могут дать?
Я сказал, что это дело суда и что готовиться надо к худшему.
Он весь дернулся и зябко поежился, словно бы ему было холодно, и заговорил, пытаясь придать голосу равнодушный тон.
— Наплевать на все. Дадут год, отсижу как-нибудь, потом получу паспорт и махну куда-нибудь в город, а то в Сибирь, белку промышлять. Не страшно. Голова нигде не пропадет.
— А если два? — спросил я.
— Все равно,— как эхо отозвался он.
Я объяснил Голове, что нужно срочно предпринять. В первую очередь, не хныкать, немедленно ехать в город, искать адвоката. Халтун для такого дела не годится. При нем я позвонил в областную адвокатуру, и мне назвали фамилию толкового защитника.
В день суда, рано утром явился адвокат и до открытия судебного заседания успел познакомиться с делом. Впрочем, дело было простое, ясное и не вызывало никакого сомнения. Адвокат разочаровался и сказал, что ему здесь делать нечего.
Прокурор на этот раз тоже был аккуратен. Он явился за десять минут до начала слушания дела и сразу же спросил:
— Кто из заседателей будет разбирать дело?
Он не сомневался в моем самоотводе и страшно удивился, когда я сказал ему, что самоотвода не будет, но ничего не сказал, а только широко развел руками, как бы говоря: «Ну и ну... Впрочем, смотри, девка, тебе рожать».
Когда мы вошли в зал судебного заседания, он был полон. Еще бы. Кого судят-то? Знаменитого Илью Голову. Он стоял, вытянувшись, по стойке смирно, в начищенных до солнечного блеска сапогах, в синих диагоналевых шароварах и в новой зеленой фуфайке, подпоясанный широким офицерским

ремнем. Прямо на фуфайку он нацепил все свои регалии, а сбоку повесил полевую сумку. Я взглянул на Илью Антоныча и с болью подавил улыбку. Он сделал все, чтобы выглядеть солидно и внушительно.

Меня беспокоил вопрос о составе суда. В последнюю минуту прокурор может заявить мне отвод. И это не только законно, но и обоснованно. Но я уповал на строптивость своих заседателей, которые из враждебного противоречия возьмут да и отклонят ходатайство прокурора. К счастью, до этого не дошло. Когда я спросил Магунова, доверяет ли он слушать дело этому составу судей, он сразу же ответил, что не возражает. Хуже было с подсудимым. Илья Антоныч никак не мог понять, что значит возражать против состава суда, да и вообще может ли он здесь против чего-либо возражать. А когда, наконец, дошел до него смысл слов, он очень удивился и дал мне понять, что кому же он еще, как не мне, может доверить свое печальное дело.

Я машинально вел процесс и плохо слушал, что говорилось. Я думал об одном, как вести себя с заседателями. Если я буду настаивать на условном осуждении, они восстанут против меня и будут требовать подсудимому самого строгого наказания. Если же себя вести так, чтобы они требовали условного осуждения, тогда областной суд отменит наш приговор. Там не очень любят, когда приходят дела с условным осуждением. Областные судьи скорее сами применят условное наказание, чем это позволят нам. Они считают себя, по крайней мере, выше нас на три головы, а умнее на все четыре. Перед ними не сидит человек, у которого глаза ошалели и с носа капает пот. А у моего подсудимого пот тек даже из ушей.

К концу заседания у меня полностью созрел план действия, и я твердо решил остановиться на первом варианте.

В прениях прокурор просил суд определить Голове год лишения свободы; адвокат, как я и ожидал, просил тоже года лишения свободы, но условно.

Когда Илье Антонычу предоставили последнее слово, он вскочил, вытаращил глаза и заговорил одними междометиями:

— «Э-э... Я-я... Й...» — и, не сказав ничего вразумительного, махнул рукой и сел.

Как я предполагал, так оно и вышло. Не успел я сказать, что подсудимый, хотя и виновен, но заслуживает снисхождения, как заседатели в один голос заявили, что никаких снисхождений ему, два года тюрьмы и баста. Они сказали то, что я хотел. Впервые в жизни я благодарил глупость и жестокость человеческую. Я подписал их приговор, но предупредил, что с ними не согласен и буду писать особое мнение. Должен сказать, что заседатели не возражали, когда я попросил их не брать осужденного под стражу до вступления приговора в законную силу.

Когда я огласил этот приговор, зал ахнул. У прокурора почему-то неестественно задергалась шея. Но он ничего не сказал, схватил портфель и стремительно вышел. Зато возмущению адвоката не было предела. Он долго доказывал в канцелярии суда секретарям, что это предел дикости и жестокости.

— Нет, вы только подумайте,— страстно говорил он, размахивая руками.— Сам прокурор просил год, а они два. О, идиоты, варвары, бессердечные!

Но что было с Ильей Антонычем... Приговор пригвоздил его к полу. Все давно уже разошлись, а он все стоял перед столом суда, беспомощно разводя руками. Адвокат подошел к нему, посадил на стул, стал горячо убеждать, что он этому позорному приговору сломает хребет. Он поинтересовался, кто остался при особом мнении. И когда я назвал себя, он изумленно вскинул брови.

— О-о-о-о! — и свистнул. И сразу же сел писать кассационную жалобу.

Жалко Голову! До слез жалко! Но что делать? У меня другого выхода не было.

Посыпались телефонные звонки. Меня беспрерывно спрашивали, утка это или правда, что Голове дали два года.

Позвонил и Сергей Яковлевич, холодно сказал, что он был обо мне лучшего мнения. Я обиделся и заявил, что суд ни от кого не зависит и подчиняется только закону.

— Понятно. Будь здоров, судья,— оборвал он меня и повесил трубку...

Зато звонок Ольги Андреевны взбесил меня и чуть не погубил все дело.

— Ты порядочная дрянь,— заявила Чекулаева.

— Ты так думаешь?

— Все, все в райкоме...

— И первый секретарь? — наивно спросил я.

— Конечно, он возмущен.

— На что же вы рассчитывали?

— Самое большее год. Об этом был предупрежден и прокурор, да и сам Голова знал.

Я не стал ее дальше слушать. Оказывается, райком еще до суда предрешил судьбу Головы. Год лишения свободы! Вот их милосердие! Вот как звучат их слова: «Мы не давим на суд и не собираемся давить». Мне стало стыдно за такую доброту. И до боли жаль бедного, простодушного и доверчивого, как ребенок, Илью Антоныча.

Я прошел в канцелярию. Секретари о чем-то вполголоса разговаривали с судебными исполнителями. При моем появлении они замолчали, разбежались по своим столам и с усердием принялись скрести перьями. А уборщица Манюня демонстративно бросила на пол швабру и заявила, что завтра же берет расчет.

Единственно, кто меня утешил в этот день, так это прокурор. Он позвонил и сказал, что протеста на жестокость приговора не будет, так как меру наказания считает вполне справедливой.

Спустя две недели дело Головы рассматривалось в кассационной инстанции облсуда. К делу, кроме жалобы, был приложен ворох характеристик и справок. Но на всю эту бумажную шелуху я меньше всего рассчитывал. Главным козырем в этой рискованной игре был сам Голова, его личное обаяние. Поэтому вместе с делом на суде присутствовал и сам Илья Антоныч.

В тот день я с утра ходил, как чокнутый. За эти две недели нервы окончательно растрепались, и мною овладело отчаяние. Теперь я был твердо убежден, что, несмотря ни на что, приговор будет оставлен в силе. До обеда я себя еще кое-как держал в руках, а потом стал звонить председателю уголовной коллегии. Без счету вызывал город, и каждый раз мне отвечали, что дело еще не рассматривалось. И только к вечеру я услышал сиплый, не женский голос Павлины Тимофеевны, или попросту Павлинихи, как зовут ее народные судьи. Я робко спросил, как решилось самогонное дело Головы.

— Мы считаем, что народный суд правильно решил это дело. Самогоноварение по области приняло угрожающий характер, и борьба с ним должна вестись самая решительная.

Я ничего ей не ответил. У меня вывалилась из рук трубка.

— Алло, Бузыкин,— взывала ко мне Павлиниха.— Куда ты пропал? Так я говорю,— продолжала она,— в этом смысле ты молодец, что ведешь жесткую карательную политику... но,— она чуть-чуть смягчила голос.— Все же мы решили сохранить ему свободу. Два года так и оставили, но считать их условными. Человек он заслуженный, не опасный и весьма симпатичный,— дальше я не помню, что она говорила, но говорила что-то приятное и хорошее...

Мои расчеты и надежды оправдались. Голова остался на свободе. Но это не принесло мне ни радости, ни удовлетворения, хотя авторитет мой, беспристрастного и строгого судьи, в глазах начальства подпрыгнул сразу на три ступени. Зато я навсегда потерял друга и хорошего человека. Теперь мы не встречаемся. Он считает, что за все его добро я отплатил ему черной неблагодарностью. Разве мог он предположить, да и кто-либо другой, что только для спасения его свободы я затеял эту рискованную игру с правосудием. Об этом не узнал никто. Да и надо ли об этом рассказывать?

А лихой партизан Голова после всех этих судебных передряг сник. Его свободолюбивая гордая натура надломилась, притихла. С председателей его сняли, назначили бригадиром. Он пробыл на этой должности с полгода, потом выправил паспорт и уехал, а куда — никому не известно.

...Если судьба меня прижмет и оставит в Узоре на долгие годы, тогда я подберу себе настоящих заседателей. А сейчас таких у меня немного, и десятка не наберется. Вот они: санинспектор Лидия Михайловна Афонина, заведующий райсобесом Юлин, колхозник Петр Арсентьевич Ефимов, счето-

вод Василий Анохин, колхозный казначей Вадим Артемьевич Ухорин. Они всегда с охотой готовы разбирать любое запутанное дело и, как они сами признаются, в суде у меня они отдыхают. Это явление обычное. Кому не известно, что человек по-настоящему отдыхает от одной работы, когда он берется за другую.

Лидии Афониной лет двадцать пять. Она не замужем. И это меня удивляет. У нее все данные, чтоб нравиться мужчинам: наружность элегантная, характер добрый и веселый. Она судит не умом, а сердцем. Во время слушания дела Лидия дотошный следователь, в комнате тайного совещания — невыносимый спорщик. Это нередко злит меня и возмущает. Но стоит взглянуть на ее разгоряченное розовое лицо, на приоткрытые в легкой улыбке губы, злость мгновенно пропадает. Улыбка у Лидии покоряющая. Она не содержит никакой мысли, она выражает красоту и радость жизни. Вероятно, поэтому большинство приговоров, вынесенных с участием Лидии Михайловны,отменяются областным судом за мягкостью меры наказания.

Юлин Алексей Адамыч — находка для меня. В молодости он кончил правовую школу, работал адвокатом. Он превосходный цивилист, но, к великому сожалению, неизлечимый алкоголик. Однако это меня ничуть не смущает, я вызываю его на разбор самых сложных гражданских дел. И в состоянии опьянения он не теряет трезвости мысли и знаний. Как-то я резко предупредил его, чтоб в суд он являлся как «стеклышко». Он попытался это сделать, и ничего не вышло. Пришел он какой-то вялый, подавленный, с трудом высидел за столом и ничего не мог сказать путного. Я понял, что для Алексея Адамыча опьянение столь же необходимо, сколь для нормального человека трезвость.

Петр Ефимов и Василий Анохин тоже толковые заседатели, и работать с ними — одно удовольствие.

Выше всех я ценю, конечно, Вадима Артемьевича Ухорина. Вадим Артемьевич из «благородных». Но, как говорят, «не дай бог и врагу моему такого происхождения». Отец его, кроме дворянской грамоты, дома с шестью десятинами земли и кучи ребятишек ничего не имел.

Вадим по счету был девятым в семье. Землю Ухорины не умели обрабатывать и сдавали ее в исполу. Детство Вадима Артемьевича прошло в страшной бедности. Отец учительствовал и на свое крохотное жалованье никому из детей не смог дать приличное образование. Все они стали простыми крестьянами.

— Мы были «бездушные» дворяне, самые несчастные в селе. Все нас безжалостно презирали. И всему этому была виной наша бедность и дворянское происхождение, которому они когда-то завидовали, жаловался мне Вадим Артемьевич.

После революции Ухорин не поднялся и свой век добивает в бедности и одиночестве. Женился он на довольно-таки зажиточной крестьянке. Но вот уже двадцать с лишним лет, как Ухорины живут врозь; она с детьми — в городе, он — в родном селе Бекташевке.

Недавно я был в этом селе по заданию райкома. И навестил своего друга заседателя. Он живет в огромном полуразвалившемся доме. Но то, что я увидел внутри этого дома,— жуть.

Дом совершенно не годится для жилья. Хозяин ютится в крохотной кухоньке, которая очень похожа на заброшенную баню. Такая же черная, с гнилыми и осевшими на землю полами, закопченными окнами, развалившейся печью, и пахнет в ней так же сыростью, да еще и мышами.

Когда я вошел, Вадим Артемьевич сидел на березовом чурбане около железной печурки. Раскаленная печурка гудела, как паровозный котел. На мой стук он даже не пошевелился и продолжал сидеть, вытянув к печурке руки. Я окликнул его. Он повернулся ко мне и долго подслеповато разглядывал. Я подошел к нему и поздоровался. Вадим Артемьевич узнал, испуганно вскочил и не знал, что делать. Наконец он, видимо, сообразил, что надо усадить нежданного гостя. Ухорин беспомощно оглянулся и предложил мне сесть на ветхую железную кровать с кучей тряпья. Я осторожно сел, уперся ногами в пол, так и просидел, боясь, что вот-вот кровать подо мной рухнет.

Я не знал, о чем говорить. Ужасная бедность Ухорина меня подавляла. Мне стало невыносимо больно за него, словно бы я во всем этом был виноват и испытывал тяжесть и ненужность своего визита. Ухорин тоже молчал. Мне кажется, что он переживал то же самое, только еще больнее. Вадим Артемьевич, сгорбясь, сидел на березовой чурке, крепко сцепив пальцы рук.

Молчание становилось невыносимым, и я спросил:

— Так и живешь, Вадим Артемьевич?

— Так и живу, Семен Кузьмич,— тихо отозвался Ухорин.

— Ужасно,— прошептал я.

— Да уж, хуже-то и нельзя, наверное.

Ухорин открыл дверцу печурки. Там стояла большая консервная банка. Вадим Артемьевич клещами ухватил ее за край, вытащил из печурки и поставил на пол.

— Разварилась картошка-то,— с сожалением сказал он и предложил,— попробуйте, Семен Кузьмич. Больше угощать нечем. А картошка-то ничего, очень разваристая, один крахмал.

Хоть мне и не хотелось обижать доброго хозяина, но я все-таки отказался и поспешил проститься, ссылаясь на неотложные дела. Какое облегчение я почувствовал, когда выскочил на улицу. Наше низкое серое небо, деревенская улица с непролазной грязью, грустная осенняя природа показались мне во сто крат уютнее мрачной и затхлой конуры человека.

Философу свойственно разумно мыслить и неразумно поступать. Обывателю — наоборот. Ухорин по своему складу ума ближе к философам. Начнет говорить — не наслушаешься, а возьмется за дело — хоть руки отрубай. Все у него получается так, как у того кузнеца, который, за неимением зубов, раскалывает орехи кувалдой. Трудно определить, что — то ли дворянское происхождение, то ли воспитание, то ли повинен тут характер, но Вадим Артемьевич, кроме как к умным разговорам, больше ни к чему не приспособлен.

Вадиму Артемьевичу шестьдесят лет, а за плечами у него никакого ремесла. Пробовал пахать — бросил, пытался служить — не получилось. Уехал в город, поступил на завод, а через три года опять вернулся в деревню, оставив в городе и жену, и детей.

Вадим Артемьевич коммунист. В партию он вступил еще до революции. И вот коммунист с подпольным стажем стал в районе всеобщим посмешищем. К нему навеки приклеили кличку «лакированный комиссар». Иногда его еще величают «штампованным комиссаром».

Сразу же после революции, в период военного коммунизма, Ухорина поставили уездным комиссаром по продовольствию. Мне рассказывали, что тогда Вадим Артемьевич ходил в лакированных сапогах с кисточками, в хромовом пальто, которое все было перепоясано лакированными ремнями. С одного бока у него болталась шашка в лакированных ножнах, с другого — лакированная кобура револьвера, козырек его фуражки тоже был лакированный, и разъезжал он в легкой коляске, покрытой лаком. Черные откормленные кони блестели, как отлакированные. Вадим Артемьевич комиссарил недолго. Злые языки болтают, что его вышибли из комиссаров за воровство и что у него осталось какое-то удостоверение, сплошь уставленное штампами и печатями, которое он сам себе состряпал. Я не верю, чтобы Ухорин проворовался. Он для таких дел не годится. Скорее всего, его подчиненные, пользуясь слабохарактерностью и безмерной доверчивостью Вадима Артемьевича, подвели своего начальника гнусным образом. Про удостоверение с печатями он мне сам рассказал, что это глупая и наглая шутка его секретаря. Зная свою рассеянность, он печать доверил своему секретарю, и тот распоряжался печатью, как кухарка толкушкой. Когда Ухорину понадобилось удостоверение личности, то секретарь его написал и для смеху все заляпал печатями.

Про Ухорина ходят самые нелепые были и небылицы. Вадим Артемьевич и не пытается их опровергать. С невозмутимым спокойствием философа он рассуждает: «О человеке можно ничего не знать, зато о нем можно все сказать».

Заседателем он стал, мне кажется, или по ошибке, а может быть, по злому умыслу. Кто-нибудь его фамилию ради потехи подсказал, а ее взяли и занесли

в список кандидатов в заседатели, а потом на выборах, не глядя, проголосовали за всех скопом, в том числе и за Вадима Артемьевича.

Кому не известно, что одни и те же поступки совершаются по разным мотивам. Так, Авенира Агеевича Темкина избрали вершить правосудие потому, что уж очень он сам того хотел; бухгалтера конторы «Заготсырье» Ивана Михайловича Иришина — потому, что он человек честный, и еще инвалид. А инвалид самый удобный для этого дела человек, бегать ему там не надо: сиди да суди потихоньку. Лида Афонина попала в судьи по разнарядке. Пришел в райздрав приказ выдвинуть кандидатуру в заседатели. А кого выдвигать, как не Афонину? Девка она молодая, комсомолка, и никакой общественной нагрузки не имеет. Заведующий отделом народного образования Валентин Сергеевич Пех стал заседателем по безысходности: больше выбирать было некого. Не пошлешь же в суд учителя, который весь день занят уроками, а ночь — тетрадками. Плотник Толстопятов Кирилл попал в заседатели потому, что у него абсолютно чистая биография, совершенно безграмотная колхозница Анисья Пузикова — как передовая доярка. А вот Вадим Артемьевич стал заседателем ради смеха. Впрочем, эта шутка оказала мне добрую услугу. Она дала мне превосходного заседателя. Жизненные наблюдения, незаурядный ум Ухорина, не имевшие до сего времени сбыта, как нельзя лучше пригодились для суда. В самых затруднительных казуистических делах он умел найти верный выход, а порой подсказывал поистине мудрое решение.

Два охотника никак не могли поделить волчью шкуру. Голодный волк, бродя вокруг деревушки Козий Рог, напоролся на капкан. Железные челюсти капкана схватили его за лапу. Но зверь был матерый и настолько сильный, что уволок капкан с собой. Хозяин капкана бродил по следу двое суток и, совершенно отчаявшись, бросил поиски. А через неделю узнал, что километров за пятнадцать от его деревни был убит волк с капканом на лапе. Он разыскал охотника, который убил волка, и потребовал свой капкан. Тот отдал ему без всяких возражений. Делу бы на этом и кончиться. Но хозяина капкана замучила зависть и обида. Государство за убитого волка выплачивало четыреста рублей премии и девяносто рублей за шкуру. Все это привело в конце концов к судебной тяжбе. Капканщик требовал признания за ним абсолютных прав на зверя, утверждая, что все равно волк с капканом далеко бы не ушел и в конце концов бы сдох. Его противник иска не признавал, доказывая, что если бы он не пристрелил волка, тот бы великолепно еще лет десять душил овец и резал коров, так как капкан уже едва держался на лапе зверя. Доводы с обеих сторон звучали убедительно, однако проверить их достоверность не представлялось возможным. Приходилось обоим верить на слово. Но кому из них верить? Что принять за истину и как решить это одновременно столь простое и сложное дело?

Я обратился к Вадиму Артемьевичу, он, улыбаясь, пожал плечами, как бы говоря: «Ну вот, нашел над чем задумываться!» — но ничего не сказал. Другой мой заседатель уверенно заявил, что в иске надо отказать, так как волк принадлежал тому, кто убил его из ружья. Я с ним согласился и быстро написал решение.

Вадим Артемьевич несколько раз внимательно перечитал его, старательно очистил перо, нехотя обмакнул его в чернила и, вздохнув, вывел жирную подпись.

— Что это вы так тяжело вздыхаете? — спросил я.

— Нелегко подписываться под несправедливостью,— ответил он.

Это меня удивило.

— Зачем же ты подписался, если сомневаешься?

Ухорин усмехнулся.

— Ведь ты же, Семен Кузьмич, тоже сомневаешься. И тоже подписался под ним, и не только подписался, но и сам сочинил это решение.

Меня взорвало.

— Что ты этим хочешь сказать? — резко спросил я.

— Сомневаешься — не торопись делать выводы,— спокойно ответил Вадим Артемьевич и, помолчав, добавил: — Мне кажется решение неверным. По-вашему, выходит, что волка убить так же легко, как курицу. Да если бы у него на лапе не было капкана, разве бы его убили?! Волк — хитрый и осторожный зверь, недаром на него облавой ходят.

— Если бы волка не убили из ружья, он все равно бы ушел, отгрыз лапу и ушел,— веско заявил заседатель Ефимов.

— Конечно, ушел бы,— охотно согласился с ним Ухорин.

— Чего же ты хочешь, наконец? — спросил я.

Вадим Артемьевич сказал, что он ничего не хочет, и ему совершенно наплевать на этого волка, но справедливость требует, чтобы шкуру и премию поделить между охотниками поровну.

Мы еще немного поспорили с ним, но уже для вида, из самолюбия. Неопровержимая логика Ухорина была очевидна.

Когда я заново переписал решение и огласил его в зале судебных заседаний, охотники дружно сказали: «Спасибо, гражданин судья». Другого решения они и не ожидали. В таких делах они разбираются лучше всех судей, вместе взятых.

В другом гражданском деле Ухорин помог мне не только избежать грубой юридической ошибки, но и раскрыть гнусное преступление.

В одном селе мальчуган, роясь в яме, нашел крохотное золотое колечко. Это колечко у него мгновенно отобрала старшая сестра. Односельчанка Букреева заявила, что это ее обручальное кольцо, и вырвала его у бедной девушки чуть ли не с пальцем. На этом она не успокоилась и подала в суд заявление с требованием взыскать с семьи этой девушки все вещи, которые якобы выкопал их дед во время войны из ямы. Иск был предъявлен на пять тысяч рублей, куда входили не только колечко, но и золотые серьги, костюм, два пальто, разное белье и даже швейная машина. В свидетели она пригласила свою соседку, которая видела, как дед разрывал ночью яму.

На суде было установлено, что действительно у Букреевой были похищены из ямы вещи, однако ни у кого из односельчан не падало подозрения на эту семью. Свидетельница Букреевой клялась всеми святыми, что она сама видела, как дед темной ночью разрывал яму, а когда попыталась его пристыдить, он ей пригрозил, что если она пикнет, то он сразу же ее укокошит. Допросить деда, выражаясь языком юристов, не представлялось возможным, так как он второй год отдыхал на кладбище. Сын старика-преступника клялся, что его отец не мог пойти на такое страшное дело, так как был слишком набожен. Свидетельница утверждала обратное и даже перечислила по пальцам все вещи, взятые из ямы. Нервозность, с которой она клялась и божилась, насторожила Вадима Артемьевича. Он посоветовал мне: дело, на время, отложить и послать к свидетельнице милиционера с обыском, потому что, как он выразился, «эта баба слишком подозрительно икру мечет». Обыск дал самый неожиданный результат: были найдены золотые серьги и детское пикейное одеяло. «Баба» сознались во всем: и в том, что сама вырыла эти вещи, и что почти все их продала, и что все время ждала случая, чтобы свалить свое преступление на кого-нибудь, так как, по ее словам, этот грех не давал ей покоя, и она, пять лет подряд, каждый день ждала ареста, а по ночам ее мучили кошмары.

Ее судили за хищение, и за дачу ложных показаний, и за клевету на безвинного человека. Судила ее выездная сессия показательно, в родном селе, и приговорила к пяти годам лишения свободы. Народ приветствовал это наказание аплодисментами.

Справедливости ради, надо отметить и то, что половина заседателей не любит нашу работу, и в суд их приходится вытаскивать чуть ли не с милиционером. Вадим Артемьевич всегда готов — в любое время слушать любое дело. Если я его не вызываю неделю, он идет в сельсовет и напоминает мне по телефону.

— Семен Кузьмич, вы меня не забыли?

— Никак нет, Вадим Артемьевич. Только что думал о тебе.

— Значит, мне завтра приходить?

— Обязательно.

Я очень хорошо понимаю столь нетерпеливое рвение Ухорина к правосудию. Вероятно, он сидит без куска хлеба. В суде же он за день работы получит

десять рублей, купит в магазине четыре буханки хлеба и неделю как-нибудь протянет.

Вадим Артемьевич одинок и беден, как крот. В колхозе Ухорин числится общественным казначеем. Я очень смутно представляю, что это за должность, за которую он получает тридцать рублей в месяц. Поэтому на работу в суде он смотрит как на свой основной заработок и дорожит ею. Жена и дети ему не помогают. Правда, раза два в год, по большим праздникам: 7 ноября и 1 Мая он навещает их и гостит в городе дня по три. Возвращается он домой с какой-нибудь обновкой: это или сатиновая рубашка с галстучком, или дешевые ботинки на резиновом ходу, или просто пара нижнего белья. По его рассказам, были и дорогие подарки. Как раз перед войной жена ему купила совершенно новое бобриковое пальто. Поэтому в районе никто с таким нетерпением не ждет революционных праздников, как бедный Вадим Артемьевич.

Чтоб как-то облегчить существование Ухорина, да и ради пользы дела, я добился утверждения Вадима Артемьевича моим четвертым заместителем.

Заместитель — тот же заседатель, но в мое отсутствие он пользуется всеми правами народного судьи, включая зарплату, и не несет никакой ответственности. Во всем и всегда виноват судья, даже если никакой нет его вины. Если во время моей болезни заместитель вынес явно противозаконное решение, берут за воротник судью... И весь год на совещаниях и в приказах кричат и подчеркивают, что судья Бузыкин пустил на самотек учебу и воспитательную работу среди заседателей. Может быть, они и правы. Только мои заседатели и заместители ужасно не любят учиться.

У меня еще три заместителя: директор промкомбината Родион Алексеев, завсберкассой Авенир Темкин и бухгалтер конторы «Заготживсырье» Иван Михайлович Иришин. Люди они разные, по-своему любопытны, но ни один из них не пригоден для этой работы. Райисполком, утверждая их заместителями, вероятно, руководствовался их общественным положением и совершенно не считался с их способностями и желаниями.

Иван Михайлович Иришин — сама неподкупная совесть и честность. Но если он сам хромает на одну ногу, то его грамотность — на обе. Он пишет: «Евонная корова слизала языком с телеграфного столба известку от евтого корова околела потому что евта известка была ядовитая». Порой у него встречаются такие словечки, до смысла которых не докопается ни один лингвист, а знаков препинания он вообще не признает. Но и это полбеды. Иван Михайлович бесконечно добр, жалостлив и всегда с большой неохотой садится за судебный стол. И все равно он лучше других.

Родион Алексеев вообще презирает юристов и считает для себя незаслуженным оскорблением замещать какого-то судью-молокососа. Зато совершенно другого мнения на этот счет Авенир Агеевич Темкин. Его хлебом не корми, только дай посудить. Он всегда с радостью готов меня замещать и ждет не дождется, чтоб я куда-нибудь уехал: в отпуск, на учебу, неважно куда, лишь бы уехал или просто заболел. В Узоре многие желают мне смерти. Но если б я вдруг внезапно умер, то никто так не радовался бы, как Авенир Агеевич.

Надеясь со временем стать моим преемником, Темкин думает поступить на заочное отделение юридического института и прилежно зубрит Уголовный кодекс. Когда я ему заметил, что при поступлении в институт будут проверять его знания в объеме десятилетки, а заучивать наизусть статьи — тупое и ненужное занятие, он ухмыльнулся и сказал:

— Это очень я люблю.

Я не мог удержаться от смеха. Вспомнился вечер 8 Марта, который мы проводили с Темкиным в компании учителей. Авенир Агеевич сидел неподалеку от меня с пышнотелой директрисой школы, гладил под столом ее сдобное колено и громко шептал на ухо:

— Это очень я люблю.

С самого начала отношение у меня к Темкину настороженное, а доверие очень посредственное. А после того, как он, замещая меня, вынес явно необоснованный оправдательный приговор, я стал сомневаться в его честности.

Я понимал, что мои заместители — слишком заметная и неудобная прореха на суде. И надо было ее как-то штопать. Моей мечтой было иметь

заместителей неподкупных, честных и умиых. Хотя честность и ум — понятия слишком растяжимые и спорные, а в вопросах правосудия — особенно. Самый честный и умный судья способен вынести более бесчеловечный приговор, нежели судья глупый и недобросовестный.

Решил я вывести из состава заместителей Алексеева и Темкина, а вместо них ввести Юлина и Ухорина. Стал ходатайствовать перед райисполкомом.

— Да ты рехнулся, что ли, Бузыкин... Пьяницу Юлина в судьи?! — возмутился Шилов.

Я попытался оправдаться известной пословицей: «Пьян да ума два угодия в нем». Но ничего не вышло. Кандидатура Юлина была отвергнута немедленно и безоговорочно. Что касается Ухорина, председатель райисполкома недоуменно пожал плечами и сказал, что я разбираюсь в людях, как его боров в ананасах. Я стал горячо доказывать, что это очень умный и толковый заседатель. Сергей Яковлевич перебил меня.

— Да знаем мы, знаем. У него есть ум, но у него нет воли. А ум без воли — ничто. Был у нас он председателем сельсовета и секретарем парторганизации, и даже библиотекарем. Ничего не вышло. Он способен только пространно размышлять и советовать. Ну какой же это начальник, который только способен советовать?

Но я все-таки настоял на своем. И как же мне после пришлось пожалеть, что не прислушался к разумным словам Сергея Яковлевича!

Меня вызвали на совещание в область. Я там пробыл три дня. В это время судил Вадим Артемьевич. Когда я вернулся и стал проверять работу своего желанного заместителя, то меня прошиб холодный пот. По всем делам были вынесены противозаконные и абсурдные решения.

— Как же это так получилось-то? — спросил я Вадима Артемьевича.

— Заседатели изнасиловали,— пожаловался он.— Такие строптивые попались заседатели, что не приведи бог. Я им толкую, что надо решать так, а они все нарочно наоборот. А что мне оставалось делать? Как ни вертись, двое против одного. Сам вижу, что решение противозаконное, глупое, а подписываюсь. Плачу и подписываюсь,— помолчав с грустью добавил: — Очень я не авторитетный человек. Ты уж, Семен Кузьмич, больше не оставлий менн одного.

Мне ничего не оставалось, как просить прокурора все эти дела опротестовать на предмет их отмены. Что он и сделал с превеликим удовольствием.

ЛЕТО 1950 ГОДА

Для большинства закон и суд — нечто абстрактное, запретное и грубое. Для меня — это неуютная большая комната, называемая залом судебных заседаний, с четырьмя рядами широких скамеек, деревянная клетка для подсудимого, длинный стол под зеленым сукном, пухлые или тощие дела в синих и серых папках, кодексы, справочники, инструкции, циркуляры и бесчисленное множество бумаг, официальных и неофициальных, слезливых и кляузных, нужных и ненужных.

Они отнимают все мое время, плюют в душу, сушат мозг, отравляют кровь и доводят до того, что сам перестаешь себя узнавать. Не прошло и года, а какая-то частица моей души, причем лучшая частица, пропала; или она затерялась среди бумажного хлама, или секретарь суда подшил ее в какую-нибудь скучную папку и положил в архивный шкаф на съедение мышам. Где же вы светлые мечты о высоком долге и ответственности? Я давал клятву любить тебя, человек, уважать и со священной осторожностью посягать на твою свободу. Еще на студенческой скамье я, как идолу, поклонялся этой пресловутой затасканной юристами формуле: «Лучше оправдать сто виновных, чем осудить одного невиновного». Как я мучился и переживал, когда в первый раз лишил человека самого дорогого — свободы. А что, если он не виноват? От этой мысли я вскакивал в глухую полночь и вытирал со лба холодный пот.

Не прошло и года, я стал автоматом. Осудив человека на пятнадцать лет, я моментально о нем забываю, с аппетитом ем, с удовольствием пью и засыпаю

крепким сном, с сознанием, что сегодня я много и плодотворно потрудился на пользу Отечества.

Теперь я автомат, холодный, разумный и расчетливый. Человек вместо высшего таинственного, хрупкого существа стал для меня субъектом преступления, а все вокруг: вещи, предметы, вода, воздух, земля, мысли, любовь, все материальное и неосязаемое, весь мир — объект преступления. Почему же это так получилось? Неужели я утратил свое «я»? От этой мысли мне становится жутко.

Позавчера я организовал выездную сессию суда в Макарьевский сельсовет. Вы, наверное, думаете, что для этого мне специально по заказу подали машину, и я погрузился в нее с заседателями, прокурором, адвокатом, экспертами и прочими участниками процесса. Ничего подобного. Я засунул в портфель три тощие синие папки и сказал своему секретарю — Тонечке Пищулиной: «Идем». И мы пошли.

По большаку до Макарьева километров пятнадцать. Мы же двинулись напрямик тропинкой. Утро было ясное, тихое, прохладное, с обильной росой. Солнце еще не жгло, оно тепло и приветливо улыбалось нам с бездонно прозрачного неба. Река, отшумев, убралась в узкое каменистое русло и спокойно текла, мягко покачивая прибрежный камыш, звонко клокотала на перекатах. Над густыми зарослями березняка, свистя и хоркая, тянули вальдшнепы: с противным пронзительным криком, как настеганный, носился чибис.

Но уже чувствовалось, что весна догуливает свои последние денъки, а на смену ей идет лето: душное, пыльное, с роями мух и назойливыми слепнями, с полуденной сонной истомой, соленым потом, с горячим дыханием ветров, бурными грозовыми дождями и изнурительными полевыми работами.

Влажная упругая тропинка вела вдоль берега, крутого и обрывистого. Над водой клубился пар, словно ее подогревали. От берегов стремительно шмыгали ельцы, узкие и темные, как тени, на быстринах плескались язи, а в густых зарослях осоки, как камень, бултыхнулся лещ.

Тропинка свернула в сторону, и мы, перейдя по бревнам крошечное болотце с протухшей ржавой водицей, вышли на широкий низинный луг с редкими приземистыми кустами ольшаника. Свежий, сочный, изумрудный, он цвел вовсю: блестел и переливался миллиардами радужных искр и выдыхал легко и обильно ни с чем не сравнимый аромат.

И я задрожал, как от озноба. Моя иссохшая канцелярская душа встрепенулась, и я чуть не задохнулся от радости. Свершилось чудо! Оно — это тонкое, едва уловимое «я» внезапно вернулось, и мне захотелось кричать и плакать. И я бы закричал и навзрыд заплакал от счастья, если бы не было рядом секретаря, упал бы в траву, жадно бы обхватил ее руками и иступленно целовал бы эту благодатную сырую землю, дающую нам все: и жизнь, и силу, и счастье, и любовь. В одну минуту я забыл все прежнее. И мне стало легче и привольнее, чем птице. Я мог свободно дышать, чувствовать и наслаждаться. Теперь я обладал всем! Все, что окружало меня, было мое: солнце — только для меня, и этот веселый пестрый луг существовал, чтобы услаждать и радовать мое «н».

Удивительно тонкая, капризная и чудесная штукенция собственное «я». И как несчастны и бедны люди, которые ради солидных постов, высоких окладов, ради всей этой внешней шелухи подавили в себе свое «я», то, что способно чувствовать, понимать и находить смысл и радость жизни в самом простом и обычном: и в этом заболоченном лугу, и в кривоствольной чахлой березке, и в стройной гордой сосне, и в полевом лиловом колокольчике, и в этой светлой игривой речонке с нелепым названием Разливайка.

Вернувшееся «я» не покидало меня весь день. Наоборот, оно росло, крепло и, наконец, я полностью стал самим собой — человеком, умеющим чувствовать, страдать, а также уважать чувства и страдания других.

Когда мы пришли в Макарьево, около сельсовета стояла толпа празднично одетых колхозников. Я подумал, что, видимо, как раз попал на религиозный праздник. Но, оказывается, все они пришли послушать, как будут судить двух вдов — Машку и Наташку, подравшихся из-за жениха Ваньки Веселова.

Помещение для суда было заранее подготовлено, заседатели давно уже дожидались меня, и я, не мешкая, в каком-то приподнятом веселом настроении открыл заседание и объявил, что слушается дело по обвинению Марии Петровны Петровой в нанесении побоев на почве ревности гражданке Комаровой Наталье Ильиничне. В избе, словно ветер, зашелестел смех и несколько рук вытолкнули к столу Машку с Наташкой. Молодые складные вдовушки, одна в ярко-красной кофте, другая в розовой, как вечерняя заря, в одинаковых черных широких юбках и аккуратных хромовых сапожках, они походили друг на друга, как танцовщицы из русского хора. Только одна была слишком полна и пухла, другая же не толста и не тонка, а так... в меру фигуриста. Они стояли передо мной, стыдливо прикрывая лица платками. У пышной видны были только яркие жадные губы, у фигуристой — два черных настороженных глаза.

— Мария Петрова кто будет? — спросил я.

— Вон та, левая,— подсказал мне заседатель.

— Займите место на скамье подсудимых, Петрова,— нарочито строго, чтобы сдержать улыбку, приказал я.

Подсудимой оказалась толстушка. Она села на узенькую скамейку, съежилась, подобрала под себя ноги.

— Потерпевшая, Наталья Комаровв, какие у вас будут ходатайства перед судом?

Фигуристая в розовой кофте женщина отрицательно покачала головой и села рядом с Петровой.

Я хотел сказать, что она только потерпевшая и на скамье подсудимых ей не место, но подумав, решил: пусть сидит рядом.

— Свидетель, Иван Веселов, здесь?

Мой вопрос был встречен дружным хохотом. Подсудимая вскочила, взмахнула платком и, блестя полными слез глазами, закричала:

— Нетути больше Ваньки-то, гражданин судья. Ванька-то наш на машину, и аля ту-ту, поехали.

— Как «ту-ту»? Куда? Зачем? — растерянно пробормотал я, ошарашенный решительным напором подсудимой.

— А кто его знает, куды. Известное дело, от суда, от сраму сбежал.

И тут вскочила потерпевшая. Все у нее тряслось: и кофта, и руки, и губы, и голос.

— Врет она, гражданин судья. От нее сбежал, замучила парня.

Подсудимая подбоченилась, топнула ногой.

— Как бы не так, от меня. Да спроси у кого хошь, кто ж от такой сласти побежит.

Потерпевшая Наташка Комарова оглядела ее с ног до головы и презрительно плюнула.

— Квашня.

— Головешка черномазая.

— Свинья кособрюхая.

— Шкилет сухоребрый.

Они принялись поносить и честить друг друга с изумительной изобретательностью русского человека на словечки и прозвища. Потом они мгновенно изготовились к бою и, конечно, вцепились бы друг другу в волосы, но я пригрозил им штрафом за недостойное поведение в суде. Они притихли, закрылись платками и уселись на скамейку. И так каждый раз: когда их темперамент начинал хлестать через край, я напоминал им о штрафе, и это действовало, как ушат ледяной воды.

— Гражданка Петрова,— обратился я к подсудимой,— вы признаете себя виновной в том, что нанесли телесные побои своей соседке?

Подсудимая изумленно всплеснула руками и нараспев протянула:

— Царица небесная, ну и бессовестная. Она же первой начала таскаться. Поглядь-ка, товарищ судья, как она, Наташка, двинула холодным сапогом под это место. До сих пор синё,— она схватилась за юбку, чтобы показать, где у нее синё, но я поспешил остановить, сказав, что суд ей и так на слово верит. Моя снисходительность к подсудимой больно задела потерпевшую. Она опять вся затряслась и, глотая слезы, бессвязно залепетала с упорным желанием выдавить у суда жалость.

— Не я зачала таскаться. Она сама первая, гражданин судья. Я и не думала ее ударить. А если так и получилось, то не нарочно, а случайно. Разве я не знаю, что за такие дела можно срок получить.

Подсудимая злорадно заулыбалась.

— Ха, случайно! Знаем мы, как за случайно бьют отчаянно. Вот они доказательства: тут,— она похлопала по бедру,— да еще и тути,— и, порывшись в лифчике, вытащила крохотную бумажку и помахала ею перед носом соперницы.— Вот она, справочка от доктора. Мы тоже не пальцем деланы и законы знаем. Так что, вместе чудили, вместе и клопов давить будем, моя милая Наташенька.

Наташенька, сверкая глазами, злобно процедила сквозь зубы:

— Суд еще посмотрит, чей козырь старше,— и вытащила из-за пазухи горсть волос и изорванную в клочья кофту.— А еще она, гражданин судья, повалила меня на землю, топтала ногами, царапалась и все старалась задушить. Поглядите, как она своими граблями разуделала мне шею. А груди так болят, что и дохнуть нет никакой возможности. Так вот, дорогая Машенька, суд знает, кому больше давать.

По всему выходило, выражаясь словами Наташки, «давать» надо было обеим. Хоть и так было ясно, но вопрос, из-за чего произошла драка, как зуд, защекотал мне язык. И я задал его. Да простят потерпевшая с подсудимой мне молодость и шаловливое любопытство.

Мария Петрова нехотя поднялась и, не поднимая глаз, тихо ответила:

— Из-за Ваньки Веселова.

— А кто он?

— Шофер здешнего леспромхоза.

— Что у вас с ним было?

— Любовь. Он обещал жениться на мне.

— Вам он тоже обещал? — спросил я потерпевшую.

Она кивнула головой и всхлипнула:

— Обещал, и даже раньше, чем Машке. А потом она его запутала. Парень-то он уж больно слабохарактерный, гражданин судья.

— Ничего себе слабохарактерный. А прижмет так, что пуговицы с лифчика, как горох, посыплятся,— возразила подсудимая, и сельсовет задрожал от хохота.

Я сделал от имени суда строгое предупреждение подсудимой и опять обратился к потерпевшей.

— И вы знали, что он одновременно и к ней и к вам ходит?

Она удивленно посмотрела на меня и улыбнулась.

— Так об этом все знали, гражданин судья.

— И вы все-таки продолжали любить его и надеяться?

— Что делать, гражданин судья. Я ведь человек-то живой,— и тяжело вздохнула.

В ее откровенно простодушном признании было столько еще нерасплесканной страсти, искренней, неподдельной любви и безысходной тоски по своему маленькому счастью, что я вздрогнул и невольно взглянул на подсудимую. Ее лицо выражало то же самое. Мне стыдно стало и за себя, и за свои неумные пошлые вопросы, да и за весь этот суд, который ничего не мог принести, кроме горечи, обиды и незаслуженного оскорбления.

Суд предложил им покончить дело миром. Они упали друг другу на грудь, громко расплакались и, обнявшись, вышли на улицу.

— Неразлучные подруги были,— после длительного молчания сказал кто-то.

— Помирятся. Теперь им делить нечего,— добавил другой.

— А бабоньки-то они славные: добрые, старательные. А вот, видишь, как их судьба-то обошла,— сказал мой заседатель и щелкнул языком,— судьба-злодейка.

А бородатый старик, сидевший в углу около печки, глухим басом авторитетно изрек:

— Во всем виновата эта война распроклятущая. У меня тоже сноха с тремя ребятенками мается.

По второму делу мне тоже удалось заключить счастливый мир. Это дело было одновременно и бракоразводное и алиментное.

Гражданка села Озерки Зинаида Олеговна Хотелова подала в суд заявление о расторжении брака с мужем, гражданином Хотеловым Степаном Григорьевичем, и о взыскании алиментов на содержание малолетнего сына Тимура Степановича. Когда я зачитал длинное и грузное заявление иска, к столу протиснулись стороны: Он, Она и их неопровержимое доказательство — Оно. Я взглянул и ахнул от изумления. Ответчику, то есть мужу, Степану Григорьевичу, еще было бы незазорно и по яблоки лазать, а истице — прыгать через веревочку. Так они молодо выглядели. Между ними стоял, держась за батькин карман, краснощекий карапуз в немыслимом по размерам колпаке, а на шее у него висела, как огромная медаль, желтая клеенчатая слюнявка.

Несмотря на свою молодость, супруги были очень серьезны. Видимо, они сознавали важность, ответственность своей затеи.

— Сколько же вам лет? — спросил я.

Степан Григорьевич не торопился с ответом. Придав лицу деловое и озабоченное выражение, то есть наморщив лоб, опустив углы губ и нарочно солидно растягивая слова, ответил:

— Мне, товарищ судья, скоро будет девятнадцать. Зинаиде Олеговне, жене моей, недавно исполнилось совершеннолетие. А сыну нашему Тимуру Степановичу — два года,— он нагнулся, вытер ладонью Тимуру Степановичу нос.

— И когда же вы успели обзавестись наследством? — удивленно спросил я.

— То есть вы, гражданин судья, имеете в виду нашего Тимура? — не теряя степенства, переспросил Степан Григорьевич и пояснил: — Мы только как месяц назад в сельсовете сочетались законным браком. А до этого существовали в незаконном браке.

— Ну вот, не успели расписаться, а уже разводитесь. Куда же это годится, Степан Григорьевич? Ведь это же очень нехорошо,— заметил я.

Степан Григорьевич покачал головой и, как старичок, сокрушенно вздохнул:

— Она очень молода, гражданин судья. Я так думаю, и глупа поэтому.

Истица фыркнула в нос и, рассекая ладонью воздух, категорически заявила:

— Пусть я буду самая распоследняя дура. А все равно с тобой жить не буду.

— Это почему же? — спросил я.

— Дерется он, как самый последний мужик. А еще десятилетку закончил.

Степан Григорьевич свою роль разумного хозяина и строгого мужа вел с уморительной солидностью. Зинаида Олеговна изображала глубоко оскорбленную в своих лучших чувствах супругу. А суд походил на спектакль, в котором дети с комической серьезностью разыгрывали для взрослых семейную драму.

— Я, гражданин судья, не дрался. Потому что драться с женщинами — не мужское занятие. А учил я ее уму-разуму,— степенно рассуждал ответчик.

Когда я спросил у него, в чем выражалось его учение, он пояснил так:

— Пришел я это, товарищ судья, со службы домой. А служу я в лесничестве, при бухгалтерии состою. Пришел я домой и вижу, простите за грубое слово, полный хаос, дверь раскрыта настежь, изба полна кур, собака позволяет себе спать на нашей новой с пружинным матрасом кровати. Тимур сидит под столом, плачет и весь запачкан, извиняюсь за некультурное выражение, собственным поносом. Перво-наперво я ликвидировал этот хаос, а потом пошел разыскивать жену. А вы знаете, где я ее нашел? На самом краю деревни у ее незамужней подружки Лидки Хреновой. А чем они занимались?.. Срам сказать. Отплясывали под патефон танцы с фокстротами. Дело ли это, товарищ судья, для замужней женщины? Я так думаю, что не дело. И это было не в первый, а в третий раз. В первый раз я ее просто предупредил, потом предупредил крепко, а в третий раз взял за волосы и провел по улице до самого дома.

Она выла, как зарезанная, и, конечно, нарочно притворялась, потому что, между прочим, я ее не таскал, а только слегка держал за волосы. И вот видите, вместо того, чтобы извлечь из моего урока для себя пользу, она затеяла этот скандальный суд. Так что, товарищи судьи, я категорически против развода.

— Чтобы ты, Степа, ни говорил, но после такого сраму я с тобой жить не буду. Разводите нас, гражданин судья, по всем законам,— капризно потребовала истица и поджала губы.

Я усмехнулся.

— А не лучше ли помириться, Зинаида Олеговна?

— Ни за что и никогда! — запальчиво выкрикнула Зинаида Олеговна и, смахнув с ресниц слезу, добавила: — Я вся оскорблена и обесчещена.

Однако разводить мне их не хотелось. Да и все, кто присутствовал на суде, не хотели этого и, конечно, больше всех Тимур. Он уже побывал на руках у отца, потом перебрался к матери, хватал ее за нос, теребил волосы, а она поминутно целовала его и гладила.

Примирение — дело не из легких. Как правило, уже разведенные супруги мирятся дома. В суде же почти никогда.

Я рисовал истице ужасы одиночества, запугивал трудностями, стыдил, уговаривал, просил. Меня активно поддерживали заседатели, а потом начали уговаривать, стыдить и убеждать зрители. И Зинаида Олеговна стала помаленьку сдаваться. Она еще продолжала негодовать и страдать, что женская гордость ее погублена, душа оплевана и чувства растоптаны грубым мужским сапогом. Но гнев и страдание теперь звучали как награда своему самолюбию. Она находила в них облегчение, и радость, и наслаждение. И наконец, она, счастливая и румяная, как кукла, с притворной милостью согласилась на примирение. И все, кто был в сельсовете, радовались. А я больше всех. И не только потому, что мне удалось помирить эту наивную смешную супружескую пару, а еще потому, что разбуженное природой «я» помогло мне сделать что-то большое и доброе.

Когда мы с секретарем возвращались из Макарьева в Узор, то опять повстречали чету Хотеловых. Они выходили из лавочки сельпо. Степан Григорьевич согнулся под тяжестью покупок. Одной рукой он придерживал на плече железное корыто, в котором громыхали два больших чугуна, ведро и стиральная доска. Другой рукой он нес банку с керосином, а на шее болтался допотопный фонарь «летучая мышь», который можно еще найти в наших далеких глухих деревушках. Зинаида Олеговна несла крохотный узелок в белом платочке и тащила за руку Тимура. Он волочил ноги и грыз серый и твердый, как кусок штукатурки, пряник. Они прошли мимо, даже не взглянув на меня, а может быть, просто не заметили. Я же долго смотрел им вслед, улыбался и думал: «А все-таки, наверное, хорошая, черт возьми, эта штука мир!»

КАМПАНИИ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ

Минул год, прошла зима, и вот опять изумрудный веселый май. В моей жизни — ни перемен, ни особых событий. Были кое-какие истории, но я о них лучше умолчу.

В Узоре я теперь свой человек. Судью знают везде, в самых дальних и глухих углах, куда почта через три дня на пятый приходит. Все знают, не боятся, с охотой принимают и сажают за стол.

Заслуженная эта слава, случайная ли — трудно сказать, но повинен в ней один лишь райком. Я у него и агитатор, и пропагандист, и доверенный член, и представитель, и постоянный уполномоченный по всем видам кампаний и заготовок.

В году кампаний проходит много и разных. И не было таких, в которых бы я не участвовал. Все кампании можно подразделить на легкие и тяжелые, веселые, скучные и даже смешные. Весенняя посевная кампания всегда у меня вызывает холодный озноб. Кампания по сбору подписей под каким-нибудь воззванием за Мир — отрадная, веселая и радостная. А вот собирать яйца с шерстью с колхозников, у которых ни овец, ни кур, прямо скажу, и смешно, и грешно. Но самая скучная и безотрадная — это кампания по ликвидации яловости скота.

Кроме того, все кампании еще можно подразделить на нужные и ненужные, на выполнимые, трудно выполнимые и совсем не выполнимые. Как правило, все кампании в подготовительной стадии выполнимы, потом уже они становятся трудно выполнимыми, а под конец и совсем не выполняются. Но все они бледнеют перед кампанией по распространению очередного займа. Прямо можно утверждать: кто участия в подписке на заем не принимал, тот и горя не видал.

Мне ежегодно приходится проводить эту кампанию в качестве ответственного уполномоченного по Любятинскому сельсовету. Теперь я к этому делу привык, приобрел опыт и закалился. А в первый раз мне это дело показалось диким.

В середине мая, часа за два до объявления по радио сообщения о займе, наша комиссия: Ольга Андреевна Чекулаева, завсобесом Юлин, старшина милиции Кодыков и я прибыли в Любятино. Там нас ожидала своя комиссия: председатель сельсовета, его секретарь, избач, председатели колхозов, учителя и еще кто-то из местной интеллигенции. Мы объединились, сформировали десять боевых троек. Ольга Андреевна была назначена начальником штаба, а я с Кодыковым — ее помощниками. Мы должны были координировать действия ударных троек, поддерживать постоянную связь с райкомом и вести обработку нерадивых и упорных подписчиков. Разработав операцию и уяснив задачу, мы стали ждать команду из райкома.

Настроение было у всех боевое, как у штрафников перед штурмом неприступного дота.

В час дня раздался телефонный звонок, и команда: «Начинай». И мы начали с атаки на председателей колхозов. Они сопротивлялись стойко и мужественно на сторублевом рубеже и только после часовой обработки уступили еще пятьдесят, и встали намертво, заявив: «Больше ни копейки». После этого ударные тройки пошли в наступление на колхозников. Я с Ольгой Андреевной остался в штабе ожидать донесений.

Из райкома звонили беспрерывно, требовали ускорить темпы подписки. У нас же, кроме полутора тысяч, ничего не было. А контрольная цифра подписки превышала эту сумму по крайней мере раз в двадцать. К концу дня райком довел ее до сорока тысяч.

Наконец наши утомительные и тревожные опасения за провал операции полностью оправдались. К вечеру явились наши тройки с трофеями. Они были очень скудны. Реальная сумма подписки не превысила и трети намеченной. Больше всех выколотил старшина Кодыков, и самую смехотворную сумму — сто двадцать пять рублей — завсобесом Юлин. Ему удалось подписать всего лишь пять человек. Ольга Андреевна передала сведения о трофеях в райком и получила нагоняй. Райком потребовал переиграть все заново. И отдал строгий приказ: без команды райкома из сельсовета не выезжать.

Эту команду мы ждали пять изнурительных кошмарных дней. За это время мы пять раз переподписывали председателей, измучили колхозников и сами измучились хуже них. Почти всех вызывали в сельсовет и, чтобы выжать каких-нибудь тридцать рублей, вели обработку всеми дозволенными и недозволенными способами: уговаривали, угрожали, стыдили, обещали. А что за подписчики?! С одних можно взять, да никак не взять. С других надо взять, да нечего.

Колхозница деревни Заклинье Алевтина Хорева, бездетная вдова, живет, как сыр в масле,— уперлась на ста рублях, и ни с места.

— Алевтина Сергеевна, и не совестно тебе? — стыдит ее Чекулаева.

— А какая мне печаль стыдиться? Что у меня, краденое, аль с облаков сыплется? — режет Хорева.

— Тебя не сравнить с Надеждой Головкиной. А ведь она подписалась на полтораста,— говорит Ольга Андреевна.

Хорева, подбоченясь, выставляет вперед груди.

— А что мне Головкина — указка? У нее своя голова на плечах, а у меня — своя. Пусть хоть на миллион подписывается. А я сказала «сто», и хошь



Рис. Н. Кустова

на полосы режьте — больше не дам. А не хотите, то как хотите. Это дело полюбовное. Вот мое последнее слово, и я пошла: у меня корова не доена.— Хорева, затянув концы платка, направляется к двери.

— Стой, Алевтина,— приказывает Кодыков.

Хорева останавливается и, прищурясь, смотрит на старшину.

— Ну, стою, может еще не дышать прикажешь?

— Вот тебе карандаш, а не хошь карандашом, бери мою ручку, заграничную, и поставь вот здесь собственную визу,— вежливо предлагает старшина и поигрывает своей немецкой трофейной ручкой.

— А сколько там?

— Двести.

Хорева поворачивается к нему спиной и хлопает себя по мягкому месту.

— На-ка вот, стукнись, да не ушибись!

Бесстыдная выходка Хоревой действует на нас, как плевок на раскаленное железо.

— Какая наглость! — шепчет Ольга Андреевна.

— Черт знает что,— возмущаюсь я.

Даже робкий Юлин подает голос

— А еще женщиной называется.

— Я не женщина! — кричит Алевтина.— Это там у вас в городе на высоких каблуках женщины. А я баба, лапотница темная, и хватит вам, культурным интеллигентам, из меня жилы тянуть.

Милиционер Кодыков, равнодушный и медлительный, привыкший ко всему, холодно смотрит на Хореву и тянет, не разжимая зубов:

— Понятно. Так и запишем. Алевтина Хорева, известная спекулянтка, недовольна советской властью.

Хорева мгновенно теряет развязность и спесь.

— Довольна, всем довольна, и властью, и партией, простите, пожалуйста, по глупости,— лепечет она.

Алевтина понимает, что дала маху, и теперь не знает, как поправить ошибку. Ее крупное скуластое лицо посерело, раздрябло, глаза налились слезами и всю ее колотит и трясет противной трусливой дрожью. А Кодыков, как приговор, кладет ей сухие колючие слова.

— Уходите, Хорева. Денег ваших нам не надо. Без них как-нибудь обойдется государство.

Алевтина, заикаясь, хнычет:

— Простите меня, ради бога.

— Хорева, хватит тут нам жалость распускать,— резко приказывает старшина.

Она уходит и через пять минут возвращается. Вид у нее — больной коровы. Глаза мутные, а губы трепыхаются, как тряпки.

— Ну что тебе еще? — спрашивает Кодыков.

— Хочу подписаться.

— Осознала?

Хорева радостно кивает головой и глотает слезы.

Но Кодыков не сразу соглашается: задумчиво постукивает карандашом, искоса посматривает на Алевтину, а потом обращается к нам.

— Да уж ладно,— машет рукой Ольга Андреевна и отворачивается к окну. У нее блестят глаза и дрожит подбородок. Она с огромным трудом сдерживает себя, чтоб не расхохотаться. Кодыков мгновенно меняет тон и становится изысканно любезным.

— Пожалуйста, Алевтина Сергеевна. Вот листок, карандаш, приложите свою нежную ручку.

— Сколько? — шепотом спрашивает Алевтина.

— Триста,— шепотом отвечает старшина.

— Так давеча было двести! — стонет Хорева.

— Ничего, Сергеевна, не обеднеешь. А выиграешь сто тысяч — еще нам спасибо скажешь,— успокаивает ее Кодыков и ласково поглаживает могучее плечо Алевтины. Она тяжко вздыхает и подписывается.

После ее ухода нас прорывает неудержимый хохот. Все довольны, радостны, счастливы. Триста рублей — редкая удача. Алевтину никому не жалко. Как выразился старшина, «эта спекулянтская гнида и всю бы тысячу выложила, если бы на нее покрепче нажать».

Елена Григорьевна Саликова долго и умело скрывалась от нас. Она жила в этом же селе, мы несколько раз заходили к ней и не заставали дома. Изба у нее большая, просторная, светлая, на редкость чистая и совершенно пустая. Из имущества: стол, накрытый старенькой штопаной-перештопаной салфеткой, венский хромой стул, несколько табуреток, вдоль стен длинные вымытые и выскобленные до блеска скамьи, железная узкая кровать, на которой, не вставая уже третий год, лежит старая мать Саликовой с толстыми, как бревна, ногами. Каждый раз, встречая нас, она хрипло, едва ворочая языком, выдыхала: «Истцы хочу» и напряженно смотрела на нас маленькими голодными глазами, глубоко запрятанными в темные ямы глазниц. Я подумал, что ее не кормят. Но мне пояснили, что старуха страдает водянкой и страшной прожорливостью. Секретарь сельсовета бегал к Саликовым по нескольку раз

в день и даже ночью. Но хозяйка где-то пряталвсь вместе с детьми. На третий день ее поймали рано утром, когда она доила козу. Коза, если не считать кур и кошки, была единственной живностью в хозяйстве.

Раньше Саликова получала пособие на детей за пропавшего без вести на фронте мужа. Но потом ей объявили, что муж ее жив, где-то далеко отбывает срок, и лишили пособия.

Саликова явилась в сельсовет с двумя девочками-однолетками. Светловолосые, с крохотными косичками, в голубых платьицах, в дешевых тапочках и белых носочках, девочки выглядели нарядно и улыбались. Их мать, темноволосая и смуглая, словно от загара, тоже улыбалась. Одета она была чисто, опрятно, но во все старенькое и по нескольку раз лицованное и перелицованное. Приятно и в то же время неудобно было на нее смотреть. Во всем: и в перешитом черном кашемировом платье, и в старомодных с высокой шнуровкой румынках, и в синем застиранном платочке проглядывала вопиющая бедность.

— Звали? Ну вот я и пришла,— сказала она звонко, весело, обнажив плотную белую полоску мелких зубов.

Кодыков, опустив голову и царапая ногтем стол, глухим голосом просипел:

— Надо бы на заем подписаться, Елена Григорьевна.

Елена Григорьевна, закинув голову, громко рассмеялась.

— И за этим вы меня звали?

— Ну хоть на пятьдесят рублей, Леночка,— умоляюще глядя на Саликову, сказала Чекулаева.

— В колхозе получишь что-нибудь... Продашь что-нибудь,— неуверенным голосом посоветовал Кодыков.

Она пристально и насмешливо посмотрела на Кодыкова.

— Ну и как у тебя, старшина, только язык поворачивается? Сам знаешь, что мы получаем в колхозе. А продавать мне теперь уж больше нечего. Чиста, как росинка. Разве что кто-нибудь детишек купит. Купите, товарищ судья?! — озоровато поводя глазами, обратилась она ко мне,— не хотите? Жаль. А девочки у меня хорошие, славные,— добавила она с легкой, но грустной улыбкой.

Сколько мы ее ни уговаривали, ни убеждали, сколько ни давали ей обещаний о помощи, она на все только улыбалась и говорила: «Нет, нет и нет». Наконец, видимо, все это ей надоело, и она предложила Кодыкову невероятное и страшное условие:

— Старшина, подари мне револьвер, и подпишусь,— серьезно заявила Саликова. И не дав нам опомниться от изумления, добавила вполголоса, словно доверяя свою задушевную тайну: — Уж очень мне жить тяжело.

Взяв девочек за руки, Елена Григорьевна пошла, но у двери остановилась, приказала девочкам идти домой, а сама вернулась, ни на кого не глядя, взяла подписной лист, поставила против своей фамилии двадцать пять рублей и, не сказав ни слова, ушла, чему-то грустно и мило улыбаясь.

К четвертому дню подписки мы выжали все, что только можно. А райком требовал: «Давай, давай, давай». И тогда мы бросились на последний «опорный пункт» — колхоз «Самодеятельность». Его мы берегли на крайний случай. Взять этот опорный пункт было одновременно и легко, и трудно. Колхоз «Самодеятельность», а проще — выселки Завал, затерялся в океане непроходимых болот. Дорог туда — никаких, ни зимой, ни летом. Зато народ там подписывается на заем с большим удовольствием и на любую сумму. По крайней мере, так меня уверял избач Костя Локотков.

О выселке Завал ходят самые невероятные легенды. Впрочем, некоторые из них достоверны. Так, колхоз «Самодеятельность» за все свое существование не дал государству ни горсти зерна, ни корзины картофеля.

Достоверно и то, что этот колхоз застыл на своей первоначальной форме коллективизации. Там раз и навсегда установилось добровольное и совместное товарищество по обработке земли. Пашут, сеют они сообща. А как подходит уборка, весь урожай, будь то рожь или картофель, председатель делит на полосы и командует: «Это — Дарья, а это — Марья, тебе». Если Марья с Дарьей не согласны, то спор решается жребием. Вот так заваловцы и живут, а соседние колхозы выполняют за них поставки и недоимки.

С председателем колхоза «Самодеятельность» я познакомился прошлой зимой, случайно.

Секретарь райкома свое обещание сдержал и назначил меня руководителем кружка по изучению краткой биографии Сталина в селе Любятино. Это доверие меня не очень обрадовало, но и не так уж огорчило. И раз в две-три недели я выезжал в Любятино. За что райком ставил меня в пример другим пропагандистам.

Обычно до Любятина я добирался попутным транспортом. И в тот день я пошел к чайной с надеждой поймать подводу из тех краев. Около чайной мерзла на морозе низкорослая лохматая лошаденка с пустой торбой на морде. В дровнях на плетенке валялся самотканый половик и стояла огромная банка с керосином. Сам хозяин — высокий старик, в длинном, до пят, тулупе — прямо у стойки пил водку. Сдвинутая на затылок великолепная ушанка из куницы и развеселые глуповатые глаза придавали ему вид отчаянного задиры. На мои вопросы: «Откуда?» и «Можно ли доехать до Любятина?» он зарокотал и засипел, как граммофонная труба:

— Айда, валяй, поехали...

Но, прежде чем мы сели и поехали, прошло немало времени, в течение которого он выпил неимоверное количество водки и скверного пива. После каждого выпитого стакана он, как веслами, взмахивал длинными руками и с чугунным гулом хлопал ими по полам тулупа.

— Валяй, цеди еще штукенцию,— и все норовил обнять буфетчицу. Та отмахивалась от него, как от овода, и, морщаясь, цедила стакан за стаканом. Он пил и беспрерывно сыпал пословицами с поговорками, переиначенными на свой лад: «Баба с возу — на душе легче», «Тише будешь — дальше едешь», «И на солнце бывают пьяные», «Топоры до времени» — вместо «до поры до времени...» Бог знает, сколько бы он еще выпил водки и исковеркал пословиц, если бы не кончились деньги. Он обшарил карманы и гулко хлопнул рукавами по тулупу: — Ну, тепереча все. Чист як агнец. Поехали.

Дорогой я узнал, что он — Петров, председатель «Самоделки», приезжал в район за инструкциями и керосином. Когда на его вопрос: «Кто ты?» — я назвался судьей, он уставился на меня, как на заморское чудо. С минуту подозрительно и тупо изучал меня, а потом громко, с помощью двух пальцев, высморкался и сказал:

— Ну и ну. Вот так дела,— засопел носом и вдруг, наклонившись, обдал меня густым сивушным перегаром: — Не люблю судей и всех прокуроров.

Столь прямое и резкое откровение меня почему-то покоробило. Я поднял воротник шубы и отвернулся. Как бы ни был пьян Петров, он все же сообразил, что обидел человека. И, чтобы сгладить свою вину, осторожно потянул меня за рукав.

— Слышь, судья... Ты не обижайся. У меня против вас вот тут в груди камень застрял. Ты слышь, меня судили. А за что? — и усмехаясь, закачал головой.— За честность... за совесть.

Но за что конкретно, я так и не мог понять. Видимо, и этот луженый желудок изнемог. Движения председателя стали ленивыми, язык с трудом выковыривал слова, голова дергалась, словно на шарнирах, и вдруг, громко икнув, Петров неуклюже повалился на бок.

Я взял выпавшие из его рук вожжи и стал погонять лошадь. Впрочем, даже этого и не требовалось. Лошадь сама великолепно знала дорогу и торопилась засветло в теплый хлев. Петров проспал всю дорогу. Его обросшее волосами лицо заиндевело, как намыленная мочалка. Когда мы подъезжали к Любятину, словно его кто пырнул в бок: он вскочил, смахнул с лица иней и, хлопнув рукавицами, подмигнул мне:

— Шкета бы раздавить! И тогда цены б нам не было. Айда в лавочку.

Я, конечно, отказался и вылез из дровней. Он гикнул, огрел вожжами лошадь и понесся к лавочке «давить шкета».

Когда в комиссии встал вопрос, кому идти в Завал проводить подписку, я первым вызвался, согласилась и Ольга Андреевна заодно провести там беседу о международном положении, а в качестве проводника нам выделили избача Костю Локоткова.

Из Любятина мы вышли с рассветом и добрались к вечеру, когда уже воздух потемнел и на небе меркли алые полосы заката, когда, словно стеклянные, сквозь чащу блестели болотные озерца, когда уже вовсю дребезжащими голосами пели лягушки и, как молодые ягнята, кричали бекасы. Еще не выйдя из леса, увидели темный с полукруглой вершиной холм, словно перевернутый гигантский ковш, и черные на нем, как бородавки, дома, четко рисовавшиеся на фоне зеленоватого неба.

Выселок Завал в семь дворов вылез на вершину холма. Стоит выше леса и насквозь продувается всеми ветрами. Он совершенно гол, ни одного деревца, ни куста, над крышами домов высились шесты скворечников с засохшими березовыми ветками. Дома низкие, в три окна, с темными крышами, обложенные со всех сторон высоченными поленницами березовых дров.

Встречать нас высыпало все население Завала, во главе с председателем. Наш визит, вероятно, был не слишком желательным и застал его врасплох. Петров стоял в черной дубленой женской шубе, наброшенной прямо на рубаху. Полы шубы едва касались колен. Когда мы подошли, он замахал руками и пророкотал:

— Пролетарский пламенный привет товарищам! — слово «товарищам» прозвучало как «щам», бабы кланялись, согнувшись пополам, а старики стащили шапки. Признаться, такое приветствие меня ошеломило. Но когда председатель с преувеличенной радостью бросился жать нам руки, я понял: Петров только что из винокурни. Так от него несло дымком, сивухой и луком. Председатель явно трусил: беспрерывно махал руками, как горох, сыпал слова. Говорил он обо всем, что взбредет в голову: о погоде, и о плохой дороге, не думая и не придавая этому никакого смысла, безжалостно ругал жизнь и расхваливал власть. Во время этого нелепого разговора он как-то незаметно щелкнул пальцами и жители стали торопливо расходиться. А Петров повел нас к себе ужинать. Дорогой он также размахивал руками, нервно суетился, как курица, которая никак не может снести яйцо.

Дом председателя состоял из кухни и чистой половины. В комнатах было душно. От полов и бревенчатых стен несло запахом мыла и веников. Чистая половина полностью оправдывала свое название и была довольно-таки шикарно для крестьянской избы обставлена. Дюжина с гнутыми спинками венских стульев, широкий диван, на который со стены спускался богатый ковер. На ковре висел великолепный «Сименс». В углу стоял громоздкий старомодный комод, а на нем — приемник «Родина».

Стол уже был накрыт к ужину. Петров сбросил с плеч шубу, снял резиновые сапоги. Сунул ноги в белые валенки, а поверх рубахи натянул теплый овчинный жилет и по-кержацки на два пробора расчесал волосы. В комнату вошла хозяйка с огромной сковородой, на которой шипела и потрескивала в сале картошка. Поставив на стол сковороду, она прижала руки к груди и низко поклонилась. Лицо у нее светилось, словно подмасленное, и желтая кожа на оголенных руках тоже блестела. Поклонившись, она переглянулась с мужем, сердито вскинула брови и, мгновенно опустив голову, вышла из горницы. Петров, глядя ей вслед, поскреб подбородок и жалобно протянул:

— М-да-а. Вишь ка-ак...— и, спохватившись, стал торопить нас садиться за стол. Он как-то сразу присмирел: не махал руками, двигался осторожно и неуверенно, и глаза его все время смотрели куда-то в сторону.

Хозяйка поставила на стол горшок с топленым молоком и протянула нараспев:

— Иште, гости дорогие, небось, дорогой проголодались. За харч уж извините. Разных городских закусок и разносолов не знаем, живем, как лешие на болотах, в грязи, да и в бедности потонули. Прости ты нас, матерь Божия,— скороговоркой проговорила хозяйка и перекрестилась. Стол был завален всевозможными солениями и жарениями: огурцы, грибы, с розовой прожилкой шпик, творог, обильно заправленный сметаной, жирная холодная баранина.

Ольга Андреевна усмехнулась и, прищурив глаза, спросила Петрова:

— Что же это ты, Андрей Петрович, к такой закуске горючего не подаешь? Неужто нет, аль жалеешь?

Петров даже вскочил, словно собрался бежать за горючим, но, встретив грозный взгляд супруги, сел, съежился и прохрипел:

— Не балуемся, Ольга Андреевна.

— Ой! — воскликнула Чекулаева,— давно ли?

— С рождества. Доктор запретил,— не поднимая глаз, ответила хозяйка и, подцепив с краями ложку творогу, отправила ее в рот и крепко, тыльной стороной руки вытерла губы.

— Жаль, очень жаль. С дороги бы неплохо,— притворно вздохнула Ольга Андреевна.

Петров мгновенно засиял, заулыбался и хотел было взмахнуть руками, но, взглянув на супругу, осекся и, втянув голову в плечи, прохрипел:

— Подлая язва желудок гложет.

Слушать этот разговор было странно и смешно. Всему району было известно, что выселок Завал — самогонный край. Сивуха здесь круглый год не выводится. Гонят здесь самогон все: молодые и старые, вдовые и женатые.

После ужина Петров пошел собирать народ на собрание. Избач залез на печку и мгновенно захрапел. Хозяйка занялась своими делами. Мы остались с Чекулаевой, разговорились, и она рассказала мне много любопытного о Завале, его обитателях и о самом председателе.

Никто из колхозников в районе так хорошо и привольно не живет, как заваловцы. Они природные торгаши — рыночники. Торгуют всеми дарами природы: грибами, орехами, рыбой и даже вениками. Ну и, конечно, картошкой и мясом.

Заваловцы поселились на стыке двух областей. Если для своей Н-ской области Завал благодаря непроходимым болотам недосягаем, то от соседней области его отделяет река Шаронь. И все экономические и культурные связи заваловцы ведут с соседней областью. Дары лесов и собственных огородов переправляются лодкой через Шаронь, потом три километра — тропинкой до железной дороги, а там — поездом до города рукой подать.

Освобожденные от забот и опеки государства, заваловцы живут в свое полное удовольствие и на все приказы и постановления райисполкома и облисполкома о переселении в близлежащее село Любятино отвечают: «Нужно это нам переселение, как зайцу семафор».

Председатель колхоза Петров по характеру — чистый ушкуйник. Он не боится ничего и никого, кроме своей жены. Было бы у него покрепче здоровье да помягче жена, он не побоялся бы выйти с топором на дорогу. Но дни Петрова сочтены. У него рак желудка. Глаза у Петрова мутно-лиловые, лицо пепельное, а изо рта несет гнилью. Он, по-видимому, это чувствует и берет от жизни все, что еще можно взять. Попойки с похабными песнями и драками — любимое занятие председателя. Он не стыдится избивать в кровь стариков и женщин. И сам нередко ходит в синяках. Это следы крепких, как гири, рук супруги, которая в два раза сильнее и злее мужа. Но о проделках председателя официально никому не известно. Заваловцы не любят выносить из избы сор. Петров командует колхозом, как старшина ротой. Но, несмотря на фельдфебельские приемы руководства и узурпаторство, народ его любит и пойдет за своим председателем в огонь и воду. Петров это знает и в свою очередь готов заложить за них голову, вместе со своей великолепной куньей шапкой.

Петров был на войне. Привез с фронта две медали, партбилет, ковер, «Сименс» и три огромных чемодана, набитых под коленку немецким барахлом. Ковер с ружьем висит на стене, медали хранятся в коробке под немецким барахлом на дне огромного, как ларь, сундука. Партбилет год назад по суду отобрали. Судили его за растрату общественных продуктов.

Как известно, сам бог освободил заваловцев от всех поставок и обязательств перед государством. За них все сдавали соседние колхозы. А это, по словам самого председателя, как червь точило его честную и добрую душу. Тогда он собрал с каждого дома по два килограмма сливочного масла и понес через болота в Узор на молокозавод. Однако масло у председателя не приняли: оно оказалось с душком. Что делать, не тащить же его в такую даль обратно. «Конечно, глупо тащить назад,— поразмыслил Петров и немедля отправился на рынок, а с рынка — прямым ходом в чайную, а из чайной его под руки

привели в милицию. Прокурор совершенно не обратил внимание на то, что масло было с «душком», важно то, что оно было колхозное. Получив семь лет лишения свободы, Петров и года не отбыл: отпустили на волю по состоянию здоровья, или, как выражается он сам, «сактировали». Вернувшись в Завал, Петров опять, против воли и желания районного начальства, стал председателем. Впрочем, больше и выбирать было некого.

Председатель вытащил на собрание все население Завала. Оно составило ровно девятнадцать человек: три старика, пять старух, восемь женщин полупреклонного возраста, сам председатель, парень лет двадцати, худосочный, с серым болезненным лицом, и плотная крупная дивчина. У нее было все красное: и платок, и грубая шерстяная кофта, и лицо, и губы, и даже веки глаз.

Петров выдвинул стол на середину комнаты и поставил три стула. Сам сел в середине, а по бокам посадил меня и Ольгу Андреевну. Поплевав на ладони, он пригладил волосы и, как палкой, постучал по столу пальцами, потом уткнулся в лежащий перед ним лист бумаги и резким хриплым голосом выкрикнул:

— Анисья Яичкина!

Ему никто не ответил.

— Анисья, ты чего молчишь? — грубо спросил председатель.— Встань и говори: «Здесь». И все, кого буду вычитывать, бойко вставать и говорить «здесь».

Анисья Яичкина встала и сказала: «Здесь».

Петров пристально, с ног до головы, оглядел ее и, видимо, остался недоволен.

— Что же это ты на собраньи, в чистой избе, перед товарищами из района в вонючей шубе развалилась? Поди на кухню и сними.

Анисья покорно встала и пошла на кухню снимать шубу, а Петров уткнулся в бумагу и выкрикнул:

— Степан Волконос.

Лохматый до бровей Волконос вскочил и гаркнул:

— Здесь, Андрей Петрович.

— Молодец,— похвалил его Петров и пояснил: — Наш передовик. Вы не глядите, что он так старо выглядит, это он от темноты и малограмотности не бреется. А так он мужик еще хоть куда. Степан, сколько у тебя трудодней?

Степан вскочил и гаркнул:

— Не могу знать, Андрей Петрович!

Председатель с притворным изумлением вскинул брови:

— Как же это ты не знаешь, сколько у тебя трудодней? — и сокрушенно покачал головой.— Вот она, наша русская темнота и малограмотность,— и обратился к супруге: — Подай-ка мне ведомость!

Хозяйка сходила на кухню, принесла лиловую папку с черными шнурками. Петров развязал шнурки и, прикрываясь от нас локтями, уткнулся носом и долго что-то выискивал в папке, а потом поднял вверх палец и торжественно произнес: «Сто пятьдесят два трудодня и двадцать пять соток».

Ольга Андреевна мне хитро подмигнула. Я понял, что это — липа. Никаких ведомостей и учета у него не ведется.

Петров продолжал перекличку. Когда все по очереди были опрошены и расхвалены, он спрятал лист в папку, завязал на шнурки и передал ее супруге. Потом встал, кашлянул в кулак и прохрипел:

— Всем слушать внимательно и не спать. Слово предоставляю товарищу из райкома Чекулаевой.

Ольга Андреевна — натура страстная и вспыльчивая. Она всей душой ненавидит подлость с несправедливостью, встречая их на каждом шагу, идет по жизни с высоко поднятой головой и презрительной усмешкой на губах. Она смотрит на все это, как на временное и неизбежное зло, как смотрят при строительстве дома на грязь и мусор. Она верит, что когда построят это чудесное здание — коммунизм, явятся дворники в белоснежных халатах и всю грязь и нечисть, подлость, зависть, тщеславие, ханжество, карьеризм — все они выметут, выбросят на свалку, сожгут или глубоко закопают в землю. Она

давно уже вся в будущем, и верит ему и поклоняется. Испытывая жалость к людям, она одновременно и презирает людей, за их неверие и равнодушие.

В районе ее считают чудаковатой энтузиасткой, живущей миром простодушных детских представлений. Она резко, прямо в глаза режет правду-матку, не взирая ни на чины, ни на должности. И это ей с улыбкой прощают, за что другой бы дорого поплатился. Не думаю, что это — скидка на ее наивность и женское существо. Скорее всего, Чекулаева для работников района — их утраченная совесть. То, что у карьеристов на дне души чуть-чуть шевелится, то у Ольги Андреевны бурлит и плещет через край. И это в какой-то степени мирит ее с нами.

В течение часа Ольга Андреевна говорила о трудностях послевоенного времени, о мужестве народа, преодолевающего эти трудности, красиво рисовала жизнь при коммунизме.

Потом началась подписка на заем. Заваловцы подписывались с шутками, прибаутками и с такой охотой, словно им денег девать было некуда. Петров, веселый, довольный, размахивал руками, хвастался:

— У меня чудо-народ. Скажи: «Степан Волконос, подписывайся на тыщу...», и подпишется. Подпишешься, Степан?

— Так точно, Андрей Петрович,— скаля зубы, гаркнул Степан.

Все это было так. Если бы Степану предложили подписаться на миллион, он бы не моргнув глазом подписался. Но подписался бы, и только. Не было случая, чтобы заваловцы когда-нибудь, не исключая и председателя, уплатили по займу хотя бы копейку. Когда Ольга Андреевна предложила вносить деньги сразу наличными, они дружно повалили на улицу. Мы не удерживали их. Наша задача была выполнена. Мы их подписали. Чего же еще надо?!

Я остался ночевать у Петрова. Ольга Андреевна пошла в соседний дом. Мне постелили на диване. От необыкновенных простыней пахло затхлостью и нафталином. Я лег и попросил Петрова включить приемник, прослушать последние известия. Он с большой неохотой, жалуясь, что батарея села и лампы вот-вот совсем сгорят, все же включил. Диктор сообщал об успешной подписке на заем. Батареи действительно сели. Приемник еще кое-как поговорил о трудовых успехах, потом перешел на шепот и, наконец, пикнув, умолк. Петров почесал поясницу, каким-то ошалелым взглядом покосился на иконы, безнадежно махнул рукой и, сбросив с ног валенки, не раздеваясь, завалился на кровать. Вошла хозяйка, задула лампу, легла с ним рядом. Она тоже не разделась. Видимо, прошло для них то славное золотое времечко, когда они ложились в постель не только затем, чтобы спать. Я с головой завернулся в одеяло, сжался в комок и с ужасом подумал об обратной дороге в Любятино.

ИЮНЬ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА

В окно моей комнаты видны железнодорожная насыпь, будка на ней, два куста вербы и лоскут белесого неба.

Утро. Солнце насквозь прожигает стекла, в комнате светло и жарко. Васюта под окнами кормит кур. Я знаю, что она сейчас придет и расскажет какую-нибудь новую историю.

— А вчерась-то... Не слыхали? — начнет она.— Аптекарь чуть не утонул. Налил глаза и пошел в баню. А около бани яма. Он в эту яму с пьяных глаз нырнул и не вынырнул. Почти мертвого вытащили и на «скорой помощи» увезли в приемный покой. Положили там его на стол, завернули рубаху и только было хотели по евоному животу ножом полыснуть, а он очухался, открыл глаза и начал потихоньку матюкаться. Во срамник-то. Говорят, весь спирт в аптеке вылакал.

Потом Васюта побежит к соседке Наталье, а от нее — к подружке Марье. И каждый день будет передавать эту историю по-новому. И покатится по Узору десяток самых невероятных легенд об утоплении бедного аптекаря. Хотя это никакая не история и даже не событие. Обыденный серенький случай. Пошел аптекарь в баню, на мостках оступился и упал в яму, сильно ушибся, и его отвезли на машине в больницу. Меня всегда возмущает мещан-

ская страсть находить в человеке только плохое и радоваться этому, и раздувать до нелепых размеров. Одни это делают из злобы, другие ради забавы, третьи — так просто, и сами не знают для чего. Этим грешат не только мещане, но и интеллигентные люди. В институте один кандидат юридических наук, кажется, Кениг, читал нам лекции о половых преступлениях. Примеры он брал из личной жизни замечательных людей. С каким удовольствием он смаковал все дурное, словно бы он сам подсматривал все это в замочную скважину. И мы, студенты, вместо того, чтобы оборвать пошляка, слушали его восхищенно, раскрыв слюнявые рты. Почему же это так получается? Почему мы не ищем с таким усердием в человеке хорошие, добрые начала и не развиваем их? Уверен, если бы мы так поступали, и жизнь бы наша была намного светлее и отраднее...

Выходной день. Скука. Не знаю, куда деваться от тоски. Симочка давно уже мне не пишет. Что с ней? Помнит ли она меня? Ее наивный, милый упрек: «Ах, Семен, зачем?» я повторяю теперь по нескольку раз в день.

Разыскиваю последнее ее письмо, читаю (какой уж раз!) исписанный Симочкой тетрадный листок, так мелко, словно бисером усыпанный. В нем много ошибок. В первый раз, читая, я подчеркнул их красным карандашом. Тогда это мне доставило какое-то удовольствие. А теперь я об этом жалею. В этом же письме она грозилась скоро приехать. Но прошло пять месяцев, она не едет и не пишет. Какое-то смутное предчувствие беспокоит меня. Почему характер Васюты с каждым днем черствеет и портится? Разговаривая со мной, не смотрит в лицо, поджимает губы, слова роняет, как тяжелые капли. На днях потребовала деньги за квартиру уплатить за месяц вперед. А вчера заявила, что мясо на рынке подорожало. Черт с ней, с Косихой, и с мясом, буду ходить в чайную. А приедет Симочка, и все само собой уладится. Но почему она не пишет? Неужели ее молчание — начало конца? Я не хочу этого! Я теперь очень люблю Симочку. А может, это все только кажется, и мои страдания не что иное, как тоскливая блажь. Почему же я тогда все равно думаю о ней? Разве мало в Узоре хороших девушек? А вот меня тянет к ней. Симочка ничуть не красивее, не добрее, не умнее своих подруг. Но у нее есть то, чего нет у других. А что это, я затрудняюсь объяснить. Она вся какая-то уютная. А мне этого уюта очень не хватает. Вот почему, мне кажется, я о ней думаю. Думает ли она обо мне?.. Надо выяснить немедленно, сейчас же, иначе будет поздно.

Я сажусь сочинять письмо. «Симочка, здравствуй...» В голове вихрем кружатся: «Милая», «любимая», «радость», «голубка», а сбросить их с пера на бумагу не хватает сил.

По радио исполняют фортепьянный концерт Шопена. Дивная неземная музыка захватывает меня, и я забываю и о Симочке, и о Васюте, и о своей скучной неуютной жизни. Я слушаю без волнения, без радости, уронив на стол голову. Пианист едва касается пальцами клавиш, а мне больно, словно он бьет по сердцу. Музыка смолкла, и мне так грустно, словно мимо промелькнуло что-то неповторимо прекрасное.

Вошла Васюта и остановилась в дверях, держа руки под фартуком.

— Завтрак-то готовить, или в чайную пойдешь? — и ушла, что-то бормоча под нос.

Я скомкал письмо, швырнул его в печку, оделся и пошел в чайную.

По случаю воскресенья чайная пустовала. У входа дежурил хромой бездомный дворянин Пират. Обычно, когда в чайной народу невпроворот и официантки мечутся, как угорелые, Пират околачивается меж столов, с успехом нищенствует.

В просторной с низкими потолками комнате, словно голубая кисея, висел кухонный чад, пахло луком и еще чем-то таким, отнюдь не съедобным. В дальнем углу уполномоченный по сенозаготовкам Рассказов пил водку. Он уже третий месяц безвыездно живет в Узоре и с утра до вечера просиживает в чайной. Прокурор на него поглядывает с вожделением. Да и мне кажется, что Рассказов, видимо, не в ладах с Уголовным кодексом.

За другим столом Ольга Андреевна Чекулаева отчитывает повара Федю Тюлина. Федя стоит перед нею навытяжку и, как солдат, повторяет одно и то же:

— Так точно. От нас не зависит.

— А грязь от вас тоже не зависит? — спрашивала Ольга Андреевна.

— Так точно. Это дело официанток,— бойко отвечает Федя.

— А плохие обеды тоже от вас не зависят?

— Так точно. Не зависят.

— От кого же тогда?

— От потребсоюза. Что дают — из того жарим, парим, варим.

— А мухи в борще от кого зависят? — Чекулаева подцепила ложкой муху и поднесла под нос повара. Федя даже не моргнул и бойко заявил:

— Это не муха, а жареная луковка.

Ольге Андреевне пришлось пригласить свидетелей: меня и Рассказова. Под строгим надзором шести глаз, Федя стал близоруко и внимательно изучать муху.

— Ну да, луковка, самая настоящая подгорелая луковка,— откуда же тут мухе быть? Разве что с потолка свалилась.

Ольга Андреевна приказала Феде немедленно убрать тарелку с борщом. Федя взял тарелку и, ворча, что надо самой дома обеды готовить, а не по чайным шляться, пошел на кухню. Рассказов, глядя ему вслед, мрачно сказал:

— Таких подлецов надо лупить и вешать.

Аппетит у Ольги Андреевны пропал. Она отказалась от борща с гуляшом и выпила один лишь стакан чаю. Я же от роду не брезглив. Что мне муха, когда я пережил ленинградскую блокаду и окопы синявинских болот. Но из солидарности тоже не стал обедать. Только вместо чая заказал бутылочку пива. Рассказов, увидев такой оборот дела, попытался перекочевать за наш стол. Ольга Андреевна спросила: «Зачем?», и он, не зная, что на это ответить, удалился в свой угол допивать водку.

Время уже подходило к полудню. Я пожаловался Чекулаевой на безысходную тоску и скуку. На это Ольга Андреевна ответила, что ей и хотелось бы немножко поскучать, да нет ни минуты свободного времени.

— Отчет о работе парткабинета готовить надо? Надо. Статью в газету написать надо? Надо, Семен Кузьмич,— улыбнулась она и зажала второй палец.— В среду опять занятие по марксизму, и к экзаменам в институт готовиться ой как надо! Сессия на носу, а у меня еще и конь не валялся. Когда же тут скучать? Когда на сон не хватает времени. Жаловаться на скуку с тоской могут только бездельники да пустые люди.

Я хотел ей возразить, но она меня перебила:

— А ты что, не можешь найти себе в выходной день разумного дела? Не можешь? — И, не ожидая моего ответа, заявила: — Так я это дело тебе сейчас подберу. Поезжай в свой колхоз и проведи занятие с коммунистами.

Я сказал, что у меня занятия по пятницам. Она усмехнулась:

— Знаем мы эти пятницы. Уверена, опять не поедешь, скажешь, что завален делами. Ты и так уже подряд четыре занятия пропустил. Смотри, как бы на бюро не вытащили. По-хорошему поезжай. Теперь тебе и ехать-то недалеко. Каких-то пятнадцать километров, и поездом.

В этом году меня повысили: назначили руководителем кружка по изучению краткого курса ВКП(б) в колхозе «Новая жизнь».

Время до вечера девать некуда. Погода отменная: полное безветрие и солнце. Оно захватило все небо и нестерпимо колет поселок жгучими лучами. Воздух застыл, и Узор как будто вымер. Пират от жары дышит, как загнанный. Язык у него изо рта вывалился и болтается, как тряпка. Около чайной куры лениво перетряхивают лошадиный помет. На самой макушке высоченной ели чучелом торчит ворона. Ей даже каркнуть лень. Ни писать, ни читать, ничего не хочется. И спать тоже. И в самом деле, почему бы не поехать в колхоз? Провести занятие и — гора с плеч.

Иду на станцию и успеваю как раз к приходу поезда. Поезд стоит в Узоре одну минуту, и билетов в летнее время на него не бывает. Но это меня не волнует. Перехожу на другую сторону поезда, степенно прогуливаюсь вдоль вагонов и, как только они трогаются, вскакиваю на подножку, а следом за мной вскакивает парень в темно-синем костюме.

Паровоз набирает скорость, мелькает семафор, будка, Васютин дом,

придорожный кустарник. Упругий прохладный ветерок хлещет в лицо, пузырем надувает рубаху. Чудесно!

Усаживаюсь поудобней на подножке, закуриваю. Парень тоже закуривает и косо поглядывает на меня.

— Далече?

— До «Новой жизни».

— Зачем?

— По делу.

— А кто вы будете?

Мне почему-то стыдно признаться, что я судья.

— Инструктор.

Парень смотрит на меня в упор и сплевывает окурок.

— Инструктор? Понятно... А какой инструктор?

Врать, так уж врать до конца.

— По физкультуре.

Парень усмехается.

— И давно?

— Что давно?

— Инструктором стали?

— А вам какое дело?

Глаза у парня стекленеют.

— Хватит врать, судья Бузыкин, кажись? Ну, что смотришь? — И невесело усмехнулся.— Своих не узнаешь? Пуханов я. Судил меня год назад за хулиганство.

Мне показалось, что поезд споткнулся и пошел назад. Я схватился за поручень с такой силой, что в глазах потемнело. Я онемел от страха. Да и как не онеметь? Преступник и судья на одной подножке поезда.

Это случилось в Павском сельсовете. История и трагичная, и до тривиальности плоская. Пуханов, он, кажется, был трактористом, ходил в женихах. Его невеста работала секретарем директора МТС, редкой красоты девушка, но избалованная и пустая. Ее словно бы слепили не из нашего теста. Кожа ее казалась то смуглой, то светлой. Цвет глаз уловить было почти невозможно. Темнота их в одно мгновенье сменялась синевой, синева — прозрачной голубизной, порой они были золотистыми и в ту же минуту гасли, становились темными, глубокими, как омут. У нее все было легкое: и фигура, и походка, и особенно взмах рук, которые напоминали крылья. В то же время она была взбалмошна и пуста, как драгоценная шкатулка на выставке.

Пуханов, парень видный, отчаянного нрава, любил ее до безумия. Об этом можно судить по преступлению, которое им было совершено из ревности. Оно отличалось невероятной дерзостью и опасностью.

Незадолго до свадьбы в Павске появился молоденький лейтенант. На нем все блестело: сапоги, погоны, пуговицы, кокарда и даже козырек фуражки с бархатным околышем. Этот блеск затмил солнечный свет, и голова секретарши закружилась, как карусель.

Поначалу тракторист не обращал на это внимания. Правда, он намекал, что при удобном случае намылит лейтенанту физиономию. И, безусловно, свою угрозу выполнил бы, если б не желтая кобура на боку лейтенанта. Но он не знал, что в кобуру вместо пистолета была засунута деревяшка. И очень жаль. Может быть, не было бы тогда ни суда, ни скандала, шум которого прокатился по всему району.

Прошла неделя, другая, и до Пуханова дополз слушок, что его невеста уезжает навсегда с лейтенантом.

Секретарша устроила не то помолвку, не то просто вечеринку. Хотя отвергнутый жених и не был приглашен, но он явился с компанией дружков и выпивкой. Невеста перепугалась, но Пуханов заверил, что пришел гулять по-хорошему. И все было бы хорошо. Тракторист вмиг подружился с лейтенантом, за столом сидел с ним в обнимку, пил осторожно, был весел, остроумен, громче всех пел и ловчее всех плясал. Начались танцы. И тут секретарша все испортила. Пуханов пригласил ее на вальс, но она ему отказала и бросилась в объятия лейтенанта. Пуханов и это стерпел. Но когда она, танцуя,

стала целоваться с офицером, нервы у Пуханова лопнули, как перетянутые струны, со звоном и грохотом.

В суде Пуханов рассказывал: «Меня словно кто ударил по голове, все завертелось, в глазах потемнело, и я полетел в какую-то пропасть». Он схватил стол и с невероятной силой ударил его об пол. Стол крякнул и развалился на куски. Гости бросились вон, давя у двери друг друга. Первым выскочил лейтенант, без шапки и шинели. Пуханов носился по дому, как ураган. Бил, громил, топтал, корежил. Когда уже больше бить и ломать было нечего, он сорвал с петель дверь, унес ее на спине и бросил в реку.

В суде Пуханов держался вызывающе. В последнем слове заявил, что он ни в чем не раскаивается, и, если бы в ту минуту ему под руку попал лейтенант, он бы его наверняка укокошил. Лейтенант на другой же день после скандала уехал. Когда я стал допрашивать секретаршу, она вся затряслась, заплакала и попросила простить его. Пуханова осудили на год лишения свободы. Он выслушал приговор и удивленно спросил:

— За что? За разбитые горшки? А что тут разбито вдребезги,— он постучал кулаком по груди,— так это вам ничего. Эх, вы, судьи!

Милиционер тронул его за рукав и сказал: «Пойдем».

— Пойдем,— вздохнул Пуханов и погрозил кулаком: погодите, отбуду срок — я вам все припомню!

Милиционер завернул ему руку за спину и вывел на улицу.

И вот через полтора года его угроза сверкнула, как молния средь ясного неба. Я мертвой хваткой вцепился в поручень и сжался в комок, думая, если он меня прирежет, то не так просто будет ему сбросить меня с подножки. А Пуханов насмешливо сквозь зубы цедил:

— Судья и преступник на одной подножке поезда. Вот так встреча. Расчудесные чудеса.

Я плохо слушал. Страх отнял у меня способность думать, понимать, соображать. В голове вертелась одна дикая мысль: махнуть с подножки под откос. Но поезд шел быстро и как раз по тому перегону, который здешний народ прозвал «проклятым». Зимой здесь погиб парторг колхоза «Новая жизнь». Он возвращался домой глубокой ночью в снежный буран с бюро райкома. Парторг шел по рельсам против ветра, закутав голову башлыком. Поезд подкрался сзади и раздавил его, как муху, а осенью на ходу из товарного вагона вывалилась свинья, и совсем недавно на этом перегоне паровоз сбросил с рельс корову. Только бы проскочить этот проклятый участок, там начнется подъем. Я мысленно молил бога, подгонял и торопил поезд. Пуханов, казалось, не обращал на меня никакого внимания. Сидел он на ступеньке, сгорбясь, втянув голову в плечи. Но вот он пошевелился, кинул на меня косой взгляд и сунул руку в карман. И в то же мгновение какая-то неведомая сила толкнула меня с подножки. Я очень плохо помню, как это получилось... Его рука, схватив меня за воротник, придавила к ступеньке. Лицо у него было, как мел, а в расширенных веках вместо глаз метались огромные белки. Пуханова трясло. Он долго не мог поймать в пачке папиросу. Наконец это ему удалось, и он в пять глубоких затяжек выкурил ее. Я чувствовал себя так, словно меня опустили в парное молоко.

Накурившись, Пуханов несколько успокоился и, покачивая головой, стал размышлять вслух:

— Ну и ну... Вот так дела... Час от часу забавней. С чего это он?.. Жить, что ль, надоело...— и вдруг резко спросил: — Испугался? Меня?

Я не ответил. А что я мог ему сказать?

А Пуханов продолжал рассуждать:

— Вот люди, только о себе думают.— И опять обратился ко мне: — Если бы ты, судья, разбился, мне бы была последняя амба. Наверняка приписали бы убийство. Просто ужасно подумать,— он весь содрогнулся и с горечью произнес.— А я там, как зверь вкалывал, чтоб досрочно освободиться. А тут...— и не договорив, махнул рукой.

Начался подъем. Поезд, сбавляя скорость, лязгая буферами, дергался, как ушибленный.

Пуханов встал, с презрением посмотрел на меня и плюнул.

— И ехать-то с тобой противно. Того и гляди еще какую-нибудь штуку выкинешь,— сказал он и прыгнул с подножки, несколько шагов пробежал за вагоном и упал. Он лежал плашмя, не двигаясь, а потом медленно поднялся и стал тереть ушибленное колено.

Мне теперь ничто не угрожало. А мне было так плохо, словно я совершил непростительную подлость. Когда я вспоминаю этот дорожный случай, меня передергивает, как от озноба... И в то же время этот случай заставил меня смотреть по-другому на человека. В самом плохом, отвратительном я пытаюсь отыскать хоть крупицу доброго, хорошего. И когда мне преподносят человека как пример идеальности, я этому так же не верю, как и не верю, когда мне говорят о человеке, как о кладезе зла и пороков.

ПОТЕРЯ ДОВЕРИЯ

Уборка хлеба подоспела как раз к ильину дню. Илья в Узорском районе празднуется широко и буйно. После него Магунов пожинает богатую ниву. Он заваливает суд делами, связанными с самогоноварением, хулиганством, драками и даже убийством.

Русскому народу приписывают кучу всевозможных пороков, причем большинство из них злобно вымышленных. Но то, что наш простой человек не умеет отдыхать и веселиться,— бесспорная и горькая истина.

Ученые сделали удивительные открытия в химии, астрономии, биологии, медики умудрились заставить биться сердце в холодной стеклянной банке, оживлять мертвых, физики проникли в сокровенные тайны атома и выпустили на свободу чудовище, обуздать которое до сего времени не могут, и ничего до сих пор не предприняли радикального против такого древнего и страшного яда, как алкоголь. Борются с ним такими же методами и способами, как с насморком или с головной болью. Но чаще всего говорят: «Не пей». Но это все равно, что сказать больному: «Не болей».

Нельзя зараженному алкоголем поставить в вину, что он пьет. Это не вина — беда его. Я против всякого употребления алкоголя, как умеренного, так и неумеренного. Между ними трудно провести границу. Как умеренное, так и неумеренное парализует психику и разрушает организм.

Теперь-то я знаю, что преступления чаще всего совершаются не в состоянии глубокого опьянения, а «под хмельком».

Поработать бы ученым, подумать над тем, чтобы изобрести такой напиток, который так же, как алкоголь, возбуждал бы человека, но не дурманил бы и не разрушал его здоровья. Эта задача не менее важная, чем проблема межпланетных путешествий. И это был бы самый ценный подарок человечеству.

Узорский райком считает религиозные праздники источником всех бед, неудач, провалов. Сорвались сроки сева — виновата троица. Сенокос затянулся — по вине святого Ивана Крестителя. Не вовремя начали уборку — виноват Илья, потом Спасы с Флорами и Лаврами, и тому подобное.

Теоретическая борьба с религией в нашем районе, да и в соседних, сводится к читке лекций, докладов, бесед...

Вызывают в райком завсберкассой Авенира Агеича Темкина, дают строгое задание: в колхозе «Красный партизан» завтра религиозный праздник — десятая пятница. Выедешь сегодня, проведешь антирелигиозную беседу, а в праздник с утра организуешь стопроцентный выход людей на работу.

Темкин пытается всячески отвертеться. Ссылается на срочные дела в сберкассе, потом на свою болезнь, потом на болезнь жены и ребятишек, наконец, на свою малограмотность. Когда все уважительные и неуважительные причины исчерпаны, Авенир Агеич прибегает к прямым угрозам.

— Хорошо, я поеду. Но попомните, вместе с колхозниками и сам напьюсь, как свинья. Вы же знаете мою слабохарактерность...

В ту же минуту Авенира Агеича сражают наповал тяжелой, как свинцовая печать, фразой: «Будешь пьянствовать — положишь партбилет», после которой покоренный Авенир, прихватив в библиотеке брошюру «Религия — опиум и яд народа», выезжает в колхоз и пьянствует там весь праздник напропалую.

Практическая борьба с религией пошла по линии разрушения церквей. Причем все это делается не из варварского умысла, а с какой-нибудь благовидной полезной целью. В селе Щели сломали великолепный, в романовском стиле, храм, оттого что МТС понадобился кирпич на строительство мастерских.

В трех километрах от поселка находится Малый Узор. Там стояла большая деревянная церковь. Райисполком постановил эту церковь разобрать, перевезти и построить из нее районный Дом культуры. Сколько было потрачено сил, чтобы ее сломать и перевезти. И вот она уже второй год лежит бесформенной грудой на пустыре, и жители потихоньку растаскивают ее на дрова.

За день до ильина дня я получил от секретаря райкома обычные инструкции по проведению праздника и строгий приказ не выезжать из колхоза до особого распоряжения, организовать там уборку хлеба и сдачу его государству.

Прежде чем ругать бога, надо кое-что о нем знать. А то можно оконфузиться хуже, чем оконфузился у нас один весьма почтенный лектор, специалист по антирелигиозной теме.

Ругать бога в деревне — и сейчас дело нелегкое, полное самых неожиданных сюрпризов. Наш колхозник, говорят, пока еще сероват и мешковат. Но страшно хитер и остроумен. Правда, его юмор далек от «английского». Он тяжеловесен и крепок, как железобетон. Но зато если врежет, то долго будешь чесаться и ежиться.

Так вот, этот почтенный лектор, а он действительно был почтенный: не пил, не курил, вместо очков носил пенсне. Его лекции отличались идейной стойкостью. Свои мысли он для пущей недоступности укреплял мощными непробойными цитатами.

В одном колхозе накануне пасхи этот почтенный лектор безжалостно поносил Христа с девой Марией. Его слушали с обычным равнодушием: без восхищения, одобрения и даже возмущения. Окончив лекцию и получив должную порцию аплодисментов, лектор спросил: «У кого будут вопросы?» Эту фразу лектор произнес не потому, что ему хотелось вопросов, наоборот, он даже боялся их, а сказал просто так, ради заведенного порядка. И уже уверенный, что никаких вопросов не будет, лектор поклонился, взял шапку, и вдруг неожиданно к столу протискался неказистый на вид старикашка, с бельмом на глазу. Он чем-то напоминал кактус: такой же сухой и колкий. Вид у него был настолько обшарпанный и жалкий, что лектору стало почему-то совестно за свое драповое с каракулевым воротником пальто.

Старикашка подергал свою бороденку, похожую на жидкий пучок кудели и гугняво сказал, что у него есть вопросишко, но задать его он боится, так как этот вопрос скабрезный, а выражаться по-культурному он не умеет.

Лектор подбодрил старичка, заверил, что ему бояться нечего, ибо всякий вправе выражаться так, как он умеет, да и вообще дело не в форме, а в содержании. Ободренный и обласканный старик спросил, видел ли лектор, как ходит корова по большой нужде. Лектор сказал, что он видел, как корова ходит по большой нужде, и даже не один раз. Тогда настырный старикашка спросил, как ходит по этой нужде овца.

— Горошком,— уверенно ответил лектор.

— Так, так, правильно, горошком,— прогнусавил старик, прищурив здоровый глаз и сверкнув бельмом.— А почему корова ходит лепешками, а овца горошками?

Озадаченный лектор пустился в пространные толкования о биологических свойствах разных организмов, запутался и сказал, что к этому вопросу он не готов, а в следующий раз он на него обязательно ответит. А старикашка с искренним сожалением покачал головой и сказал:

— Эх, товарищ, товарищ... Сам в дерьме не разбираешься, а нам о боге толкуешь.

Мне не хотелось иметь славу почтенного лектора, и я решил серьезно подготовиться к беседе с колхозниками. Если уж нападать на бога, так с оружием в руках. И решил я засесть за Библию. С Библией я познакомился в детстве, когда еще был жив мой набожный дед. Эта грозная, тяжелая, с мед-

ными застежками книга тогда внушала мне невольный страх. Дед заставлял читать Библию вслух. К концу жизни он совершенно ослеп. А чтение священных писаний для него было единственной усладой. Вначале я ее читал безропотно, с уважением, потом я к ней привык, а потом возненавидел. И как только наступал для деда час принятия духовной пищи, я улепетывал из дома. Но все-таки он опять усаживал меня за Библию, и я ее дня три читал с усердием, получая каждый раз рубль, а на четвертый день потребовал два рубля, потом дошел до трех, и дед платил исправно, но только каждый раз крякал и шептал себе под нос: «Прости ты нас, господи, грешных». Но когда я потребовал пятерку, набожная душа деда возмутилась. Он обозвал меня антихристом и отпустил увесистую оплеуху. Я и сейчас удивляюсь, как это он сослепу сумел так ловко звездануть меня по уху.

Конспект лекции я готовил с дальним прицелом, рассчитывая, что мне ее хватит, если уж не до конца жизни, то, по крайней мере, на весь период службы в Узоре. Получился весьма объемистый трактат против бога, но похвастаться им мне так и не удалось.

В село Юшки я прибыл в канун Ильи, под вечер. Пастух гнал на покой стадо. Густая пыль поднималась из-под копыт клубами и повисала над домами плотной завесой, сквозь которую с трудом просачивались жидкие желтоватые потоки солнца. Ветра не было. Все предвещало назавтра отменную погоду. Стрижи вились высоко, дым из труб поднимался винтом, на небе растаяло последнее облако, над низинами нависал туман, и солнце, заливаясь мягким румянцем, осторожно, словно бы боясь уколоться, садилось на темный гребень леса.

По запахам, оживленности было заметно, что в Юшках готовятся к чему-то необычному. На реке ребятишки надраивали песком медные самовары. Везде мылись полы и дружно топились бани. Доваривали самогон и начинали заваривать студень. В лавочке стояла очередь за мелкой ржавой рыбешкой. Нарасхват брались твердые, как камни, пряники и шоколадные конфеты. Все старались в честь Ильи вывернуть свои карманы наизнанку.

Уже появились пьяные. Бригадир Костя Говоров, качаясь, брел посредине улицы. И если бы у него в карманах не торчало по бутылке фруктового вина, то он наверняка бы потерял равновесие и свалился.

Председатель колхоза Ипполит Васильевич Ласточкин тоже был слегка навеселе. Он знал о моем приезде и встретил меня радушно. Но когда я ему сказал, что надо идти собирать на лекцию народ, мгновенно скис. Я отлично понимал его положение. И в обычный-то день вытащить колхозника на такую лекцию — задача не из легких, а в праздник... Я заколебался, а Ипполит Васильевич поднажал:

— Эх, Семен Кузьмич, одному лешему нужна нынче эта лекция. Зачем бередить нервы себе и другим. Пойдем-ка лучше в баньку.

Парились до одурения. Баня стояла на берегу реки. Обессиленный, я выползал из нее, с обрыва бросался в воду и плавал до тех пор, пока у меня не начинали стучать зубы, а потом опять забирался на полок. Ипполит Васильевич столько нагонял пару, что баня, будь она на колесах, поехала бы.

Придя домой, Ипполит Васильевич раскупорил поллитру, и мы ее в полчаса опорожнили под малосольные огурцы и студень с хреном. Прихватив подушку с одеялом, я добрался до сарая с сеном и уснул как убитый.

Солнце давно уже взошло, когда я проснулся. Сквозь дырявую, как решето, крышу дождевым ливнем струились его лучи, и весь сарай был испещрен яркими бликами. Под крышей на перекидном бревне сидел голубь-сизак и, склонив набок голову, пристально разглядывал меня. Я сладостно потянулся, но, вспомнив, где я нахожусь, и о своих обязанностях, с испугом посмотрел на часы. Шел девятый час...

Солнце ложилось яркими квадратами на пол. В печи трещали дрова, плевался котел и сердито шипели угли. Хозяйка разливала по мискам студень. Ласточкин в валенках, в грубой нательной рубахе, сумрачный, обгладывал кости.

На мой вопрос: «Вышел ли народ в поле?» Ипполит Васильевич ответил, что еще не выходил.

— Почему?

— Так ведь же праздник, Семен Кузьмич,— жалобно протянул Ласточкин.

Я сказал ему: есть приказ райкома — в праздник работать. Напомнил о честном слове, которое он мне вчера дал, что колхозники все, как один, с утра выйдут на косовицу хлеба.

— Зачем же вы обманули меня?

Но председатель ничуть не обиделся на мой резкий упрек и наивно ответил:

— Я ждал, когда вы проснетесь.

— Зачем?

— Чтоб вместе идти по домам, выгонять.

Я опешил.

— Что, это всегда так делается?

— А то как же. Без уполномоченного ни за что не пойдут.

Я пожал плечами и сказал, что в таком случае давно бы надо было разбудить меня.

— Так я ж пошел будить,— воскликнул Ласточкин,— и не смог. Уж очень вы, Семен Кузьмич, хорошо спали.

По тому, с каким сладким подхалимством это было сказано, я понял, что он и не думал будить уполномоченного, и не разбудил бы его, если бы он проспал в сарае весь праздник.

Пока Ипполит Васильевич умывался, одевался, а делал он все это с нарочитой медлительностью, прошел еще час. И когда мы вышли, солнце уже поднялось высоко и по всему сулило сегодня палить и жарить нещадно. Так всегда бывает в августе, когда устанавливается погода, самая благодатная для уборки хлеба.

Мы шли выгонять людей на работу. Боже мой, выгонять, как скот! Почему именно на меня свалилась эта отвратительная работа? Почему я должен в это чудесное утро портить людям хорошее настроение?

Знаю, что они пойдут с большой неохотой, озлоблением, потому что их будет выгонять судья. От одной мысли, что я для них только судья, погоняло, а не человек, мне стало невмоготу, тяжело и обидно.

Дойдя до моста через речку, я остановился и, облокотясь на перила, долго смотрел вниз на темную, как густо заваренный чай, воду. Ипполит Васильевич, свесившись, тоже смотрел на нее и вдруг неожиданно спросил:

— А почему китайцы желтые, а индейцы красные?

Я поднял на него глаза.

— А зачем это тебе?

Ипполит Васильевич потянулся, зевнул и махнул рукой.

— А так. Спать хочется.

Я отослал его домой спать, а сам пошел в сельсовет и позвонил в Узор председателю райисполкома, сообщил, что не стал трогать колхозников и разрешил им праздновать все два дня. На это Сергей Яковлевич сказал, что я поступил и гуманно, и глупо, так как разрешения не требовалось: они и сами бы не пошли. А этим разрешением я могу нажить кучу неприятностей. Я спросил у него совета, как об этом передать секретарю райкома. Он посоветовал мне не откровенничать и сослаться на то, что никто не вышел на работу.

Я так и сделал. Кондаков обозвал меня тряпкой, потребовал, чтоб я не выезжал из колхоза и принял все меры к организации уборки хлеба и сдачи его государству.

Два дня в Юшках пили, гуляли, плясали и пели. Я же два дня болтался, как неприкаянный. Правда, мне старались оказывать всевозможные почести, и каждый считал за великую честь усадить за свой стол судью. Но я чувствовал и понимал, что тут я всем в тягость. Это омрачало общее веселье и угнетало меня.

Илья в Юшках на этот раз прошел без драк. Но в этом заслуга не Семена Кузьмича, а судьи — Бузыкина.

Сразу же после праздника четыре жнейки выехали косить рожь. Но работали вяло, давали себя знать хмельной угар и общая усталость. Но через

день все вошло в норму, и жизнь в Юшках покатилась по своей глубоко накатанной колее.

Озимые выдались на редкость. По мнению Ипполита Васильевича, на круг по сто — сто двадцать пудов с гектара должны были взять. Но колхозники не радовались.

— Сколько бы ни уродилось, все равно нам ничего не достанется,— говорили они.

Однако работа шла ходко. Добрый урожай невольно поднимал энтузиазм и настроение. В день скашивалось и застоговывалось до трех — пяти гектаров. Колхоз «Новая жизнь», как по пахотному клину, так и по населению, пожалуй, самый богатый в районе. По сравнению с соседями, он зажиточнее. Да и сам народ здесь ходит бодро и смотрит весело.

В конце недели из МТС приволокли молотилку. Райком потребовал немедленно приступить к обмолоту и сдаче зерна. Ипполит Васильевич помрачнел и захандрил. А мне прямо сказал, что опять начинается сызнова, как и в прошлые годы, колхозники останутся без хлеба. Когда я заметил, что к таким мрачным выводам нет оснований, он горько усмехнулся.

— Э, Семен Кузьмич, и в прошлом году урожай был не хуже, а получили на трудодень всего по двести граммов. А почему? Потому что половина погибла на корню, не убрали. А кто виноват? Думаешь, я — председатель? Колхозники? Как бы не так,— он вытащил кисет с табаком, свернул папиросу, закурил и вместе с дымом выдохнул: — Торопиловка во всем виновата.

Ипполит Васильевич довольно-таки убедительно доказал, в чем виновата эта «торопиловка».

— Видите ли, Семен Кузьмич, по моему, мужицкому мнению, соревнование за то, кто первый вывезет хлеб, занятие глупое и вредное. Райком требует: молоти и вывози. Всех людей, транспорт мы бросаем на обмолот и вывозку зерна на станцию. А хлеб в это время стоит, осыпается, а если ненастная погода — гниет и погибает. Вот сейчас такая погода, только коси да стогуй. Разве можно упускать это время? А обмолотить и сдать всегда успеем.

Ипполит Васильевич затоптал окурок и выжидательно посмотрел на меня.

— Надо идти наряжать людей к молотилке.

— Погоди,— остановил я его,— попытаюсь поговорить по этому вопросу с Кондаковым.

Но как только я услыхал его резкий голос и вопрос: «Когда будет хлеб?», я понял, что об этом говорить с ним не только бесполезно, но и опасно. Я решил действовать на свой страх и риск.

Невыполнение приказа райкома усугублялось еще тем, что я наживал нового врага — директора МТС. Каждый день простоя молотилки влетал ему в солидную копейку.

Я всю ночь ломал над этим голову и, наконец, решил: продолжать косовицу хлеба и одновременно приступить к обмолоту.

С невероятными трудностями нам с Ипполитом Васильевичем удалось создать молотильную бригаду. В нее мы собрали все, что только можно собрать: стариков, учителей с ребятишками, фельдшера, кое-кого из дачников и прочей местной аристократии.

«Аристократ» Тимофей Синицын за все годы существования колхоза умудрился не выработать ни одного трудодня. Какие только не принимали меры, чтоб заставить его работать. Попачалу он вывертывался, как налим, а потом открыто заявил: «Хоть сажайте, хоть убивайте, а работать в колхозе все равно не буду». Зимой Тимофей подпольно шьет полушубки, овчинные рукавицы и страшно уродливые меховые шапки; летом промышляет в лесах корье. За недозволенный промысел — портняжество — райфинотдел ежегодно штрафует Тимофея. Но ни разу ему не удалось взыскать этого штрафа. Из года в год растет штраф и не взыскивается. Не с чего! Имущества, которое бы можно было описать, у Тимофея нет. Единственно, что можно описать,— швейную машинку. И вот уж какой год подряд фининспектор гоняется за этой машинкой. И никому не известно, где Синицын ее прячет.

Тимофея накрыли в лесу за его криминальным ремеслом: он обдирал елку. Составили акт за порчу строевого леса. И передали мне как судье. Я предупредил Тимофея, что если он завтра не выйдет молотить хлеб, то акту будет дан должный ход, и ему будет крышка.

И вот бригада сколочена. Председатель на укрепление ее подкинул трех колхозников, обещал еще выгнать из конторы счетовода. Я же уговорил принять участие в молотьбе председателя сельсовета с его секретарем.

Ночь я провел тревожно. В голове, как заноза, ныла одна мысль, соберется завтра моя разношерстная бригада или обманет, а перед глазами в темноте отчетливо маячили почему-то две рожи: Тимофея Синицына, одутловатая, с красными, как сырое мясо, губами и молодой рыжеволосой дачницы — красивая и до бесстыдства наглая. Дачница приняла нас с Ипполитом Васильевичем в шикарном халате. Под халатом у нее все было так упруго, выпукло и крепко сколочено, что, когда мы выпустили обойму таких священных слов, как труд, совесть, честь, долг, помощь,— они не пробили ее, а застряли, как пули в глине.

Потом из темноты выплыло грустное заплаканное лицо Симочки, губы у нее шевелились и она, казалось, шептала: «Ах, Семен, Семен, зачем?»

И я подумал: «Действительно, Семен, зачем тебе все это? Зачем тебе эта бригада? Зачем волноваться, беспокоиться, страдать? И потуги твои, Семен, бессмысленны и жалки. Они лишь способны у одних вызвать усмешку, у других озлобление. В райкоме скажут: „Опять Бузыкин филантропию разводит“,— колхозники, вероятно, подумают, что судья старается у них все до последнего зерна выгрести. Зачем тебе это, Семен? Сидел бы ты в правлении, да покрикивал на председателя: „Давай, Ласточкин, коси, молоти, вози...“ — или плюнул бы на все, как делают другие „погонялы“, сидел бы на берегу у речки, удил пескарей».

А другая мысль, как молотом, бьет в темя. «Не прав ты, Семен. Отказаться от добра — человеколюбия — это значит громоздить кучу зла и подлости. Если бы не было людей честных, добрых, смешных дон кихотов, тогда бы зло, подлость выросли до невероятных размеров. У меня нет сил бороться с жестокостью, потом у меня слишком много пороков. И все же я лучше тех, кто считает, что не имеет их, кто ничем не уязвим и крепок, как сталь. Они неуязвимы в своей мнимой беспорочности, к ним не подступишься, их не проймешь».

Эту ночь я почти не спал — не давали мысли и думы. Они били из моей головы, как пена из бутылки.

Утром я был приятно удивлен и обрадован. Бригада собралась полностью. Пришел даже дурачок Лутонюшка по личной инициативе.

Общее руководство бригадой взял на себя Ипполит Васильевич. Женщин он поставил на подвозку снопов и под соломотряс — отгребать солому. Председателя сельсовета с Тимофеем Синицыным — оттаскивать мешки с намолоченным зерном. Дурачка Лутонюшку — крутить веялку, а ребятишек — кидать на станину снопы. Сам он занял место у барабана, а меня со счетоводом поставил рядом, развязывать и подавать ему снопы.

Тракторист завел трактор, засаленный приводной ремень захлопал, как петух крыльями, молотильный барабан взвыл, схватил растрепанный сноп ржи, с хрустом изжевал его и швырнул на соломотряс, а тот с грохотом выбросил солому на головы женщин. Они подхватили ее вилами и, передавая друг другу, отправили в сторону, где намечалось быть скирде. И пошло — только успевай поворачиваться.

Ребятишки со всех сторон кидали нам на помост снопы, норовя попасть счетоводу в голову. Тот ловил их на лету и швырял мне, а я с размаху обрубком серпа рассыпал их, и мне был приятен хруст тугих связок, а Ипполит Васильевич беспрерывно совал снопы в ненасытный барабан.

Поначалу работа чем-то напоминала озорную игру. Под утренним прохладным ветерком молотить было легко и весело. Но не прошло и двух часов, как начала одолевать усталость. Своей руки с ножом я уже не чувствовал, перед глазами все заволокло желтой соломой, от воя и грохота заложило уши, и я как будто издалека слышал голос Ипполита Васильевича, который мне кричал прямо в ухо: «Давай, давай, не задерживай!» И я считал: вот минута, еще одна, еще, и я свалюсь, и не смогу подняться. Наступил момент, когда мне

показалось, что я уже не в состоянии и пальцем пошевелить. И как раз в этот момент заглох трактор. Стало так тихо, словно все замерло.

Счетовод снял рубашку, размазывая по лицу грязный пот и измученно улыбаясь. Женщины, развязав платки, отряхивались. Я же, как деревянный, сполз вниз, упал в солому и лежал, не двигаясь. Одни ребятишки были неутомимы. Они поначалу затеяли шумную возню, а потом принялись задирать Лутонюшку. Лутонюшка, двадцатипятилетний парень, рослый и здоровый, был законченный дурак и свой идиотизм усиленно демонстрировал всем на потеху. Он два часа без передышки крутил веялку, и за это никто не сказал ему ласкового слова. Наоборот, когда он сидел, тупо уставясь в землю, какой-то озорник подполз к нему сзади и дернул за косичку волос. Они у него были длинные, грязные и нечесанные. Лутонюшка взвыл, как сирена, и начал плеваться. И все покатились со смеху. Смеялись и учителя, и председатель сельсовета, а Тимофей Синицын чуть не надорвал живот. Когда озорник попытался выкинуть новую каверзу над бедным Лутоней, Ипполит Васильевич, изловчившись, схватил его за ухо и так вертанул, что тот закрутился волчком. И все опять захохотали. И, насмеявшись вдоволь, стали просить Лутоню поплясать. И Лутоня стал плясать, высоко вскидывая худые грязные ноги с коричневыми, как каштан, пятками, нелепо размахивать руками и гнусаво петь какую-то неразбериху.

Мне было не до концерта. Я с тревогой смотрел на свою ладонь. Кожа большого пальца вздулась кровавым пузырем.

Пятнадцатиминутный перерыв, и опять молотилка затрещала, завыла, захлопала. В бригаде произошли кое-какие изменения в расстановке сил. Заартачился Лутоня — ему надоело крутить веялку. Спорить не стали. На его место поставили Тимофея Синицына, а Лутоню отослали к председателю сельсовета оттаскивать мешки. Мы поменялись местами со счетоводом. Теперь он разрезал снопы, а я ловил и подавал их ему. Теперь ребятишки старались мне попасть снопом в голову. А может, у них это получалось случайно. Один сноп, как бороной, ободрал мне лицо и шею.

Я задыхался от пыли, спина и руки, настеганные колосом, горели, а гора снопов вокруг меня росла и росла. Меня закидывали окончательно. Счетовод тоже зашивался и кое-как тыкал обрубком серпа. Ипполит Васильевич сам руками потрошил снопы, совал их в барабан и отрывисто покрикивал: «Давай, давай, не задерживай»! И, как и в первый раз, в самый критический момент, когда я уже падал, тракторист внезапно остановил молотилку...

За день я насчитал четыре таких перерыва.

Вечером жена Ипполита Васильевича, рассматривая мою спину, разрисованную красными полосами, ахала. Я растирал мокрым полотенцем грудь, с вымученной улыбкой убеждал ее, что молотить — одно удовольствие, а сам про себя думал: «Нелегко достается хлеб наш насущный». Вот почему крестьянин никогда не бросит закостенелую корку в помойное ведро, как это с легкостью делает горожанин.

И второй день наша бригада работала по-ударному, хотя и без воодушевления, третий день — с заметной ленцой, а на четвертый — она развалилась. Правда, развал этот начался со второго дня, с невыхода Лутони и председателя сельсовета. Потом забастовали ребятишки. Но и за три дня было сделано немало. Обмолочено и сдано государству три тонны зерна. И колхоз полностью закончил косовицу озимых. И по сдаче хлеба занял первое место в районе. Однако колхозники посматривали на меня косо. А одна пожилая женщина резко бросила мне в лицо, что я нарочно послан к ним, чтоб выгрести все до последнего зерна. Когда я об этом пожаловался Ипполиту Васильевичу, он ничуть не удивился и сказал, что так все колхозники думают.

— Почему?

— Да потому, что вы так усердно стараетесь,— простодушно пояснил Ипполит Васильевич и, вздохнув, покачал головой.— Эх, Семен Кузьмич, да колхозу выполнить положенный план — пять тонн — раз плюнуть. Взялись бы — в одну неделю вывезли. А что дальше? — и сам же ответил на свой вопрос: — Райком прикажет сдавать хлеб за колхоз «Рассвет», потом за «Красный партизан». Вот так все вывезут и нам опять ничего не оставят.

— А вы не сдавайте.

— Нас не спросят. Не первый год так делается.

— А нынче эта практика осуждена. Сам секретарь райкома нас так заверил. Выполнил колхоз свой план — все, больше его не трогай.

Ипполит Васильевич сморщился.

— А он и в прошлом году обещал. Мы поверили и остались без хлеба.

— В этом году такого не будет. Есть указание свыше. Выполняй план, Ипполит Васильевич, со спокойной душой. А если это повторится, то я сумею за вас постоять.

Ласточкин к моим словам отнесся настороженно и посоветовал поговорить с народом. Он собрал колхозников, я выступил перед ними, призвал выполнить первую заповедь: в срок и полностью рассчитаться с государством, и заверил их, что теперь они за других выполнять поставки не будут, а если это и случится, то я, как судья, встану на их защиту.

Они выслушали меня равнодушно, но без возражений. А когда стали расходиться, громко заговорили, заспорили.

— Опять обманут.

— Не обманут, сам судья за нас.

— Что судья? Повыше его найдутся.

— Все они хороши.

— Ты, Ксения, язык-то попридержи.

— Судья — он ничего, за нас...

— Посмотрим, сказал слепой...

И все же не прошло и четырех дней после этого собрания, как я докладывал секретарю райкома, что колхоз «Новая жизнь» отправил на ссыпной пункт последнюю подводу с хлебом.

Кондаков искренне поздравил меня с успехом. Но когда я заикнулся, что мои полномочия исчерпаны и мне пора возвращаться в суд, он попросил, чтоб я посидел в колхозе еще два-три дня. Я же твердо решил сегодня же вечером выехать в Узор. У меня болело сердце за мою работу. Пока я находился в районе, судил Иван Михайлович Иришин.

Но выехать мне в этот день так и не удалось. Я только что собрался идти к поезду, как из сельсовета прибежал секретарь и сказал, что меня вызывает к телефону Кондаков.

— Вот что, Бузыкин,— заговорил он сухим и требовательным голосом,— твоему колхозу надлежит сдать еще двадцать пять центнеров хлеба.

— Почему так?

— Потому что «Красная нива» зашивается.

— Значит, мы теперь должны выполнять за других?

Я чуть не задохнулся от бешенства, но с трудом сдержал себя и сквозь зубы спросил:

— Где же ваше слово, товарищ Кондаков?

Он солидно, с достоинством мне ответил:

— Мое слово — партии слово. И вы, как коммунист, обязаны его беспрекословно выполнить.

А я не выполнил. И на другой день в обеденный перерыв Кондаков опять меня вызвал к телефону.

— Хлеб направлен?

— Нет.

— Почему?

— Колхозники против такой практики.

— А ты что?

— Я солидарен с ними.

— Ты саботажник. Немедленно явись в райком.

Когда я приехал в Узор, Кондакова в райкоме не было. Мне сказали, что он с начальником райотдела МГБ и прокурором выехал в колхоз «Новая жизнь».

Я не знал, что мне теперь делать, и пошел посоветоваться к председателю райисполкома. Сергей Яковлевич сказал, что ему все уже известно.

— Ну и как вы на это смотрите? — прямо спросил я.

— Как на твою очередную глупость,— ответил он.

— Почему же так?

Сергей Яковлевич вспылил.

— А при чем тут Кондаков или я? Из области пришло распоряжение. Сдать за соседний район четыреста центнеров зерна.

— Почему?

— Потому что там урожай хуже, чем у нас.

— А причем же мы тут?

Сергей Яковлевич пожал плечами.

— Абсолютно ни при чем.

— Так зачем же вы согласились выполнить это распоряжение? — воскликнул я.

Сергей Яковлевич посмотрел на меня с сожалением.

— На вопрос «зачем» ни один мудрец не ответит. А кто такой вопрос задает, тот или непроходимо глуп, или же абсолютный невежда.

Я это проглотил, как горькую пилюлю, и, вздохнув, спросил, что же мне теперь будет.

— Ничего не будет. Если б ты был назначенный человек, то тебя бы просто сняли, из партии выгнали, а может быть, закатали куда-нибудь подальше. Но ведь ты же выборный. А с выборным возиться — слишком дорогая волокита. А вот выговор могут влепить. Да что выговор. У меня их уже два. Скоро будет, вероятно, и третий. Каждый год получаю.— Сергей Яковлевич устало потер лоб и, как бы разговаривая с собой, закончил свои размышления так: — Коммунист без выговора — все равно, что человек без тени.

Но я даже и выговора не получил. Пора была горячая, и заниматься мною было недосуг. Потом в мою пользу сыграло время. Оно затушевало, сгладило углы конфликта. И райкому поднимать его было явно не выгодно. Но отношение ко мне стало настороженное, подозрительное. Впрочем, я не очень от этого страдаю. Как уполномоченный, лектор, пропагандист, я исключен из списка актива. Хотя я и хожу свободным, без выговора, коммунистом, однако тень за мной тянется густая и длинная. А мой подшефный колхоз ободрали, как липку, говорят, все вывезли, даже семян на посев не оставили.

АВГУСТ ТОГО ЖЕ ГОДА

Третий секретарь обкома Иван Алексеевич Морев с виду нескладный: высокий и прямой, как шест. Руки длинные, до колен, голова, как желудь, лицо угрюмое и с таким выражением, словно у него все время болят зубы. В сущности, Иван Алексеевич добрейшая, с тонким юмором умница.

Морев является штатным уполномоченным от обкома по нашему южному кусту, в который входят Узорский и Белебенковский районы. Южный куст, пожалуй, самый захудалый и бездорожный в области. И Иван Алексеевич прозвал его «тропиками», а обитателей — «козерогами». К своим подшефным вотчинам Морев привык и полюбил их по-своему. Дал им новые, более теплые прозвища. Так, наш район он называет «Знойный Узор», а соседний — «Солнечная Белебенка». Почти все лето, начиная с посевной и кончая уборочной, Морев «отдыхает» в «тропиках».

В Узорском районе считают Морева моим другом и покровителем. К сожалению, это только досужие сплетни. Когда Иван Алексеевич бывает в Узоре, то ночует в доме Васюты Косых в смежной комнате, и мы с ним долго переговариваемся через тонкую дощатую перегородку, а утром вместе пьем чай из Васютиного самовара. И когда Васюта начинает вытряхивать из самоварной трубы золу, то вместе с ней вытряхивает пыль сплетен. Но кто же подхватывает эту пыль? Кому она нужна? Вопрос сложный и неприятный.

В Узоре между райисполкомом и райкомом идет скрытая затяжная вражда. Вернее, враждуют между собой Шилов и Кондаков. Причина одна. Председатель исполкома наотрез отказался быть бессловесной пешкой в руках Кондакова. И всеми силами отстаивает свою самостоятельность. В этой борьбе Морев встал на сторону Сергея Яковлевича, которого уважает и ценит на голову выше первого секретаря, как организатора, да и коммуниста.

Положение Кондакова незавидное и, видимо, ему придется уйти из райкома. Обиженный и обозленный, он ждет случая, как-нибудь скомпрометировать обкомовского работника. Иван Алексеевич это чувствует, но не боится. Ему просто противна эта мышиная возня. Поэтому Морев все время находится в Белебенке. Узор он тоже не забывает, но задерживается в нем не больше трех дней. А то и суток не пробудет. Проедет на своем «газике» по колхозам, переночует у меня, а утром скажет:

— Ну, брат судья, пока.

— Куда же?

— Да опять туда же, в солнечную Белебенку.

— Что так скоро?

— А что мне у вас делать? Учить, подсказывать? Кому? Кондакову? Не стоит труда, а Шилову — как-то совестно. Он в этих делах лучше меня разбирается. Руководители у вас настоящие, стойкие, твердые. А в Белебенке послабее и помягче...

Однажды в один из таких наездов, уже ночью, лежа в кроватях, мы заспорили о причинах упадка сельского хозяйства. С некоторых пор мы стали доверять друг другу, и разговор вели прямой и откровенный. Морев всю вину свалил на отсутствие в сельском хозяйстве настоящих руководящих кадров.

— Когда же мы, наконец, будем ценить ум и способности? Когда же мы избавимся от дураков и горлопанов? — сетовал Иван Алексеевич.— Вот бы таких, как Шилов, хотя бы по человеку на район. То ли бы было. А то насажают разных «Яб»-идиотов, хоть плачь с ними.

— «Яб»? А что это? — переспросил я.

— «Яба» — прозвище одного председателя райисполкома,— пояснил Иван Алексеевич и рассказал мне о дикой глупости и самодурстве этого руководителя.

Неделю я ходил под впечатлением рассказа Морева. Он не давал мне покоя. Я не сдержал себя, сел и переложил на бумагу.

Когда я прочитал рассказ Ивану Алексеевичу, он поморщился и сказал: «Не напечатают».

Мне очень хотелось напечататься. И я послал рассказ заказной бандеролью в толстый столичный журнал. Жду ответа [1].

ОСЕНЬ

За окном сентябрь, ясный и тихий. Воздух чист и прохладен. Дышится легко, и дали проглядываются на редкость отчетливо. Далеко-далеко видны, словно отчеканенные, кромки лесов и пестрые полосы полей. Небо с двойным рядом облаков. Нижние, грязные, лохматые, плывут в одну сторону, верхние, белые, с легкой синевой, как весенний талый лед,— в другую. Каждый звук долго, явственно звенит и откликается.

Поезд с грохотом пересек пыльную улицу Узора. Из-под колес выкатился клубок пара, скатился в канаву и запутался в сухой жесткой траве. Мне очень грустно, что ушел поезд, ушло лето, ушел безвозвратно еще год моей недолгой жизни, и еще ушла от меня навсегда Симочка. С этим поездом она приехала в Узор. А я ее и не подумал встречать. Почему? Да потому, что она приехала не ко мне и не одна.

Но почему мне только грустно? Почему нет обиды и той щемящей сердце боли, когда от нас уходит любимый человек. Вероятно, в этом повинно время. Оно запылило образ, заморозило страсть, застудило чувства. И с горькой улыбкой я утешаю себя всем известной соломоновой мудростью: «Эх, Семен, Семен, все проходит».

Раздумываю о том, где мне ночевать сегодня. В Доме колхозника или в своем кабинете на холодном диване. Новой квартиры не подыскал, да и искать

---

[1] Рассказ «Яба» был напечатан впервые в альманахе «Молодой Ленинград» в 1956 году, позднее включен в книгу В. Курочкина «Осиновый край».— М., «Советская Россия», 1969 г. (*Г. Н.-К.*)

не хочется. В Узоре мне осталось недолго прозябать. До перевыборов народных судей осталось ровно полгода. Я знаю, что меня не будут выбирать. И я этого не хочу, и другие не хотят.

Была ревизия суда. Она нагрянула неожиданно. Ревизор, законченный чинуша и, к тому же, еще и заика, как крот всю неделю копался в папках и бумагах, но вырыть, кроме мусора, ничего значительного не смог. Настрочил акт на двадцати страницах, в котором суд изобразил помойной лоханью, а меня не то свиньей, не то бюрократом. А я без стенаний и упреков во всем согласился с ним. Спорить все равно было бесполезно. Такой вывод у него был еще до ревизии согласован и утрясен с начальством нашего управления. Однако моя покорность тронула и ревизора. Уезжая, он страшно заикаясь, сказал:

— Товарищ Бузыкин. Вы не смогли ужиться с-с-с,— тут он споткнулся, зачмокал, зашипел, как паровоз, спускающий пары, лицо у него побагровело, щеки надулись, ему не хватало дыхания, и он, сложив губы воронкой, начал ловить воздух. Мне было страшно смотреть на него, и я поспешил подсказать ему слово: «Райком», которое он так и не смог выдавить... Так что мое будущее в моих руках.

«Где же мне ночевать? В кабинете, или попроситься к своей уборщице в сарай на сеновал?» Я так задумался, что не заметил, как появилась в кабинете Васюта и заговорила нараспев, растягивая слова и при этом широко улыбаясь.

— Это что ж такое! Его там ждут, а он сидит и не чешется. Пошел, пошел,— потянула она меня за рукав, когда я стал отказываться.— Сам ведь позвал. Так и говорит: «За стол не сяду без жильца».— Васюта оглянулась и таинственно зашептала: — Стар он для Симушки, ох, староват. Не такого я зятя-то ждала, да-а, не такого,— осуждающе посмотрела на меня, скривила рот и вытерла концом платка сухие глаза, но в ту же минуту оправилась и бойко, восхищенно продолжала: — А как человек-то очень хороший. Два платья мне подарил и платок пуховый. А как ее-то одел,— от наплыва чувств и радости Васюта закатила глаза под лоб и замахала обеими руками.— С достатком мужчина, из себя видный, представительный. От старой жены-то у него двое. Ну и то слава богу, хоть алиментов не платит. Ну, пошел, пошел,— и она опять потянула меня за рукав.

Что делать. Пошел. Отвязаться от Косихи было невозможно. Впрочем, любопытство тоже сыграло кое-какую роль.

Встреча с Симочкой меня все-таки волновала. Я не представлял себе, как мы будем смотреть друг другу в глаза, о чем говорить. Но вот мы встретились, посмотрели друг на друга и не потупились, заговорили без трепета, как будто мы только сегодня утром расстались.

Она мало изменилась, разве что слегка располнела. Но полнота очень шла к ее овальному, с острым подбородком лицу, к слегка вздернутому носу, к смоляному блеску глаз. Ее длинная коса теперь была уложена на затылке в тугой узел, и несколько пушистых завитков выбивалось возле ушей. И вся она была какая-то светлая, насквозь пронизанная обаянием и радостью.

Она заговорила просто, без намека на волнение, глаза ее смотрели на меня прямо, без тени смущения. Понизив голос до шепота, я спросил, любит ли она своего мужа. Она не увильнула от вопроса и даже не опустила глаз и спокойно ответила:

— Люблю. Он хороший человек.

— А меня?

— Ах, Семен, ты тогда...— и не договорив, сдвинула брови к переносице, повернулась спиной.

Есть категория людей, которая покоряет одним взглядом. Борис Дмитриевич Полостов был таким. С первой минуты знакомства у меня не было и намека на неприязнь к сопернику. Полостов своей высокой, сильной, отлично сложенной фигурой как бы невольно подмял меня под себя. Я люблю крупных сильных людей. И по характеру они добрее, и смотреть на них приятнее. Маленькие, слабосильные — первые задиры. Они желчны, обидчивы, властолюбивы и, как правило, считают себя умнее всех. В кампании держатся заносчиво, кричат громче всех и, изощряя свой мозг, беспрерывно острят

и язвят. А большие люди смотрят на них, как на детей, и снисходительно улыбаются. Правда, есть исключения. Но редко.

Полостов показался умным, образованным и даже талантливым, хотя и не без странностей. И сделал он это без показухи, без бахвальства. А так просто, непроизвольно, как это умеют делать только дети.

Когда мы подходили к дому, Борис Дмитриевич стоял на крыльце в шелковой рубахе с расстегнутым воротом. И разговаривал с петухом. Вернее, говорил он, а рябой, тощий, с исклеванным гребнем петух кокал и с треском хлопал крыльями, и вдруг, согнув голову, перевернулся через хвост и припустился за курицей. Борис Дмитриевич хотел было припуститься за петухом, но, увидев меня с Васютой, остановился и, смущенно потирая руки, пошел навстречу.

— Здравствуйте, здравствуйте,— говорил он, подходя.— Значит, вы и есть судья. Очень, очень рад. У меня был один знакомый судья, Зусин Модест Петрович, в одной квартире жили. Вы знаете такого? Оригинальнейший человек. О своих подсудимых не мог без слез говорить. И давал им всем только «от» и «до». Вы тоже так судите?

Все это он проговорил быстро, но не торопясь, сочным звонким баритоном и, взяв меня под руку, повел в дом, не переставая балагурить.

— А Узор мне ваш сразу понравился. Ничего сквернее и не видывал. А вы что пьете? Водку, чай? А я так и то, и это. У меня специально припасена бутылочка «Петровской». Фу, ну и запахи же у тещи в сенях!

За столом Борис Дмитриевич полностью овладел разговором и заговорил всех окончательно. Я подметил у него шутливый тон. О серьезном он говорил несерьезно, а о пустяках наоборот. Судил обо всем резко, порой даже бранчливо, но благодаря насмешливому тону, его брань не коробила, а веселила.

За каких-нибудь полчаса он успел рассказать десяток анекдотов. Симочку они не интересовали, а Васюта не понимала, хотя и слушала их с широко открытым ртом и выпученными глазами. Полостов рассказывал их ради меня. Я терпеть не могу анекдоты, особенно, если они рассказываются с целью посмешить. Борис Дмитриевич рассказывал их забавно, обязательно по какому-нибудь поводу, и его анекдоты отличались свежестью, оригинальностью.

— О боже, бывают же такие чудеса,— вздыхает он, переходя от анекдотов на дорожное приключение.—Ехал с нами в одном вагоне невзрачного вида человечишко. Сидел в уголке тихо, как мышка, сжимая под лавкой ногами какой-то мешок и пугливо озираясь. И вдруг пропал. Никто не заметил, как вышел. Да и вообще, кому до него дело. Значит, приехал, если вышел. А на следующей станции в вагон вваливается наряд милиции и прет прямо в наше купе, и шасть под лавку. Вытаскивают мешок, обычный мешок, в каком бабы на рынок кур возят. Вытащили, показывают нам и хохочут: «Вы знаете, граждане, что в этом мешке? Триста тысяч!» Оказывается, этот тип — банковский работник, вез на весь район деньги. А на станции выскочил в буфет выпить кружку пива. Пока пил — поезд ушел. Если б деньги пропали, какую бы ты финансишке статью пришил?

— Преступную халатность,— сказал я.

— А это сколько?

— Предельно три года.

— А колхознице, укравшей с поля мешок картошки, сколько ты даешь?

— Минимум семь лет.

— Да здравствует правосудие,— захохотал Полостов, и все тело его всколыхнулось и тоже засмеялось. И только спокойными и серьезными оставались глаза. Как я заметил, у Бориса Дмитриевича вообще улыбались только брови и губы, а глаза серо-зеленые, с крапинками ржавчины вокруг, постоянно были острыми и хитрыми. Выражение их менялось, когда он обращался к Симочке. Тогда в них появлялось что-то кроткое и по-детски восторженное.

Поначалу мы изучающе примеривались, обращались друг к другу на «вы», при этом зачем-то обязательно наклоняя голову, раскрашивали речь такими фразами, как: «Позвольте мне по этому вопросу высказаться», или «Как я заметил, вы очень тонко выразились», и тому подобное. До слез хохотали над плоской остротой. Но вскоре как-то незаметно перешли на «ты», заспорили,

перебивая друг друга, под финал сыграли в шахматы и расстались наипервейшими друзьями.

Наша дружба завязалась не случайно, закономерно, из потребности общения столь близких по характеру натур. Да и с кем я мог искать в Узоре общения? С Халтуном? Или с прокурором? Разве что с Сергеем Яковлевичем. Но он постоянно занят. Полостов, как и я, в Узоре одинок. Все же он счастливее меня. Около него теплая, обаятельная Симочка. Мне же вдвойне хуже. Я все время чувствую вокруг себя пустоту и стужу.

Прошла неделя, и мы уже не могли провести вечер друг без друга. Правда, первые впечатления об уме, таланте его потускнели и, наконец, стерлись, но все же он приятней и интересней других.

Полостову пятьдесят лет, он — полковник на пенсии. Выйдя в отставку, сразу же поступил учиться на какие-то краткосрочные курсы по подготовке учителей. Во время учебы познакомился с Симочкой. Окончив курсы, приехал в Узор, чтоб навсегда в нем осесть учителем географии в средней школе.

С первых дней преподавательская деятельность пошла у Бориса Дмитриевича, как говорят, через пень-колоду. Он решил ввести свою методику преподавания. Что это за методика, я не знаю. Но говорят, что у полковника Полостова на уроках ребятишки ходят на голове.

По вечерам мы встречались или у него дома, или у меня в суде. Как ни уговаривал меня Полостов остаться у Васюты квартирантом, я наотрез отказался и поселился в суде в крохотной комнатушке, в которой ночевала моя уборщица и сторож Манюня. Для этого мне пришлось освободить ее от обязанностей сторожа и взять их на себя. Когда я сообщил об этом по телефону своему шефу, он неодобрительно проворчал: «Мне — что, смотри сам. Как бы чего не вышло». А что могло выйти? Как сказал один старик: «Разве ж разумный человек по своей воле в суд пойдет? Ни в жисть не пойдет. Его туда беда с милиционером за воротник тянут».

А меня другое тянуло в дом Васюты Косых. Хотя каждый раз уходил я из него разбитый и подавленный, давая себе слово больше в нем никогда не появляться.

Мне приятно сидеть в чистой, теплой, уютной комнате. От намытых полов пахнет можжевельником и свежестью. Все свои мысли и заботы Васюта сосредоточила на уничтожении в доме грязи. Она весь день скребет и чистит. Да и внешне Васюту теперь не узнать. Одевается нарядно, ходит степенно, говорит односложно: «да», «нет», «ни к чему» и во всем старается подчеркивать свою значимость. Соседи называют ее теперь не Васютка Косая, а по имени и отчеству «Василиса Тимофеевна». По вечерам она сидит на кухне в очках и читает одну и ту же книгу: роман Елены Серебровской «Начало жизни». А зять ее в это время с судьей сгорбились над шахматами.

Полостов играет прилично, но уж очень обдумывает каждый ход. Я же передвигаю фигуры, как хорошо отрегулированный автомат. Да и как тут думать сосредоточенно. За спиной по половикам ходит босиком Симочка. Я прислушиваюсь к ее шагам и просматриваю ход пешкой. Борис Дмитриевич мгновенно выигрывает партию. Начинаем другую. Симочка стоит у жарко натопленной печки, то покачиваясь из стороны в сторону, то глядит на нас подбоченясь, то поднимет руки к голове, чтоб поправить волосы, и все время говорит, то смеясь, то грустно, то с какими-то тяжкими притворными вздохами. Лицо у нее раскраснелось, пышет жаром и счастьем. Меня подмывает желание схватить ее в охапку и убежать. Куда? Да не все ли равно, лишь бы убежать с ней. Но это несбыточная мечта. Не только потому, что рядом сидит ее законный муж, а главное то, что Симочка теперь со мной слишком откровенна и спокойна.

Как-то мне посчастливилось застать Симочку дома одну. Борис Дмитриевич задержался в школе, а Васюты не было. Я страшно обрадовался и попросил Симочку посидеть со мной, поговорить. Она села рядом на диван, поджала под себя босые ноги, зябко съежилась, накрылась шерстяным платком.

— Знаете, Симочка, что...— начал я не своим каким-то деревянным голосом.

— Что? — это слово она не сказала. Я уловил его по движению губ.

— Что я до сих пор люблю тебя,— сказал я, стараясь придать голосу твердость.

Она подняла на меня глаза и, как прежде, посмотрела на меня прямо и открыто. Я тоже смотрел ей в глаза в упор и долго. Но она не отвернулась, не мигнула, у нее даже не дрогнул волосок на ресницах.

Я заговорил торопливо, сбивчиво, с жаром, что люблю ее в первый раз, а может быть, в последний. Уверял, что мне без нее и жизнь не в жизнь. Благодарно расхваливал ее мужа, что он достойнее меня во сто крат, а я так несчастлив в своей любви, что она и представить себе не может. Кончил я свой жалостливый монолог такими словами:

— Симочка, я тебя ни в чем не обвиняю. Я даже рад, что у тебя так счастливо сложилась судьба. Я больше тебе докучать не буду и ходить к вам больше не буду. Но знай, что я одинок, как никогда, и очень страдаю.

Но она даже не шелохнулась и не повела бровью, и на лице ее ничего нельзя было прочесть, кроме равнодушного недоумения. Я ждал ответа на свое признание. Симочка же молчала. Мне стало обидно. И я с горечью сказал:

— Я не верю, что ты любишь Полостова.

— А вот люблю,— живо откликнулась она.

Я усмехнулся.

— Раньше и мне ты это говорила.

— Я и тебя любила.

— А теперь?

Она посмотрела, закуталась в шаль, сжалась в комочек.

— Ну что же ты молчишь?

— А что мне говорить?

— Раньше ты любила меня, а теперь?

Она нервно передернула плечами.

— Теперь люблю Бориса Дмитриевича.

Я уныло опустил голову и уставился в пол, как больная собака. Симочка бесшумно встала и вышла из комнаты.

Мы играем. Симочка посматривает то на нас, то на часы, пройдет по комнате, опять остановится у печки, вся вытянется, прикрыв рот ладошкой, зевнет и как бы между прочим скажет: «Уже одиннадцатый».

В кухне стоит самовар с чайником на конфорке, Борис Дмитриевич долго уговаривает меня выпить с ним стакан-другой крепкого чаю. Я долго ломаюсь, а потом сажусь за стол с таким видом, словно оказываю им великую услугу. Васюта с лицом мумии наливает мне густо заваренный чай и сердито швыряет мне чайную ложку. Васюта не терпит меня, как всех своих бывших квартирантов. Раньше она уважала меня, как судью. С появлением в ее доме важного и заслуженного зятя, я в ее глазах скатился до положения сторожа дровяного склада.

Когда же я не бываю в доме Васюты Косых, у меня сидит Полостов и ведет душеспасительные разговоры. Со мной он сбрасывает маску благодушия. Становится тяжелым, мрачным, грубым. Раздражается по каждому пустяку, злословит и все охаивает. Я вторю ему. И мы дустом все ругаем и злобствуем. Разговоры, как правило, о процветании ханжества, подлости, карьеризма. Мы охаиваем все настоящее и расхваливаем былое. Наши обвинения огульны, бесточвенны и строятся они преимущественно на воспоминаниях об ушедших счастливых временах. Мы превозносим себя, бесстыдно хвастаемся друг перед другом талантами и умом, которые зажали в тиски и не дают ни расти, ни развиваться. Борис Дмитриевич жалуется, что армия погубила в нем ученого, гуманиста, философа. А через минуту начинает ругать и поносить школу и, вздохнув, с сожалением скажет: «В армии хоть и тупеет человек, зато он наперед знает, что ему надо делать». Он любит повторять эту фразу. А я каждый раз думаю: «Интересно, сама она пришла ему в голову или Полостов взял ее напрокат из „Красной Лилии“ Анатоля Франса?» Но об этом я его не спрашиваю. Так как я и сам чужие слова, мысли бессовестно выдаю за свои.

Мы брюзжим и клевещем до полуночи. В конце концов наше путешествие в пустозвонство, критиканство переходит в глумление, издевательство над человечеством. Но тут нас начинает одолевать зевота.

— Ну все, довольно. Я пошел. Будь здоров,— громко и отрывисто, словно в казарме, говорит Полостов и, стуча каблуками, уходит.

После ухода Полостова мне становится невообразимо тяжело и гадко. Словно этот разговор я не сам вел, а подслушивал его случайно у соседа через тонкую перегородку. И чувствую, как мало-помалу скатываюсь в какую-то глубокую вонючую яму. Я понимаю, что наше злословие, брюзжание не достойно порядочных людей. Сознаю, что все это надо кончать. Но как?! Завтра ко мне опять придет Полостов, и все начнется сызнова.

К счастью, мы начинаем надоедать друг другу. Встречаемся все реже и реже и, наконец, от случая к случаю.

Я почти никуда не хожу. Только по утрам выползаю на рынок и — раз в неделю — в библиотеку. Набираю охапку книг без разбору, что попадет под руку, и глотаю, не пережевывая, ночи напролет эту словесную мешанину. Сам готовлю завтраки и ужины в моей каморке на крохотной дырявой плите. Плита дымит нещадно, и моя каморка напоминает курную деревенскую баню.

Тогда я вспоминаю своего заседателя Вадима Артемьевича Ухорина. Сравниваю его жизнь со своей и не вижу существенных различий. Оба мы несчастны, никому не нужны, и наплевать-то всем на наше существование. Однако приготовление пищи меня не угнетает. В это время я чувствую себя человеком, занятым нужным и полезным трудом, и мне не так тоскливо.

Единственно, кто меня помнит и навещает, так это Ольга Андреевна Чекулаева. Позвонит по телефону и спросит:

— Ты еще жив, Буза?

— Существую.

— А как?

— Надо бы получше, да не умею.

— Ну так я к тебе вечерком забегу и поучу немножко.

Она приходит, сильная, здоровая, и сразу же начинает наводить у меня порядок. Закатывая рукава кофты, Ольга категорически заявляет:

— Все мужчины — порядочные поросята. И образ жизни у них, как внешний, так и внутренний, поросячий.

— Вот что, голубушка,— говорю я наставительно.— Если ты желаешь сотворить ближнему добро, то вначале сотвори его в душе. А потом принимайся за это дело с тихой радостью, без попреков и оскорблений.

Ольга Андреевна, чтоб не рассмеяться, стискивает зубы.

— Подумаешь, великая радость чистить твой свинарник.

— Оставь и уходи.

Она вспыхивает.

— Эх, ты, бревно неотесанное! Другой бы на твоем месте за великую честь почел, что к нему пришла такая молодая и красивая женщина. Что улыбаешься? Может, скажешь, что я некрасивая?

Она вплотную подходит ко мне, касаясь своими налитыми грудями, кладет руки на плечи и сильно встряхивает:

— Отвечай мне, красивая я?

Глаза у нее потемнели, ноздри раздулись, дышит порывисто и вся дрожит, как необъезженная лошадь. Мне становится почему-то жутковато, я опускаю голову и бормочу:

— Красивая.

— А еще какая? — шепчут ее губы.

— Сильная.

— И ты меня боишься?

Она ждет ответа с нетерпением. Пальцы ее рук словно клещами сжимают плечо. А я стою, молчу и глупо краснею. Ольга Андреевна отходит к окну, смотрит на улицу. Видит ли она что-нибудь там, не знаю. Скорее всего, что ничего не видит: мешают слезы. Она давно любит меня. Но я как-то странно ощущаю ее красоту и любовь. Они не вызывают у меня ни желания, ни наслаждения, ни восторга, ни страсти. Мне жаль себя, жаль Ольгу, жаль того, что мы теряем что-то важное, необходимое и нужное в жизни.

Ольга Андреевна как быстро вспыхивает, так же быстро остывает. Минутная слабость прошла. Ольга Андреевна и командует и распоряжается мною, как хочет. Я таскаю ведра с водой, дрова, мусор, а она чистит, скребет и моет. И делает все с большим удовольствием.

Но вот уборка кончена. В комнате жарко и сыро, как в прачечной. Подсыхает пол, над плитой сушится полотенце. Из чайника хлещет пар, а крышка звенит и подпрыгивает.

Пьем чай, долго и лениво, и, разомлев, лениво, доверчиво болтаем обо всем и ни о чем. Потом начинаем жаловаться друг другу на скуку, невежество, жизненную неудовлетворенность и так далее и тому подобное.

Наедине со мной Ольга Андреевна старается избегать разговоров на политические темы. Ее больше волнует личная интимная жизнь человека. Я стараюсь делать все ей в пику. И начинаю разводить жалость по поводу темноты и невежества.

— Вот тебе пример темноты и невежества наших колхозников,— начинаю я не без некоторого ехидства и рассказываю про одну женщину, которую вытащили в Узор из глухой деревушки на суд за неуплату сельхозналога. До начала судебного заседания эта женщина сидела в канцелярии суда. Два часа она высидела, не шевелясь, не сказав ни слова. И вдруг заговорило радио. Женщина забеспокоилась, вскочила и, озираясь, с испугом спросила: «Где ж это человек-то сидит? Спрятался, что ль?»

— Вот, Ольга Андреевна, плоды твоей пропаганды и культпросвета,— не без злорадства сказал я.

Чекулаева на это ответила, что подобное явление редкое, единичное, и никак нельзя строить на нем такие резкие обобщения, так как в основном наш народ знает радио, знает и телевизор, и еще кое-что.

Мой рассказ о том, как я судил старика за украденный с поля мешок турнепса, также ее не тронул.

— И правильно. Если не усилить борьбы с расхитителями, то воры и казнокрады растащат все: пальто не на что застегнуть будет,— резко заявила Ольга Андреевна.

— Да какой же он казнокрад! Он просто голоден. И взял-то он то, что принадлежит ему по праву. Он обрабатывал это поле, он сажал этот турнепс. И ничего не получил за работу.

Ольга Андреевна смотрит на меня насмешливо.

— Он это так и сказал на суде?

— Этого он не сказал. Должен был сказать.

— Почему же он не сказал?

— Из уважения.

Она передернула плечами и махнула рукой.

— Хватит, замолчи.

Мне стало очень обидно и за этот жест и за то, что она не понимает меня.

— А ты, наверное, думаешь, что он испугался это сказать. Он бы сказал, если бы его судил председатель колхоза в правлении. В его годах бояться нечего. А нам этого не сказал только лишь из уважения к массивному столу с зеленым сукном, стульям, у которых на высоких спинках герб, к портретам, к прокурорским светлым пуговицам, к непонятным бессмысленным словам адвоката, как «алиби», «юриспруденция», «право» и прочая шелуха. Из уважения он виновным-то себя признал. Хотя уверен, в душе-то он не считал себя преступником. Просто он ничего не понимал. А все непонятное невольно вызывает у человека уважение.

Двенадцатый час ночи. Но мы все еще сидим. Чтоб как-нибудь протянуть время, Ольга Андреевна начинает опять уборку. Моет посуду, подметает пол и делает все это нарочито медленно. Посуда вымыта, стол насухо вытерт, Ольга оглядывается, что бы еще такое сделать и, убедившись, что больше совершенно нечего, садится, положив на колени руки. И так, не шелохнувшись, сидит долго, мучительно долго, морщит лоб, кусает губы. Она хочет что-то сказать и не решается, ждет, когда заговорю я. А я молчу, нехотя перевертываю страницы книги.

— Знаете что? — прерывает она молчание, обращаясь почему-то на «вы».
— Что? — равнодушно откликаюсь я.
Ольга испуганно вздрагивает и говорит совершенно не то, что хотела сказать.
— Который час?
— Вероятно, первый.
— Так много. А спать не хочется,— говорит она, грустно улыбаясь, и ждет, не предложу ли я посидеть еще немножко.
А я по-прежнему молчу и по-прежнему равнодушно листаю книгу.
— Ну, я пошла.
Ольга встает, снимает с гвоздя пальто. Я помогаю ей просунуть в рукава руки и по ее грустным глазам вижу, как ей не хочется уходить. И словно в подтверждение моей догадки, она, вздохнув, говорит:
— Если б ты знал, как мне не хочется...
— Чего не хочется?
Она вскидывает потемневшие от тоски и обиды глаза и говорит, стиснув зубы:
— С утра ехать в командировку.
— Я провожу тебя.
— Зачем?
— Да так...
— Не надо. Прощай,— и хлопает дверью.
Каждый раз, уходя, она бросает мне это слово. Но я знаю, что она придет и придет обязательно, чтоб сказать мне его еще раз. Придет, раскрасневшаяся от радости, стыда. Она радуется, что ей приятно видеть меня, сидеть рядом, дышать вместе одним воздухом. И в то же время ей стыдно бывать у меня, оправдываться и лгать, чтобы замотивировать свой приход какой-нибудь очевидной ложью, вроде как: «Пришла проконсультироваться по одному юридическому вопросу». И я ее ничуть не осуждаю. Мне тоже приятно бывать у Симочки и дышать с ней одним воздухом. Правда, я не сгораю от стыда за свои визиты: они прикрыты дружбой с Борисом Дмитриевичем. Но все знают, что это тоже ложь. Знает и Симочка, и Васюта, и соседи, вероятно, догадывается и сам Полостов.
Однако всему есть конец.
Пришел конец и этой дружбе. Она оборвалась внезапно, легко, бесшумно, как истлевший кусок полотна.
Полостов получил письмо от дочери. Она сообщала, что выходит замуж, и умоляла отца приехать на свадьбу и разделить вместе с ней ее радость. В письме так и было написано: «разделить со мной мою радость». Борис Дмитриевич читал мне письмо вслух и дважды подчеркнул эту нелепую фразу.
Мы с Симочкой провожали его. Настроение у Полостова было приподнятое, возбужденное. А когда он в привокзальном буфете выпил водки, то к нему еще прибавились гордость и бахвальство. Статный, он, красиво поводя плечами, молодцевато расхаживал по перрону, небрежно брал меня за пуговицу, говорил: «Молодой человек, вот ты не испытываешь чувства отцовства. А жаль. Чудеснейшая, изумительнейшая этв штукенция. Советую испытать,— опять ходил, насвистывая и слегка подрагивая ногой, брал меня за ту же пуговицу и со снисходительной грубостью поучал.— Запомните, молодой человек. Долг каждого мужчины быть отцом, так сказать, продлить и увековечить род человеческий». И слово «продлить» звучало неприятно и пошло. Симочка изумленно смотрела на мужа и ничего не понимала. А он просто не замечал ее, а может быть, вообще забыл о ее существовании. И только когда подошел поезд, он вспомнил о ней, наспех поцеловал в лоб, сказал: «Не горюй. Веди себя умненько...», вскочил на подножку и помахал платком.
Прошло дня три. Настроение все это время было отвратительное, а в тот вечер особенно. Ничего не хотелось: ни думать, ни делать.
После работы два часа провалялся на диване, читая глупейший роман Панферова «В стране поверженных». И встал только за тем, чтобы приготовить ужин. За окном зияла непроглядная темень, дул ветер и хлестал дождь. Я затопил плиту и стал чистить картошку.

В сенях под грузными шагами застонали половицы, дверь от рывка распахнулась и через порог переступил Полостов. Но в каком виде! Ботинки покрывала густая грязь, словно он шел напрямик по раскисшей пашне. Поля шляпы обвисли. Лицо мокрое, опухшее, измятое.
— Что это? — воскликнул я.
— Т-с-с. Тихо надо. Я как тать в нощи в полнощной прокрался в твой дом,— прохрипел он.— А ты картошку варишь? И то дело!
Полостов засмеялся отрывисто и хрипло, как старый мотор, и, резко оборвав смех, громко, словно командовал полком, приказал:
— Отставить картошку, начнем пить водку.
Полостов шагнул к столу и вытащил из кармана поллитру. На месте, где он стоял, осталась большая грязная лужа. Борис Дмитриевич стащил с себя пальто, бросил на диван, и туда же швырнул мокрую шляпу. Он не сел, а свалился на стул и, обхватив руками голову, простонал:
— О люди, если б вы знали, как все ужасно!
— Что случилось?
Полостов поднял на меня мутные пьяные глаза.
— Судья, ты слыхал поговорку: «Бог шельму метит»?
Он хотел улыбнуться и не смог. Вместо улыбки задергались щеки, скривился рот, а глаза обозленно сверкнули.
— Ну, что стоишь, смотришь? Подай стакан.
Полостов зубами сорвал с бутылки пробку, с бульканьем налил с краями стакан и, расплескивая водку, с отвратительной жадностью выпил. С минуту он сидел не дыша, не двигаясь, выпучив глаза. Потом, хватая губами воздух и поглаживая живот, просипел:
— Пошла, пошла. Уф, как хорошо-то стало! Подавай-ка сюда теперь картошку.
Он выхватил из кастрюли картофелину, покидал с руки на руку, обмакнул в соль и, обжигаясь, проглотил ее.
Глядя на него, я не удержался и захохотал.
— Ты словно с голодного острова, а не со свадьбы.
— Почти двое суток не ел.
— Что так?
— Пил.
— Что же случилось?
У Полостова задергались веки, но он пересилил себя, вероятно, чтоб не расплакаться.
— Бог шельму метит. Вот что случилось,— он налил еще полстакана водки и упросил меня составить ему компанию. После второго захода он както сразу обмяк и прослезился.
— Семен, ты хотел бы знать всю мою подноготную, жизненную трагедию удачливого человека? Ну так слушай. С чего же ее начать?..
Полостов долго тер лоб, морщился и, наконец, заговорил, с трудом подбирая слова.
— Я, Семен, родился в семье приличной, даже, если так выразиться, и с достатком. Мой отец был инженер, железнодорожные мосты строил. Мать тоже была образованная. Детство свое я опущу. Оно было обеспеченное и неинтересное. Учился в гимназии и, должен сказать, учился почему-то скверно, хотя возможности и способности у меня были недюжинные. Батька хотел, чтоб я топтал его дорожку. Но, видя, что из этого ничего не получается, махнув рукой, сказал: «Не хочет быть инженером, пусть будет офицером», взял меня из гимназии и отдал в военно-морской кадетский корпус. Революцию я встретил гардемарином. Отец, как и все порядочные русские люди, революцию принял и приветствовал. Ну и я, конечно. В гражданскую воевал, стал красным командиром, только артиллеристом. Женился на умной красивой женщине. Как она меня любила! — Полостов застонал, закачался из стороны в сторону, схватил со стола бутылку, плеснул в стакан водки, выпил и продолжал:

— В общем, это брак был настоящий. От него у меня, то есть у нас... у меня-то сейчас ничего нет... осталось двое огарков. Сейчас я их тебе покажу, похвастаюсь...

Полостов сунул руку в потайной карман, вытащил фото и подал мне. Карточка была пробита пулей.

— Не правда ли, славные ребятишки? — пробормотал он, вытирая слезы.— Старший сыв Андрюша, младшая — Ирочка. Сам фотографировал. Андрей ужасно не любил сниматься. Уговорили за взятку. Волосы у него стояли дыбом, как у ежа, а щеки от слез были красные и мокрые. Ирочка стояла рядом в белом платьице, серьезная с вытянувшимся личиком. Я все просил ее улыбнуться, но у нее никак не получалось. А все-таки неплохо вышли, как живые,— Полостов отобрал у меня фотографию и долго глядел на нее, глубоко вздохнув, повторил: — Как живые... Жаль, только вот пуля фотографию попортила.

— Где же она была?

— У сердца.

— И ты остался жив?

— Пуля в ребре застряла.

— А потом?

Полостов посмотрел на меня совершенно трезво и неприязненно.

— Ты меня не торопи и не сбивай с мысли. Я и сам собьюсь. О войне я тоже опущу. Хотя она во всем и виновата. То, что у меня на фронте были женщины, ты не удивляйся, у многих много их было. Но все они для меня были как снег: прилипали, таяли и испарялись. Но одна на меня свалилась, как глыба, и придавила. Из-за нее я потерял жену, детей. Ужасно вредная и подлая скотина попалась. Когда я ее бросил, она столько на меня грязи вылила, что мне ничего не оставалось делать, как уйти из армии. Я бросил службу, бросил стерве квартиру и явился с повинной головой к Наде, то есть к Надежде Семеновне. А ты знаешь, как она меня приняла? Ужасно! Словно ей покойника в дом втащили,— Борис Дмитриевич схватился за волосы и омерзительно замотал головой...— Стою, молчу, не смею чемодан опустить на пол. А она, Наденька, даже не смотрит на меня. Повернулась спиной, глядит в окно. Словно она за столько лет одна не наглядела́сь. Потом повернулась вполоборота, чувствую, хочет что-то сказать. На шее худенькой, тонкой, часто бьется синяя жилка. И такой она мне в эту минуту родной, желанной показалась, что у меня потемнело в глазах. «Пришел?» — спрашивает. «А что делать?» — прошептал я и чуть не заплакал. «Зачем?» И вот тут я, видимо, дал маху. Заулыбался, как идиот, и говорю: «Былые радости, уснувшие печали опять в душе моей, как прежде, прозвучали». Хотел мило пошутить. А получилось глупо и пошло.

Полостов залпом выпил водки, закусил коркой хлеба. Я не утерпел и спросил:

— А что она?

— Как «что она»? — недоумевая переспросил Борис Дмитриевич.

— Что тебе жена на это сказала?

— А-а,— он поковырял пальцем зуб,— ничего утешительного, сказала: «Фу, гадость. Пошел вон, ничтожество». Правда, она так не выразилась. Она вообще ничего не сказала. Я это по ее глазам догадался,— проговорил он, криво улыбаясь, и протянул к бутылке руку.

Я попытался отобрать у него бутылку. Но Полостов неожиданно вскипел и заартачился, как всякий пьяный.

— «Хватит»,— передразнил он меня,— где ж «хватит»? Тут воробью не хватит. Допью и еще пошлю тебя за водкой. Потому я со свадьбы, и хмель у меня еще не прошел.

Я решительно заявил, что никуда не пойду, да идти бесполезно, так как поздно и водки уже не достанешь.

Он стукнул по столу кулаком.

— Я достану. Из-под земли достану,— попытался подняться и не смог. Плечи у него обвисли, красное опухшее лицо сморщилось, как у новорожденного ребенка. Подпирая рукой голову, вытянув нижнюю губу, он уставился в одну точку. Я посоветовал ему лечь, выспаться. Но Полостов только отмахнулся.

— Не хочу.

— А что делать будешь?

— Ты — что хочешь, а я буду думать,— грубо отрезал он.

— О чем?

— О подлости человеческой.

— Пьяный разговор,— заметил я.

— Пьяный?! — глухо, по-звериному зарычал он.— Ты, наверное, думаешь, что я совсем детей бросил. Нет?! Никак нет-с-с. Детей я не забыл и не забываю. Когда они стали совершеннолетними, и тогда не забывал. Помог сыну институт кончить и дочери тоже. Каждый месяц высылал им деньги, и немалые, стипендия по сравнению с моими переводами — тьфу,— он плюнул на пол и зашаркал ногой. Видимо, хотел растереть плевок, который был совершенно в другом месте.

— Ты мне не веришь? Да у меня ворох этих квитанций.

— Дело не в них. Квитанции — для очистки твоей совести,— сказал я.

Но Полостов опять отмахнулся от меня и, все больше возбуждаясь, стал доказывать мне свою порядочность, честность и обличать подлость.

— Я старался делать для них все. Они же как со мной рассчитались! Сын от батьки отказался, и видеть не хочет. А дочь? — он горько усмехнулся.— На свадьбу пригласила. А зачем? Чтоб поиздеваться. Подлость, какая подлость! Пусть я плохой отец, но все-таки отец.

— Что же произошло-то? — поинтересовался я.

Полостов не обратил на меня внимания и продолжал.

— А с какой радостью я ехал на свадьбу! Последний раз поцеловал Ирочку, когда ей было одиннадцать лет. Это было очень мягкое, теплое и невообразимо милое существо. И вот она уже невеста; как-то она встретит старого, давно забытого батьку? Мне было одновременно и страшно и радостно. Признаться, я опешил и едва устоял на ногах, когда пышная красавица с весьма развязными манерами повисла у меня на шее. Но я узнал свою дочь, как узнают звери своих детенышей. Она жадно схватила мои подарки, кое-как поцеловала и убежалв к жениху. А свадьба была ничего, веселая была свадьба. Все говорили и никто никого не слушал. Много пили, пели, кричали «горько», и я тоже кричал «горько», и мне действительно было очень горько. Потом на меня снизошло какое-то забытье, словно все вокруг заволокло туманом. А когда туман рассеялся, за столом уже никого не было. Ни дочери, ни жениха, ни гостей — один только я.

Все время он говорил, опустив голову, а когда кончил свой рассказ, поднял ее.

— Ну, что ты на это скажешь, судья?

— Судьба шельму метит.

— А-а-а? И ты, наконец, понял?! — Полостов отрывисто захохотал, словно залаял.— И тебе она, Бузыкин, отомстит. Конечно, если ты тоже делал подлости и гадости. Сама жизнь отомстит. Она все видит и ничего не забывает. И бьет в самый критический момент, по самым больным местам, бьет наверняка, наповал. Запомни это, Семен, заруби на носу. Твори в жизни только благо. И начни это дело сейчас же, немедля. Оставь меня у себя на ночлег. Кому я такой нужен. Да и Косые не знают, что я вернулся со свадьбы. Я ведь прямо с поезда — к тебе. Чтоб никто не видал, огородами, задворками пробирался. А завтра утром явлюсь, и все будет в порядке. И еще прошу тебя: никому и ничего не рассказывай. Впрочем, это дело твоей совести.

Я помог Полостову перебраться со стула на диван, стащил с него ботинки, сунул под голову подушку, а сверху набросил пальто, и он мгновенно захрапел. И всю ночь он храпел, да так, словно по моей каморке разъезжал гусеничный трактор.

Теперь мы не бываем друг у друга. Не только потому, что это мое желание, но и сам Борис Дмитриевич уже не тот Полостов, моложавый полковник, каким он явился в Узор. Учительствовать бросил. Живет по-стариковски: тихо

и разумно, никуда не ходит, ни с кем не знается. На глазах жиреет, дышит тяжело и все чаще откидывает назад голову. Утром Полостова можно встретить с женой на рынке. Идет важный, солидный, с сознанием своего превосходства. И все ему уступают дорогу. О мясе, луке, картофеле толкует так, будто всю жизнь только и занимался сельским хозяйством. Проходя мясной ряд, тычет пальцем, спрашивает: «Сколько?» и, не слушая ответа, идет дальше. Выбрав кусок, тщательно ощупывает, обнюхивает и скаредно торгуется. И совершенно не обращает внимания, когда торговка плюет ему вслед: «Тьфу, а еще полковник».

Иногда встречаю Полостова в березовой рощице, около больницы, на берегу реки. Каждый вечер он ходит туда с женой прогуливаться. Делаем вид, что необыкновенно рады видеть друг друга, неестественно хохочем, хотя говорим о самых обычных, серых и скучных вещах. Приподняв шляпу, Борис Дмитриевич желает мне «здоровья», поворачивается спиной и, осторожно ставя ноги, словно боясь оступиться и попасть в яму, уходит. Рядом с ним, прижавшись к рукаву, словно внучка к дедушке, плывет Симочка. Она тоже изменилась. Ее дивные милые глаза округлились, словно от испуга. Они теперь не вспыхивают, не гаснут, они очень равнодушны, смотрят — да и только.

Полостовы бродят меж белыми стволами берез, как тени, и, наконец, исчезают. А я иду к реке, выбираю сухое место, усаживаюсь поудобней и долго смотрю на темную холодную воду. В ней отчетливо отражается рыжая шуршащая осина, осеннее, с голубыми проталинами небо, кровяные ягоды бузины, голые серые ольхи, тянутся бесконечно желтые березовые занавеси.

Налетевший ветерок поднимет рябь. И все сольется в один пестрый яркий вертящийся клубок. Но вот ветер стих. И опять все стало на место.

Поднимаю голову. Все то же, что и в реке, только во много раз огромнее, светлее и проще.

Публикация Г. Е. НЕСТЕРОВОЙ-КУРОЧКИНОЙ



Надежда **ПОЛЯКОВА**

▣ ▣ ▣

Так низко самолеты
Летали над землей,
Что видно, как пилоты
Смеялись над толпой.

В одну сливались харю,
(Не назовешь лицом!),
Смеялась харя, шпаря
Свинцом, свинцом, свинцом.

Прошли такие годы
По солнечной земле,
А снятся самолеты
С крестами на крыле.

Над самою землею
На круг идут внаклон
Над тем, кто стал золою
И ветром разнесен.

И над моей судьбою,
Изломанной вконец,
Враг тешится стрельбою —
Свинец, свинец, свинец.

Всю ночь кручусь в постели,
Со стоном, вниз лицом.
...Весенние капели
Звенят перед крыльцом.

КОЛОТИТСЯ СЕРДЦЕ НЕВОЛЬНО

Я знаю, что это — актеры
В окопах сидят, на экране.
Я знаю, что русого скоро
Убьют, а чернявого ранят.
Но все не всерьез и не больно.
С чего же в груди барабанит,
Колотится сердце невольно?

С того ли, что видела много
На карточках в рамках семейных
Мальчишек, насупленных строго,
В солдатских доспехах бессменных —
Сменить не успели: дорога
Длинней до любого порога,
Чем в рай облаков белопенных...

Мне жаль их, ни разу не бритых,
Остриженных, круглоголовых,
Зачисленных в списки убитых,
В своих гимнастерочках новых,
В шинельках, еще не обжитых,
В еще не истертых кирзовых.

Мне жаль их, наивных и шалых,
По всем показаньям пригодных
Для строя, для боя, усталых
Под тяжестью скаток походных,
Уже не как сверстников жаль их,
А как сыновей всенародных.

▣ ▣ ▣

Белый конь пасется в поле,
Черный конь пасется в поле,
Серый конь пасется в поле.
Стремена звенят.

Ночь идет неторопливо.
Ветер чуть шевелит гривы.
Гладких крупов переливы
Под луной блестят.

А солдаты спят.

Спят под круглою луною,
Под туманной пеленою,
Под фанерною звездою
Много лет подряд.

Встанет солнце утром ранним,
Кони следом за туманом
Ввысь, к заоблачным полянам,
Тая, улетят.

А солдаты спят.

Под былины, под молитвы
В поле Куликовской битвы
Подмосковной, Курской битвы,
Как большой единой битвы...

Крепок сон солдат.

⊡ ⊡ ⊡

Если Родину не любить,
Если Родину не беречь,
Выбирайте, где лучше жить,
Позабудьте родную речь.

И оттуда, издалека,
Напишите, как жизнь легка.

Без родимого языка
На чужбине тоска, тоска...

Не нужна чужбине строка,
Что напишет ваша рука,
И не нужен ей русский стих,
Ей хватает певцов своих.

⊡ ⊡ ⊡

Диктует мне судьба
Не радости искать, а утешенья.
Сверкает снег от лунного свеченья —
Скупого рыцаря раскрыты погреба.

Недвижны и чисты
Еще вчера черневшие коряво
Деревья хрупкие из белого коралла.
Застывшим выдохом прикинулись кусты.

На белой простыне
Спит город, раскидав свои районы,
Свет погасив у молодых влюбленных,
Луну поставив сторожем в окне.

Однажды написав,
Что я — прохожий города родного,
Себе призванья не ищу иного
И не тащу под крышу за рукав.

По искристым снегам
Хожу, раскланиваясь с фонарями,
И переулков узкой панораме
Не привыкать к моим ночным шагам.

И если звук шагов
Подарит мне размер стихотворенья,
Возникнет рифма отзвуком и тенью,
Как тень моя на россыпи снегов.

⊡ ⊡ ⊡

Прислушиваюсь к шумному размаху
Поэзии российского крыла.
Нести свою эпоху, как рубаху,
Что каждой ниткой к плоти приросла.

Не удается склонным к суесловью.
И не ложится слово, как печать,
Под ненавистью, страстью и любовью,
Когда непозволительно молчать.

Мы — дети расщепленных лет, в которых
Решается судьба грядущих лет.
Наш чуткий слух улавливает шорох
Для нас не приспособленных планет.

Нет ни другой эпохи, ни планеты
Другой, печальней нашей и светлей,
Затоптанной, заплеванной, воспетой,
С крутым замесом облученных дней.

Зоя ЖУРАВЛЕВА

РОМАН С ГЕРОЕМ -КОНГРУЭНТНО- РОМАН С СОБОЙ

Народ бежал. И солнышко светило. Был дня разгар. На людной улице Тебя похоронила. Зарыла в тротуар. И, пряча окровавленные руки, следила длинный миг — как в пыльное сиянье скуки уходит Твой двойник. Освободить — всегда убить. Ну вот, освободила. Народ бежал, и бог молчал, и солнышко светило, весь мир был свеж — как свежая могила, и трупом пахли красные цветы. Доволен Ты?

Стишок этот захватывающе традиционен, нечасто удается так точно попасть в традицию. Он, коротенький, вобрал в себя роковые штампы, выпестованные веками неистовых поисков страдающего человечества и рожденные мною заново, в собственных моих муках, вот что прекрасно. Тут есть все, чего может пожелать воспаленное воображение: окровавленные руки, убийство паче освобождения, освобождение паче убийства, дорогая могила и трупный запах цветов. Даже не знаю, что бы еще добавить. Чего еще пожелать. Ничего. И так мне от него, убойного, полегчало! Так славненько он меня от меня самой же освободил! Перекресток, где этот стишок родился, буду пересекать отныне с особым почтением. И свидетелей было много. Толпа меня обтекала. Я стояла, как афишная тумба. Но на мне, в отличие от тумбы, ничего не было написано, ибо мука несоразмерная на лицо мое не пробилась. Она пробилась в стишок.

Доволен Ты?

Преследует ощущение, что математики-физики гораздо щедрее, бескорыстнее и бесстрашнее в любви друг к другу, чем, к примеру, литераторы. Они отважно-нежны в добрых и точных словах, которые друг для друга находят. Не боятся высоких слов. Слов поэтических. Для них, следовательно, нет девальвации слова. И в них чрезвычайно развито, на мой взгляд, достоинство клана, ни в каких воспоминаниях не позволяющее унизиться до обсуждения чьей-то жены и — вообще — интимных подробностей.

Их воспоминания, их речи, статьи, связанные с чисто даже научным творчеством друг друга, изначально несут в себе напряженно-личностную неповторимость. Общих слов они — будто и не знают. Их понимание друг друга всегда конкретно, вот, видимо, в чем гвоздь. Споры их — вокруг истины и потому переходят на личности без снижения таковой, при полном даже несогласии научных позиций. Говоря о фактах биографии, они разумеют всегда события — Интеллекта, Науки, Мира. И никогда не одергивают друг друга. Может — острее чувствуют струю прошлое-настоящее-будущее и этот

Окончание. Начало см.: «Нева», 1988, № 2, 3, 4.
Полностью роман выходит в текущем году в издательстве «Советский писатель».

вектор их высоко держит, ибо каждый видит себя в середине бесконечной цепи, движущейся из глубины истории и в глубину истории будущей. Возможно, они просто ближе к самому процессу мышления? И уж наверняка владеют им логически и иррационально более изощренно. Вся дисциплинированно упорядоченная, интуитивно отточенная и аргументированно доказательная природа их внутреннего существования, без которой в этих науках не ухватишь достигнутой сути и никак уж вперед не прыгнешь, дает им завидную литературную свободу и почти непременную художественную озаренность, коль уж они касаются словом — друг друга или своего дела. И все-таки никак не привыкну, что математики и физики находят слова, от которых вздрагиваешь, а толстые тома литературных воспоминаний порою просто процеживаешь китовым усом, радуясь даже слабому сгустку душевной либо какой еще информации, так называемым «проколам» живого чувства или живой мысли. Языку в физике посвящены были целые Сольвеи, в общем-то — нечему и удивляться. Любопытно, посвящают ли языку, слову — как единственному своему и сложнейшему инструменту — свои Сольвеи профессиональные литераторы? Посвящают, наверное. Как же — без этого?

Закружусь-ка в розовых чащах, вознесусь в своих эмпиреях, чтоб потом — удариться слаще, чтоб разбиться потом — больнее...

Никакой у нас с Машкой близости нет. Она ничего не хочет. А я такого состояния не знала никогда. Я такого состояния просто не понимаю. Я даже не понимаю, откуда такое берется. Из вакуума, что ли? При запойном и круглосуточном чтении. Не пустяковым, я вижу. При интересных людях кругом. При том, что все вокруг заняты делом и заняты им по горло, взахлеб, не просто — чтоб время провести, не из-за хлеба насущного, штанов с биркой и вообще — заработной платы, у нас таких и знакомых-то нету. У нас все горят. Все свихнуты на деле своем пожизненно. Все — золотой корень! — энтузиасты. Все умирают, но не сдаются. Откуда у Машки-то полная атрофия каких бы то ни было желаний — выразить себя, врезаться в гущу, кинуть себя в дело и на алтарь? Нет, не понимаю. Отказываюсь. Не доросла.

Из школы явилась она часиков эдак в двенадцать, сказала небрежно, что — дальше уроков не было, отменили, кто-то заболел. Такого и быть не может. «Кто же это заболел?» — «Я не поняла. Не веришь?» Я — однако — сдержалась, ничего не ответила растущему организму. Рост требует терпения, чтобы вывести приличный сорт требуются века. И где они у меня?

Творчество, вдруг дошло,— это появление Смысла там, где его раньше ни для кого и никогда не было, никто не знал, не ждал, не предчувствовал, где было для всего человечества — темь и немь, глухая стена. Прорыв смысла через, нет, даже как бы — сквозь личность творящего: спонтанно. А «новый смысл» — нечто уже другое, «новый» подразумевает наличие «старого» где-то поблизости, может, в том же месте, это уже — модуляции, акт — пусть высочайшего, но уже — ремесла. Так, пожалуй...

Иллюзия — работа и друзья — на уровне «крючка и рыбки», так толстый хариуз, как и не я, глотает крашеную нитку.

Это — урок литературы в седьмом «Б». Класс — так себе, мне больше нравится «А», «ашники» молчат более сокровенно и полно, это — умеют, а вершина любых отношений, в том числе: учитель-ученики — именно в сродненности молчания, чтоб были минуты в процессе урока, когда вдруг воцаряется, как бы даже — восстанавливается изначально заложенная в глубине душ, вдруг — одновременно для всех, тишина понимания, не так уж важно — понимания чего, строчки ли, мысли ли, этой минуты постижения, когда молчание выше любых слов, ибо все их содержит в себе самом. Седьмой «Б» молчать почти не умеет, суетный класс, впрямую активный, в нем много группочек, группочки деспотично возглавляют очень разнохарактерные девочки, которые бдительно за своей крошечной властью следят, борются между

собой за нее. Мальчики в «Б» словно бы на подбор малорослы, мужественность их еще скрытна, девочки их не ценят, позволяют себе распускаться. Впрочем, на уроках у Маргариты этих тонкостей не ощутишь. Видишь осмысленные и чистые глаза, видишь общий активный порыв...

На последних партах сидят выпускники, вечно кто-нибудь из них тут как тут, всех не запомнишь, но этих я знаю: двое кончали школу уже на моем веку, их сейчас пятеро, трое учатся в институте, один работает шофером, пятая — чья-то девушка, она легко отличима напряженностью позы и скованно-обалделым выражением весьма миленького лица, вечно они таскают сюда своих девушек, или своих юношей, вновь обретенных, чтобы Маргарита на них поглядела, может — они поймут, что она про них думает, оценит их взыскательный выбор, порадуется, или вдруг они выбрали что-нибудь не то, и чтобы девушки с юношами послушали Маргариту, хоть поглядели на нее, а выпускники, таким образом, прикинут себе их умственные и прочие всякие способности, чтобы не ошибиться, ух, какие аналитические, впрочем — это ведь я за них рассуждаю. А они, может, привели — просто для радости и от щедрости сердца. Вообще же — выпускники вокруг Маргариты — это завал, не представляю, как они думают дальше жить, неужто до седых волос будут сюда таскаться?

Я сижу впереди, на уровне учительского стола, чтобы видеть ребячьи лица. Но смотрю, по правде сказать, больше на Маргариту, она любит по всему классу ходить. Сижу я на подоконнике, на ее уроках — можно хоть и на люстре, смотрю на Маргариту из-за занавески и думаю, как она красива. Ее красота обжигает меня на холодном подоконнике. Эту красоту, единственную, что для меня — нетленна, дает, знаю я давно, лишь точное попадание судьбы: человек — дело жизни. С годами мне все больше нравятся лица сверстников, как ни странно. А может, как раз — не странно.

Безмыслие — даже при самых совершенных чертах — изнашивает лица быстрее, чем время. Безмыслие годам к сорока обязательно проступает на самом совершенном лице некоей, что ли, безвыразительной мумифицированностью этого совершенства, беспощадной и оголенной его застылостью, чего уже не скроешь ничем — ни должностью, ни общим обаянием, ни крем-пудрой или регулярным бегом трусцой вкупе с голоданием, йогой обремененным. У женщин — чаще всего напряженной кукольностью, что-то появляется даже птичье, что лишь в птицах прекрасно. И еще. Лица, за которыми достаточно лет, реже дают возможность в себе ошибиться, они честнее, как бы — более открыты тебе, независимо от характеров и многоопытности личных приспособлений. А молодые лица обмануть — любят: видишь прекрасное юное чело, обескураживающий чистотой и вроде пытливостью взор, темпераментные движения, а невинные уста вдруг разверзнутся и польется дремучий поток банальностей, которым тысяча лет в обед, либо вовсе замшелая глупость. Нет, сверстники — надежный народ. Они, которые в своем развитии не остановились,— уже и не остановятся, их теперь не удержишь, неудачами уже не сразишь, даже болезнями не затюкаешь, они выдюжат, всё — хорошеют, не знаю уж — до какой немыслимой красоты решили идти и как я эту их красоту вынесу...

Прямые волосы Маргариты собраны сзади в девчоночий хвостик, лицо без косметики, от удовольствия на щеках проступают темные пятна, вспыхнут — уйдут, когда она горячится, то делается будто лобастой, по-моему,— до бодливости, физически ощутимой. Голос у Маргариты тоже какой-то не вполне взрослый, со срывами, небольшой, не ораторский и не педагогический голос. Ненавязчивый. Но откуда ж в нем властность такая? И такое — при этом — органическое умение держать точную и никому не обидную дистанцию? Чтобы — были сразу не ученики, седьмой «Б» или какой другой класс, и учитель, а просто — интеллигентные люди, которым друг с другом искренне интересно, так интересно, что никакие ни панибратства, ни отчуждения уже ни к чему, это взаимно и равноправно исключается в принципе, ибо слишком серьезно и интересно, чтобы нужны были эти дополнительные компоненты. Фигура у Маргариты крупная, очень легкая в пространстве. Руки ее летящи, гибка кисть, сгибается под прямым углом, всплески белых рук неожиданны,

точны, удивленны. Удивление всегда — от радости: перед догадкой, сомнением, задумавшимся — секундным — молчанием, длинной паузой непонимания или незнакомства с вопросом, именем, произведением, за которым ведь последует счастье знакомства и понимания. И начисто нет превосходства, что припижало бы седьмой «Б», либо другой какой,— как слаборазвитый.

Идут сейчас «поэтические чтения», ритуальное и недлинное действо, которое бывает на каждом уроке, всем нравится, даже как бы — и не урок, просто, по своей очереди, читаешь стихотворение, какое сам выбрал, длинный список поэтов, из которых предпочтительно — выбрать, висит на стене кабинета, но и помимо — можно. Если забыл строку, не возбраняется заглянуть в книжку, имеешь томик с собой у доски. Но не любят заглядывать. Приятно для всех уже предощущение этого чтения, когда класс пытается угадать, кого человек на этот раз выбрал, исходя из своего понимания человека. «Есенин!» — «Нет, ранний Маяковский!» — «Афанасий Фет» — «Александр Сергеевич Пушкин!» — «Некрасов, я тебе говорю!» — «Владимир Соколов» — «А вот и ошиблись,— смеется Маргарита.— А вот и Александр Александрович Блок. Съели?» Ира Метальникова выбрала «Шаги командора», читает старательно, как принято отмечать — «с выражением». Маргарита как-то мимоходно сказала, что это — зловещая формула, не «с выражением» надо, а выразительно, то есть понимать каждую строчку, абзац или хоть общий смысл, пусть даже — чувствовать. Ира смысл не больно-то понимает, но что-то чувствует, глаза прищурены, щекастое лицо словно втянуто в себя и кажется даже ускользающе узким.

«А почему Вы его выбрали, Ира?» — «Страшно»,— сказала Ирка, страх ее тоже был щекастый, располагающий. «А чего же страшно-то? И правда — страшно! — Руки Маргариты плеснули сочувствием.— А чего?» — «Ну... мертвец пришел...» — сообщила Ирка.— «Не мертвец, Ира. А памятник. Надгробный памятник, который Дон Жуан пригласил к себе на обед. По одной версии — отец женщины, которую он соблазнил, по другой — муж. Это же Дон Жуан! Один из семи вечных сюжетов мирового искусства. Вы Дон Жуана читали?» Нет, Ирка никакого Дон Жуана пока не читала, она читает сейчас книжку «Великое противостояние». Но кое-кто в седьмом «Б» «Дон Жуана», оказывается, читал. И тут же, легко и необязательно, Маргарита им рассказала и о Мольере, и о А. К. Толстом («Непременно прочтите — такого Дон Жуана ни у кого больше нет!»). И Александр Сергеевич Пушкин — «Маленькие трагедии». («Как же! Вы по телевизору наверняка видели, вспомните! Владимир Высоцкий Дон Жуана играет, одна из последних его работ. «Я гибну, донна Анна...» Как он там это произносит! Вспомнили?» И сразу многие в седьмом «Б» действительно вспомнили, пошли даже подробности.) И о Максе Фрише им рассказала — «Дон Жуан и любовь к геометрии», пьеса. («Вы же геометрию любите!» Седьмой «Б» радостно заерзал.) «Спасибо, Ира! Садитесь, я получила большое удовольствие...»

Потом седьмой «Б» долго разбирался с Акуловой горой, даже рисовал на доске, где — по его мнению — и как расположена была дача, исходя из указанных Маяковским в стихотворении данных, с Солнцем — в искусстве вообще и с чаепитием наедине с поэтом — в частности, попутно фигурировали окна РОСТА, темы тогдашних плакатов, тревоги того горячего времени, бурная одаренность личности Владимира Владимировича Маяковского, его любимые цвета, где это у него в стихах, своеобразие ритмов и ритмики, гражданская позиция, слитая с жизнью, и многое другое. И что такое — «карта будня»? «Ну, что когда делать...» — «Правильно, Толя. Заведенный порядок будня, ведь так. Когда все наперед известно, а он — смазал махом. Как вы думаете, для чего приходит в мир поэт? А? Ну, как вам кажется?» Такой встал перед седьмым «Б», наконец, кардинальный вопрос. Седьмой «Б» засопел, завозился и даже — вроде — примолк, при его-то активности. «Чтобы быть добрее...» — шепотом догадалась Шумская, Люба, она на литературе мысли свои выражает исключительно шепотом, хотя на переменах вопит еще как. «Для красоты!» — вскрикнул с торжеством Митя Шлягин, этот шепотом — наоборот — не может, темперамент.— «Естественно. Красота, доброта. Но ведь — и художник? и музыкант? А вот — именно поэт?» Опять седьмой «Б» слегка закручинился в мозговой работе. «Чтобы лучше видеть... Чтоб люди увидели...» — «Да, Марина. Близко. Но все-таки — именно поэт? Я вам случай сейчас расскажу. Мы с товарищем гуляли как-то за городом. Прозрачно было. Лес. Дальше — овины какие-то. Речка. Красота. Он говорит: «Как все это выразить? Какие слова найти?» А я говорю — и искать ничего не надо, потому что уже найдено: «Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь иней зеленеет, и речка подо льдом блестит». Слышите? Вслушайтесь! Ведь «прозрачный» — значит не должен «чернеть». Однако — чернеет. Все чувствуют, видят, но ведь большинство людей не может сказать: немота, мало слов, не те слова. А поэт пришел в мир и сказал. Вот для чего поэт! Все знают, а он один может сказать...»

Перемена. Я иду за Маргаритой по школьному коридору, изо всех сил делаю вид, что я — сама по себе, что меня — нет вообще, жалею, «шапки-невидимки» как-то вышли из моды, я бы сейчас надела. Боюсь своим существованием спугнуть эту трепетную жизнь. Но ее не спугнешь. Представитель возлюбленного моего седьмого «А» волтузит в углу представителя той же организации, вроде они сейчас друг друга задушат. Тот, которого крепче душат, кричит: «У тебя просто нет нравственной основы, понял?!» По одному этому воплю сразу определишь, чьи — ученики. Я и на улице их теперь различаю, уже от метро. Мне уже от метро ребячий поток в районе нашей школы кажется особо осмысленным и всякий раз эта их, может уж — мнящаяся мне, одухотворенность бьет меня в самое сердце. Думаю — как же им повезло! Думаю — как же это другим иногда не везет! Почему так редко везет? Так немногим?

Проследовала навстречу степенная — журавлиная — пара, приватно склоненная друг ко другу и чуждая мышиной возне низших сословий школьного возраста. Десятиклассники. Привычное мое ухо успело однако донести до меня: «По-моему, скоро я про себя смогу с полным правом сказать, как Гете говаривал: „Не знаю, где кончается мой скептицизм и где начинается небо...“» Солидно так. И понимающий хмык в ответ. И дальше проследовали. Тоже видать сразу — чьи. Я бы цитату, пожалуй, проверила — из спортивного интересу, есть во мне эта вредность, но Гете я знаю слабо, не им — чета, не представляю, где этакое и глядеть. Ладно, поверим на слово. Мимо несется шустренький шестиклассник. Резко затормозил. «Маргарита Алексеевна, а развитие культуры имманентно развитию человечества?» — «Нет, конечно».— «Я так и думал». Пронесся дальше. Я только рот раскрыла — ни черта себе, шестой класс! Я этих слов и в университете не знала. Это, по-моему, даже перебор. В это никто даже не поверит. Мне глубоко безразлично, поверит кто-то там или не поверит. Каждый видит и слышит лишь то, что он готов увидеть и услышать. Жизнь же — разнообразна, в этом ее и сила. А шестиклассник спросил и пронесся, против этого не попрешь.

В учительской все уже были, только нас с Маргаритой и не хватало. Все скоротечно радовались друг другу, перемена — мала, общались в пинг-понговом темпе. «Лапиков на пении был?» — «Был. Я его в раздевалке поймала». «Поздравьте меня — еще одна пламенная любовь!» — «Кто да кто?» — «Сердюк с Валей Жуковой».— «Ну, это ненадолго. Переживем!» — «Плавильщиков опять посреди урока заснул. Вечером ходила домой — закрыто».— «Мать надо на педсовет!» — «Святая наивность! Она не придет».— «Товарищи, у кого журнал пятого „А“?» — «А у меня Ирка Метальникова задачку сегодня решила. Можете представить?» — это физичка оторвалась от телефона со своей личной радостью. Все оценили. В дальнем углу веселая англичанка, Юлия Германовна,— вулкан, гейзер, Машку к ней надо было в класс, тут я маху дала,— весело что-то втолковывала студенткам-практиканткам. У практиканток были испуганные и застылые лица случайно столкнувшихся с автобусом сельских жителей. Они-то думали, что в городе — еще конки и вдруг столкнулись с «икарусом». Среди общего сдержанного и слитного гула деловито моталась Геенна Огненная и требовала, чтобы все представили планы уроков. Кое-кто ей давал.

Он (Юрий Сергеевич Васильев, так Его в миру зовут) стоял у окна и вдохновенно излагал заинтересованным лицам (химичка, историчка, Иван-Ива-

ныч по труду и вообще — на все руки, без него бы школа давно обрушилась, математичка, молодой математик), что за светлый математический ум Мишка Репецкий (десятый «Б»), сколь могуча Мишкина интуиция и цепки мозговые связи. Мишка Репецкий сегодня ночью обнаружил в экспериментальном учебнике по геометрии нечеткое доказательство, забыла — чего. Ни Эйлер, ни Пуанкаре, ни Александр Фридман или Александр Данилович Александров, академик, нипочем не заметили бы, но Мишка Репецкий заметил запросто, такой это светлый ум...

При виде нас с Маргаритой Он, правда, про Мишку Репецкого сразу забыл, заулыбался Маргарите, ее Он любит, сообщил, что она прекрасно выглядит, иначе Маргарита, впрочем, и никогда для Него не выглядит, скользнул по мне незаинтересованным взглядом, но тотчас вспомнил мою сугубо функциональную роль в школьном процессе, столь дорогом Его сердцу, что он всячески меня подвигает к описанию этого процесса, верит в печатное слово, как неандерталец, я от этой Его веры в печатное слово, таким боком — и в меня тоже, шалею и теряю последние крупицы веры в свои возможности, мне страшно, что я не оправдаю чистых Его надежд, никто ведь — кроме Него — не ждет, хоть я здесь принадлежности своей к литературному клану — против обыкновения — не скрываю, все слишком заняты своим делом, быстро притерпелись и к моему, непонятному.

Он воздал должное Маргарите и прицепился, как всегда, ко мне. «Оглянитесь вокруг, Раиса Александровна! — патетически возвал Он, обожает патетику.— Вы же видите, как нас много и как мы рады друг другу!» — «Вижу»,— ответствовала я хмуро, никогда не знаешь, куда он загнет. «Вот так прямо и напишите в своем произведении, как вы видите!» Он сегодня избрал путь прямого внушения, это — легче. «Вам будут говорить, что так — не бывает, но вы же знаете, что это — есть! Вот мы все — перед Вами со своими тревогами и заботами — учителя...» Иногда он в своей наступательной патетике бывает прямо кретином, все потому — что верит в печатное слово, как неандерталец, и верит — что от моего печатного слова школе станет лучше, акции ее повысятся в глазах широкой читательской общественности, а учителям легче станет с родителями. Знаю я Его! «Вот так в своей повести и напишите! Или у вас — роман, Раиса Александровна? Я не силен в литературных жанрах, это по линии Маргариты Алексеевны. Напишите?» — «Сомневаюсь», —мрачно сказала я. Звонок бы, что ли? Главное — когда мы одни, Он сроду не заговаривает на такие темы, соображает же.

«Кто в школе не работает, тот все равно никогда в ней ничего не поймет»,— засмеялась Маргарита. Она это сказала не обо мне, вообще — походя, вернее даже — спасая меня от Его настырности. Но что-то во мне сразу хрустнуло от ее слов. «Ага,— отозвалась я с неприличной моменту злобностью,— кто не умер, тот о смерти уж не напишет. Тьма тому примеров!» — «Если сам не умер — конечно. И писать нельзя. Если пишешь, обязан сам умереть».— «Я умру»,— пообещала ей я. Тут до Маргариты — с редким для нее запозданием — дошла моя обнаженная запальчивость, у нее сделалось заботливо-встревоженное лицо, знаю, знаю, что — искренне, но меня сейчас не утешило, она тронула меня за рукав, зашептала: «Да брось ты! Нашла кого слушать!»

А я Его сейчас и не слушала. И даже Маргариту не слушала. Слушала я — себя. И внутри себя слышала, что Маргарита права, в шутке всегда главная правда и есть. Ибо школа — это ревущий поток кипятка, они все купаются всю жизнь в этом кипятке, плавают в нем, беснующемся, ныряют и выныривают молодцами. Я же довольно длительно, самозабвенно и осторожно шпарю в этом кипятке ноги. А он меня все равно — даже сбоку — уже обжег и эти ожоги я чувствую как голую душевную боль, как незаживающую ответственность — за что не просят и, уж как мне испокон века написано на судьбе,— как любовь. Но что же я понимаю-то в этом кипятке? Что знаю о нем? И разве могу написать о Школе?..

Даже Он что-то почувствовал и сменил тему, шило — на мыло. «У вас дочь очаровательная, Раиса Александровна! У нее изумительная улыбка. Вы так красиво ее одеваете!» — «Ну, одевается она, положим, сама»,— ввернула Маргарита. Вкус у Машки есть, недаром Геенна все уличает ее в неуловимых, но для Нины Геннадиевны непереносимых, нарушениях школьной формы. Геенна сразу навострила ухо, но не вмешалась. А Его Маргарита все равно не сбила. «Только она у вас, Раиса Александровна, слишком часто болеет. Нужно бы вам заняться ее здоровьем. Она уже два недельных задания по алгебре не сдала. Ей будет исключительно трудно потом это наверстать». Ах, недельные задания, святая святых,— вот что Его волнует! А я-то уж испугалась — неужто Машкино драгоценное здоровье. «Кстати, ее сегодня опять, по-моему, на геометрии не было?» Тоже мне — политик, «как и не я», Машка бы выразилась. Кто был на уроке, кто не был — все у Него записано: день и час, тема, которую пропустил, подтема, четверть-тема. «Снова болеет?» — «Горло»,— бездарно соврала я. А что прикажете делать? С Машкой приходится овладевать недоступной наукой, это называется — дожили.

За последней частью нашей беседы внимательно следил еще один человек. Мне это было неприятно. Человек этот стоял довольно далеко, слабо улыбался кому-то, мне из-за Маргариты не видно — кому, но я знала почему-то, что он нас слышит. Это был Машкин классный руководитель, опять я пожалела, что не отдала Машку в девятый «Б», который ведет англичанка Юлия Германовна, веселая, как гейзер, искристо-жизнерадостная.

Белому человеку порой надо продираться ко мне годами, черный — обеспечен моей мгновенной симпатией априори. Белому — надо доказывать, что он интересен и хорош, черному — наоборот — надо доказывать, что он неинтересен и нехорош, только тогда я буду относиться к нему с осторожностью. Я-то знаю — почему. Это не генетическая предрасположенность, этакое врожденное предпочтение смуглой цветовой гаммы, а пожизненный шок Умида Аджиева, ибо с Умидом я впервые поняла для себя, что такое смерть, что такое единственность, что такое — уже никогда не будет. Ладно, это другое. Машкин классный руководитель был черный, но мне он не нравился, редкий случай. Он не понравился мне сразу, он мне уже три года не нравился, с тех пор, как я в эту школу попала, но против него — ничего у меня не было, никакой причины этой тщательно припрятанной неприязни я за эти три года не нашла, правда, я о нем и не думала, поскольку думать о нем — вроде бы — нечего. Он ведет географию, нигде, кроме Ленинграда, по-моему, не бывал, может — в Петергофе, географию он преподает, по слухам,— обычно, ничего такого, чтобы бежать и сидеть на уроках. Я и не бежала. Говорит он скупо: подлежащее, сказуемое, в крайности — дополнение. Эпитетов не употребляет, с метафорой, по-моему, не встречался, не узнает ее в лицо. Метафора его тоже не узнает. Столь скромный арсенал речевых богатств я не числю среди любопытных для себя людских достоинств, так что особых бесед мы за эти годы не имели.

Фамилия его — Мирхайдаров, лицо, кроме прямых и черных волос,— вполне русопятое, окрыляюще простодушное, взгляд открытый — аж дно видать, имя-отчество: Дмитрий Васильевич, если и есть тут какие татарские корни, то они — глубоки. Впрочем, имя-отчество его известно, по-моему, только Геенне Огненной, а так-то все в школе называют Мирхайдарова просто «Мирхайдаровым». И зовут его — «Мирхайдаров». А он всем всегда улыбается. Улыбка его деликатна и простодушна. Мирхайдаров глядит тебе прямо в глаза с таким исчерпывающим доверием, что вдруг чувствуешь себя даже как-то неловко, словно, рта не раскрыв, ты ему уже чем-то соврал, такого доверия не оправдал — собственным исконным несовершенством, он-то сроду этого не узнает, ибо даже не слыхивал, что подобное зло в мире есть — ложь или несовершенства. Такая отчаянная степень доверчивого простодушия у взрослого человека даже, по-моему, утомительна для окружающих. Вряд ли может свидетельствовать о сложной духовной жизни. Мне сдается, что Мирхайдаров — человек, наверное, хороший, может — очень даже хороший, но больно уж недалек. Машку сунуть нужно было в девятый «Б», тут я маху дала, поверила Маргарите, Маргарита меня уговорила, что именно в «А» Машке будет лучше. Как всегда — я поверила Маргарите, но на этот раз ошиблась. Когда в конце сентября Мирхайдаров ко мне подошел и доверительно глядя мне в глаза, так глядит — прямо дно видать, сообщил, что «Машу он пока не чувствует, не может с ней наладить контакт», я про себя добавила, что

и никогда не почувствует, а насчет контактов и заикаться не будем. Больше мы с ним ни разу эту жгучую проблему не обсуждали. Единственно — странно, что, по моим наблюдениям, выпускников в кабинет географии ходит не меньше, чем к Маргарите. Но, поразмыслив секунду-другую, это-то я как раз себе объяснила. К Нему за просто так, как известно, не подойдешь. Общение с Маргаритой — тоже всегда душевная работа. А к Мирхайдарову идут, по всей вероятности, за простотой. Ага. Мирхайдаров — прост. Ясен. Без особых запросов. Именно с ним легко — просто посидеть, отдохнуть от житейской требовательности и погреться в доверчивом простодушии, снова почувствовать себя — ребенком, так, видимо...

Звонок. Учительская в миг опустела, как сдуло всех. Только Мирхайдаров продолжал стоять на том же месте и мягко улыбаться. Кроме меня — никого не осталось, так что улыбался он, видимо, мне. Пришлось подойти. «Так никак и не привыкнет?» — вдруг услышала я прямой и дружелюбный вопрос. Я поглядела ему в глаза, чтобы найти там простодушную недалекость. Глаза были скорее печальны. Дна не просматривалось. «Да»,— сказала я. «А здорова?» — «Вполне»,— сказала я. «А чрезвычайных каких обстоятельств нету?» — «Нету,— сказала я.— Ки́ла души».— «Школа-то ладно...— сказал он задумчиво. Видно было — прикидывает, говорить ему дальше или, может, не надо.— Со школой постепенно наладится...» — «Не уверена,— сказала я.— Может, бросить?» — «Еще чего? — живо воскликнул он. Живости я такой от Мирхайдарова не ждала.— Поможем. Выучим Машку. Еще потом — может — погордимся...» Я никогда не краснею, это меня и спасло. Иначе я бы сгорела сейчас от стыда за свою проницательность и умение разбираться в людях. Я бы сгорела ярким костром у него на глазах и даже он бы, наверное, понял. Он сказал — «Машка», как только я ее называю. И «еще потом погордимся» — почти дословно теми же словами, которыми я порой себя утешаю, что еще не вечер. Для наивной случайности — слишком много совпадений за один раз.

«На практику не ходит, это — похуже, учебно-производственный комбинат...» — «Как?» — задохнулась я. По пятницам Машка исправно удалялась на практику, даже если в школу и не ходила. Практику ее — шитье распашонок и детских чепчиков — мы по пятницам вечером регулярно обсуждали. Я втолковывала Машке, что труд — есть труд, следует честно делать любое дело, так к этому и надо относиться. Машка кратко соглашалась, что — надо. «Я и думал, что вы не знаете. С комбината пришло директору уже две телефонограммы, чтобы приняли меры. Я с Ниной Геннадиевной говорил. Но тут она — уже не властна. Машки снова нет. Приходится — говорить вам, Раиса Александровна». Голос был твердый, чего я тоже за Мирхайдаровым не знала, дружелюбие — надежное. «Надо ее из школы гнать поганой метлой!»

Я бы тотчас забрала документы, так я озлилась. Еще не хватало мне этих унижений, объяснений с Геенной, Машкиной брехни беспардонной и наглой ее безответственности. «Помочь надо»,— сказал он. «Что у нее такое случилось, скажите на милость, чтобы все ринулись помогать?» — «Растет...» — сказал он задумчиво. «Все растут».— «Трудно растет»,— сказал он. Перешел на чистые глаголы. Но это уже теперь не имело значения. «И чего же делать?» — «Может я как-нибудь домой к ней зайду? Это удобно?» Здрасьте, он — значит — все чувствовал. «Заходите, коли не лень...» Говорить с ним Машка все равно не захочет, это уже — пустое. «Не лень»,— он улыбнулся. Улыбка была мягкая и как бы сама за себя извинялась, что вдруг — явилась и нарушила мой покой...

В последнем приступе тепла, таком глубоком перед первым инеем, вдруг земляника сдуру зацвела и колокольчики цветут по-синему. А вдоль тропинок — будто прорвались — оранжево и жгуче прут маслята, насаживая легкий палый лист себе на го́лову. Безлично и призрачно в овраге щелкнул выстрел, как треснул под ногой ольховый куст. И чей-то голос, призрачный и чистый, сверкнул среди берез. И в ельнике потух. Вновь тишина — прозрачна и густа. И слышишь то, чего нельзя услышать,— как сла́бы жерди старого моста через ручей, как медленно в сосне восходит сок, как неизбежно всему приходит срок, утратам и надеждам, как белый гриб на взгорке одинок, коль взор не радует ничей и никому не нужен, а в луже крошечный вскипает пузырек, и выцветает в сумерках восток, и где-то чей-то остывает ужин. Болотных кочек прозелень пышна, как будто впереди — весна. А в деревеньке уж зажигаются огни, дрожа за окнами, как свечи. Здесь местные фамилии смешны и, может, потому — так вечны: Ванюшечкины, Репкины, Горынычи, возможно — прозвище, а может — так и есть, когда-то к слову относились иначе, умея тайный смысл его беречь, и в подполе, где нынче лишь картошка, гнездился Домовой и шастал ночью на добрых и мохнатых ножках, оберегая сон людской. А речка Вруда, где спит форель и где бобры еще плетут свои запруды, летит бугром и выше берегов, тяжелая вода слоиста, словно льдины, и баньки, маленькие копии домов, исходят теплым дымом. Светящиеся пряди иван-чая их празднично и чисто обрамляют, и в сумерках сияют у реки забытые на грядке ноготки в соседстве с увядающим салатом. Прозрачная печаль, как будто бы уже знакомая когда-то, что — радости сродни, соединяет все — беззвездную сиреневую даль, тебя, чернеющую лодку в камыше и деревенские дрожащие огни из окон. Как перед гибельным полетом — птице, как землянике — хочется душе бесстрашно и последне обольститься...

Я сижу на полу в кабинете математики. Это мое место на земле. Он мне доверяет ключ, больше — никому, не боится, что я перепутаю местами логарифмы, исправлю ошибки в тетрадках десятого класса или стащу на память о Нем пару цветных интегралов. Геенна Огненная доверяет мне ключ от школы, не боится, что я подорву ее основы. Тихо. Вечер. Никто не придет. После меня придет только завхоз, проверить — как я все закрыла, завхоз мне ни капельки не доверяет. Это справедливо.

При мне всякая ребячья писанина, сумка моя, может, потяжелее Его портфеля, который — тайна. У меня нет тайн. Меня интересует только стенной шкаф со сказками, математическими газетами, всякими их шутейными анкетами типа: «Как я понимаю лень» или «Я». Из «Лени» меня волнует правдой жизни такое: «Лень — это когда что-нибудь хочешь делать, а не делаешь. Вот, например, я помню,— как-то учитель математики обещал подпрыгнуть до потолка, если я напишу контрольную на „5", но не подпрыгнул. Лень было». Автор этого высказывания, назовем его X, мне симпатичен своим вольным юмором в обращении с великим Его именем. Я не знаю — посмела бы я? Так, запанибрата? Они с Ним свободны. И еще, это с меня прямо писано, лучше Машкиного портрета: «Лень — это когда ты наелся пирогов, вон стоит чашка с чаем, очень хочется пить, но ты ни за что к этой чашке не подойдешь, будешь лежать на диване и вяло хотеть чаю». Если кто может лучше сказать, я с удовольствием послушаю. Я — не могу. Про себя тоже пишут достойно: «Я есть я. Моя страсть спорт и стереометрия. Но спорт — больше. Я люблю играть во все спортивные игры и одна девочка называет меня „буйвол"». Грациозно. Самокритично. С намеком на возможности и перспективы. Класс тут не указан.

А мне любопытно представить, как тут народ карабкается по ступенькам. Куда он лезет? Зачем? Ну, самых маленьких я не знаю. Маргарита сказала, что акселерация давно кончилась, раньше они ей с размаху врезались в живот головой, а теперь — тычутся опять куда-то в бедро. Но акселерация и ни при чем. Второй класс я тоже не знаю. Впрочем, из второго у меня есть одно сочинение. Его читали в учительской. Задание было: написать про любого человека, чтобы другие люди из класса этого человека смогли бы себе представить. Достаточно сложное. Называется: «Игорь».

«Жил-был мальчик Игорь. Учился он во втором классе. И был умственно-отсталый. Однажды принес один мальчик (сосед по парте) марки, красивые марки. Игорь и говорит — дай посмотреть. А мальчик и отвечает — много хочешь, мало получишь. А Игорь протянул руку через парту и взял их. Тут все и началось. После этого ему написала учительница в дневнике замечание. А когда выдали тетради, там у него была двойка. Пришел он домой, рассказал отцу, а отец взял ремень да как дал Игорю. А Игорь подбежал к телефону, набрал 02 и кричит Эй милиция тут один товарищ бьет меня и ругается. Тут отец как закричит помогите и упал в обморок. А Игорь и думает исправляться

или нет. Нет, думает, как-нибудь проживу до 18 лет. А там и воля придет».

«А что за семья?» — спросила сразу учительская. Но оказалось, что это — именно сочинение, плод, так сказать, творческого воображения автора. Он никакой не Игорь, а Коля. Значит — Игорь ему красивее. Родители — развелись, когда Коля еще ходил в детский сад, но папа проводит много времени с Колей, гуляет, учит его играть в шахматы, вместе они собирают марки, марки — из жизни, у папы с мамой остались добрые отношения, другой семьи ни у того, ни у другого нету. Колю оба любят. Никто никого не бьет. Но почему воображение сработало именно в эту сторону? В творческом процессе — никогда не узнаешь. Но, как учительская отметила, не исключено, что Коле самому для себя — как бы — хочется в собственных же глазах скомпрометировать семью, где все вместе живут — мама, папа, Игорь. Колю зато пальцем никто не трогает. А Игоря Игорев папа, который всегда живет со своим Игорем, лупит Игоря ремнем по чем зря. «Мучается мальчишка»,— сказала веселая англичанка. А кто-то, не помню, сказал, что взрослые вечно придумывают, это писал — наоборот — веселый человек, вон как здорово: «много хочешь, мало получишь». Прямо народная мудрость! «Думает — после восемнадцати: воля. Там как раз и наплачешься, это — нельзя, туда — не моги...» — «Оптимист!» — «Значит мать чересчур крепко держит, ребенку не хватает свободы!» — «Куда ему свобода? Восемь лет!» — «О-о-о, свободы всегда охота. Я помню».— «Что вы помните, Надежда Кузьминична? Это же — когда было!» — «Некорректно...» — «Да я не в том совсем смысле! Дай ему свободу. Он потом развернется».— «Много хочешь, мало получишь!» — «Да славно человек написал. Вы-ду-мал! И ошибок нету...»

А сказки, которыми набит шкаф! Сюда нужно фольклорно-математическую экспедицию снаряжать. Так они мне нравятся, эти сказки!

Четвертый класс. «У прямой был сынок-отрезок. Все хорош, но ограничен. Очень хотелось ему знать, что там за горизонтом. И вот стал он тянуться, чтобы заглянуть вдаль. Тянулся, тянулся и лопнул. Теперь у прямой два сыночка-луча. Они постоянно убегают в бесконечность и приносят в дом интересные новости о жизни отдаленных точек».

Пятый класс. «Жила-была Маленькая последовательность. Она, как и все маленькие, росла, и вдруг доросла до предела. И больше вырасти не могла, а ей так хотелось. Тогда она говорит Пределу: „Миленький дружок, пройди немножко по дорожке. А я чуть-чуть подрасту“. Но Предел не захотел. Загрустила Маленькая последовательность. Да повстречалась ей Е-окрестность, которая дала полезный совет: „Поговори с людьми, они мне всегда помогают стать больше или меньше. Может, тебе тоже помогут“. И отправилась Маленькая последовательность к людям. Приходит она к ученику и робко говорит: „Простите, что отвлекаю Вас, может быть, мне как-нибудь поможете, я очень хочу стать большой, а Предел меня не пускает“. „Ладно,— ответил Ученик,— я тебе помогу“. Маленькая последовательность не поняла, что с ней произошло, только она вдруг почувствовала себя Бесконечно Большой. На следующий день Учитель спрашивает Ученика: „Что же Вы сделали с этой последовательностью?“ „Она стала Бесконечно Большой и Бесконечно Счастливой“,— сказал Ученик».

Нет, я не пойду работать в Пулковскую обсерваторию заведующей главным телескопом! И не пойду я преподавать второе начало термодинамики в холодильный институт! Я навсегда останусь среди этих людей, ибо разве найдешь более творческих и профессиональных собеседников? Только будут ли они со мной разговаривать? Я ведь абсолютно не представляю себе, что такое Е-окрестность! А эта девочка, Лора ее звать, значит — знает. И это ничуть не делает ее маленькой занудой, у которой Он отнял интеллектуальным напрягом бессмысленное детство. Оно — вполне детство, и оно пишет математические сказки, только и делов!

Не удержаться. Еще одна сказка, седьмой класс, называется: «Друг». Мальчик писал. «Жило-было Пустое Множество. И такое оно было одинокое! Пересечение его с любым Множеством всегда было пусто. Однажды Пустое Множество повстречало Плюсик. Плюсик был покорён добротой и одиночеством Пустого Множества. И они стали друзьями. Плюсик помог Пустому

Множеству объединиться с другими Множествами. Он сделал это незаметно для других и даже для самого Пустого Множества. Настоящие друзья всегда делают добрые дела, не рассчитывая на аплодисменты».

А вот что этот же мальчик писал уже Маргарите, в девятом классе. Сочинение: «Почему Дмитрий Ионыч Старцев превратился в Ионыча...»

«В конце своей жизни Дмитрий Ионыч Старцев из человека превратился в испорченную шарманку, говорящую только несколько фраз и собирающую деньги. Он стал вещью. А зачем вещи такое длинное название... Из всех чувств у него осталось одно — жадность, из всех желаний одно — побольше накопить. Обнищание его началось уже давно, по-моему, его любовь к Котику — начало его. Почему это произошло? Я думаю, что виноват прежде всего он сам, но только в том, что был ленив. Он ничего не пытался изменить в своей жизни. Старился, полнел, опускался. У него в душе образовалась пустота, оттого что чувства была растрачены, а пополнить было нечем, а он и не пытался ее заполнить, вот тут эта пустота и съела всю его душу, как тля сжирает листья. Самое плохое было то, что у него потерялась цель жизни от постоянной будничности и скуки, а на место ее стала жажда наживы: считать бумажки. В чем было виновато и было ли виновато общество? Естественно. Среда всегда влияет на человека, чего уж хорошего в том обществе было. Но ведь можно как-то бороться. А Ионыч, тогда еще Старцев, закрылся в себе и все мечтал, глядя в тарелку. Ведь „обыватели“ — те же Ионычи. Человек должен сам стараться освежить и наполнить жизнь, а он не старался. Он облепился душою — в этом его главная беда. Любовь его не могла спасти, потому что он полюбил не человека, а „молодое, изящное и, вероятно, чистое существо“. Такая любовь не могла дать удовлетворения его обнищавшей душе. Да и он сам чувствовал в этой „любви“ что-то не то, а к тому же он просто-напросто боялся сильного чувства. Он был трус. Он боялся изменить свою жизнь. А все это и привело его к Ионычу».

Все бы так, взрослые бы — так, прозирали Чехова! Меня здесь поражает осознанная гражданственность позиции — жизнь свою ты обязан наполнить сам, иначе ты — вещь, и нечего сваливать на общество, какое бы оно ни было, бессильное чувство — лень, вот его определение лени, очень достойное, человек, коли он человек, достоин только сильного чувства и только оно для души спасительно, нужно уметь сформулировать для себя цель, кибернетики знают, что формулировка цели — самая сложная задача в любой программе для любой ЭВМ, и следовать ей бесстрашно, человек сам перед собою несет за себя же полную полноту ответственности...

Кстати — о множествах, с которыми так этот мальчик свободно поэтичен в своем седьмом. Применительно к произведению искусства в теории множеств у Кантора, по-моему, неувязка: мощность множества произведения искусства, взятого целиком, по-моему, безусловно больше, чем мощности всех входящих в это же произведение подмножеств, а никак — не наоборот, как по Кантору. Только при этом условии — произведение искусства как таковое явление — состоялось. Впрочем, тут небось опять шалит психология, а если точно математически рассчитать, может, Кантор и прав. Но по сути искусства — я правее, чем Кантор.

Думала, меня уж вовсе от глубоких наук отвернуло. Люди. Люди. Люди все же — настырный народ, так и лезут в душу...

Он беспощаден к духовному развитию своих учеников, вот что я вам скажу. Как мой дружок Владька Шмагин — к моему физическому на базе своего умственного. Но ведь прошла же я за ним сквозь тайгу! И эти воспоминания возвышают мою душу. Он — беспощаден. А они пишут добрые сказки. Учат эти сказки или не учат? Говорят о чем-нибудь кроме или ни о чем таком более — не говорят? Сказки эти, на мой взгляд, создают у авторов стереотип доброго мышления, формируют — следовательно — понятие добра. А стереотип добра должен же переходить потом в поведенческую модель. Или не переходит? Когда — переходит, видимо, когда — увы — и не переходит. Но вряд ли проходит бесследно для ума и сердца. Вы все равно правы в своих неистовых устремлениях, досточтимый сэр!

А это именуется: «Вступая в последнее школьное полугодие», толстая

папка. Писали десятиклассники, давно уж — выпускники, некоторых я знаю — по последним партам у Маргариты на уроках. «Что же я думаю, вступая в последнее школьное полугодие? Я думаю, что лишь недавно я попытался всерьез проанализировать, как устроены люди, окружающие меня,— в моральном отношении — и сделал ряд простых выводов. Тогда я ввел для себя понятие „великого человека". Довольно трудно объяснить, кого я отношу к „великим людям", это деление основывается скорее на моих чувствах, но могу сказать, что „великий человек" умеет считать себя неправым, когда он неправ, и умеет заметить и задуматься над тем, мимо чего другой пройдет, не обратив малейшего внимания. Это все я написал к тому, что нигде, ни в одном коллективе, я не встречал столько великих людей вместе, как у нас в школе и в нашем классе. P. S. Эти мысли еще не излагал никому, это — не треп».

Так. Позавидуешь.

«Я сижу и думаю, что учиться мне надоело, я устала и не хочу учиться, что это, может быть, очень печально и в старости я буду вспоминать школьные годы как лучшие в моей жизни, но сейчас (и я ничего не могу с собой поделать) моя школьная жизнь является сплошным кошмаром. Вступая в последнее полугодие, я думаю о том, чтобы оно поскорее кончилось, скорее ушли бы эти глупые заботы: получить поменьше двоек и троек, сделать себе аттестат на каких-нибудь две-три десятых балла выше, каждую неделю сдавать недельные задания по математике, меня тошнит от одного их вида на стенке в кабинете, а их нужно еще решать или хотя бы списать. Я и это делаю, знайте. Совершенно нет времени на что-нибудь стоящее, я ничего не читаю, чего Маргарита Алексеевна хочет, не хочу это читать. Нигде не бываю. Я поняла, что мне лучше бы вообще не ходить в девятый класс. Просто жалко времени. И вообще — скоро Новый год и елка, и не хочется думать о тоскливом последнем школьном полугодии. Я теперь целые дни (и, в том числе, сидя на математике) думаю о новогодних подарках, думаю о всяких своих долгах в музыкальной школе и о том, где бы купить хорошую елку. Это не секрет, можно всем читать, мне все равно.»

Круто. Нет, дети — великий народ. Как они до десятого класса сохраняют в себе такую отвагу откровенности? И что же с этой девочкой тогда делалось? Чего с ней было-то, с бедной? И как она из себя самой потом выбралась?

Со всех сторон слышу дружное — даже злое — кудахтанье: они — хуже, мы были лучше, разве сравнить, они — прагматики, иждивенцы, идеалов нету у них, то ли дело — у нас, мы, бывало,— то, тем более — сё, а они — ничего, мы с ними дойдем, докатимся, еще увидим! Я этой позиции не разделяю. Категорически. Она мне противна. Они — не хуже. Кое в чем — явно лучше. Тоже, небось, будут потом на своих детей катить бочку, жаль — уже не услышим, повеселились бы. Нет ничего разрушительнее для взрослого организма — чем оголтелое неприятие организмов юных. Тогда сам себе ломаешь хребет. Тогда сам в себе переламываешь как бы историю человечества. Тогда — зачем всё?..

Нет, для взрослых нужно писать, только — для них. Будут приличные взрослые, детям — легче, и дети будут приличные, хоть они все равно и наперекор приличные всегда будут. А пустяковых людей, пошлости, даже подлости — во всех поколениях, увы, хватало, тут дефицита, видимо, не дождешься.

В переполненном бокале тайный хмель таится, кто — пришел, а кто — оставил — знают лишь провидцы. В заготовленных ответах сладок горький выем, глубину и силу света — знают лишь слепые. Завяжу глаза потуже шарфом черно-белым, кто случаен, а кто сужен — знает только тело. И бесстрашно ищут руки — кто идет навстречу. Новый год играет в жмурки, Старый — метой мечен.

Небольшая поправка: «тело» заменяем на «дело», всего — одна буква, о всесильный русский язык, и будет как раз — для Него.

До чего же просты и бесхитростны были в наше баснословное время наши учителя! Так тогда казалось: просты, бесхитростны и наивны. Обмануть их ну ничего не стоило! Мы обманывали. На химии кто-нибудь из девчонок забирался в огромный стол перед доской, там были такие деревянные раздвижные створки, как у шкафов, а сам стол могуч, черен, занимал чуть не весь кабинет — поперек. Залезали в него с учебником. А наивная химичка — Надежда Пятровна (прозвище «Пятровна», легко догадаться о выговоре, а прозвища были у всех учителей, теперь прозвища в школах как-то вышли из моды), большая и старая женщина с отечными ногами, ей, небось, было едва к пятидесяти,— наивно вызывала кого-нибудь к доске, отвечать. Ну, что могли — отвечали. А чего не могли — то зорко выслушивали из-под стола, там бойко шелестели страницы учебника, формулы так и сыпались, формулировки, химические теории. Надежда Пятровна — одна — ничего не замечала. Задавала дополнительные и наводящие вопросы. Хвалила за правильность. Или сокрушалась — на лень. Наконец, говорила: «Достаточно. Исчезни с моих глаз». Человек у доски радостно улепетывал на свое законное место в рядах. А Надежда Пятровна вслед ему сообщала: «Которая возле доски, то — посредственно, а которая поднизом — отлично. Давай, девчата, другая пара!» Из-под стола — со смехом — вылазило честно поработавшее создание и сливалось с родным коллективом. Надежда Пятровна наивно поворачивалась к классу спиной, изучала через окно школьный двор. Кто-то быстро заползал в стол и шуршал за собою тугими створками. Надежда Пятровна говорила: «Готовы?» Коллектив сладостно мычал. «По алфавиту пойдем,— Надежда Пятровна близоруко шарила глазами в журнале.— Возьмем хоть Горелову Раю...» Рая охотно шла. Чего-то там писала и отвечала. Трудолюбиво внимала подстолью, шли оттуда цэ-у и поправки. «Довольно,— говорила, наконец, Надежда Пятровна.— Ты меня, Горелова Рая, не больно порадовала. Чятыре. А которая поднизом — вовсе посредственно да еще с натягом. Коли не знаешь ни шиша, нечего и в стол лазить». Посрамленное некто виновато вылезало и под насмешливым взором Надежды Пятровны понуро плелось на место...

Так мы просто и радостно жили на химии. Химию, кстати, знали. Папа как-то меня проверил и даже удивился. «Вам, Раюша, дают вполне приличные знания, а эти ваши шалости в кабинете, про которые ты рассказываешь, я считаю не совсем благовидными по отношению к Надежде Петровне».

Физик наш — «Шообщающиеся шошуды»,— он был бы сейчас приблизительно, мне ровесник, невысок, прям, черные волосы — будто вырезаны на голове и лежат аккуратно, как деревянные, ни один волосок никуда не отлепится, у него поэтому было и запасное прозвище: «Буратинó», ударение — на последнем слоге,— был человек по натуре робкий, крикнуть-стукнуть об стол не мог, никакую дисциплину держать не умел, говорил с большими паузами и вполголоса. У него на уроках Нана Мгалоблишвили — она потом разбилась на Кавказе в горах, кончала геологический,— показывала нам кульбиты и стойки на голове, никто так не мог, все пробовали, а Идка Калинина сидела всегда на шкафу и тявкала по-собачьи, отличить Идку от собаки, если не глядеть на шкаф, было невозможно, все тявкали, ни у кого так не получалось.

В кабинете физики мы выкручивали краны, перерезали провода, сыпали друг дружке реактивы за шиворот, что-то взрывали в колбах, без смысла, женская же школа, отчего на полу вечно попадались осколки и босиком нельзя было ходить, но Тамарка Подчуфарова — на спор — ходила. Шообщающиеся шошуды на нас никогда не сердился, осколки заметал веником, Идке помогал слезть со шкафа, но она от его дружеской руки вечно отказывалась и оглушительно спрыгивала. Физики мы абсолютно не знали, как сдавали экзамены — непонятно. Шообщающиеся шошуды робко и страстно не раз пытался нам что-то там излагать из программного материала. Эти его попытки более двух-трех заинтересованных лиц никогда не собирали. Но относились мы к Шообщающимся шошудам вполне дружелюбно, уроки у него никогда не срывали, то есть не удирали с физики в кино, например, или в парк погулять. Я диву даюсь — как Машка сейчас учится. Не припомню, чтоб хоть когда-нибудь их класс сбежал с урока. Дети, ей-богу, мельчают! Мы, коли неделю бы с какого-нибудь урока не сорвались всей стаей, со скуки бы перемерли!

Шообщающиеся шошуды слабости свои знал, относился к ним философски. Помню, как в седьмом классе он посреди урока вызывал меня в коридор

из кабинета химии и говорил просто: «Горолова, шходи шо мной в шештой „Д“, боюшь — шеи шебе швернут!» Я ходила. Шестой «Д» был класс буйный, сборный, девчонки там здорово дрались. Но Шообщающиеся шошуды, бывало, призывал меня и в другие классы. Как принято выражаться в официальных бумагах, я «пользовалась в школе заслуженным авторитетом». Была какое-то время председателем совета дружины, потом — в комитете комсомола, но главное — что была я бессменным комиссаром тайного общества, охватывавшего почти все старшие классы, с шестого по десятый. Тайное общество процветало. Все о нем знали, легендами было овеяно — только так, все в него стремились, не принимали ябед, подлиз и прочих недоброкачественных лиц. Лица плакали. Тайное общество — «ОДР» («Организация дружных ребят», до чего же убогое поименование, ни грана воображения, но зато — «одры́»!) — занималось, как я теперь понимаю,— просто *жизнью*, чтоб — было интересно. Тайность тут всегда помогает. Не представляю, как это Машка сроду не состояла ни в каком ОДРе, про такое даже не слыхивала, разве что — от меня. ОДР, в том числе — как это ни смешно звучит, бдительно надзирал за школьной успеваемостью своих членов (А чего смешного, когда все прочие организации входили сюда — как часть в целое!), чтоб больным — всегда принесли уроки, не оставили бы кого без дружеской помощи, вовремя дали списать алгебру или французский. Математичка — «Кукла», фамилия Куклина плюс малоподвижное лицо с эмалевыми глазами,— была педантична и суха, тут приходилось учить, она могла высмеять так, что и не обрадуешься, да еще при этом — не улыбнется, математику свою, видимо, любила, *но* чего-то Кукле не доставало — значит как педагогу, поскольку красоты этой науки мы не чувствовали, долбили ее, выучивали, но радости внутри — не было, даже теперь — странно мне это.

Вроде бы — тимуровский вариант. Но еще мы, например, следили, чтоб мальчишки из мужской школы (в городе была одна мужская школа и две женских) отвечали немедленной и безусловной взаимностью на пламенную любовь наших девяти- и десятиклассниц, не вздумали бы уклониться или, тем паче, предпочесть кого из другой женской школы. Месть наша бывала тогда ужасна. Мы, в шестом-седьмом-даже-восьмом,— позднее наше развитие! — сами-то эту любовь почитали блажью, но это уж наше дело. А чтоб наши люди, коль взбрела им такая блажь, получали — чего хотят и от всего сердца. Сашку Кравчука из девятого «Б», когда он посмел разлюбить нашу Леночку Малевич, дежурные «одры» отделали так, что Сашка неделю валялся дома пластом, а его мать приходила к Лампычу (Игорь Варламович — наш директор) и грозилась, что если он своих девчонок бешеных не уймет, она обратится куда следует.

Лампыч сразу стребовал меня в кабинет, повезло — с контрольной по математике, запер изнутри дверь и подпес к моему носу здоровенный кулак: «Бандерлога щенячья! (Он меня обычно звал — «Бандерлога».) Еще кого пальцем тронете, задушу своими руками. Запомнила?» Руки у Лампыча были сильные, волосатые, как у Макса, но волос — не рыжий, а черный, он преподавал физкультуру. «Да кто знал, что такой хиляк?!» — «Поговори!» — рявкнул Лампыч. Я заткнулась. Хоть Сашку — пальцем не трогала, сроду — сама не дралась, только — организовывала, и ко мне уже потемну за три с половиной километра, где я мирно проживала с родителями в институтском поселке Орешенки, прибежал человек с отчетом, что «Кравчук свое получил...» Я ждала, что Лампыч меня сейчас погонит обратно на математику и от этого тосковала. Но Лампыч вдруг рявкнул: «А ну-ка, оторва, присядь!» И ткнул в «думу». «Думой» звался диван в директорском кабинете, был он огромен и сильно продавлен острыми задами. Лампыч имел привычку мотаться по этажам и подбирать в коридорах всех, кого выставили с уроков. А выгоняли тогда часто. Теперь-то — это че-пэ, подумаешь! Всех этих непечальных изгнанников Лампыч приводил к себе в кабинет, они густо затискивались в «думу» (у Лампыча хобби, как принято нынче выразиться, было — история), кто не смог влезть — садился на пол, именно поэтому я до сих пор и люблю сидеть на полу. Лампыч окидывал ораву суровым взглядом и рявкал: «Что, бояре, достукались?!» Потом читал вслух. Я от Лампыча впервые узнала

рассказы Зощенко, стихи Есенина, кое-что из Бабеля и с его же помощью пристрастилась к Гоголю. Еще он иногда разыгрывал с нами шарады, больше никто вокруг этого не умел. Или не имел времени на шарады. Первая шарада, которую я узнала, была — «Везувий», я не могла разгадать: «Вий». Я ворочалась в «думе», Лампыч молчал, контрольная по математике шла. «Ну, Бандерлога, быстро как на духу — чего делали в катакомбах?» Голос Лампыча был подозрительно ласков, никакого рявка. Это — знак плохой. А про катакомбы знали немногие, человек пятнадцать, проверенные в тайных делах, свои. «Прятали чего? Или искали? Нашли?..» Я перебирала всех поименно, все были верные, никто продать не мог, все пятнадцать — свои до кости. Лампыч по пустякам в наши дела никогда не лез. Я молчала, бешено прикидывая, чего соврать...

Вход в катакомбы был на окраине, за старой каменоломней, непролазно зарос крапивой и диким орехом, недалеко — городская свалка. Мы сами наткнулись случаем, в географических своих изысканиях, чем ОДР тоже грешил, как же, мы наук не чурались. Томка Подчуфарова вдруг провалилась, думали — яма, но в глубине вроде бы узкая щель, Томка худая, вбуравилась узким телом, долго ее не было, ждать уже надоело. Вдруг она выползла вся в белой сыпучке и заорала: «Подземный ход!» Про катакомбы ходили в городе слухи, что они где-то есть, идут под рекой, тянутся до Орешенок, к нашей там церкви, которая нынче — во всех архитектурных справочниках, их когда-то, при царе Горохе, прорыли монахи, чтоб тайно пробираться в город, будто в церкви — живут монахи, мы слабо ориентировались в этих делах, монахи — значит монахи, а мы теперь эти катакомбы открыли заново и они теперь — наши. «Чего молчишь? — рявкнул надо мной Лампыч.— Соображаешь щенячьими своими мозгами, кто эту тайну выдал? Никто! Меня милиция предупредила, что вы там шныряете, а в катакомбах, глупый дурак, все городское бандитьё окопалось! Хочешь, чтоб глотку кому-нибудь перерезали в темноте?..»

Весной умер от воспаления легких Шообщающиеся шошуды. В ледоход маленькая девчонка оскользнулась с берега в реку, ее закрутило и понесло. Рядом был мост. Шообщающиеся шошуды шел через мост после занятий. Кто-то крикнул: «Тонет!» Людей было много, люди были и ближе, прямо у берега. Но наш физик каким-то образом с моста успел первым, хоть — мы считали, что все его реакции были медленные. Он кинулся в воду, как был, успел выхватить девочку, пока ее не затянуло под сваи, где ледовый навал. Девочка как-то даже не успела толком испугаться. А Шообщающиеся шошуды, мокрый, прошел еще несколько кварталов до своего дома и назавтра слег. Спасти его не смогли. Директор приказом по школе объявил для всех классов двухдневный траур. В первый день мы отскребли свою школу и привели в страшный и нежилой порядок физкультурный зал. Лампыч наш был здорово мудрый! Именно этот день — голой своей протяженностью, совместной молчаливой приборкой и внезапным обрывом привычных уроков — дал нам, в буйном и мало еще задумывающемся о жизни и смерти возрасте, ощутить и запомнить нашу потерю.

Потом мы стояли в скорбно прибранном зале, играла музыка. Лампыч тихо говорил, какой человек нас учил и чему мы должны у него научиться, мать девочки плакала, в зал набилось полгорода, учителя жались к своим классам, класс, где классным был Шообщающиеся шошуды, стоял чуть отдельно и пришибленно, как сироты. В тишине вдруг хлопнула дверь. Я помню, как вздрогнула от грузных и быстрых шагов. Раздвинув почетный караул, к гробу физика бросилась Надежда Пятровна, она вдруг упала на колени, она была тяжелой, большой, нагибалась всегда с трудом. Надежда Пятровна рухнула на колени. К ней кинулся Лампыч. Она крикнула высоким и чистым голосом: «Митя! А как же — я?!» Ее подняли под руки, повели из зала, она не хотела идти. «Надя, дети, Надюша...» И еще что-то говорил ей Игорь Варламович, наш директор. Она трясла головой и хватала его за плечо...

Уеду — как отколото, не оглянусь на пристани, у дальнего у волока чужие — станут близкими.

Боровский принцип дополнительности могуче простерт на любую психологию, для психологии будто создан, ибо ощущая человека — как друга, мы начисто лишены возможности иметь о нем достоверную информацию — как о враге. Чем больше прекрасного воспринимаем мы в ближнем по отношению, к примеру,— к себе, тем надежнее утрачиваем информацию о тех его чертах, каковые, может, и есть, но пока на нас не распространялись. То есть: при получении одной эмоционально достоверной информации мы начисто лишаемся ее составляющей — противоположного, что ли, знака. Мы же в отношениях друг к другу — неосознанно, но привычно— руководствуемся лишь Ньютоновой физикой: злобу строго детерминированно продолжаем в будущее только как злобу, нежность — только в нежность, это нам проще. Отсюда — столь ошеломительная для нас внезапность некоторых поступков наших ближних, повергающая нас в прах — именно неожиданностью.

Включение во внутренний арсенал души принципа дополнительности — таким образом — сильно помогло бы понять, как это безропотный муж вдруг покинул верную жену через восемнадцать лет тихой семейной жизни. Или, наоборот, эта жена вдруг от пылкого мужа ушла сразу после медового месяца, и не к кому-то даже, а вроде — просто так. Вряд ли знание это поможет с большей приятностью перенести такое событие, но, может, хоть удерживало бы от восприятия этого факта — как крушения мира вообще, от перемены вектора на противоположный, «солнышка» — сразу на «сволочь». Понять — может, и не значит простить, но, по-моему, должно удерживать от озверелости, ибо в самом понимании заложена высота духа, а высоте все равно органически несвойственно мгновенно проваливаться в низины, высота, по-моему, все-таки себя сама держит...

Боровский принцип дополнительности я — лично — непременно ввела бы в обязательный спецкурс по элементарной психологии для молодоженов.

Леша Плавильщиков опять взял деньги у Аллы Демидовны со стола. Деньги на сей раз были ее — собственные, зарплата, по-моему, она теперь нарочно уже держит деньги только на учительском столе. Взял Леша трешку. Сам же назавтра сознался. На эти три рубля он купил детский носовой платок с мутным рисунком, вроде — ляпнут сбоку утенок, десять пуговиц и немножко мармеладу обсыпного. Все это в тот же день отнес сестренке в Дом малютки. Проверили — так и было. А все-таки — опять взял. Но куда потратил-то, господи! «Леша, а пуговицы — зачем?» — «Она с ними играет. Просила...» — «Сказал бы! Я бы тебе из дому принесла».— «У вас таких нету. Я знаю, какие она любит».— «Какие?» — «С пупочкой...»

От Геенны пока что скрыли. А разговоры в учительской — всякие. «Все равно — надо в интернат».— «Силком? Он же мать-то любит!» — «Такую мать прав давно лишить надо».— «А ему ты как это объяснишь, если — любит?» — «Играемся с парнем, будто с котенком: Леша — то, Леша — это. А вечером-то он все равно туда приходит. В свой дом, куда ребенку — нельзя».— «Ну, отпихните, как котенка. Вы ж сами, Юрий Сергеич, треугольники с ним рисуете».— «Я разве говорю — отпихнуть?» — «А чего вы говорите, не поняла?» — «Говорю — это не выход».— «А вы знаете выход?» — «Не знаю...»

Вдруг позвонил мужской голос: «У вас есть такой друг — Родион Иасонович?» Твердо выговорил, без запинки, всю ночь, поди, учил. «Есть»,— я не отказалась, думала — привет. «Я вам его сейчас привезу...» — «Он здесь? Почему — привезу?» — заорала я в трубку. Но там, неизвестно — где, уже повесили. Я занервничала. Иасоныч (его папеньку так когда-то назвали по святцам, дело житейское, старорежимное) проживает всегда на Памире, в других местах его никто не встречал, делает чучела, его профессия — таксидермист, на леднике этим заниматься сподручно, все же — ледник, материал хорошо сохраняется, думаю — так. Сделает Иасоныч чучело какой-нибудь кошки-ягуарунди и эта кошка-ягуарунди у него — произведение искусства, живая кошка-ягуарунди перед этой — мертвяк. Потом чучело украшает Памирский ледник, пока за ним не приедут понимающие люди — Даррелл, Образцов, мало ли кто, из музеев. Такая работа у Иасоныча и все его уважают

за высокое мастерство. Чего же с ним приключилось, чтоб кто-то его на себе волок?

Да ничего! Он живехонек, здоровущ и лапы его — медвежьи. Просто — дальше перрона он сам не шел и случайный сосед по вагону сжалился над Иасонычем, доставил по адресу. Иасоныч — наоборот — прибыл культурно в гости. «Вот это финт!» — радуюсь я. Он тоже радуется. Сам не ожидал! К нему на ледник вдруг явился вертолетом начальник сектора и говорит: «А ну, Иасоныч, вали отсюда в отпуск!» — «Это чего такое?» — удивился Иасоныч. Начальник сектора даже объяснять ничего не хочет. «Ты, Иасоныч,— кричит,— весь институт подводишь под монастырь! Мне за тебя уже выговор вкатили! Ты ж, волчий сын, с пятьдесят девятого года в отпуске не был! Не можешь — как люди! Или вали немедленно, в шесть секунд, на отдых или я твою мастерскую в трещину сейчас поскидаю, понял?»

Пришлось Иасонычу тем же вертолетом со своего Памира убраться. И он сразу попал на равнину: рельсы блестят, поезд бежит. Иасоныч его остановил, влез, поезд — вроде — на север, дай, думает Иасоныч, доеду тогда до Райки, промнусь. «А билет — где?» — спрашивает проводник. «А это — чего?» — удивился Иасоныч. Проводник побагровел, дернул стоп-кран и Иасоныча в степи высадил. Иасоныч полюбовался степью. Но Памир — лучше, не сравнить. Еще поезд идет. Иасоныч опять остановил. «Билет не дадите?» Дали. И Иасоныч, чин-чинарем, доехал с этим билетом до самой Москвы. «К Петьке хотел заглянуть...» — «Чего же не заглянул?» Петька — из наших, живет в центре. «Ты что? Я от вокзала-то отойти боялся! Толпа. Знаешь — какая? Сомнут».— «А ты бы ружье прихватил с Памира. Пробился бы!» — «Не, я ж — не охотник, ты знаешь. День простоял возле вокзала, стемнело, тихонько в поезд залез и до тебя доехал».— «Без билета?» — «Ты что? Без билета они высаживают!» Обучился.

Квартира наша Иасонычу нравится, он все трогает. Потрогал буфет. «Это чего?» — «Буфет. Старинный. Видишь — резьба, по дереву».— «Буфет? Интересно». Сосновая ветка в вазе стоит. Иасоныч вазу потрогал: «Это — чего?» — «Стекло. Букеты ставить. Ваза».— «А-а-а. Сосна?!» Обрадовался, знакомую встретил. У Машки в комнате старый диванчик стоит, ей давно короток. Одна ножка в прошлом году отвалилась, Машка — вместо нее — книжки подкладывает. Потом меняет, называется: «Мам, я ножку уже прочитала!» Иасоныч перед диванчиком молчал долго. Говорит Машке: «А тут чего делаешь?» Даже Машка пришла в восхищение. «Сплю».— «Интересно»,— оценил Иасоныч.

Машка поймала меня в коридоре, шепчет: «Во — человек! Можно я с ним буду ходить?» Ходи, на здоровье. Еще попробуй из дома вытащить, целое дело. Дня через три удалось уговорить Иасоныча посетить театр. Вернулись после спектакля, Машка сияет: «Мам, он не знал, что в театре раздеваться надо! Зачем, говорит, мне — не жарко. Я, говорит, и в тулупе увижу. Честное слово! Не веришь?» — «Верю,— говорю.— Он, небось, лет пятнадцать с ледника не слезал. Забыл».— «Мы утром с ним в зоопарк пойдем»,— погордилась Машка. «А школа?» — слабо напомнила я. «Мам, не стыдно? — возмутилась Машка.— Человек — откуда? Куда твоя школа денется?» Верно: куда? «Идите»,— махнула я, мне все равно некогда.

Я с Иасонычем только в Зоологический музей могу сходить, это ему нужно, он туда и хотел. Сразу сообщил: «У меня в Ленинграде только два дела: тебя, Райка, увидеть и чучела в Зоологическом музее». Я ощутила гордость за такое соседство. У Иасоныча — высоко профессиональное восприятие мира. Погладил Айшу, это наша чепрачная овчарка, одобрительно в шерсти пошарил, потрогал за голову, говорит Машке: «Костяк — нормальный. Хочешь — чучело сделаем?» Машка почему-то отказалась. Он удивился. И внимательно на меня поглядел. Я дрогнула. Не уверена, что Машка — откажется. Иасоныч говорит: «А ты, Райка, нормально выглядишь. Еще — молодец!» Уф, пронесло.

В Зоологический музей мы хотели — ехать. Автобус сразу подошел. Иасоныч сморщился: «Воняет...» — «Бензин»,— я пожала плечами. Толкаю его, чтобы лез в автобус. Все-то лезут. «Интересно»,— говорит Иасоныч. Но

уперся. Автобус страстно завонял и ушел, ждать он, что ли, будет. «Пешком — может?» — говорит Иасоныч. «Далековато».— «За день дойдем? — оживился.— Ну, заночуем дорогой, ты чего?» И мы потопали вдоль Невы. «Широкая речка...» Я не стала ему голову забивать, что это — Нева. «На Памире — у́же»,— признал Иасоныч. У меня тоже дела, не до чучел, доведу только. Возле музея показываю Иасонычу остановку: «Сядешь тут на автобус. Номер запомнил? И до самого дома».— «Не, я пешком...» — «А найдешь?» — «Мы же прошли! По следам найду».

Так потом и вернулся, по следам. И как-то сразу после Зоологического музея заскучал. Идти больше никуда не хотел. Сидел с Машкой в комнате и на каких-то костях (я нарочно не спрашивала — на чьих, может с собою привез, может они с Машкой где в округе добыли, ну их!) учил ее склеивать скелет. Или — сбивать, я не слушала. А поздно вечером говорит вдруг: «Рай, где это — Челябинск?» — «Давай покажу на карте!» Сморщился: «Не, скажи так — далеко? близко?» — «Довольно близко»,— говорю я, раз не Сахалин — это рядом. «Стелка — там?» — «Наверное,— говорю,— учебный год в разгаре». Стелла — из наших, преподает в Челябинском пединституте. «Надо съездить, проматься...» — «Давай сейчас позвоним!» — «Не, я так...» — «Лети. Валетел, поспал в мягком кресле, уже Челябинск».— «А чем лучше?» — «Говорю же — быстрее!» — «Интересно. А зачем — быстрее? У меня — отпуск...»

Машка на следующий день вернулась из школы: «Мам, ты одна? А Иасоныч?» — «Вместе же ночью на поезд сажали!» — «Ну и что? — с печалью такой, не ожидала даже от Машки.— А я подумала, вдруг это неправда, вдруг я приду, а он — дома, делает, например, чучело из Айши...»

Прежде всего, Он — художник и как художник — абсолютно статичен: сам нарисовал и сам же сразу поверил, что именно — так, соответствует правде жизни. Только не нужно Его сбивать! Сам предупреждает: «Мне, Раиса Александровна, плохое не надо знать о ребенке — я с ним тогда не могу интересно работать». Какой-нибудь У (Игрек) из шестого «А» дерется с непонятной жестокостью, до крови, тихая химичка от него плачет, веселая англичанка от него стонет, он очень привязан к своей бабушке, с бабушкой — нежен, а с ребятами в классе кажется порою — просто дебилом, чаще — садистом, фамилия так и мелькает в учительской. Вот что бабушку любит — это ему надо, а что жесток до крови — нет. Он это исключает. Такого не может быть. Он — наоборот — знает, что У (Игрек) удивительно прекрасный мальчик, нежный с бабушкой-старушкой, провожает ее в поликлинику, ждет, чтобы обратно проводить, с мгновенной математической реакцией и с оригинальным мышлением. Он только еще подумал, а У (Игрек) уже на уроке сделал!

Я раньше наивно считала, что — поскольку Он непрерывно тягает в школу родителей и ведь лишь из-за математики тут, бывает, из девятого класса вообще уходят,— то он должен жестко говорить папам-мамам об их детках. Тем более — я же видела — мамы часто отбывают в слезах. Но я, как всегда с Ним, ошиблась. То, оказывается, были слезы умиления. Всё — не так. Он сидит рядом с мамой, заглядывает в испуганные ее очи и голос Его живительно журчит: «У вас такая удивительно прекрасная дочь! У нее улыбка потрясающая, вы замечали? Она так на вас похожа! Она так прекрасно читала стихи на поэтическом вечере у Маргариты Алексеевны. Я заслушался! Она у вас такая умница. Ей удивительно идет школьная форма! Но, знаете, должен вам сказать,— она же у вас совершенно не умеет работать. Ей, чтобы иметь положительную оценку, нужно работать сутками. А она пока не владеет своим вниманием, у нее нет веры в себя. Вы не замечали? Это — очень серьезно. А такая умница! Вы должны обязательно побеседовать с ней, помочь девочке так организовать свой день, чтобы она все успевала...»

И так далее, медом — по древу. И ни одного худого слова. Девочку эту Он уже четвертый день выставляет из кабинета в коридор. Геенна бродит вокруг, но не решается пока вмешаться. У этой девочки Он не взял тетрадку с недельным заданием. После уроков он занимается с ней отдельно по курсу пятого

класса. В учительской говорит, что она и там ничего не понимает. Никто ему не верит. Девочка не безнадежна, отнюдь,— тянет, но пока туго. У самой же девочки жизнь на этом этапе не из приятных, я, например, не завидую, я бы — думаю — давно швырнула мелом в Него и куда угодно бы убежала...

Мама девочки слушает про свое дитя, сколь оно прекрасно, тонко, требует подхода, ласки и ее помощи, а она-то, мама, боялась идти на этот разговор, весь вечер орала на нежное дитя, мама уже не помнит, что дитя не вылезает пока что из пугающих единиц с пятью минусами, минусы пугают маму особо — как совсем недостижимое разуму, это все мама сейчас забыла, у нее уже слезы в горле. «Спасибо, Юрий Сергеич, большое вам за мою — спасибо! Уж я постараюсь, я поняла. Я все сделаю!» Верит — небось, что сделает. И Он верит. В эти свои беседы с родителями он верит свято, как неандерталец, терпеть не может «бесхозных», как Он выражается, детей, то есть: дети-то ни при чем, но родители должны в школу приходить, на то они и родители, обязаны заниматься своими детьми вместе со школой.

Меня поражает, до чего ж Он верит, что нужно только как следует объяснить, вразумить, потолковать, заставить и убедить дитя через его же родителей — и все отлично пойдет. Но вот что меня еще более поражает. Эта его тотальная, тупая, оголтелая вера частенько дает неожиданно-счастливые (для меня — несуразно неожиданные!) плоды. Как бы вера Его — созидает. А чего удивляюсь-то? Моя же возлюбленная — сила Слова! И вдруг девочка начинает бесстрашно соображать. Уже она улыбается на уроке. И тянет руку. И вдруг сама подходит к Нему в перемену и вдруг интересуется жгучим каким-нибудь вопросом: почему — к примеру — пустое множество — выпуклое? И спрашивает, можно ли ей придти на кружок?

Не знаю, как это объяснить с сугубо материалистических позиций. Вы слишком часто ставите меня в тупик, достохвальный сэр! Я в этом тупике уже наизусть помню узор обоев, где как висит паутина и даже успела подружиться с Пал-Палычем, он — паук...

Еще мне до неприличия нравятся Его беседы с отцами. О, это — особая статья! Отцы любят к Нему ходить, их каждую субботу так сюда и тянет, умненькие такие, на подбор. Стоят перед кабинетом в очередь. Потом сидят перед Ним, чинно так, доверительно, уважительно, без торопливости. Длинно рассказывают, как воспитывают своих детей. Если бы бабушка не мешала! Если б жена не портила! Ух, воспитали бы! У отцов этих (Их только нельзя сбивать неожиданными вопросами: «А куда вы вместе ходили? А что вы вместе видели? А какую книжку вы с ним — с ней — обсуждали? А какие вопросы он — она — вам задает?» Это — не надо. Не знают, не помнят. Они знают, что знают. Обычно — это отцы, у которых дети — в четвертом, в пятом, в шестом. Отцы старших — вообще в школе редкость, это уже реликты. В десятом они опять бурно вскипают в преддверии аттестата и в заботах о «баллах», это уже другое) очень четко и точно очертанное представление о собственных сыне-дочери: эдакое множество представления. Отцы тоже — нарисовали. Как и Он. Их рисунок не так лучезарен, ох, много в их детях всякого, о чем думать не хочется. И у Него — свое множество представления об дитяти. Они, эти множества, слегка только — минимально — пересекаются. Но им для беседы хватает.

«Я дал Севе рубль,— доверительно излагает отец.— Он на мороженое просил. Приносит — только себе. А Светочке? Про сестренку даже не вспомнил. Как это, Юрий Сергеич? Я себя в детстве помню, у меня же был младший братишка, так я...» — «У вашего Севы такая улыбка удивительная. Он так иногда задумывается на уроке! Хочу его в класс вернуть, и трогать — честное слово — жалко...» — «Через день опять даю рубль. Пошел. Несет — себе и Светлане...» — «Вот видите! У вашего Севы исключительно глубокий внутренний мир. Тут помешать опасно. Вы видели — я вам в тетрадке особо написал (Ну да, Он же воображает, что папа, вернувшись с работы, прежде всего бежит смотреть тетрадку по математике у своего дитяти!) — он сказку потрясающую придумал, про Биссектрису...»

«А бабушка дала ему в воскресенье четыре конфеты, он все их тихонько слопал...» — «Он еще маленький. Но он у вас удивительно прекрасный! Вы

только должны обратить внимание, что он последнее время как-то неаккуратен — поля в тетради неровные, воротничок набок...» — «Бабушка все ему позволяет. Жена ни в чем не умеет отказать. Женщины...» — «И очень важно, чтобы он сразу же, как придет домой (Ну да, Он же воображает, что папа сидит наготове дома, когда дитятя вернется из школы, и процесс воспитания мгновенно охватывает обоих, как пламя!), бегло повторил материал, о котором речь шла на уроке. У него память великолепная! (Ух, обожает инверсию!) Он сегодня, знаете, сколько цифр запомнил в волшебном квадрате?» — «Память у него — моя». (Тут отец славно отдохнул на приятном сходстве!) — «Одиннадцать цифр, это хорошо организованное внимание...»

Так они и беседуют в полное удовольствие и в полной иллюзии, что говорят об одном и том же. Но — опять же! — что-то возникает в этом общении — в словах ли, помимо слов ли. Ибо через день-два Он радостно сообщает мне как свидетелю блестяще-результативного воспитательного процесса: «Вот Севин папа пришел, поговорили и, обратите внимание, Раиса Александровна, мальчик — совсем другой, собранный, аккуратный, не отвлекается на уроке, быстрая реакция на вопрос». Я уже обратила. Действительно — эффект налицо. И — глядь — недели вроде бы не прошло, а папа опять плетется. Отцы просто любят к нему ходить. Отцам — небось — не с кем так неторопливо, с достоинством и пониманием, без попреков, поговорить о себе-воспитующих. Отцам это, видать, необходимо...

Школу Он любит рано утром — когда тихо, чисто, еще преддверие и предчувствие, когда внизу мамы раскручивают из одежек теплых первоклассников, а две подружки — косички торчком — секретничают на подоконнике, давно же не виделись, накопилось со вчерашнего вечера, когда пол блестит, когда на лестнице только твои шаги, на досках еще не нанесено ни единого математического значка, радость их нанести — еще впереди, а из окна кабинета видишь, как помаленьку возникает, растет и крепнет, охватывая всю видимую сверху округу, движение к твоей школе. Он рано приходит. И в шуточном репортаже, которым Он всегда отмечает великий праздник Начала — первое сентября, этот вопрос у Него повторялся: «В какое время вы любите свою школу?» Но все смеялись, бежали, обнимали выпускников, отвечали ему невнимательно и на бегу. И никто не сказал, как Ему хотелось. Говорили: «Летом, когда я в отпуске», «Когда — урок, когда же еще?», «В учительской, когда мы все вместе», «После уроков», последнее — даже чаще, день прошел, день наполненный, честный, теперь можно уже и домой. Ему, я думаю, уходить из школы не хочется никогда. И еще один вопрос навязчиво повторялся: «А вам не страшно быть учителем?» Я-то знаю: Ему всегда — страшно, его душит ответственность и как Он этой великой ответственности соответствует. Мне даже страшно было за Него, как сокровенно, как обнаженно-лично и потому — безразлично-вскользь звучали в устах Его эти слова: «А вам не страшно?» В небрежности этой проступала вдруг железная игла кактуса, сокрытая в пышном букете георгинов.

Я все ждала, что кто-то почувствует Его напряжение, эту энергию переполнения души в великий день очередного Начала, выхватит у Него из рук микрофон и обратит к Нему самому поток вопросов: «А Вы? А Вам?..» И тогда — обмирало во мне предчувствием — я услышу какие-то главные слова — о смысле, о душе, об этой профессии, выше которой не знаю. Потому что сейчас Он их может сказать. И должен. Это именно то место, тот момент, именно тот человек. И душа его сейчас свободно открыта и исполнена мудрости. Но коридоры гудели, выпускники проносились с букетами, обнимали учителей, малыши крутили белыми бантами и держали друг друга за руки, пробежал завуч с отрешенным лицом, мелькала праздничная Геенна, Маргарита смеялась и от смеха ее мне было тепло, кто-то кого-то куда-то тянул и все время звал.

И никто у Него в тот день так ничего и не спросил...

Проснулась я в рыданьях и впотьмах. Мне снилось, что Тебя я разлюбила. Какая сила предвиденья — во снах.

Совершенно не понимаю, почему я тогда полетела именно к Вале Вайнкопфу, а не куда-нибудь еще. Валя давно уж вернулся с Камчатки в свою Одессу, с чего он вдруг бросил плавать, заболел, устал, надоело — я не интересовалась, писал он редко, отвечала я — еще реже, внутренняя наша связь к тому времени, это никаким расстоянием несмываемое родство, давно уж сошла на нет, я почти и не вспоминала, что есть у меня в миру старший брат, уронивший меня в детстве головкой об пол и не простивший этого себе до сих пор. Сама не знаю — почему после развода с Сережей, во всех отношениях мирного и благопристойного, пережитого — до́, даже — освободительного уже, настолько он для меня внутренне был предрешен и решен,— я вдруг взяла билет до Одессы и полетела к Вале, а не к кому еще, видать — кровного родства захотелось. А может, уже в тот момент — тайно от себя — знала, что заверну в Измаил...

В Одесском аэропорту меня встретил человек, которого я сперва не узнала. Я бы вообще прошла мимо, но он вдруг выдернул меня из обалделого пассажиропотока, обнял и сказал родным голосом из далека и жаркой пыли Бахчисарая: «Благодаря кого — обязан свиданьем?» — «Благодаря тоски»,— сказала я правду. В тот миг это чистая была правда. Наверное, я устремилась именно к Вале Вайнкопфу, поскольку все-таки он был мне старшим и рядом с ним я надеялась, может, отдохнуть от взрослой ответственности — за себя, за Машку, за все. Ведь взрослые устают лишь от ответственности за мир и так порой хочется, чтоб кто-то другой обо всем за тебя подумал. Перевести дух. Я не узнала бы Валю даже не потому, что брат мой не был больше уже красивым, не то, чтобы он — стал некрасив, нет, черты не переменились, не расплылись, как бывает с возрастом, или — наоборот — усохли, что тоже случается. Просто — Валя не был уже так красив, я вдруг ощутила, что девушкам идти рядом с ним сейчас уже не было бы, наверное, гордо, они едва скользили газельими своими глазами по старшему моему брату. «Дуры какие»,— подумала я про девушек. И пошла рядом с ним погордее, изо всех сил, как могу.

Среди черных кудрей у Вали чуть проступила лысина, она проглядывала как-то выпукло, словно на голове у Вали взросла небольшая жировая подушечка, лысина, впрочем, почти была незаметна, если не придираться. Еще я впервые обратила внимание, что старший мой брат невысок, даже, пожалуй, едва дотягивает до среднего роста. Но опять же — разве в этом дело? Коричневые глаза были по-прежнему хороши и плавились сейчас нежностью. Морщинок на лице почти не было. Так сейчас вспоминаю, будто встретилась со стариком, Вале сорока еще не было. Нет, не поэтому я бы его не узнала. Пропала светлая и легкая его победительность, вот — видимо — что пропало. Что-то случайное появилось в по-прежнему точных и быстрых его движениях, в повороте головы, в жестах,— как если бы он вдруг случайно попал в этот город, куда все жаждут, случайно зашел в аэровокзал и случайно встретил меня. Но обрадовался. Как я теперь понимаю, это была крайняя внутренняя сосредоточенность — до полного отстранения от мира, но я, которой вроде бы это состояние так знакомо, в Вале тогда его не узнала. Я просто охнула, что он — изменился, вот и все.

Его двухкомнатная квартира поразила меня полным отсутствием не уюта даже, а каких бы то ни было признаков человечьего жилья. Валя встретил меня цветами, но я с трудом нашла банку, чтобы ткнуть их туда, и едва отыскала место, чтоб эту банку потом поставить. Всюду были какие-то чертежи, листы, рулоны, расчеты. В первой комнате сбоку приткнулся письменный стол, но завален он был безнадежно, железками, других столов — не было, ели мы в кухне на подоконнике. Чтобы сидеть — водилось две табуретки. Обжитым выглядел только «спальник», раскинутый па полу. Точно. Тут Валя спал. Хотя в другой комнате даже стояла кровать. Она была, что называется, койка — узка, железна, я думала, такие давно уж только в музеях. За две недели я так и не смогла к ней привыкнуть, поворачиваться даже во сне боялась, просыпалась с ощущением, что сплю — на заборе. Зато в обеих комнатах, хищно и широко занимая их, было у брата моего по станку. Если он не чертил, то торчал возле этих станков. Поразительно, что я такое — тогда была, даже не спросила, как эти станки называются. Ничего не помню про них, кроме всевла-

стности их и габаритов. На второй день выяснилось, что в доме есть телефон. Он случайно вывалился из-под какого-то рулона. Валя небрежно затолкал телефон обратно. Я так и не услышала, чтобы этот телефон — сам — когда-нибудь подал голос, хоть был исправен, я, например, звонила домой.

«Ну, рассказывай, как ты...» — наивно разлетелась я поначалу, пока наивность моя еще не была раздавлена молчаливым и беспощадным режимом Валиной жизни. «Я — хорошо»,— осторожно сказал он. «И чего делаешь?» — «Сутки работаю на дебаркадере сменным механиком, трое — дома».— «Врешь!» — удивилась я. Во мне жила еще удалая его моряцкая жизнь, отлеты-прилеты, стихи, навигации, друзья по всем городам. «Почему — вру? Мне это удобно. Мне нужно много времени...» — «Для чего?» — оживилась я. Мне тоже нужно было много времени, чтобы ездить, соваться не в свое дело, лезть — куда не просят, мучиться, что свое дело не делается либо делается не так, как я от себя хочу. Это мне уже было близко. «Для главного»,— сказал Валя. «А чего — главное?» Наконец-то хоть я узнаю! «Да тебе вряд ли это интересно...» Теперь-то я понимаю, что ему хотелось — рассказать, он бы мне рассказал, понастойчивей я спроси, прояви я хоть каплю. Не знаю даже — чего, живой, что ли, любознательности, брат все-таки, не чужой. Он даже начал: «Я, понимаешь, кажется одну штуку нащупал. Еще, конечно, думать и думать. Но если удастся довести до конца, если я прав...» Коричневые глаза расширились и как бы ласково втянули в себя листы ватмана, железки, станки эти идиотские, гайки. Мне даже глядеть на все это было противно. Вот уж — действительно была идиотка! Хоть Валя ни слова не говорил тогда о моей глупости, что так любил раньше поминать, это его не занимало. «Если я окажусь прав, то...» Тут он увидел, что я умираю от скуки. Что мне это даром не надо. И с приплатой. Он осекся мгновенно. Я облегченно вздохнула. Больше Валя со мной про *это* даже не заговаривал. Что за штука это была? Что за идея, перевернувшая жизнь? Как я могла не расспросить, не попытаться понять, даже — не попытаться...

Нет, не могу себе представить! Как же эгоистично и тупо была я тогда переполнена собою, чтоб даже ничем не поинтересоваться, на чем мой брат сгорал? Была. Не поинтересовалась. Купалась. Бродила по городу. Нашла себе веселых и беспечных людей. К Вале домой их не приводила. Теперь-то я понимаю, что мне стыдно было этим веселым и энергичным людям показывать моего погрязшего в ерунде, оторвавшегося от настоящей жизни, нелюдимого брата, о котором я им сама же рассказывала — как о фейерверке. Они думали, он и сейчас такой. Пусть думают! Я им своего старшего брата раскрашивала — будь здоров, мне опять, как на Бахчисарайской турбазе, завидовали, что у меня такой — брат. Ясно, что его невозможно было показывать! Рядом с Валей я чувствовала лишь тягостную скуку — пришел с дежурства, спит, выпил кофе, встал к идиотскому станку, станок ревет, в ушах у меня гудит, тишина — значит кинулся к столу, опять чего-то считает.

Валя пытался, чтоб мне было — хорошо. Иногда играл для меня на гитаре и пел туристские песни. Это еще было хуже. Скука делалась просто непереносимая. Играл он так же: посредственно, раньше я внимала с восторгом. Сейчас думала — не можешь, нечего и бренчать. Все кругом играют давно на гитарах, это ж давно — не Бахчисарай. Он даже этого не понимает! Замшел. Забурел. А песни его! Давным-давно их даже первокурсники стесняются петь, эти допотопные самоделки. Разве такие теперь поют?! Неужели и этого не понимает? А Валя, как я теперь-то знаю, только в эти минуты и отдыхал. У него делалось ностальгически-мечтательное лицо, живой румянец пробивался на скулах, глаза разгорались, будто уже потрескивали, как костер, и на весь его облик падал словно бы отблеск наших былых — походных костров, легких стихов, легких свиданий, Валиных, с красивыми девушками. Валя взглядывал на меня, чтоб я разделила его отблеск, порадовалась. Я в эти минуты думала, что брат мой давным-давно кончился, его — нет, как же убог и бездарен этот его застарелый — мертвый — туризм, и как ужасно, что именно его, которого я помню столь блестящим, всемогущим и ярким, приходится мне жалеть сейчас снисходительной жалостью...

Одесса быстро приелась. А главное, я уже поняла, что́ меня потянуло именно в Одессу, не Валя же, сейчас мне казалось, что с Валей я все знала заранее и Валя, такой, не мог меня сюда потянуть. В Одессу меня привела — только близость этого города к городу Измаилу, где Умид Аджиев был на своей последней практике, мы с ним собирались поехать вместе, не помню уж — почему не вышло, он поехал с Валеркой Сабянским, там, в Измаиле, у Умида произошла какая-то история с редактором газеты, Умид влез во что-то, что больно задело интересы редактора, это была женщина, Коница, фамилию ее я никогда не забывала, с практики он вернулся в Ленинград раньше, чем все, практику свою оборвал, у меня хранится тощая папка с его записями, Умид, как студенту положено, вел дневник практики, он записывал шире — что делалось в редакции, какие и почему материалы его не пошли, напротив его записей, на полях, как врезаны в пожелтевшую бумагу,— примечания Кониной: «Чушь!», «Это самый настоящий поклеп!», «Это мы еще поглядим», «Измышления зарвавшегося юнца», примечаний там много, под каждым Коница расписалась: «Н. Коница», почерк у нее разборчивый. Мне давно хотелось — взглянуть в глаза этой женщине. Я давно внушала себе, что говорить ничего ей не надо, это унизительно — объясняться. Умид бы не стал.

Он вернулся тогда в Ленинград раньше всех, домой в Ташкент на эти дни лететь, видимо, уже не захотел, не то настроение, потом наши начали собираться. Прилетел из Измаила Валерка Сабянский. Валерка был рядом, когда на углу улицы Жуковского и Литейного проспекта, в квартале от моих теток, Умид каким-то образом попал под машину, с Сабянским я никогда в жизни больше не разговаривала, не знаю подробностей, знаю только, что Сабянский бросил Умида и убежал, а Умида оперировали в Военно-медицинской академии и во время операции он умер. Еще знаю, что в тот же день, утром, его вызывали на кафедру, был какой-то тяжелый разговор, связанный с этой последней практикой. Ничего больше не знаю.

И не у кого было выяснять...

Я приехала в Ленинград на следующий день. Встречала меня почему-то тетя Аля, а не те, кого я ждала. И не Умид. И не папа. У тети Али было зареванное лицо, она даже не поцеловала меня, схватила мой рюкзак, я, как всегда, успела еще в экспедицию, возвращалась с Горного Алтая. Во мне пел восторг от Алтая, светилось закатное Телецкое озеро, шумела впервые в жизни тайга, сладко ныла спина рюкзачными еще лямками, лето было дождливым на редкость, мы продирались сквозь грязь, такую могучую, как тайга. У нас один парень чуть в этой грязи вообще не утонул, достали — за уши, а на Бии мы в порогах вдребезги разбили одну лодку, мой рюкзак спасся чудом, сам зацепился за корягу. Восторг во мне еще пел. Тетя Аля — ни говоря ни слова — неслась с рюкзаком по перрону. «А где все?» — удивилась я. И тут до меня дошло тетиалино лицо. «Что-нибудь стряслось?» Я-то была уверена, что — ничего не стряслось, в таком прекрасном мире, где бьет дрожь исключительно от восторга, стрястись, конечно же, ничего не могло, какая-нибудь глупейшая пустяковина, из-за которой тетя Аля умеет всерьез расстроиться, у нее — например — в кладовой, от слова «клад», пропали бесследно пассатижи или чего там у тети Али в ее кладовой, от слова «клад», я в ее кладовой не бывала.

«Ничего, Раечка»,— быстро ответила тетя Аля. Пробежала еще вперед. Остановилась — резко, обернулась ко мне и сказала: «Умид попал под машину».— «Как?» — не поняла я. Внутри что-то набухло, прорвалось, восторг уже вытек, но страха еще почему-то не было. Как я теперь понимаю: во мне еще вообще не было страха за чью-то жизнь, просто еще не было такого опыта. «Переходили с Валериком через улицу Жуковского и...» Она не докончила. «И?» — глупо спросила я. Теперь я уже ощутила режущую тупость, но все равно не поняла еще, что это — боль. Ощутила ее как тупую тяжесть. «И... сильно?» Еще нелепей. Она все молчала. «Жив?» — спросила я. Я-то знала, что жив, но тупая и режущая тяжесть внутри чернела, обугливалась и тяжелела. Ноги? Или, например, руки? Представить я этого не могла. «Нет, Раечка...» — сказала наконец тетя Аля.

Она нарочно пошла меня встретить одна, папе неправильно назвала время. Тетя Аля все всегда брала на себя. Представить я этого, что она говорит, не могла. И еще цеплялась. «А Валерка?» — «Валерик здоровый...» — «Где же

он?» — заорала я. У меня возникло дикое ощущение — что сейчас подойдет сбоку Валерка Сабянский, легкий, с обычной своей кривоватой и милой ухмылкой, прищурится, скажет: «О, поверила? Поглядите на нее! Она же поверила!» И сразу этот дикий и черный бред, эта жуткая жуть, отступит, исчезнет, кончится. Иначе и быть не может. Но мимо шли люди, тащили чемоданы, узлы, что-то громко и невнятно вещало вокзальное радио, промычала пригородная электричка, тетя Аля молчала, у нее было запухшее — словно разбитое в кровь — лицо и никакой Валерка ниоткуда не появлялся.

Валерка Сабянский так ко мне больше никогда и не пришел...

Я знаю, что это был несчастный случай, что так — бывает, что бывает — когда не ждешь, может быть — с кем угодно, что, видимо, ничего нельзя было сделать, чтобы спасти, оперировал крупный хирург, Военно-медицинская академия, Умид умер во время операции, это несчастный случай, потерял много крови, был изуродован, мне потом в академии говорили — как бы он такой жил, только мучился, он сразу был без сознания, уже не страдал. Это несчастный случай. Но случай ли — это, случай ли — думаю я всю жизнь. А если это не «случай» был? Если бы я приехала на день раньше? Если бы Сабянский не убежал? «Скорая» успела бы на секунду раньше, Умид бы перенес операцию, выжил... Кто меня убедит, что он бы не встал никогда? Он бы встал! Я знаю, что он бы — встал. Лишь бы он тогда перенес операцию! И почему Сабянский бросил его на углу Жуковского и Литейного? Мне объясняли, что — видимо — шок, испугался. Чего же испугался Сабянский? Почему он ко мне тогда не пришел? Что он об этом дне знал? Может Умид ему что-нибудь говорил? Ну да, это ж несчастный случай, опять забыла...

Умид был не в моей группе, в параллельной. А Валерка — в моей. Валерка ко всему легко относился, к учебе, к жизни, к девчонкам, которым нравился, был ленив, сдирал у меня конспекты, небрежно-лукав был, с виду приятен, танцевал, слегка попивал, в меру, они с Умидом жили в общежитии в одной комнате, никакими вопросами Валерка сроду не задавался, поверхностный был, легкомысленный, пустоватый и милый парень, легкая прозелень глаз, светлый вихор, за который тянуло — дернуть, чуть кривая и симпатичная ухмылка. Рядом с его беспечальной беспечностью мне, например, было легче, я ценю беспечных людей, как все — что мне не дано. Пожалуй, Валерка Сабянский был мне всех ближе из нашей группы, хоть были и глубже, и цельнее и уж — наверняка — умнее и тоньше Сабянского. Да все почти, как я теперь понимаю, были умнее и тоньше. Валерка даже был пошловат, но и пошлость тогда, по молодости, сходила у него за милую легкость. Здороваясь, неизменно говорил: «Ну, дай пять!» И неразменной этой монете сам же смеялся. Еще любил — подойти к какой-нибудь девочке и сообщить печально: «Слыхала, Улугбек умер?» Девочка вздрагивала. Пугалась своей серой неосведомленности: «Как? Когда?» — «Вчера. Весь мир скорбит...» — «Ой, я как-то пропустила»,— пугалась девочка. Валерка смеялся: «Поглядите на нее! Она же поверила!» Все хохотали. Девочка — тоже. «Ну, Сабянский,— купил!»...

Почему же Валерка не прибежал тогда ко мне? Не он меня встретил? Почему его не было на аэродроме, когда отец Умида увозил Умида с собой в Ташкент? Где же был Сабянский? Где были все — наши? Почему никого, ни одного человека с курса, не было в тот час на аэродроме, кроме отца Умида и меня? Этого я никогда не пойму. Ведь Умида любили, он был общителен, жил в общежитии, учился отлично, это-то, впрочем, ни малейшего значения не имеет, ерунда какая — как он учился, но почему же никого не было? Разве так — бывает?..

Это был морг Военно-медицинской академии, я намеренно не знаю, где он. Не помню. Всю жизнь — не помню, где он, не знаю, не хочу знать, мимо никогда не хожу, на такси — объезжаю, на трамвае — закрываю глаза. Я там ничего не помню. Вход со двора, черная дверь, косые ступени куда-то вниз, мне — еще ниже, но мешают пройти. Какой-то человек, которого я не помню. Молодой — даже мне тогда. Я не помню его всю жизнь. У него — пепельные глаза, один глаз подергивается, когда он со мной говорит. Он говорит — нельзя. Я говорю — мне надо. Он говорит — не имею права. Я говорю — мне

надо. Он говорит — запрещено пускать, понимаете? Я говорю — мне надо. Он говорит: «А он вам кто?» Я говорю: «Никто». Умид мне — никто. Кто он мне? Умид. «Всю ночь тут одна будете сидеть?» — «Буду»,— говорю я. Пепельные глаза моргнули, лицо как-то передернулось, он, которого я всю жизнь не помню, отступил в сторону, открыл за собою дверь куда мне надо, сказал: «Входи».

Низкие своды, свет тусклый. Не комната, не подвал — помещение, я его не помню. Слева, на длинном столе, и стол этот — как гроб, лежит Умид, снизу — до пояса — он прикрыт простыней, торчат черные тусклые тапки, таких тапок я никогда не видела, это — не тапочки, в этих тапках — уже деревянность и ужас, этот пиджак я знаю, Умид его не любил, не надевал, пиджак поэтому — новый. У Умида спокойное и тупое лицо, которого в жизни я у него никогда не видела. Но это — Умид. Лицо чистое, ран никаких не видать, на виске небольшая ссадина и она грубо припудрена. Черные волосы тоже тусклые, лежат ужасно и плоско, они должны блестеть и волниться. «Это я»,— говорю я шепотом. Умид лежит так же. У него спокойное и тупое лицо. Но это — Умид. Я дотрагиваюсь до ссадины на виске, осторожно, чтобы не сделать больно. Рука сама вдруг отдергивается. Вечная мерзлота, по сравнению с тем, до чего я коснулась,— горячий пламень, камень, в сравнении с тем, до чего я дотронулась,— живое сердце. Это — не Умид. Я вдруг понимаю тупой и даже безболезненной от запредельности шока ясностью, что его — больше нет. Нигде. Никогда. Это — не он. Может, я даже зря сюда прорывалась... Мне стыдно, что у меня мелькнула такая мысль. Это — не мысль, во мне никаких мыслей нет. Не будет долго. Все равно это пока — Умид. Его руки. Его родинка на правом крыле его носа. Нежный, скользящий овал щеки. Я трогаю его лицо, его руки, их поправляю, чтобы ему удобней. Я сижу рядом с ним. Что-то ему говорю. Говорю шепотом. Никого нет. Я. Умид. Низкие своды и тусклый свет. Чернота за окном.

Ночь идет быстро. Утром,— сказал человек с пепельными глазами,— прилетит отец, я отца Умида не видела никогда, неизвестно, как отец отнесется к тому, что я тут сижу, нужно, наверное, уйти до его появления, вдруг отцу будет неприятно, но я не могу уйти. Мне кажется, что за эти часы чернота над верхней губой Умида сгустилась, усы у него вырастали мгновенно, он два раза в день брился. Мне кажется, что они и сейчас — подросли. Может — кажется. Иногда за моею спиной возникает неслышно человек, который меня сюда пустил. Постоит. Исчезнет. Опять возникнет. Вдруг голос: «Я вам его сумку принес. Возьмете? Потом отдадите отцу, если не нужно». Из этой сумки у меня и остались — записная книжка, тетрадь с записями Умида, там — и про ящерицу, несколько фотографий. Два его письма и фототелеграмму я гораздо позже нашла у себя в столе, сохранились случайно, я редко берегу письма. Его отцу я эту сумку не отдала.

Давно рассвело. С лестницы слышны голоса. Меня никто не трогает. Я сижу тихо. Думала — буду кричать, когда увижу своими глазами, плакать — не вышло, всухую — страшнее, плач — тоже движение, а движение — уже жизнь, это я в ту ночь поняла. Кричать поздно, Умид уже не услышит, чего кричать...

Длинных фраз я в ту ночь даже мысленно не могла произнести, из меня могли пробиться наружу лишь односложные слова, только слабые знаки, что в глубине меня теплится какая-то жизнь. И еще. Несколько месяцев потом я не могла ставить знаки препинания, и письма мои — без сложных предложений, без заглавных букв, точек и запятых, наверное, пугали родителей, когда они уговорили меня пожить месяц в санатории. Мама приехала за мной, забрала. Теперь я и это понимаю — запятые, точки, тире — они тогда мешали: отчаяние было — слитным, весь мир был черно и слитно охвачен горем и в этом мире скорби ничто не должно было дробиться, мельтешить запятыми и двоеточьями, выделяться и прерываться. Помню, что рука моя и слова бы ставила слитно, одно к другому, без промежутков, я себя заставляла делать эти разрывы, потому что разрыв — только смерть, а живое горе — текучий поток. Я теперь это за собой знаю: когда плохо, знаки препинания мне даются с трудом.

Отец вошел неожиданно. Он был очень похож на Умида, так же высок, те же нежно отяжелевшие, ускользающие, скулы, ровная смуглота лица и крошечная — коричневая — родинка на правом крыле прямого носа. Руки у него были жесткие. Он больно сжал мне плечи этими жесткими руками, боль вдруг была живая, почти — облегчающая, притиснул меня к себе и сказал глуховатым голосом Умида: «Вот и нет больше нашей надежды...» Я не поняла. «Умид» — по-русски: «Надежда»... Я хотела назвать дочь «Надеждой», если родится дочь. Но в последний момент назвала ее Машкой, вдруг испугалась, не жалею, что назвала ее «Машка», имя теплое. И что ей — Умид? Хоть и знает она — от меня, фотография всю жизнь висит у меня над столом. «В Ташкент с нами полетишь?» Отец сказал — «с нами», Умид для него был живой, он еще не привык. «Нет»,— сказала я.

Зачем я не полетела? Не полетела, чтоб не почувствовать там себя посторонней, где все знают Умида с рождения и пра́ва на него, и на горе у них ведь несравнимы — с моими. Но разве горю нужны права? Не поэтому — не полетела, потом же — летала, ни отца Умида, ни матери его давно уже нет в живых. Иногда мне кажется, что он давно — живой только для меня. Но пока я жива, Умид — жив. А тогда — не полетела, потому что непереносима казалась в тот миг обязательная публичность этого горя, без которой там, в Ташкенте, не может же обойтись, громкий плач, громкие голоса, лица, лица, музыка, гроб, плывущий на чьих-то руках, люди, люди... Горе свое и потерю я не хотела делить даже с самыми его близкими, не было бы мне от этого облегчения. Потом-то я поняла, что — горе все равно не разделишь, облегчения тут и не может быть, близкие жмутся друг к другу в горе только поэтому — что его не разделишь, можно лишь на минуты его в себе забить, поглубже его загнать, пока свои рядом, вроде — дать себе передышку, чтобы подкопить сил для своего горя, и чтоб потом, когда останешься наконец один,— оно бы тебя не задушило совсем...

Эх, похаркаю — как покаркаю на вороньем да на столбу, да рубаху надену — яркую, да пятно наведу на лбу, тоже — яркое, как кровавый след, для мишени ведь — лучше цвета нет. А в мишень попадают с маху, не успев — ни стыда, ни страху.

Разделить нельзя, усилить нельзя, но кое-что в твоем горе от людей, даже — неблизких, все же зависит, может ему придать дополнительный, так сказать, оттенок, обогатить. Умид погиб третьего октября, за зиму я на факультете не бывала ни разу, заявление на академический отпуск и медицинскую справку отвозил туда папа, справка была — липовая, как Машке в школу, впрочем, может невропатолог думал тогда иначе, я-то считала, что не больна. Мне просто нужно было отсидеться в себе самой. Отпуск мне дали. Впереди был последний курс, я не могла решить — заканчивать мне университет или нет, кругом уговаривали — закончить.

В апреле я уже чувствовала себя достаточно крепко и забрела как-то на факультет. Из наших, по счастью, никто не попался. Я и сама не знаю — зачем забрела, в чем думала убедиться, чего понять. Навстречу мне радостно бросился преподаватель, у которого я два года занималась в спецсеминаре, писала бредовую курсовую насчет языкового родства Ферсмана с Авиценной, он все уговаривал меня заниматься всерьез наукой, толковал про аспирантуру. Умид тоже был у него в семинаре. Этот преподаватель явно выделял нас с Умидом, мы ходили к нему домой, посмеивались над его старомодностью, первобытной учтивостью, нам такой в себе уже не взрастить, это — прошлый век, но мы его уважали, даже любили. Он был самый близкий для нас на кафедре человек и сейчас, оказывается, он замещал зава кафедры, его уговаривают принять эту должность вообще, а он не хочет, ибо привержен чистой своей науке. Это он сразу рассказал в коридоре, где мы уютно пристроились возле окна. Он беспокоился, как я себя чувствую, говорил, что наука требует самоограничений, я слишком, на его взгляд, разбрасываюсь. Дабы не разбивать его интеллигентное сердце, мы с Умидом всегда помалкивали, что его наука ни на волос не представляется нам прельстительной как дело — лично нашей — жизни.

Доверительно склонившись ко мне, этот преподаватель (я не называю его фамилии, хоть могла бы, не называю, потому что мы долго были к нему искренне привязаны, даже любили, а мне очень хочется, так прямо и тянет — эту фамилию назвать, причем назвать — правильно, как в жизни, а выдать за художественный вымысел, кто бы меня уличил, фамилий таких — много), вдруг сам себя прервал и сообщил мне, понизив голос: «Вы слышали, какая трагедия у нас с Аджиевым?» Я кивнула. Доверительность его сгустилась почти до родства. Тогда он сказал: «Между нами, знаете, грех, конечно, но я по совести говоря, даже не знаю, что бы мы с Аджиевым делали, если бы он не погиб... Знаете, сугубо — между нами, какая бумага за ним пришла из Измаила? Нет, решительно не представляю, если бы он вот так не погиб...»

Это, пожалуй, самые зубодробительные фразы изо всех, что мне когда бы то ни было, как любит выразиться районная газета, довелось выслушать в своей жизни. Я навеки запомнила его дрогнувший родственной близостью голос, припухшие — старческие — веки, слишком много читал, у него побаливали глаза, и доверительный наклон плеч, сутуловатых — тоже от чтения, ко мне и к подоконнику.

Сразу после разговора я спустилась этажом ниже, в деканат, и написала заявление об уходе из университета по собственному желанию. Больше я никогда в жизни на своем факультете не была. Да, чуть не забыла. Он кое-что мне успел прояснить в непонятности жизни, пока я его не остановила. От крайней ошеломленности я сделала это намного позже, чем всегда делаю в похожих, куда — конечно — как более слабых, случаях. «Знаете, Раиса Александровна (он звал нас только по имени-отчеству, прививал культуру общения!), когда это случилось, мы — между нами — даже сочли нужным поговорить с вашими коллегами по учебному процессу (он нас, студентов, всегда называл: «коллегами», возвышал нас, прививал культуру общения!), чтоб вокруг этого несчастного случая с коллегой Аджиевым не создался нездоровый ажиотаж, знаете — как бывает, крики, проводы, слезы, это был бы совершенно излишний шум, мы им не посоветовали...»

Зачем — действительно — вокруг смерти товарища, погибшего в двадцать один год, излишний шум, слезы, проводы? Смерть — дело тихое. Вот, значит, почему никого не было на аэродроме, когда отец Умида увозил своего сына в свинцовом (или цинковом?) гробу в город Ташкент! Им — не посоветовали, как просто. И они не пришли. Не пропустили занятия, не создали нездорового ажиотажа. Прекрасно! Только как же теперь-то они, которые спокойно сидели в тот день по аудиториям, вполуха слушали лекции и перебрасывались записочками, попрекают своих детей — за отсутствие принципов и идеалов? Обожаю — этих попреков!

Мне ничуть не хотелось, чтобы Валя Вайнкопф тащился со мной в Измаил, я даже хотела — поехать туда одна. Но Вале я предложила. «Какой — Измаил? — сказал Валя.— У меня, извини, ни времени нет на разъезды, ни денег. Я, сама знаешь, давно уж не плаваю». Скромность его бюджета тогда поразила. Поэтому я прореагировала лишь на вторую часть: «Да есть у меня деньги! Нам вполне хватит!» — «Извини. Я денег ни у кого никогда не беру. Даже — у тебя». Категоричность свою Валя смягчил улыбкой, но жесткость ее — была очевидна. Мы к тому времени уже почти не кричали друг другу: «Благодаря кого?» И прочих — кодовых — слов. Он проводил меня до автобуса. Мы обнялись суховато, автобус тронулся, мне было видно, как Валя еще стоит. Откуда я могла тогда знать, что вижу своего старшего брата последний раз в этой жизни? Я только вздохнула — с облегчением, что вот — я какая молодец, выдержала, не показала Вале, как мне с ним рядом скучно, как он постарел, отстал, забурел и замшел...

В Измаиле я, можно считать, не была. Может выберусь еще — поглядеть. Тогда я Измаила не видела, начисто ничего в городе не помню, по-моему, он стоит у моря, там был вроде мост. В редакции городской газеты я нашла сплошь молодые лица, деловито-свежие, готово-общительные, они никак не могли взять в толк, чего я хочу, хоть честно пытались. Смешно было предполагать, что кто-то из них может помнить Умида. Я растерянно озиралась,

невнятно мямлила. Даже эти стены, где он был на роковой своей практике, оказывается, имели надо мною какую-то власть, мне было в них зябко, а все изнывало кругом от жара, на столах вентиляторы гоняли воздух по кругу, охладить — не могли. Наконец, кто-то догадался: «О, вам нужен — Старик!»

Гурьбой повели меня к Старику. Он заведовал отделом промышленности, доброжелателен, суетлив, «Стариком» мне уже не казался, моложавый даже, пожалуй, дядечка, шестидесяти и не дашь. Мне объяснили, что уже справили юбилей. Старик скромно заметил, что вся эта помпа, с юбилеем, была излишней. Все заорали, что — нет, что — от души. И куда-то делись из кабинета. Мы остались одни. У Старика сделалось устало-серьезное лицо. Да, он Аджиева помнит! Как же, отличный мальчик! Как он, здоров? Я, по-видимому, его — жена, очень приятно познакомиться. Я сказала, что здоровье Умида — хорошее, мы живем — хорошо. Что еще говорить? Меня не это интересовало.

«Приятно, что не забыл! Передавайте ему привет. Очень честный мальчик. Очень! Мне было бы приятно иметь такого сына...» — «А что же у вас в редакции тогда произошло?» Старик сразу насторожился: «Ну, он сам наверняка рассказывал...» — «Мало...» — «Да практически — ничего»,— сказал Старик. С явною неохотою он кратко сообщил мне, что Умид, как свойственно юности, был тогда слишком горяч и непримирим, написал резкий материал по судоверфи, да, там непорядки были, но Умид, пожалуй, слишком уж резко написал. А все они (тут Старик ткнул в себя пальцем) тоже были тогда значительно моложе, Умида на редколлегии поддержали, даже, как бы это выразиться, несколько зарвались, заразились от моего мужа, в этом была — несомненная ошибка, тут из командировки вернулась Нина Георгиевна, вникла, кое-кому и по шапке дала, материал Умида из полосы пришлось вынуть, Нина Георгиевна все ему объяснила, он не понял, пошли между ними — штыки да шпильки, остальные уже не вмешивались. А потом Аджиев как-то вдруг — уехал, даже не попрощался. «Но ваш муж имел основания обидеться,— заверил меня Старик.— Он был глубоко порядочный мальчик! Получилось, что мы его вроде оставили. Так уж получилось! Нина Георгиевна глубоко порядочный человек, у нее большой профессиональный и организаторский опыт, она — по-своему — тоже была права». Теперь это такая давность! Старик, посмеиваясь, сообщил мне, что — между нами — начальником судоверфи был в те времена двоюродный брат Нины Георгиевны. Мой муж, когда узнал, сделал из этого факта ложные выводы. Материал сняли совершенно по другим соображениям, абсолютно — принципиальным, поскольку Нина Георгиевна глубоко порядочный человек...

«Нина Георгиевна — это Н. Конина?» — уточнила я. «О, я вижу — муж вам все рассказывает»,— обрадовался Старик. Нина Георгиевна тогда была редактором газеты, отменный, кстати, редактор, но она давно работает в исполкоме, исполкому повезло. Расстались мы — почти нежно. Я заверила Старика, что Умид его прекрасно помнит и будет счастлив, что Старик еще вполне молодец. Старик пожелал нам с Умидом творческих успехов и, вообще, счастливой и долгой совместной жизни. Из редакции я вышла — как выпала из кошмара. Зачем мне все это нужно? Для чего обманула я хорошего человека? Из редакции я пошла в исполком, благо близко. Там мне сказали, что Нина Георгиевна Конина сейчас в отпуске за свой счет, да, она в городе. Я объяснила, что прилетела из Ленинграда именно к Нине Георгиевне и по вполне личному делу. Поколебавшись, дали домашний адрес.

Мне открыла женщина с металлическими глазами, грудь — как камень за пазухой и отвислый — шерстяной — зад. Судя по этому описанию, я не всегда такой уж беспросветный идеалист, как себя корю. Женщина не удивилась, пропустила меня сразу в комнату, там сказала: «А это — обязательно?» — «Что?» — не поняла я. Вдруг мелькнула дикая мысль, что она уже знает — кто я и о чем хочу с ней поговорить. Но ведь я хотела лишь взглянуть ей в глаза! Глаза — металлические. Чего я еще хочу? «Дезинфекцию обязательно делать?» — уточнила женщина. «Какую?..» — «Разве вы не с санэпидстанции?» — «Я из Ленинграда,— сказала я.— Я бы хотела видеть Нину Георгиевну Конину». Знала я, что это — она. «Я вас слушаю»,— сказала женщина.

До сих пор не знаю, что я ей собиралась сказать. Что — сказала бы. Начала я издалека, как мы с Умидом когда-то учились, чего ждали от жизни, как должны были поехать вместе сюда на практику, но вышло, что Умид поехал один, вернее — с другим человеком... Вдруг она сказала: «Простите, я ничего не слышу. У меня внучка в больнице, очень тяжелое состояние, мы и ночью дежурим, дизентерия, шесть лет только-только исполнилось. Дочь в больнице осталась, я прибежала, должны приехать дезинфекторы, я ничего не понимаю, простите, наверное — надо как-то двигать мебель, что-то закрывать?» Глаза у нее были не металлические, а тускло-стальные от тревоги и недосыпа...

Обратно из Измаила я выбралась, минуя Одессу.

От Вали изредка приходили письма, ничего волнующего для меня в них не было, стихов он давно уже не писал. Отвечать было — скучно, я ни разу так и не ответила. Прошло почти два года. Принесли телеграмму: «Валентин скончался вчера десять двадцать утра разрыва сердца Похороны среду Родные Вайнкопф». По чудовищному стечению обстоятельств, которые любят такие стечения, эту телеграмму я получила на третьи сутки после папиной смерти. Лететь в Одессу не могла. Позвонила на Валину квартиру, телефон не отвечал. Я отправила телеграмму. Даже эту телеграмму посылала не я, а моя подружка детства Лялька Черничина: я с трудом написала текст, выжала из себя, а Лялька сходила на почту и отослала.

Лялька приехала из Пензы, чтобы помочь нам ухаживать за папой. Помогать и не требовалось, это был чистый Лялькин энтузиазм, вечная ее чрезмерность. У папы был второй инфаркт. Небольшой. Непроникающий. В реанимации он лежал всего двое суток. Потом его быстренько перевели в палату, он чувствовал себя вполне бодро, уже писал в коридоре за столиком очередную статью по биохимии растений, нервничал, что в срок не успеет представить и подведет своего редактора, уверял, что ходить к нему совершенно не нужно, неудобно перед людьми, которые лежат рядом, они-то больные, а он — совершенно здоров и отдыхает в санаторном режиме, мама всегда переживает по пустякам, кормят прекрасно. «Это даже неблаговидно, Раюша,— говорил мне папа накануне,— быть таким здоровым и занимать койко-место, когда с местами, мне дежурная сестра самым серьезным образом разъяснила, исключительно туго...»

Лялька вполне могла улететь обратно в Пензу. Но она осталась, взяла на себя готовку и Машку, попутно бегала вечером в консерваторию. Мама перебралась пока к тете Але, у нее был легкий грипп, она боялась заразить Машку и притащить заразу к папе в больницу, последние дни к нему не ходила, мы с Лялькой носили ее записки. Папа нервничал, чем она больна, все допытывался — не врем ли мы, действительно ли это простуда и какая у мамы температура. Я понимала, что Лялька торчит в Ленинграде уже исключительно из-за моей работы, я как-то очередной раз выбилась из колеи, с папой — все обошлось, обещали через несколько дней уже перевести в санаторий, пора было брать себя в ежовые лапы и садиться за машинку.

Как раз в эту ночь я и заставила себя — сесть. Даже ощутила, что может — чего и выйдет, если буду к себе беспощадна. В начале четвертого зазвонил телефон. Думая о своем, я небрежно сняла трубку. «Это квартира Гореловых?» — осведомился женский бесстрастный голос. «Да, да,— небрежно сказала я, все еще витая в своих эмпиреях.— Кто? Говорите скорее!» Что глухая ночь — я в этот момент забыла. «Я хочу сказать,— быстро сообщил женский бесстрастный голос,— что больной Горелов, Александр Михайлович, сейчас скончался». Дальше — я некоторое время не помню. Лялька говорит, что проснулась от крика, нашла меня на полу в моей комнате, я кричала так длинно и страшно, что Лялька решила, что я наконец-то сошла с ума от своей работы, телефон был подо мною, Лялька его сперва не заметила. В телефоне все еще шли короткие гудки...

Позже я побывала в Одессе и нашла Валиных родных. У него оказалось очень много родни. Я узнала, что Валя упал на улице, к нему бросились, он был уже мертв, ни на какие боли никому не жаловался, к родным почти и не появлялся, занимался своей Идеей, о которой толком никто ничего не знает. Осталась куча бумаг, все это они передали понимающим людям, но от людей

этих известий пока что нет. Еще я узнала, что у Вали есть родная тетя, она живет в Швеции, очень богата, у нее — чуть ли ни пароходство и нет наследника по мужской линии. Тетя хотела передать свое дело именно Вале, обращалась в международные организации, присылала Вале вызовы, хотя бы — в гости. Валя в гости так и не съездил. Говорил, что времени у него для этого — нету, тетушку он не видел в жизни, дело ее — Валю совершенно не интересует, неужто в Швеции ей не сыскать человека, чтоб передать ему дело. Валя туда все равно не поедет, он любит цветущие каштаны, подозревает, что каштанов, во всяком случае — таких, какие он любит, нет и не может быть в Швеции. Тетушка присылала Вале и деньги. Он эти деньги ни разу не взял. Ну да, он же и мне тогда говорил, что денег ни у кого не берет, даже у меня. А мне-то он все-таки был старший брат.

Теперь я навязчиво не могу отделаться еще от одной картинки. Ослепительно белое утро. Ослепительно белый город. Ослепительно белым цветут каштаны. Что — свечи?! Каштаны несут на себе по нескольку сот живых люстр, возвышенно-звонких, точно-сбалансированных. Удивительна грация, с которой каштаны держат, будто на ладонях своих, прозрачные небу, тяжелые, звонкие кисти-грозди, точно — вверх, каждая гроздь — вещь в себе и все это — распахнуто всем, для красоты мира. Среди ослепительности этой и белизны идет Валя Вайнкопф, мой старший брат, благодаря кого я узнала в своей жизни — что это такое: родной старший брат. Вдруг он падает, словно споткнулся. Я все жду, жду, жду, что он сейчас встанет. Не может же он не встать! Но мой старший брат так и не встает. А вокруг пылают белым, полыхают белым — каштаны...

Самое трудное: что можно забыть живых, поссориться, разойтись, порвать, вычеркнуть из своей жизни, но те, кого больше нет — они только растут, как бы прорастают в тебе все глубже, их забыть — невозможно и таким образом — освободиться, забыв. Забывая лицо, день рождения или походку, обретаешь какую-то другую, глубинную, память, потому что с годами — вдруг обнаруживаешь, что знаешь о них больше, чем знал. Или они так врастают в тебя, что уже кажется — будто знаешь их больше? Или это раскаянием своим знаешь: что тогда, при жизни их,— не узнал, не сделал, поленился заметить, не подошел, не сказал, рядом не сел? Получается — я давно живу больше с теми, кого уже нет, чем с теми — кто есть. Спорю с теми, кто не может ответить. Доказываю тем, кто все равно не увидит. Плачу по тем, кто уже не слышит. Вижу их во сне. Вижу их в толпе. Оглядываюсь вдруг на их голос. Да что же это такое? Хоть бы какое-то послабление вышло моей душе. Она в дырьях и дырья эти болят...

Ни камешка — на сотни верст вокруг, чтоб подержать за пазухой. Уют. Горбы торчат меж звезд, поскольку — выше, чем верблюд, нет в мире ничего. Песок уже остыл и холодит висок, дневного жару он, к счастью, не умеет уберечь, не то бы — ночевать среди пожара. Усталость медленно стекает с плеч, как, в общем-то, для счастья нужно мало — с верблюда соскользнуть. И лечь. Беззвучно в черноте барханов ночные протекают драмы, лишь утром по резким и запутанным следам постигнешь подвиги, столь родственные нам, и подивишься силе этих драм. А чернота вокруг натянута так туго, все кажется — ее сейчас прорвет, и небо лопнет с треском, как парашютный шелк, разбрызгивая звезды, словно сок граната. Звезды так выпуклы и так яркй, что это попросту — уже нескромно, так выпялиться из такой далй, пышность эта — уже, пожалуй, оскорбление земли, где тоже всё же жизнь свой скромный бисер мечет. Лежу — глазами ввысь. Пожалуй, там вверху случилось нечто, возможно — радость, может быть — беда, но никогда я раньше не видала, чтоб столько звезд срывалось, и блистало, и чтобы столько тут же вырастало, и скатывалось вдруг — неведомо куда. Опять летит, как пуля, наверняка — ее спихнули, еще звезда рванулась криво, как от пинка. И скрылась. Желанье не успеешь загадать. А впрочем — зачем желать, коль не осуществить? А зря зачем просить — хоть у кого, хоть и у этой ночи? Теперь я знаю — неразделенная любовь была счастливой. А с кем мне разделенную делить?

Сокурсники мои давно забыли, что я вместе с ними университет не заканчивала. Поэтому в связи с двадцатипятилетием окончания я, как порядочная, получила приглашение на торжество. На факультет я не пошла, ноги моей там не будет, хоть он и не виноват. А на квартиру, где сбор уже узкий, две группы — наша, былая, и параллельная, в ней учился Умид, сразу решила: пойду. Эта квартира для меня — чистая. Ее хозяйка лежала тогда с переломом, так что могла бы прибыть на аэродром лишь в гипсе и на костылях. Тонкость в том, что я сохранила отношения только с теми сокурсниками, кто — когда Умид погиб — либо был болен, либо еще не вернулся в город. Их немного и я особо дорожу ими, боюсь потерять, они меня до сих пор, кроме всего прочего,— как-то соединяют с Умидом, хоть имя его никогда не фигурирует. На эту квартиру я смело могла идти...

Сбор был душевный, как и предполагалось. Все обнимались, не узнавали друг друга, потом — узнавали и радовались. В общем-то, почти всех и можно было узнать: ну, пополнела, ну, похудел, ну, слегка опал с лику или там — наоборот — ряшка слегка наросла. Это разве суть? Один наш сокурсник только что родил грудного младенца и был этим свершением безутешно счастлив. Все его утешали: «Не дрейфь, вырастишь! Ты вон еще какой!» Он надувал пиджак, таращился в зеркало и кричал: «А чего? Я — еще молоток! Верно, ребята? Выращу! Или сам вырастет! Точно?» Все подтверждали. У многих уже были внуки. Эти внуки безумно любят фотографироваться и друг на друга похожи до неприличия. Фотокарточки так и летали по рукам! Внуков дружно хвалили. Детей, в основном, поругивали. Детей — с нами, известное дело,— не сравнишь! Не тот товар! Мы-то какие были?! Орлы! Помните, на картошке? О-о-о, на картошке! И мы хором спели про картошку. Никто не забыл и слова. Во память у нашего поколения! А дети — теорему запомнить не могут, орфографию путают с пунктуацией. Дурацкое выучили словечко — «конгруэнтно», слыхали? И думают — чего знают. Нет, дети у нас — того, чего-то мы тут дали маху. Зато — внуки! Ух, как сидят на горшке! Пузыри! Пуси вы наши сладкие! Для них стоит и поработать. Мы работу любим, не то что дети.

Особенно молодцами были приезжие. Такие шикарные! Удалые! Они снисходительно выслушивали про местное прозябание. Вот когда кто-нибудь из нас выберется в их край, в их город, в ихнюю дорогую область, они нам покажут — что такое настоящая жизнь. У них вокруг — все свои! Их ценят, лелеют и холят. Они и на вертолете нас куда хочешь свезут и на мотоцикле закинут. Им здорово повезло с мужьями. С женами им тоже исключительно повезло. Это у нас тут, в центрах,— раззоры да смута. У них в дому — порядок. Дети слегка подкачали! Чего с них спросишь, они — не мы. Вон мы, бывало, на стройке — как конюшню в пять этажей заделаем за неделю, руки-мослы, коленки-занозы, штаны — на всю бригаду — одни, у девчонок — юбка, по очереди в праздники носят, а как же весело жили! Вот уж — дружили! На нас всегда можно было положиться. «Скала, ребята! Во всем!» — кричал безутешно счастливый отец грудного младенца. «А мой пацан таким разве вырастет? Дрянь какая-нибудь вырастет, верьте слову!» Но он уже слегка выпил. Вспомнил, как его года два пытались исключить за неуспеваемость. Загрустил. Все его утешали. Главное — мы все наконец-то вместе. Мы — везучие! У нас даже никто не умер. Нет, за это надо выпить особо. И спеть. Выпили. Спели.

Об Умиде никто ни разу не вспомнил. Да ведь сказано же: «Был ли мальчик?» Может — его и не было...

Единение давно уже докрасна распалилось. А тот, ради которого я пришла, все почему-то не появлялся. Наконец — звонок в дверь. «Ребята, простите! У меня запись сегодня, не смог перенести!» — «Валерка, черт! Простим его или нет? Ну, простим! Штрафную — Сабянскому!» Как только он вошел — я вдруг успокоилась. Чего я хотела? Я его не видала с четвертого своего курса. Не хотела видеть. Никогда про него не спрашивала. Обрывала, если кто говорил. Давно бы могла на него полюбоваться. В телевизор. Он ведет там какие-то передачи. Но я всегда успеваю — выключить телевизор, если объявили, что Сабянский ведет. Напрасно я выключала! Я бы не узнала Валерку Сабянско-

го хоть в какой цветной телевизор. Он — единственный среди нас — до полной неузнаваемости изменился. Может — это не он? Только — голос, пожалуй. Он не изменился, он — превратился. Был хрупкий — стал туша, был миловиден — стал уродлив, был беспечен и молод — стал стар и подавлен. Или он чувствует, как я на него гляжу? Ну, гляди! Упивайся местью. Его превращение, он-то этого — небось — не знает, это — ему моя месть.

Я вспомнила, как мы шли в перемену с Маргаритой, а навстречу чинно шествовал девятиклассник. Он был такой высокий и тощий, что казалось чудом — как он держится вертикально. Он согнул перед Маргаритой тонкую шею и сказал тонким голосом: «Маргарита Алексеевна, назовите мне, пожалуйста, вечную истину. Хотя бы — одну». И глаза его нависли над Маргаритой с детской надеждой. «Нетрудно, Ленечка,— сразу сказала Маргарита. Я не знаю вопроса, на который у Маргариты не было бы стоящего ответа, причем — мгновенного. Обо всем — о чем, кому-либо из нас придет вдруг в голову идея — ее спросить, Маргарита уже думала целую жизнь.— Добро, Ленечка, никогда не проходит бесследно».— «А зло?» — спросил любознательный Ленечка. «Зло — естественно — тоже».— «Спасибо. Я над этим подумаю»,— чинно откланялся Ленечка. И прошествовал далее, совершенно было неясно — как он держит свою вертикаль. «Подумай, это полезно»,— фыркнула Маргарита.

Сейчас я тяжело ощутила, как Маргарита — права. Даже: если тогда был «несчастный случай». Конечно! Это случай был, случай. Но почему же эта туша сбежала? И почему же Валерка так и не пришел ко мне, не рассказал, не поглядел мне в глаза, не зарыдал вместе со мною? Почему и его не было на аэродроме, когда самолет с гробом Умида разбегался по взлетной дорожке, а я все смотрела и смотрела, как он бежит, стал, побежал быстрей, оторвался, вот он уже в небе, выше, выше, уже превратился в точку. Ничего больше нет. Пустое небо...

Я ведь и хотела, чтобы Сабянскому было плохо в жизни. Я не умею, выходит,— прощать. Так же — как Он, мой досточтимый сэр и герой. Не умею. Ну, легче мне? Видно, что Валеркина жизнь — не сахар. Почему же — не легче? Для чего я сюда пришла? И чего сижу? Но я все сидела, смеялась, болтала какие-то глупости, кого-то о чем-то спрашивала, отвечала кому-то, даже пела хором, так и не спуская с Сабянского непрощающих глаз. Он не взглянул на меня ни разу. Мы ни слова не сказали друг другу. За целый длинный вечер мы с Валеркой ни разу ухитрились близко не столкнуться друг с другом в двухкомнатной квартире, где полно народу и все сталкивались носами и лбами. Наконец я неохотно ушла. Неохотно, потому что Сабянский еще остался. Он сказал, что его никто не ждет, он вполне годится — помыть посуду, вынести мусорное ведро или чего еще...

Утром — рано — меня разбудил телефонный звонок. Моя сокурсница, у которой был сбор,— мы с ней редко видимся и совершенно не в курсе душевной жизни друг друга,— сказала с заметным удивлением в голосе: «Знаешь, Рай! Мы все убрали, помыли, я уж приняла душ и легла. И вдруг Валерка, ну, Сабянский, вернулся. Один. Грустный, как мешком ему дали. Мне вообще его жалко. Ты же видела, какой он? Давай,— говорю,— проходи! Чаю поставила. Мы с ним так в кухне и просидели. И знаешь, о чем мы с ним говорили?» — «Откуда мне знать»,— сказала я. Я-то знала. «И не догадаешься! Помнишь, у нас был — Аджиев? Он еще под машину попал?» — «Припоминаю»,— сказала я. «О нем. Представляешь? Валерка нес какую-то чушь, будто мы с тобой считаем его виноватым в смерти Аджиева. А он, мол, совершенно же ни при чем. Я пыталась его убедить, что мы сроду таких разговоров не вели. А он психует, представляешь?» — «Не представляю»,— сказала я. «Всю ночь только про Аджиева и рассказывал. Все помнит, я поразилась, всякие мелочи».— «Пьяный был небось. Развезло»,— сказала я. «Именно что — трезвый. Он вчера вообще не пил. Ты не заметила?» — «Нет»,— сказала я. Заметила, еще как. «Жизнь профукал, теперь несет ахинею. А все равно — его жалко, наш все-таки, верно, Рай?» — «Мне не жалко». Тон у меня был скверный, самой противно. «Я и Сабянского-то почти не помню».— «Извини, Рай. Разбудила тебя? Я — от удивления: среди ночи вернулся, всё об одном, как его

завели. Думаю — позвоню тебе, может — ты чего тут поймешь...» — «Я ничего не пойму,— сказала я.— Забудь. И ложись. Я сплю».

Ну, легче тебе? Поздних угрызений сабянской совести ты хотела? Нет, не легче. Так какого тебе рожна? Или Валерку теперь побежишь — спасать? К этой смутно томящейся туше? «Полюбить тоской», как у поэта сказано, самая достоевская у Есенина строчка. Могла бы сейчас узнать, что ж он рассказывал, как это было? Зачем? Давно не нужны никакие рассказы да объяснения Валерки Сабянского, они тогда — нужны были...

Каин, Каин, я — брат твой, Авель! Ты зачем меня пощадил, разве мало уже я выстрадал, ты зачем меня жить оставил, ты зачем меня не убил, все равно — копьем или выстрелом? Все брожу за своими стадами, за стадами своими — мыслями, Каин, Каин, мир невменяем, я повсюду — как будто высланный, все барашки мои — скукожились, все ягнята мои — не дышат, все пути мои — бездорожие, я давно уже выжат, выжат...

Сдается, что — постепенно, короткими перебежками — я приближаюсь к тому недостижимому минимуму энтропии, какой для меня достижим. Это надо в себе запомнить, пригодится — на черный день. Ничего мне не нужно для счастья, кроме моей работы, как же мне повезло, что мы с нею случайно встретились в этой жизни! Это чувство надо в себе запомнить. Ау, дружок, мой Алик Кичаев, жди меня в Пущино!

Уж не знаю, каким путем Мирхайдаров это дело обстряпал, но на Машку в школу из зоопарка пришел официальный запрос, чтобы Машку откомандировали как ценный кадр в распоряжение зоопарка на практику, в запросе фигурировали старые Машкины заслуги — близость с черным макаком Юзефом, экспедиции, работа на ниве ботанического стационара. Я заикнулась было, что ничего хорошего тут не вижу, что за странная исключительность и как же другие дети? Но Мирхайдаров, простодушно уставясь мне прямо в глаза, сказал — что детям он сам все объяснил, дети — не дураки, с каждым бывало, надо помочь — по себе это знают, для них как раз в ситуации нет ничего исключительного. С каждым, что ли, так возится? Ладно, ему виднее. «А что Геенна?» — «Нина Геннадиевна не возражала»,— уклончиво сообщил Мирхайдаров. Представляю себе! В зоопарк Машка ходит, ничего не рассказывает. «И как тебе в зоопарке?» — «Не надейся! Я твоей биологией все равно заниматься не буду». Поделом мне, не лезь.

Мирхайдаров стал бывать у нас в доме, «у нас» — сильно сказано, войдет, сунет котлеты Айше, Айша уж на него и не лает, и сразу скрывается за Машкиной дверью. Из-за двери доносится Машкин резкий смех и небольшой голос Мирхайдарова, значит — беседуют. Машка, как ни странно, с ним разговорчива. С удивлением замечаю даже — рада его приходу. Именует его — исключительно: «Мирхайдаров», он зовет ее «Машка», но чаще: «Чудовище.» Машке, по-моему, нравится. «Чудовище, ты бы для разнообразия в химию заглянуло».— «А чего — там?» — «Химия. Учебник-то есть?» — «Нету...» Здрасьте, у нее даже учебника до сих пор нету! «На, я случайно тебе прихватил».

Потом, походя, Машка сообщает мне некоторые подробности его быта. «Мам, у Мирхайдарова сын в нашей школе учится, в седьмом „Б". Ты знаешь?» — «Первый раз слышу».— «А никто не знает,— гордо сообщает Машка.— У него сын — тихий, волосы светлые, на Мирхайдарова и не похож».— «Да, Мирхайдаров, конечно, очень громкий!» Надо мне обязательно съязвить! «А жена у него — технолог». Все знает, гляди-ка! «Технолог — чего?» — заинтересовалась я по привычке, вдруг — чего стоящее. «Занимается технологией некоторых процессов»,— заявила нахально Машка. Знает мое пристрастие к слову «процесс». «И каких, если не секрет?» — «Процессов сжижения кислорода в жидкий гелий». Вот это загнула! Неужто заглядывала в учебник химии? Слова-то, слова! Сама зарделась от дремучей своей учености. «Порисовать, что ли? Мне Мирхайдаров вчера фломастеры подарил. Показать?» — «А зачем ты взяла?» — «Я, мам, тебя не узнаю. Он — от чистого сердца». Не знаю, прав ли с моею Машкой ее классный руководитель. Но,

с другой стороны, сдвиги явно есть. Проблема школы, чтобы — туда ходить, постепенно как бы бледнеет. Это уже не проблема. Если Машки нет в школе, Мирхайдаров сразу приходит. По химии Машка принесла даже «четверку», высоты невиданные.

Биология — «два», лишь при отчаянном Машкином нраве и обширных ее познаниях в этом именно предмете можно добиться ей «двойки» по биологии. Подтекст тут понятен — не надейся, я «твоей» биологией заниматься не буду. Но, как всегда, уже вызывающий перебор! Мне стыдно смотреть в глаза преподавательнице биологии. Она Машку не видит. Машка ухитряется с урока удрать, хоть Мирхайдаров перед биологией неотступно прогуливается — так, для моциона — в районе раздевалки. Небось перемену Машка высиживает в туалете, а после звонка Мирхайдаров вынужден, увы, пост покинуть. До чего все-таки нахальная у меня девка!

Нет, он с ней слишком добр. Попыталась как-то, в коридоре, поговорить насчет этого с Мирхайдаровым, пока Машка убежала вниз к почтовому ящику, так-то и минуты не выбрать, чтоб — был один. Высказалась я в том плане, что я, например, не могу Машку любить и холить, когда от стыда за нее глаз уже поднять не могу на людей. Он сказал: «Не понял. За детей не должно быть стыдно».— «Как это?» — не поняла теперь я. «Она же...» — попыталась я объяснить. «Приладится,— суховато остановил Мирхайдаров.— Будем любить, иначе — нельзя».— «Ну, любите»,— я махнула рукой. Может любить — пусть любит. Я частенько — не могу. Тут Машка влетела в квартиру: «Мам, ты чего Мирхайдарову говоришь? Небось — про меня?», — «Кроме тебя и тем уже нету».— «Мы, Чудовище, говорили о физике»,— спокойно объяснил Мирхайдаров, он и врать может, не прост, нет, не прост. «А-а-а»,— сразу поверила Машка. Я ей давно осточертела со своей физикой.

Радостное предвкусие встречи приподнимало меня над обыденным тротуаром и я следовала к Володьке как бы уже по воздуху, на воздушной подушке любви и ностальгии. Понятия не имела, что Рыжий — в Мурманске, давно его потеряла, всегда верила, что он — далеко пойдет. Он — пошел! Это здание при мне уже было, я его помню. Секретарша молоденькая, небось — после школы, она сказала мне чинным ученическим голосом: «К товарищу Рыжику запись на этот месяц уже закрыта. Пожалуйста — к заместителю, у него как раз прием». Я пришла в совершенный восторг. От заместителя наотрез отказалась. «Владимир Прокопьевич вас, к сожалению, не смогут принять. Они работают».— «А сколько их там?» Я кивнула на кабинет за исправной кожей и с кнопками. «Они там один»,— объяснила секретарша. Восторг мой уже не имел предела. «А личную записку вы передадите?» Девочка посомневалась, но мой ликующий вид, наверное, ее подкупил. «Пишите»,— разрешила она. «Рыжий, можно к тебе? Это — я». Думала, сейчас выпрыгнет из кабинета, ну — крику будет! Девочка чинно вышла обратно и сообщила с искренней за меня радостью: «Взойдите, пожалуйста, Владимир Прокопьевич вас ожидают».

Я мигом взошла. Кабинет был огромен. Огромен был стол, уставленный телефонами. Парусили цветастые шторы. Рыжий мой был великолепен. Я бы сразу узнала его где хочешь! Строен. Подтянут. А костюм? Блеск! Подбородка, пожалуй, стало поменьше, отчего не столь блестяща улыбка. Володька привстал, потянулся ко мне рукою через огромный стол. Я считаю, мы почти обнялись. Рыжий был мне рад. Я была рада Рыжему. «Спасибо, что зашла». Еще бы я — не зашла! «Ты ведь в Ленинграде? Я часто там бываю». Какой ясный, родной был голос, из юности. Я внимала ему с наслаждением. Почти не вникала в смысл. «А чего ж ты меня в Ленинграде не разыскал?» — «Некогда, Рая, я знаешь как там кручусь?!» Он стал рассказывать мне про свою работу, как это трудно, секунды для себя — нет, зато теперь кое-что от него зависит, он имеет возможность — помочь, поддержать настоящее дело. Он увлекся, рассказывая, локтем оттолкнул телефон, когда тот затренькал, я этот жест его знала. «Не забурел, Рыжий»,— сказала я ласково. «Как ты сказала?» Это свое словечко Володька почему-то забыл. Я напомнила. «Жаргончик»,— он засмеялся. Смех был не очень его, немножко дробный.

Нечего придираться! Рыжий мой великолепно смотрелся за этим взрослым столом и меж разноцветных телефонов, я всегда знала, что он — далеко пойдет, даже когда его выгнали с комбината, наскоро пришив «аморалку», на которую Володька органически был неспособен, все его силы шли на другое, мы с ним мечтали создать на комбинате лучшую в Союзе комсомольскую организацию, на меньшее не замахивались, я хотела к нему в замы идти, из газеты меня не пускали, тоже — небось — прощупывали под этим потенциальную «аморалку», кончались шестидесятые годы, а когда его выгнали, Рыжий несколько месяцев жил у меня в Мурманске, торчал у меня в редакции, пробовал даже писать, это — не вышло, ночью мы играли с ним в шашки и шахматы, одинаково скверно в то и в другое, спали мало, бесконечно решали вопросы жизни, судьбы свои и планы, планов было — кипуче, судьба, как известно, у человека одна, тут поломаешь голову, чтобы не ошибиться, но две головы — дело другое, это крепость, это надежно, если все взгляды так совпадают, как у нас с Рыжим, в моей жизни таких безоговорочных — до сердцевины — друзей было немного, совсем немного, а ведь «дружков», что лишь синоним в устах моих, у меня вроде бы нету только на Альфа-Центавре, поэтому я туда и не рвусь...

Я теперь уже видела, что Володька мой слегка изменился, время и на него покусилось, оно это любит. Порою в лице у Рыжего проглядывало вдруг что-то бабье, сразу же, к счастью, пока уходило, вдруг — щечки, вдруг — на мгновение дряблость, словно подстерегающий блик из будущего. На Володьке были теперь очки, они все сильнее мешали мне слушать его, глаза Рыжика сидели позади очков вертко, я привыкла видеть их огромными и прямыми. «Рыжий, я все годы хотела тебя спросить — чего ты тогда тому парню сказал?» — «Какому?» — «Ну, помнишь? Он влетел в кабинет, как безумный, кто-то его обидел, по-крупному, он швырнул на пол комсомольский билет, ты что-то сказал — тихо и длинно, он нагнулся и свой билет осторожно поднял. Что ты ему, Володя, сказал?» Рыжий внимательно снял очки, протер, опять водрузил их на нос. «Я такого случая не припомню...» — «Как это? — закричала я.— Ты не можешь — не помнить! Я всю жизнь — помню! Этот парень хотел уехать! В Астрахань! Никуда не уехал! Ну, вспомнил? Чего ты с ним сделал за ту неделю, что он за тобою, как пришитый, ходил? Чем ты его удержал? А, Рыжий?!» — «Абсолютно ничего этого не помню,— засмеялся Владимир Прокопьевич Рыжик.— Ерунда какая-то. Там все было, как теперь понимаешь, ерунда. Детство! Я, честно, почти ничего из тех времен вообще не помню. Зачем?»

Он всё забыл. Всё. Вот это был — крах.

Бессилие — вот сила, с которой я гляжу в Твои черты, бессилие мне душу источило — не Ты. Ты надоел мне — как чума, холера, лимфаденит, туберкулез костей, какая медленная и тупая вера, какая изнурительная вера, какая высшая карательная мера, что Ты — со мной...

Гм. В мощном напоре моей неизбывно лирической струи как-то начисто отсутствует диалектика души, вот что меня смущает. Как-то эта струя у меня однобока, чересчур упёрта, перебираю, как всегда, в одну сторону, все у меня — чересчур. Чересчур — как у Него, так бы я даже осмелилась себе заметить. А ведь ежели взбредет, к примеру, что-нибудь вроде: *«Я спросила, ты ответил, вспомнить не могу. Ты упал — как чистый ветер на мою судьбу»*,— то, как минимум, ведь следует держать в душе антитезу, только тогда ощутима диалектика души, без нее же погрязнешь в статике и мелкотемье, нужно же помнить, что антитеза ничуть не менее права, хоть бы к данному примеру — такая: *«Не понять еще покамест никаким ученым мордам — то ли ветром, то ли камнем, то ли чистым, то ли черным...»* Сразу — другое дело!

Сознательное владение антитезой (то есть включение того же принципа дополнительности, заметим в скобках) дает огромные преимущества человеку пишущему. Главным же преимуществом я считаю нижеизложенное. Коли ты ощущаешь в себе антитезу, что ничуть не мешает — естественно — насладительности рабочего процесса, а лишь ее, насладительность, для тебя расширяет, что и свойственно диалектике, то никакой критик тебя уже удивить не

может, раздавить или — наоборот — возвысить в твоих же собственных глазах, ибо ты-то лучше любого критика знаешь свои хоть как скрытые слабости, провалы и недостатки и лучше любого критика в состоянии оценить хилые пока свои достижения и им, родимым, светло порадоваться. Чего тут — неожиданного-то — критик может тебе прибавить?

Критик, по-моему, вообще тогда — может быть свободен, может, к примеру, заняться каким-нибудь общественно-полезным делом, которое ему по душе. Странная, вообще-то,— должность! Критик почему-то, по должности, взял для себя привычку — ласково гладить по шерсти пишущего человека или разбойно улюлюкать ему вслед, не выдвигая при этом ни малейших собственных — конструктивных — идей. Вольфганг Паули, допустим, славился между всеми понимающими людьми как критик убойной силы, к нему за тем и ехали отовсюду, чтобы он глянул на чью-то работу, на чью-то трепещущую мысль своим язвительным оком, но ведь Паули неизменно сопровождал свою хоть какую уничижительную критику совершенно новым аспектом застойно-старого вопроса, причем этот аспект извлекал из той самой именно работы, которую в прах только что вроде бы поверг, и неизменно выдвигал новые идеи, всё переворачивающие вокруг вверх дном, идеи эти свои доказывал, не просто же так, за критический ум и разносный пафос, схватил, к примеру, Нобелевскую премию.

Он выступал в своей среде, каковая была — весь научный мир, как генератор идей, против этого уж не попрешь. Вольфганга Паули Нильс Бор немедленно призывал в свой Копенгаген, как только в Боровском физическом институте возникало,— на их, конечно, взгляд, не на мой,— некоторое, что ли, топтание на одном месте. И критика Паули, все подвергавшего сомнению, сомнению — конструктивному и ядовитому — опять же отметим, как правило — помогала, у всех заинтересованных лиц как-то шустрее начинали работать мозги, словно Паули с них шоры снимал своими насмешками, мгновенными догадками и интуитивным прозрением, какое дается лишь высочайшим профессиональным мастерством в любой сфере приложения сил человеческих. Мне почему-то сдается, что и на литературной ниве критику полезно раскинуть мозгами и вмешиваться в дело, именуемое «литература», только при явном наличии собственных идей. Ибо пишущий — достаточно долго думает над тем, что он потом пишет. Критики, по-моему, частенько об этом забывают. Они как-то больше любят отнестись к автору как к ребенку-несмышленышу: автор-де тут недоглядел, упустил, не заметил, случайно обмолвился, само собой — слегка недопер и вообще — сдуру ляпнул. Автор же, на мой взгляд, не так прост. Сдуру да случайно и худой маляр краску на стену не ляпнет, а тут все же — Слово, с ним без мысли — никак...

Я сижу в уголке директорского кабинета, вроде — изучаю Его отчет об воспитании творческого мышления средствами математики. Перед столом директора переминается тишайшая наша химичка Надежда Кузьминична. «Вы маме Сагаева на работу написали?» — строго, но справедливо вопрошает Геенна. «Я не знаю, где она работает»,— шелестит в ответ робко. «У вас в журнале должно быть записано». Даже страшно мне за Надежду Кузьминичну, где ей — такой напор. «Она — перешла...» — «Спросите — куда».— «Она все равно не скажет...» — «Может, Сагаев знает?» — «Не буду же я у ребенка выпытывать...» О-о-о, это уже скорее голос, чем шелест. Но и Гееннин голос окреп: «Одним словом, Надежда Кузьминична, узнайте — как хотите, где эта мама сейчас работает, и напишите ей немедленно на работу. Это приказ». И глаза — стальные. Я ожидала поспешного кивка. Нет, ничего в людях не понимаю! «Не могу я ей написать, Нина Геннадиевна...» — твердо прошелестело. «Да почему же? — подпрыгнула за столом Геенна.— Дождемся, когда им комната милиции займется, а нам в нос тыкать начнут!» — «Лучше значит — спихнуть?» Швабрами мне надо заниматься, а не людьми! В швабрах я, может, когда-нибудь и разберусь, если сильно буду стараться. «Не спихнуть, а устроить в приличный интернат, где будет контроль и уход».— «Знаю я, какой там уход...» Глаза Геенны сконцентрировались, как у фламинго, и остекленели на миг. «Это вы — что же, об интернате?» Но тут

же Нина Геннадиевна взяла себя в руки и даже улыбнулась. «Ну, берите его к себе, раз вы такая добрая».— «Взяла бы...» По-моему, даже Геенну при этих ее словах прошиб некоторый стыд, известно, что Надежда Кузьминична живет тяжко, кругом — больные. «Сагаев дома все равно не имеет и в школу не ходит»,— довольно мягко пояснила Геенна. «Он мать любит...» — «А матери он не нужен. Пьет. Гуляет.» Господи, опять та же история! И почему-то эти дети преданно любят этих своих мам. А наши почему-то любят нас значительно менее пылко.

«Она, между прочим, Нина Геннадиевна, всю жизнь работает на тяжелой физической работе и на полторы ставки. Мальчик одет — обут не хуже других».— «Вот туда и напишите, где она работает».— «Если бы Сагаев был из так называемой приличной семьи, все бы его тянули, входили бы в трудный возраст и положение, да? А раз такая мать, значит — выпихнуть?» — «Не выпихнуть! А помочь мальчику нормально вырасти, в нормальных условиях!» — «Он пока что — как раз нормальный. Витя только тем и держится, что мы рядом есть: класс, учителя, школа».— «Все учителя в один голос говорят, что ваш Витя абсолютно не работает, не может работать».— «У Юлии Германовны он работает...» — «Три английских слова за три четверти выучил — это работа?» — «А там пропадет!» Я услышала даже восклицательный знак. Где мои швабры? «Никто почему-то не пропадает, а ваш Сагаев пропадет».— «Пропадет. Он — нежный»,— сказала Надежда Кузьминична убежденно. «Нежный? — окостенела директор.— А чего он у вас в кабинете наворотил? Думаете — не знаю?!» — «Ему плохо было. Он сам потом убрал, починил...» — «Десятый „А“ починил, мне известно. Сагаеву всегда будет плохо, нам его не удержать. А без письма матери на работу, без всех инстанций — школа не может об интернате ходатайствовать, вы же отлично знаете, Надежда Кузьминична!» Была бесконечная секунда молчания. Потом тишайшая наша преподавательница химии подняла на директора глаза, линялые, близорукие: «Нет, Нина Геннадиевна, хоть режьте. Я не могу написать ей, это — извините — противоречит моим принципам...» Слезы проступили в глазах. Повернулась. Вышла.

Директор долго и взъерошенно глядела ей вслед. «Видали? И не напишет». Но никакой злости, к большому моему изумлению, в голосе у Геенны не было. Я не услышала даже раздражения, которое все более становится органикой для директора. Нет, только — швабры! Швабры — моя стезя! Нина Геннадиевна встряхнулась, вздохнула, закрутила диск телефона: «Это завод „Кабель“? У вас в первом цехе работает уборщицей наша мама — Сагаева Алла Андреевна. Да, это директор школы. Да, подожду. Уволилась? Давно? А где она теперь работает, не подскажете? Так, записала. Спасибо». Опустила трубку. Передохнула. Опять завертела диском. «Ничего, Надежда Кузьминична, я найду. Вы одна — жалостливая! Думать не охота, что потом с Плавильщиковым начнется. Все меня перекусят. А его ж тоже — в интернат надо, не миновать. Деньги опять взял, вы слыхали?» — «Какие деньги?» — удивилась я. У Геенны все было — занято. Она — походя — кольнула меня взором: «Не умеете врать — не беритесь».— «Он взял на святое дело...» — «А завтра — на какое возьмет?»

Тут дискуссия наша оборвалась. В кабинет вошел, вернее — ворвался, собственной персоной Васильев. До чего ж все-таки похож на слоненка! Но этот слоненок был сейчас в ярости, хобот гневно задран и маленькие глазки блестят. До чего красив! Красота все же — понятие самое субъективное. Неотразим! Геенна, вздохнув, оставила телефон в покое. «Да, Юрий Сергеевич, я вас слушаю?!» Но Он в дозволениях и не нуждался. «Это правда, Нина Геннадиевна, что Серафима Петровна на будущий год хочет взять девятый?» — «А почему бы — нет? Это ее воспитательский класс. Стажу за ней — больше тридцати лет, она опытный педагог, ну, всю жизнь вела — по восьмые, имеет полное право — и старших, предметом своим владеет, методикой — тоже. Не понимаю, чего вы разволновались?» — «Не понимаете? Я вам объясню! Я как председатель математической секции бываю у нее на уроках. Это — недопустимо низкий уровень! Я ставил перед педсоветом вопрос! Серафиме Петровне давным-давно и седьмые-восьмые классы нельзя доверять».

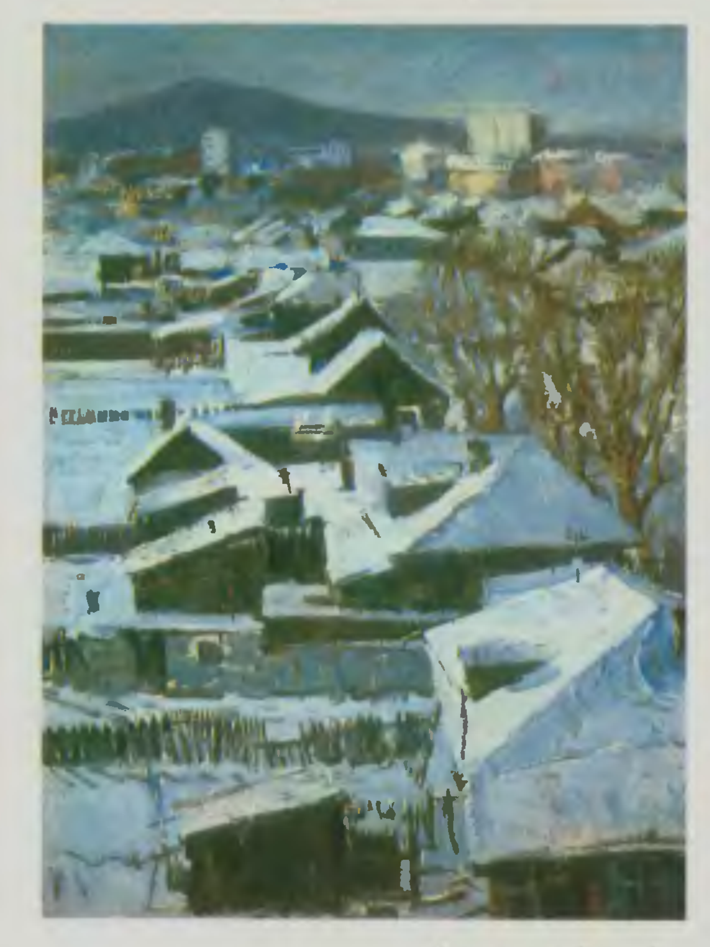
«У вас, Юрий Сергеич, идеализированный подход и завышенные требования к преподаванию. Я и на педсовете говорила!» — «У меня — профессиональные требования и подход нормальный. Да она же не справится с девятым классом! Это грандиозная ответственность!» — «Почему — не справится? Программный материал она детям дает».— «Она, видимо, сама — не понимает. Надо ей деликатно объяснить».— «Вот и объясните, Юрий Сергеич, попробуйте»,— доброжелательно разрешила Геенна. Геенна с Ним удивительно терпелива, по-моему, расходует на Него весь свой ресурс терпения. Но Он разве оценит! «Я пробовал! Она почему-то прекратила со мной разговаривать!» Звонок, к счастью, уже гремел. А лишь старое доброе цунами может заставить Его опоздать на урок. «Ни в коем случае нельзя давать Серафиме Петровне девятые классы!» — договорил уже на лету. «Не вижу причин — не дать»,— вслед Ему стойко сказала Геенна.

Довольно долго в кабинете была тишина. Нина Геннадиевна медленно отходила, заслуженный отдых. «Видали? — наконец сказала она.— С такими приходится работать! Наорал. Ворвался. И вечно он лучше всех знает! Как вам это нравится?» — «Нравится»,— застенчиво призналась я. Геенна окинула меня пытливым и бдительным взором. «А вы садитесь на мое место». Обычный риторический призыв — продавцов, вокзальных кассирш, усталых девиц в почтовом окошечке. «Нет»,— отказалась я. «А я сижу. Ничего,— гордо сообщила Геенна.— И, знаете, кто мне больше всех надоел? Думаете — этот злосчастный Сагаев и его дорогая мамочка? Или Плавильщиков ваш? Нет, с этими-то я как-нибудь управлюсь! А надоели мне, Раиса Александровна,— гении! Вот уж от кого я бы с огромным облегчением избавилась. До чего ж я от них устала, от гениев!..» — «А я почему-то считала, что вы осознаете им цену».— «Гениям? Я им цену знаю. Плата — больно высокая, выше цены. Успевай только вытаскивать из разных историй, того и гляди — чтоб на них не написали куда, чтоб они, где не надо, не ляпнули, только следи — во что они влезут. Думаете, они замечают, как я для них на пупе кручусь? И тут, и в роно. Нет, благодарности от них и не жди!» — «Я почему-то думала, что вы исполнены гордости, что они рядом с вами работают...» — «Бывает и гордость. Но иной раз думаю я, Раиса Александровна,— без них бы намного лучше!» Я вдруг озлилась, хоть сама же приучила Геенну — со мной к откровенности. «А, по-моему, вам без них — цена копейка...» Так. Лавры Его деликатности, видимо, не дают мне покоя. «В каком смысле?» От удивления Нина Геннадиевна даже еще не обиделась. «Что бы вы, интересно, без них тут делали?» Она внимательно на меня поглядела — как на предмет неожиданно новый. Но инерция еще работала. «Что делаю, то и делала бы. Только — спокойно. Детей все равно бы учили. Давали бы детям программный материал. Без этих ихних недосягаемых высот».— «Высоты — полезная вещь...» — «Да пропади они пропадом со своими высотами!» — от души сказала она. «Так вы бы им прямо и намекнули — мол, идите вы все...»

Крупная голова без шеи медленно наливалась полнокровным цветом, тускло взблеснули серые волосы, глаза почернели. Я ожидала, что голос директора сейчас взметнется до визга, что не раз наблюдала. Нет, мне надо — по швабрам. Голос директора сделался тих и сух до сухого потрескивания. «А я никого не держу. Могут хоть все уходить — Васильев, Маргарита Алексеевна, Надежда Кузьминична...» Секундная пауза, глаза ввинтились в меня и прошли насквозь. «...и Мирхайдаров тоже...» Почему-то она не добавила: «Ваш», совсем было бы — Машка. «А почему, интересно, вы о них говорите так, будто они — ваша собственность?» Геенна покачалась на стуле. «Я думала — вы умнее»,— честно подытожила она наконец. Вполне по заслугам: нашла время выяснять отношения. Но меня уж несло. «А я считала, что — вы...» Вполне коммунально.

«Вот так и напишите в своей повести — директор никуда не годится, ретроград, психопат, помеха, дрожит за свое служебное кресло, очень мягкое и завидное». Кое-что она понимает очень четко. Нет, не глупа. «Напишу, если сочту представляющим общечеловеческий интерес...» Пафос какой надутый: «общечеловеческий»! От Него заразилась. «Давай, давай, пишите! — совсем как подросток подначила директор.— Поглядим, чего вы там понапишете...»

МОЛОДОЙ ЖИВОПИСЕЦ
ГАЛИНА ПЕРОВА



ОКРАИНА КРАСНОЯРСКА

Галина Перова закончила живописный факультет Института имени И. Е. Репина чуть больше года назад. Путь ее не был гладким. Впервые она начала всерьез учиться изобразительному искусству в неполных семнадцать лет. Упорство, умение [illegible] работать, целеустремленность привели ее из родного Красноярска в Ленинград, в мастерскую народного художника СССР Е. Е. Моисеенко. Об этой встрече Галя мечтала еще в Сибири.

Перед каждым художником стоит непростая задача: выбирая свой образный строй, он должен суметь пройти между тривиальностью и заумью, как между Сциллой и Харибдой. Гале это удается. Перова — художник [illegible], она пробует различные творческие манеры, но у нее есть свое лицо. В своих произведениях она стремится к раскрытию общечеловеческих тем. Примером тому может служить картина «Размышления о войне». Художник по-своему трактует в ней библейский сюжет «избиение младенцев». На холсте мечутся, пытаясь спасти детей, женщины в белых одеяниях. Как олицетворение темных, страшных сил войны, уничтожающей будущее, противопоставлены им воины в черном, в рогатых касках-шлемах, убивающие младенцев. В глубине картины рушится храм — метафора гибели культуры. Разложение видимого мира на холсте ассоциируется со стихией разрушения.

Перову волнуют проблемы современной молодежи. Им посвящена картина «Свидание [illegible]». Каменный безмолвный лев на набережной Невы, заключенный в деревянную клетку [illegible], и «ликующие» молодые люди у его подножия напоминают о потере в духовной жизни нашего общества. Картина имеет и другое название — «Мартышки». Здесь это — символ бессмысленного шатания.

Среди произведений Перовой — пейзажи, тонко передающие очарование избранного мотива, натюрморты, портреты друзей и близких. Для них характерны [illegible] и [illegible], эмоциональность и [illegible]. Е. Е. Моисеенко отзывается о своей ученице как о человеке любопытном к жизни, к ее бурлящим процессам, талантливом композиторе с развитым чувством гармонии.

Алла КОРОБЦОВА,
искусствовед



РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВОЙНЕ



ПОРТРЕТ АГАФЬИ НИКОЛАЕВНЫ

Разговор этот не мешает нам с Ниной Геннадиевной любезно приветствовать друг друга в коридорах школы, уступать — взаимно — место в дверях, мне — сидеть на уроках, где я хочу, а ей — руководить педагогическим процессом, как она разумеет. При желании можно бы заметить, что в учительской мы теперь общаемся — при нужде — через третьих лиц. Но никому эти тонкости нелюбопытны и времени на такую мизерную ерунду ни у кого нету, так что это — исключительно наши с Геенной Огненной тайные радости и печали.

Как надоело мне с Тобою рвать навек, что значит — на неделю, и с каждым разом лишь яснее понимать, что это — вечные качели, скорей луну ребенок мячиком собьет с орбиты, скорей волну — дельфин последним остановит криком, чем я пойму, что мы с Тобой — чужие.

Машка написала странный автопортрет: лицо — как маска, фиолетовое, но глаза живые, разрез их печален и кос, тоже — из маски, а на голубоватой ладони — оранжевая птица, проткнутая гвоздем, шляпка гвоздя — черная и торчит. Я испугалась. Чтоб человека протыкали гвоздями — это бывало, не удивишь. Но чтобы — живую птицу! «Машка, зачем ты ее проткнула?» — «Она — сама»,— хмуро сказала Машка. «Почему?» — «Момент отчаяния». Люблю ее за формулировки. «А чего ты ее так держишь?» Собственно, Машка на этом автопортрете птицу вроде бы совсем и не держит, но эта странная птица словно бы сама собой вырастает из Машкиной ладони, тут ощущалась непонятно-слитная связь и некая волнующая загадочность. Вот что мне особенно не понравилось. «Так это же — я»,— сказала Машка. «Ты ж — вот!» — я ткнула в лицо-маску, которое меня тоже не больно-то радовало, мучнистое, стылое, но глаза в разрезе маски — живые. «Это — тоже я»,— согласилась Машка. Забрала свой автопортрет и удалилась к себе в комнату.

Опять второй день не была в школе, новый какой-то заход по старому следу, вчера доложила, что проспала до десяти, уже поздно, а сегодня утром сказала, что ночью у нее была ужасная температура, скачок под сто градусов. Врет, само собой: градусник у меня в столе и она его не брала. Пришлось поверить. В половине четвертого пришел Мирхайдаров, он Машке, оказывается, еще утром звонил, был в курсе заболевания. Принес аспирин и мед. Машка при нем отчаянно кашляла, чуть, бедная, не надорвалась. Потом за дверью стало потише, лишь небольшой — глуховатый — голос терпеливого классного воспитателя. Вдруг раздался Машкин высокий смех. Оборвался. Машка вылетела в коридор и сообщила, сияя: «Мам, мы с Мирхайдаровым сейчас же уходим! Не беспокойся, вернусь». Мирхайдаров, тихонько мне улыбаясь, уже натягивал свою курточку. «А температура?» — для порядка справилась я. «Упала до нуля».

Без Машки был спокойный и тихий вечер. Айша спала, никто ее не дергал за хвост, не кричал — «умри», «стоять» или «ползи» — одновременно, она даже безмятежно похрапывала. Я читала книжку Ильи Пригожина, как же я раньше-то школы его не знала, ни точки бифуркации, в коей пожизненно пребываю, ни перспектив диссипативной структуры — как выхода и надежды для всего живого, ничего ведь не знала, грех один... И никто мне моей драгоценной физикой в лицо не тыкал.

Машка явилась поздно, здоровехонькая и переполненная новостями. «У Мирхайдарова дома была!» — «Ну, и как у него дома?» — «Чисто,— сказала Машка.— Пирожки ели с брусникой. Его жена, знаешь, как печет?!» — «Не знаю,— сказала я.— Могла бы принести матери».— «Обойдешься»,— отмела Машка мои намеки. Толкнула Айшу ногой, заставила — лечь, встать, умереть и ползти одновременно. И все никак не могла успокоиться. «А чего ж ты не спросишь, зачем я туда ходила?» — «Ну, зачем?» — «Чтобы душевно поддержать Ольгу Шевчук, вот зачем!» Что-то новенькое. Сроду не слышала, чтобы Машка бегала куда-то, чтобы кого-то душевно поддержать. «Ну, поддержала?» — «Ага!» — «А чего Ольга Шевчук делает у Мирхайдарова?» — «Живет»,— сказала Машка. «С какой стати?» — «А у нее папанька опять маму ударил»,— сообщила Машка весело. Послушал бы Он! Но боюсь, что тогда Ему трудно было бы интересно работать с папанькой-



РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВОЙНЕ



ПОРТРЕТ АГАФЫИ НИКОЛАЕВНЫ

Разговор этот не мешает нам с Ниной Геннадиевной любезно приветствовать друг друга в коридорах школы, уступать — взаимно — место в дверях, мне — сидеть на уроках, где я хочу, а ей — руководить педагогическим процессом, как она разумеет. При желании можно бы заметить, что в учительской мы теперь общаемся — при нужде — через третьих лиц. Но никому эти тонкости нелюбопытны и времени на такую мизерную ерунду ни у кого нету, так что это — исключительно наши с Геенной Огненной тайные радости и печали.

Как надоело мне с Тобою рвать навек, что значит — на неделю, и с каждым разом лишь яснее понимать, что это — вечные качели, скорей луну ребенок мячиком собьет с орбиты, скорей волну — дельфин последним остановит криком, чем я пойму, что мы с Тобой — чужие.

Машка написала странный автопортрет: лицо — как маска, фиолетовое, но глаза живые, разрез их печален и кос, тоже — из маски, а на голубоватой ладони — оранжевая птица, проткнутая гвоздем, шляпка гвоздя — черная и торчит. Я испугалась. Чтоб человека протыкали гвоздями — это бывало, не удивишь. Но чтобы — живую птицу! «Машка, зачем ты ее проткнула?» — «Она — сама»,— хмуро сказала Машка. «Почему?» — «Момент отчаяния». Люблю ее за формулировки. «А чего ты ее так держишь?» Собственно, Машка на этом автопортрете птицу вроде бы совсем и не держит, но эта странная птица словно бы сама собой вырастает из Машкиной ладони, тут ощущалась непонятно-слитная связь и некая волнующая загадочность. Вот что мне особенно не понравилось. «Так это же — я»,— сказала Машка. «Ты ж — вот!» — я ткнула в лицо-маску, которое меня тоже не больно-то радовало, мучнистое, стылое, но глаза в разрезе маски — живые. «Это — тоже я»,— согласилась Машка. Забрала свой автопортрет и удалилась к себе в комнату.

Опять второй день не была в школе, новый какой-то заход по старому следу, вчера доложила, что проспала до десяти, уже поздно, а сегодня утром сказала, что ночью у нее была ужасная температура, скачок под сто градусов. Врет, само собой: градусник у меня в столе и она его не брала. Пришлось поверить. В половине четвертого пришел Мирхайдаров, он Машке, оказывается, еще утром звонил, был в курсе заболевания. Принес аспирин и мед. Машка при нем отчаянно кашляла, чуть, бедная, не надорвалась. Потом за дверью стало потише, лишь небольшой — глуховатый — голос терпеливого классного воспитателя. Вдруг раздался Машкин высокий смех. Оборвался. Машка вылетела в коридор и сообщила, сияя: «Мам, мы с Мирхайдаровым сейчас же уходим! Не беспокойся, вернусь». Мирхайдаров, тихонько мне улыбаясь, уже натягивал свою курточку. «А температура?» — для порядка справилась я. «Упала до нуля».

Без Машки был спокойный и тихий вечер. Айша спала, никто ее не дергал за хвост, не кричал — «умри», «стоять» или «ползи» — одновременно, она даже безмятежно похрапывала. Я читала книжку Ильи Пригожина, как же я раньше-то школы его не знала, ни точки бифуркации, в коей пожизненно пребываю, ни перспектив диссипативной структуры — как выхода и надежды для всего живого, ничего ведь не знала, грех один... И никто мне моей драгоценной физикой в лицо не тыкал.

Машка явилась поздно, здоровехонькая и переполненная новостями. «У Мирхайдарова дома была!» — «Ну, и как у него дома?» — «Чисто,— сказала Машка.— Пирожки ели с брусникой. Его жена, знаешь, как печет?!» — «Не знаю,— сказала я.— Могла бы принести матери».— «Обойдешься»,— отмела Машка мои намеки. Толкнула Айшу ногой, заставила — лечь, встать, умереть и ползти одновременно. И все никак не могла успокоиться. «А чего ж ты не спросишь, зачем я туда ходила?» — «Ну, зачем?» — «Чтобы душевно поддержать Ольгу Шевчук, вот зачем!» Что-то новенькое. Сроду не слышала, чтобы Машка бегала куда-то, чтобы кого-то душевно поддержать. «Ну, поддержала?» — «Ага!» — «А чего Ольга Шевчук делает у Мирхайдарова?» — «Живет»,— сказала Машка. «С какой стати?» — «А у нее папанька опять маму ударил»,— сообщила Машка весело. Послушал бы Он! Но боюсь, что тогда Ему трудно было бы интересно работать с папанькой-

Шевчуком. «Папанька позавчера пришел, ну, вроде — с работы, поздно, ударил маму, Ольга ему на руке повисла, он и Ольге врезал, у нее голова теперь распухла».— «А чего же ты веселишься?» — «Я разве веселюсь?»

Как я поняла, дальше было так. Вчера поутру в школу пришла мама Ольги Шевчук, дождалась перемены и нашла Мирхайдарова. Ольга учится в Машкином классе, я ее знаю — смешливая девчонка с длинной толстой косой, такие косы давно уже вывелись, одна — на всю школу. И мама Ольги Шевчук сказала Мирхайдарову, как классному воспитателю дочери своей Оли, что она так жить больше не может, лучше отравится, выпьет что-нибудь, она решила — чего, а Мирхайдарову она поручает позаботиться о своей дочери Ольге и о ее младшем братишке Славике, который занимается в другой школе и во втором классе. Другого выхода мама-Шевчук для себя не видит.

Мирхайдаров, пока она говорила, раз пять сказал: «Не понял». А когда она замолчала, попросил Маргариту срочно его подменить в девятом «Б», взял маму-Шевчук под локоток, поймал на углу такси, усадил маму-Шевчук, сел сам и они поехали. Сперва забрали из другой школы Славика, потом заехали к Шевчукам на квартиру, прихватили Ольгу и кое-какие вещи первой личной необходимости и со всем этим хозяйством уже прибыли на той же машине домой к Мирхайдарову, где все теперь и помещаются.

Папанька-Шевчук, обнаружив пропажу семейства, сперва бегал по всему дому и грозился, что все свое семейство крупно прибьет, а когда никто не вернулся на ночь — скис. Проспался. И теперь всюду свое семейство разыскивает, так что ни Ольга, ни Славик в школах появляться пока не могут, чтобы их отец не нашел. И даже мама-Шевчук взяла дни за свой счет. Мама Ольги Шевчук мириться с папанькой не хочет, это уже — который раз, это — только до следующего, мама призвала к Мирхайдарову своего брата, он — летчик, с ним папанька будет вежлив, и этот летчик теперь добьется, чтобы папа-Шевчук освободил для семьи квартиру. Летчик советовал маме — подавать на развод. Мама-Шевчук плачет, не может решиться на развод, ей папаньку все равно жалко, она к нему уже привыкла, но Ольга со Славиком никак не могут привыкнуть, они бы, наоборот, с удовольствием развелись...

«Погоди, погоди! Это что же — тебе Мирхайдаров рассказал?» — глупо удивилась я. «Он расскажет, жди! Это Ольга мне рассказала. Мирхайдаров наврал, что у Шевчуков ремонт, труба лопнула. Просил, чтоб я Ольге геометрию объяснила».— «А большая квартира?» — «Большая,— сказала Машка. Огляделась на нашей обширной кухне и честно поправилась.— Ну, не очень. Две комнаты. Я их к нам звала, Ольга — хочет, а ее мама стесняется. Славик тоже не хочет, ему у Мирхайдарова нравится. Ты чего, мам? Не надо было звать?» — «Нет, отчего же»,— неопределенно сказала я. «Ничего,— успокоила меня Машка.— Мирхайдаров сказал, что в другой раз он прямо к нам привезет».— «Ну, не каждый же день у вас такое».— «Редко»,— с сожалением признала Машка. Спать, по-моему, она сегодня не будет, заряд слишком силен. «Школу опять проспишь»,— напомнила все же для порядка. «Ты что?! — возмутилась Машка.— Мне для Ольги надо все уроки списать. И недельное — по алгебре. Я встану, не бойся».— «Угу»,— кивнула я. В общем-то, я уже и не удивилась. Как у него, однако, быстро да ловко; подхватил, такси, туда-сюда и к себе, а Машка — пусть, попутно, поможет по геометрии. Ничего! «Жена, наверное, в восторге...» Это у меня подумалось вслух. Но Машка подхватила охотно: «У Мирхайдарова, знаешь, какая жена?! Ого-го!» Посыпались знакомые — Максовы — словечки: «козырная жена», «у его жены масло в голове есть». И тэ-дэ. «Я к ней, может, после школы на завод работать пойду. Ты не против?» — «Иди, чего уж!»

Школу, значит, она намерена кончить. «И чем на заводе займешься? Точить? Сверлить?» — «Технологией!» Забыла, как же, сжижение кислорода до жидкого гелия. «Воздушный шарик мне в Новый год гелием накачаешь».— «Жидким не накачать. Я тебе в блюдечке возле кровати поставлю. Гелий, кстати, сперва на солнце открыли, слыхала?» — «Помню»,— сказала я. «Ну да, ты ж при этом — была»,— небрежно прошлась Машка через мою захудалую бывалость. «А на Ямале была?» — «Не была. Отстань».— «А Мирхайдаров пять лет на Ямале прожил!» — «И чего делал?» — «В школе

работал. Думаешь, на Ямале детей не учат?» — «Может — там не принято?» — «Детей теперь всюду учат,— наставительно пояснила Машка.— А в каникулы Мирхайдаров с теодолитом ходил. Знаешь теодолит?» — «Смутно».— «А Мирхайдаров знает. Он с ним работал».— «Может — хватит?» — «Завидуешь?» — засмеялась Машка. И ушла в ванную. Оттуда в ночной тиши разнеслась победная песня без слов.

Я же думала вот о чем. Почему же я не испытываю к Машкиному классному руководителю никакой благодарности? Что за диво! К Нему — постоянную, разъедающую. За себя, за Машку, за всех. К Маргарите? Испепеляющую. До потери себя. К веселой англичанке? Огромную. Она с Машкой так терпелива! Даже к Геенне Огненной я испытываю благодарность, что она кротко терпит мою несносную дочь во вверенной ей школе. А тут — пришел чужой человек, не друг, не приятель, никто, слова тебе не сказал и от тебя не стребовал даже пары сближающих фраз, и вдруг занялся на всю катушку твоим же трудным ребенком. И не лень ему, и не лень. Сегодня, вчера, послезавтра. И почему-то я принимаю это как нечто само собой разумеющееся, без благодарности, без обычных угрызений совести, без обжигающего стыда, что Машка с ним не так говорит, не так смотрит и не так поступает. Принимаю — как нечто естественное и непреложное между людьми. Отчего же это?

Или как раз Мирхайдаров-то и есть тот настоящий Учитель, какого жаждет душа моя — как эталона? Но ведь Маргарита — ярче, умнее, шире. И не сравнить! Но ведь Он, мой почитаемый сэр, глубже, богаче, значительнее. Ярче ли,— думаю я теперь. И мне даже стыдно перед Маргаритой. Глубже ли,— думаю я теперь. И мне даже стыдно перед Ним. Может, настоящий Учитель это как раз тот и есть, которого сразу не выделишь — ни глазом, ни ухом, который беззвучно подходит к ребенку, какой он ни будь, и любит его простой и беззаветной любовью, вне слов и вне всяких пока его достижений, а уж от этой любви они потом, постепенно, проявляются тогда в ребенке — словами, поступками, движениями души, что сбоку и даже рядом не сразу дано заметить. А он, может, их как-то скорее чувствует, чем разумом осознает. Может именно это и есть Добро, которое пишется с большой буквы?..

У-тю-тю, какой у меня, однако, хорошенький этот Мирхайдаров, какой положи-тель-нень-кий, душев-нень-кий, чис-тень-кий, за что — видать — и люблю. Нужна ему моя благодарность при таких-то статях! Это, небось,— уже герой следующего романа?

В теплом тихом Титикака жил однажды крокодил, он на имя — как собака — каждый вечер выходил. Звезды спали в Титикака, чуть гремел вдали тамтам, крокодил был — как собака, он был нежный — как собака, от любви он даже плакал, но не знал про это сам...

Письмо, вполне закончено, почти что отправлено, но все-таки — нет:

«Ув. тов. Юрий Сергеевич!

1) Узнала от дочери, что я — невыпуклое тело, и Вы — тоже невыпуклое, даже Нина Геннадиевна Вогнева — все равно невыпуклое, что уже свинство.

2) Хорошая метафора представляется мне теперь просветом в сингулярности вращающейся черной дыры, через которую, если постараться и повезет, можно выскочить в другую языковую вселенную, может — еще более прекрасную и уж во всяком случае — столь же гармоничную, но более сложную.

3) Простота изложения есть прямое следствие четкой мысли. Пример тому — Иммануил Кант. Пример обратного — преподавательница математики Серафима Петровна, была у нее на уроках, девятые классы ей давать действительно ни к чему, ребят жалко.

4) Узнала от дочери, что импликацию Вы до сих пор почему-то не проходили. Была поражена. Так ли это?

5) Считаю, что Вам с Маргаритой Алексеевной не хватает синхронности в работе: поэзию Марины Цветаевой, по-моему, Вам с нею нужно проходить в классах одновременно, а не раскидывать это святое дело по разным световым сезонам учебного года, что снижает цельность картины. Совершенно согласна,

что именно Марине Цветаевой, помимо чисто поэтического дара, более, чем кому бы то ни было из наших поэтов, органически свойственны глубина и пронзительность математически-физического мышления, что ощутимо в структуре стиха и в отношениях ее со словом вообще. Специально поинтересовалась у социологов. Физики и математики, изо всех других профессий,— особо пристрастны к Марине Цветаевой, любят, понимают и чувствуют эту ее родственность, что весьма однозначно видать по любой анкете.

6) Испытываю странное чувство — бесчисленное множество вселенных, куда теоретически можно скрыться, почему-то лишь усиливает привязанность к нашей и даже как бы усугубляет ее для меня привлекательную единственность. Знакомо ли Вам это ощущение?

7) Что же нам все-таки делать с Лешей Плавильщиковым и другими ребятами, безвинно попавшими в подобные обстоятельства жизни?

8) Взяла на досуге отрезок длиною в 1 дм и другой отрезок — длиною в 10 дм. Изящно, как Вы понимаете, сама себе доказала — в полном согласии с математической истиной, что на обоих отрезках количество точек — одинаково. А все равно преследует глупенькая мыслишка, что точки эти — разные по величине: на большом — толще. Не встречались ли Вы с подобным несовершенным восприятием в пятом „А“ или в пятом „Б“? Или хоть, может, в четвертом? Мне стало бы как-то легче.

9) Узнала от дочери, что Вы чрезвычайно небрежно и бегло обошлись с топологией. Была потрясена. Или это опять физика?

10) Занятно, что лица незначительные воспринимаются как носители признаков абсолютных, причем абсолюты эти — как раз случайные признаки, не передающие сути предмета. Так, наша изумительно прекрасная преподавательница пения — абсолютно беременна, больше я про нее ничего не знаю и не узнаю никогда. Она всегда была беременна и всегда — будет, хотя это вряд ли соответствует действительному положению вещей в будущем и в прошедшем. Маргарите же — наоборот — невозможно пристягнуть абсолютный признак.

11) Видаете ли Вы во сне функцию? И в каком виде? Я почему-то во сне вижу функцию только — с затылка. Меня последнее время даже беспокоит: узнаю ли я ее в лицо, если столкнемся на улице.

12) Интересуюсь, как лично Вы вышли бы из известного парадокса Рассела — насчет парикмахера? Повторяю исходные данные: дана деревня, дан один-единственный парикмахер, дан приказ, что парикмахер этот может брить лишь того и только того, кто не бреется сам. Что бы вы избрали, дорогой сэр? Нарушить закон и побриться? Или — в полном согласии с законом — предстать перед учениками в небритом виде? Мне кажется, я знаю Ваш ответ. Но представляю себе мучительность этого предпочтения. Ведь Вы же всегда так наглажены и чисты лицом на любом уроке! Или мое интуитивное предположение — ложно?

13) Заметила, что за последний год некоторые книги удивительно поглупели: если раньше казалось, что в них наличествует информация, то теперь ощущаю оные как пустую болтовню. Не понимаю, как это следует объяснить? Бывает ли такое с Вами? Часто ли?

14) Назовите, если это — не глубоко личное, что «не следует обрабатывать», как Вы выражаетесь,— Ваше любимое кардинальное число?

15) Узнала от дочери, что у Вас с нею нет на данном этапе никаких отношений, кроме алгебры с геометрией. Это прискорбно, но — увы — для меня — не неожиданно.

16) Разделяете ли Вы мнение престарелого Гильберта, что память вообще не нужна и ее следует на определенном уровне развития — отбросить, чтобы не забивать себе голову ерундой, а все стоящее — проще придумать самому?

17) А что бы, по-Вашему, действительно произошло, если бы везде — от полюса до полюса — вдруг исчезли цифры? Это Ваша творческая задачка для пятиклассников на воскресный отдых. Чего они Вам понаписали?

18) Ставит меня в совершенный тупик другая Ваша задачка — из той же серии: что было бы, кабы встретились возле метро, к примеру, бегемот и число, как бы они познакомились и объяснили друг другу, кто они есть, на базе математической индукции? Жду ответа, как соловей лета.

19) Направляя на Вас телескоп моей души, явственно обнаруживаю в Вашем спектре все возрастающее красное смещение. Означает ли это: а) Вы удаляетесь от меня на сверхсветовой скорости? в) Обусловлено ли влиянием Вашего колоссального поля тяготения? с) Усталость фотонов?

20) Передайте, пожалуйста, пламенный привет Вашим очаровательным детям и изумительно прекрасной супруге, до сих пор не запомню — дала я Вам ее или нет. Но Вы так своевольны и своеправны, что могли взять супругу и сами, не дожидаясь меня. С совершенным почтением,— *Я.*

P. S. Позвольте Вам дать еще один совет: искренне советую Вам, высокочтимый сэр, уничтожать письма, которые получаете от кого бы то ни было. Я заметила, что даже из самых невинных писем Великих Людей (Вы же — к ним относитесь!) любознательные потомки обязательно состряпают потом что-нибудь такое безнравственное и аморальное, что Вам и не снилось. Как честный человек — предупреждаю Вас загодя. Вы же — вольны поступать как знаете, Вы же тщательно храните любую бумажку. Уважаете Слово, в чем я не вижу, впрочем, ничего неандертальского. Можете сохранить и это письмо. Как сказал поэт: „Пускай потомки, желая воссоздать эпоху, потом копаются в намеках наших тонких, нам будет хорошо, им будет плохо“. Это — я сказала. Вы же в стихах несильны, еще подумаете, что это Лермонтов или Шиллер».

Брел Бегемот, весь в кожаном пальто. Брело Число навстречу. И объяснились как-то — кто есть кто. Послушать бы их речи!..

И правильно сделали, Раиса Александровна, что не отправили это письмо. Я вас за это — хвалю. В письме этом как-то — восторгов помене, а ехидства — поболе, чем в прежних. А с парадоксом Рассела — вовсе, уж не издеваетесь ли? Что это с вами? Предполагаю: а) вы от Него устали, в) вам надоело пытаться Его понять, с) вы полагаете, что вы Его уже поняли. Признайтесь! Вам выгоднее всего: пункт «З». Вы, к сожалению, Раиса Александровна,— тоже статичный художник, напрасно вы Его этим попрекали. Вам ведь кажется, что Вы его вполне поняли. И вы Его — сразу же — нарисовали себе и нам. Теперь вам с Ним, с живым-то, больше и делать нечего. Он вам уже и не нужен.

Кстати, Он, ежели Он существует во плоти и в природе, на вас бы не должен обидеться. В том, кого вы нарисовали, так мало — Его, самая чуточка, ну, может, словечки только Его, ну, капельку — от характера. Лишь для толчка Вашего воспаленного воображения. Обратите внимание: вы так хотели понять именно Его, а не Машку, к примеру. Которая всегда — рядом и понять ее — для вас вроде бы жизненно и человечески куда важнее. А почему? Да потому, что вы прекрасно же сознаете, что Машку — не нарисуешь, завтра же ваше драгоценное понимание вкупе с убедительным рисунком будет сметено Машкой, яко соринка — с глаз. Ведь все ваше с Машкой общение — это сплошной и льющийся вечно поток непонимания, сколько бы вы ни обольщались и как бы вы на обратном ни настаивали.

И еще. Непонятно пока — чем ваша Машка так уж для вас трудна? Подумаешь — не решила, чем будет заниматься во взрослой жизни, утратила интерес к биологии, вкус — к ученью да слегка игнорирует школу! И то, вроде бы, уже исправляется. Тут с точки зрения вашего же возлюбленного принципа дополнительности у вас явная недоработка! Вы Машку, сдается, намеренно упрощаете, чего-то от нас таите. Машка у вас пока что — очень даже миленькое дитя, смышленое, резвое, все болтает так умненько-остроумненько, как какаду, а вам — видать — это нравится. Повторяете, как попугай. Любуетесь, что ли? Или — родное дитя? Меж тем, почему бы вам — для разнообразия — не остановиться хоть на некоторых теневых моментах, которые и повергают вас в черное отчаяние? На Машкиной грубости, даже — хамстве, на ее невоспитанности, на эгоизме, который на вас же сильнее всего и обрушивается? Или этого ничего в Машке нету? Или она успешно умеет удерживаться на добром в себе? С чего бы тогда — Вам ее так тяжко порою любить, о чем вы, как сами же поминали, даже докладывали в собственном коридоре ее классному руководителю? И что вы частенько — про себя — классифицируете как воспитательный итог вашего же избыточного демократизма, паче — панибрат-

ства, в отношениях с растущим организмом, который не готов еще эту равную дружественность принять и по достоинству оценить? Вы же за это себя вините? Или — не так?

Ну хоть на таком, что ли, историческом моменте вы бы остановились. Интеллигентная беседа двух интеллигентных людей. Ваше мелкое замечание, что-то — насчет беспорядка в Машкиной комнате, пустячок. Вдруг Машкино искаженное лицо, отброшенный стул, истерический крик: «Да иди-ка ты!..» Ваше мгновенное и отчаянное отупение, типа — ну, вот и все, это конец, света, жизни, всего. Ваше мгновенное и идиотское в своей беспомощности заявление: «Маша, я тебя предупреждала! Ты меня оскорбила и я сейчас дам тебе пощечину, как взрослый человек — взрослому человеку...» Злобное Машкино чело. «Дай, попробуй!» — «Я тебя не бью, не била и бить никогда не буду. Я даю тебе пощечину — в ответ на оскорбление...» Тут вы — действительно — вмазали Машке по скуле. Неловко, как-то скользяще, но достаточно сильно, рука у вас тяжелая. «Айша, сюда, меня бьют!» — взлетел истерический вопль. Айша — в обалдении — взвизгнула, рухнула навзничь на пол и поползла. Для ее ли это мозгов и верного сердца? Тут же она получила от Машки бешеный пинок в зад, за то — что такая дура и не вцепилась клыками матери в глотку. Это — конец! Конец! Жить дальше — незачем. Айша взвыла. Машка рвет пальто с вешалки. «Больше меня не увидишь!» — «Куда? Ночь!» — «Айша, ко мне!» Входная дверь, откинутая пинком, взвыла не хуже Айши. Хрясь! Дробные — сбегающие книзу шаги, еще дверь, внизу, и Айшовый лай со двора...

Вы, как ни странно, вспомните-ка, ощутили в пустой тишине квартиры вдруг облегчение, вроде бы — даже легкость. Словно бы, наконец, исполнили родительский долг и имеете право бессильно почить на лаврах: последнее время шло нарастание хамства, нужно же как-то прервать. Надолго его вы тогда прервали? Ладно, не будем. Вам вдруг сделалось даже освобожденно, вы даже сели работать и работа вас даже увлекла. Часа эдак в три ночи вы завалились спать, дверь закрыли на крюк, заснули. Машка, как позже выяснилось, на рассвете пыталась вернуться, она комфорт любит, на чужих лестницах такого комфорта нету, хоть и с Айшой, от которой — тепло, Машка потыкалась в дверь ключом, вы, по счастью, не пробудились, звонить в двери она не стала.

На следующий день Машка не появилась. Вы до странности были спокойны, в Машке — значит — уверены, куда она денется, пристроится, не пропадет, какое-то время сейчас — даже хорошо, пусть подумает. Ваше спокойствие смущало ваших друзей, они ему не верили, бегали где-то, искали Машку. Нашли. Но вам не сказали. Приходил Мирхайдаров, все выслушал, ничего не сказал, ни осуждения, ни особой поддержки вы не почувствовали, кроме бессловесного и длительного его присутствия, он обычно — с вами — торопится. Машки еще двое суток не было. Работа не шла, червяк уже точил, внутри звучал злобный Машкин голос и стояло ее искаженное лютое враждой милое чело. Мирхайдаров из школы тащился прямо к вам, сидел, молчал, даже чаю ни разу не выпил, никаких дружеских знаков — вроде бы — от него не исходило, но все равно — было легче.

Вдруг Машка возникла в проеме двери. Айша к вам радостно кинулась. Машка вошла свинцовой тучей, тяжелый взгляд в пол, поза резкой угрозы, готовность к отпору, ждала — небось — изнурительных объяснений или, может, чистой материнской радости, со слезами смешанной. К счастью, в момент ее появления между вами и классным воспитателем вяленько происходил неприхотливый какой-то обмен мнениями насчет погоды. Но лицо ваше — следовательно — было нормально живым, не стиснутым внутренними страданиями, что Машку — видать — поразило с порога. Вдобавок ее явления как-то вроде бы и не заметили. Вы неторопливо докончили фразу, удлинив ее ради Машки раза в четыре, чтоб была достойная длительность и безмятежное течение домашней жизни. Мирхайдаров неторопливо обернулся: «А-а-а, Чудовище? Я — прямо из школы. Покормишь?» Был мгновенный Машкин столбняк. «Мать говорит, даже хлеба нету. Сгоняешь в булочную?» Был косой взгляд на вас. «Деньги давайте!» — сказала Машка. «Дадим»,— Мирхайдаров зашарил

в кармане. «На буфете — десятка,» — небрежно вставили вы, в никуда. Машка взяла. Исчезла. На вас напал вдруг бессмысленный страх. «Может — зря? Вернется?» — «Не понял...» Не то сказали. «С десяткой-то где хочешь — проживешь»,— поправились вы. «А-а-а...» — засмеялся Мирхайдаров. Смех был неожиданно громкий. Машка быстро вернулась, сели за стол. Мирхайдаров впервые в доме откушал. Машка размякла. «Ух, я голодная! Еще курицы — можно?» Но к вам пока обращалась безлично. «Бери»,— безлично разрешили вы. Машка еще поднажала на домашнюю кухню. «Мам, я знаешь кого сейчас в булочной встретила?..»

Бывали дни веселые, то ли еще будет, ой-е-ей. А вдруг и ничего такого не будет? Машка непредсказуема — как погода, как исконная человечья глупость, как прыщик на подбородке. Как судьба. Она же — судьба и есть, ее и ваша, неподражаемая Раиса Александровна! А то — максимум энтропии, минимум энтропии! Скромнее следует быть, вот и все.

Есть лишь один вопрос — сакральный, как свеченье звезд, что разгадать немыслимо, его не разрешишь ни разумом, ни подсознаньем. Зевает ли, когда никто не видит,— мышь? И если — да, что — за ее зеваньем? А если — нет... Коль, в принципе,— не может, что мыши заменяет зевоту — дрожанье сладостное ножек? Иль злая ненависть к коту?

Я иду по коридору, я иду по коридору, я иду по коридору, я иду по коридору, я иду, я иду, иду. Это — выроженный коридор. Белизна его — выроженная. Тишина его — выроженная. Глубина его — обморочная. Свет его — выроженный. Это коридор больницы. Тут каждые двери — крик, каждый звук — чья-то боль, каждый человек — чьи-то слезы. Беззвучно катит каталка и рука с нее слабо свесилась, слабо раскачивается и чуть-чуть шевелит слабыми пальцами. Что-то звякнуло в перевязочной. Чьи-то тапки тяжело шаркают. Врач процокала каблучками и скрылась в кабинете. Слабо плеснуло оттуда смехом. Этот смех тут — выроженный. Провезли тележку с тарелками и живой запах супа тут приторен и сжимает сердце, как спазм. На дежурном посту замигала лампочка. Это — не свет, чья-то беда. Пробежала сестра с кислородной подушкой. Это больница. Тут лежат с инсультом, с параличом, с парезами, я не знала — что такое «парез». Это первый сигнал — оттуда...

Инсульт тоже бывает разный, как кому повезет, иногда и инсульт — пока только еще сигнал. У мамы — инсульт.

Я иду по коридору, я иду по коридору, иду, иду, иду...

Мама идет по коридору, мама идет по коридору, идет мне навстречу по коридору, идет по коридору, идет, идет. Она идет медленно и согнувшись. Она держится обеими руками за сервировочный столик, мы с Машкой зовем этот столик «Пьер». Не знаю, почему мы его так зовем. Не помню. Мама идет по коридору мне навстречу. Крепко держится за «Пьера», будто за поручень. Или это — такая каталка? Мама идет сама. Мама ходит! Она идет по длинному коридору прямо на меня. Ей все равно не дашь по лицу восьмидесяти лет. Она похудела и улыбается мне: «Раюша, ты опять принесла апельсины? Это же вредно для печени». Я вышвыриваю эти апельсины. Мама идет по коридору мне навстречу. Сама! Моя мама ходит! Она поднимает лицо. «Ты дала мне немытое яблоко. Это вредно для сердца». Я вымою это яблоко, мамочка, я его отскребу, почищу, разрежу на дольки. Разотру на терке. Она идет по бесконечному коридору. Идет, идет.

Это я вижу во сне каждую ночь и во сне понимаю, что это — только сон. И что надо во что бы то ни стало — продлить этот сон, потому что он — прекрасен. Этот сон надо удержать во сне. Его нельзя обрывать. Даже во сне я знаю, что и наяву что-то зависит от этого моего сна, я должна его удержать, чего бы это ни стоило, мне нужно всадить в этот сон всю свою жизненную энергию, все силы свои ему передать, и тогда этот сон никогда не кончится, он перейдет в явь и явь эта будет прекрасна. Я помню во сне, что — нельзя сейчас просыпаться.

Я проснусь и этим будто перережу ту явь, которая уже рядом и так тонко, болезненно и непонятно зависит сейчас от моего сна...

Но будильник звенит. Надо вскакивать. Иначе я опоздаю в больницу к завтраку, к врачебному обходу, к тому — что есть явь.

Я иду по коридору, я иду по коридору, иду. Я всех тут знаю всю жизнь. Врачей. Сестер. Нянечек. Гардеробщицу. Дежурную возле лестницы. У меня давно уж не спрашивают пропуск. Я знаю всех ходячих больных. И многих лежачих я тоже знаю. Мне все улыбаются, обнадеживают меня, советуют, ободряют. Все говорят, что мама моя — молодцом, для своего возраста очень быстро справляется с болезнью, быстрее — чем ожидали, инсульт был небольшой, скорее даже — парез, самое страшное у нас с мамой — уже позади, так все считают, рука полностью восстановилась, мама сама уже держит ложку, нога двигается, речь вполне разборчива и все реакции — адекватны, нет-нет, она — молодцом. К маме уже ходит врач лечебной физкультуры, вчера ее поднимали в палате, мама почти стояла, это ведь уже такие высоты, только спешить не надо, помаленечку, завтра-послезавтра выведем в коридор...

Я всем улыбаюсь. Улыбка моя — судорога.

И никто мне еще ничего такого не говорил. Я нарочно не спрашивала. Боялась услышать то, что я одна пока замечаю. Даже двоюродные мои сестры еще ничего не замечали. Ведь лучше меня — маму никто не знает, так и должно быть. А пока я одна *это* замечаю, *этого* еще как бы все-таки, может, и нет. Если что-то не произносить вслух, если его не признавать, не принимать, бороться с ним тайно и изо всех сил — может *оно* еще испугается и отступит. Так, видимо, я подсознательно думаю, все мои представления — детские, мне уж из них не вырасти, я давно научилась эту детскость — скрывать.

Я сижу рядом с мамой в палате. Чисто. Светло. Она умыта, причесана, поела — почти сама, я только помогала, мы уже сделали гимнастику, лекарства все приняли. Мы разговариваем. Как глубоко и сохранно внутри человека детство! Мамино детство бушует сейчас в больничной палате — плеском маленького пруда, пруд был сразу за домом, вся деревня тут полоскала белье, зеленой оскоминой молодых яблок, мама любила яблоки, не могла дождаться, пока дозреют, терпким запахом белых грибов, которые сушатся всюду прямо в избе, запах так густ, что ночью нечем дышать, окна и двери приходится распахивать настежь, но тогда комары сжирают живьем, шорохом старых берез за околицей, одна была — красная, мама больше таких берез не встречала, не кора — пламень, у этой березы маме впервые в жизни назначили свидание, но отец ее не пустил, он был строг, неулыбчив, редко к кому ходил в дом, в деревне его уважали, но недолюбливали за чрезмерную гордость...

Но вдруг — опять! — мама будто соскальзывает. «Раюша, чего этот мужик так хмуро глядит?» И самое это слово «мужик» — не мамино, как я ее всю жизнь знаю, это тоже всплыло из детства, тут нет и намека на грубоватость, как бы это сейчас выглядело, к примеру, в Машкиной речи. «Где, мам, мужик?» Мы одни в палате. Тихо. Светло. «Вон, на стенке! Бородатый какой. На мельника похож из Лихинь». Мама смотрит на голую больничную стенку. «Нет никакого мужика».— «Как же? Висит». Я рукою провожу по стене, чтоб доказать, что его — нету. «Ты ему бороду на бок сдерпешь!» — «Да нет его! Отсвечивает из окна». Сердце во мне обмирает. Знаю я, знаю, что тут ничего не отсвечивает. «Правда? Ну, может, показалось...» Она смеется.

«А я, Раюша, в гимназии — озорница была!» Слово это, по нашим временам, достаточно редкое. В папином старом письме я его тоже помню, что он «весельчак и озорник». Значит тогда это слово было очень активным, механически отмечаю я себе. «Ох, озорница! Знаешь, я один раз прямо с урока выпрыгнула в окошко на улицу. И меня, как на грех, начальница увидала. А начальница была строгая!» У мамы даже лицо виновато вытягивается. В своем гимназическом классе она одна такая была — из крестьян, из деревни, жила у хозяйки на квартире, в субботу отец приезжал за мамой на лошади. Ей бы тихо, мышкой, надо сидеть, понимаю. «Начальница взяла меня за руку. Страшно! А куда денешься? Я ж прямо на нее, грех какой, выпрыгнула из окна гимназии...» Мама смеется своей отчаянности и своему былому страху. Да, все — другое. Машка выпрыгнет на голову Геенне и ухом не поведет. «Она меня привела к себе в кабинет. Я там никогда не бывала. В кабинет, Раюша, только за большую вину вызывали. И говорит так строго! Ты,— говорит,— Лозинина, сюда учиться пришла или из окон скакать? Можно, мол, предоставить тебе эту возможность. Я чуть со страху не умерла. Но начальница пошутила, разрешила идти обратно в класс. Я боялась — она отцу нажалуется, отец бы меня отодрал. Но начальница и отцу ничего не сказала, хорошая была...»

И снова — будто соскок. «Погляди, бабы в баню идут. С вениками! А вон — вторая, мордатая, целый узел белья с собой набрала. Стирать, никак, в бане будет?» — «Никто никуда не идет,— говорю я внушительно, я ей внушаю, а не говорю уже, втолковываю, вбиваю всею своею волей, чтобы *это* от нее отступило.— Ну где ты видишь? Где?» — «А веники-то, Раюша, березовые. Хорошие веники».— «Где веники?» — кричу я. «И чего ты кричишь на мать? Вон, глянь в окошко. Баня. Давно уже топят».— «Это, мама, кочегарка. Бани — нет. Это тебе — кажется! Понимаешь? Ка-жет-ся!» — «А бабы?» — «Никаких баб нету нигде».— «И мордатой, что ли?» — «И мордатой — нет».— «Не знаю, Раюша. Очень уж ясно. Может и кочегарка...»

Она еще соглашалась со мной. Никто еще ничего мне не говорил. Но я с каждым днем все сильней ощущала — как обморочную подступающую тошноту, что *оно* крепнет и подползает к маме. Мама чудом держится еще на скользком и угольчатом сломе, где долго не удержаться, а за сломом этим уже другой мир, он еще вроде бы в нашем мире, но он уже — не наш. И только я, я, я, я — может быть, может! может! — могу ей помочь удержаться, чтобы она не скользнула туда безвозвратно...

Но вот на чем я вдруг стала ловить себя, сидя возле маминой постели. Я вдруг заметила, что — несмотря на неотпускающий меня ужас того, что на нас надвигается, и парализующий страх уже того, что и так-то есть, я задаю маме слишком цепкие, словно — подсознательно — нацеленные вопросы. Эти вопросы и эту цепкость я в себе знаю. Это — уже рабочие вопросы. Когда, вроде бы — безо всякого моего участия — вдруг срабатывает интуитивное чутье: о, это мне — надо! Неужто и сейчас? Неужто и здесь? Так что же я-то тогда такое? Я стала себя осаживать на вопросах. Глядеть за собою, как за врагом. Но мама увлекалась своим же детством и моим вниманием. А во мне все равно срабатывал этот механизм. Кроме боли за маму, я слушала еще и с подсознательной, осознанной уже, но почему-то не поддающейся контролю, целевой — информативной — прикидкой, словно организм мой делал внутри себя как бы охотничью стойку. И тут всплыл передо мною пологий и голый перевал Долон, орнитолог Бурдяло в дурацкой своей энцефалитной робе, поверженный навзничь на длинный ящик из-под телескопа и вечно нацеленный биноклем в пустое небо. Слово «проблема» в устах его обретало блеюще-овечий привкус. Вот уж не думала, что когда-нибудь сгодится мне этот Бурдяло! Однако именно он обронил фразу: «Человек смотрит или как профессионал или никак». И ведь именно эту — единственную его — фразу я мигом тогда отметила. И прибрала в себе. Значит — тут, в больнице, я собственную маму, выхаживая ее и отбивая о́т, слушаю — выходит — еще и как профессионал? Меня в жар кинуло. Ну, и дрянь же! Это что же — органика? Без этого меня — уже нет?

Мама проснулась. Попила из поильника. Сама. Ни капли не пролила. Может — обойдется? Все же стараются, даже — исполнены оптимизма, врач лечебной физкультуры доводит маму уже до дежурного поста, это — далеко, казалось — недостижимо, и ведь никто ничего такого ни разу мне еще не сказал...

А где-то внутри, под немотной болью, все равно идет. Нет, не дрянь, это — другое. Другое! Что? Это в нашем деле структурно заложено как необходимость, спасение и неизбежность профессии — эмоциональная память, да, именно — эмоциональная, эта — ее, памяти, составляющая. Память — не на факты как таковые, не на цифры, лица, предметы, одежду, прочее. А именно — на тончайшие движения души через предметы и факты, так — пожалуй. И для меня эта память — всегда Слово. Но ведь глазами-то я гляжу? Нет, я вижу — только если мною найдено слово для того, что я вижу. И словом лишь — я это «вижу» запомню. И «чувствую» — запомню лишь словом.

Только в слове пойман для меня миг, я тогда уже его не забуду, и слово это, когда мне будет нужно, хоть через тридцать лет, хоть — через сто, вытащит за собою все — бурое солнце осенней тундры, где желтеющая бесконечность ее кажется спелым полем, и глаза человека, который это слово сказал или оно рядом с ним во мне вдруг возникло, и дрожащее мычание электрички, как бы медленно увядающее в темной мокрой хвое, и круглую, замкнутую в самой себе, как коан, многоцветную радугу над каньоном Аксу. И для каждого мига боли своей тоже ищу я точное слово, чтобы эту боль в себе — пригвоздить и чтобы она, эта боль, осталась со мной навсегда. И все эти словесные знаки душевных движений и мигов жизни — вполне подсознательно — уходят куда-то вглубь, о них сам порою не знаешь. Там, в глубине,— видимо — кладовая, от слова «клад», как у моей тети Али, и кладовая эта, где не дано самому себе походить да потрогать все, штука — за штукой, похожа на лабиринт. Чтобы в ней ориентироваться, нужны опыт, интуиция, воля, черт возьми — куда без нее, и желательно — знаний поболее, чтоб легче шарить ассоциациями. Общая культура нужна. Если кладовая достаточно обширна, еще пополняется, хранение налажено сносно, в оптимальном режиме, да к себе быть побеспощадней, да не лениться, да не ссылаться на обстоятельства, да еще кой-чего, без чего — никак, то в нашем деле вдруг да что-то может и выйти, ну — пусть скромно, ну уж по способностям, как повезет и как можешь, но во всяком случае — честно и с полной выкладкой. Как сам с себя стребуешь, так и выйдет, важно — стребовать...

Я иду по коридору, я иду по коридору, иду, коридор этот бесконечен, я всю жизнь иду по этому коридору, палата — в конце.

И вдруг все как-то разом — посыпалось. Замелькали врачи-консультанты: нет, руки-ноги не хуже, нет, она бы могла, но воля — пропала, это уже — голова. Мама перестала ходить, перестала вставать, она даже забыла, как поворачиваться в постели, и не хотела сама — держать ложку, она ничего больше не хотела, только — чтобы оставили ее в покое. Двоюродные мои сестры — плакали, попрекали меня безжалостностью, даже — жестокостью. «Не жалеешь Марусю! Устала. Перетрудили. Пусть отдохнет, потом — опять встанет». Я-то знала: нельзя уже ждать, сейчас — надо, пока еще есть хоть крошечный шанс, потом — всё. Я была безжалостна со своей мамой. Беспощадна, как Владька Шмагин. Я себе поклялась, что ее поставлю. Я ее — *этому* — не отдам. Я ей даже нарочно давала падать, чтобы маме моей стало больно живою болью, чтоб она *захотела* встать. Чтобы она *разозлилась*, что ли. Но мама уже — не могла. Я с нею даже была жестока. Все добивалась — силы, воли, желания. А у нее уже не было силы. Не было. «Ну, мам, ну, тихонечко! Я ж держу! Тебе и делать-то ничего не надо...» — «Не буду». Даже — не плачет.

Так она соскользнула. Я не удержала ее. Мы ее не удержали. Если бы можно всегда удержать любовью — люди бы жили вечно, ведь каждого кто-то любит, без любви — жизни нет, земля наша накапливает за день эту человеческую любовь, становится большой и сильной, и ночью, когда никто не следит за нею, тихонько поворачивается вокруг себя самой...

Я иду по коридору, иду тут — вечно, мне навстречу трудно движутся ходячие уже больные, у них тоже был инсульт, но они встали, их уже ведут, они идут почти сами, совсем уже сами, но во мне нет сейчас радости за них, стыдно — но нет, иногда даже мелькает безличная ненависть, почему — повезло же кому-то, а маме так страшно не повезло, они-то при чем, мне стыдно, но все равно — я через силу произношу им ободряющие и дружелюбные слова, я стараюсь их вообще — не заметить, у них — свое, у меня — свое, нам друг друга сейчас не понять, они меня тоже, по-моему, избегают взглядом...

Я вхожу в палату. «Ты на лошади приехала?» Я давно уж не спорю, ничего не доказываю. «Вроде бы».— «Долго ты добиралась! Тут лесом-то всего восемь километров».— «Дожди,— говорю я.— Размыло дорогу».— «Шутишь! Тропа-то песчаная. Муж — не обижает?» — «Ничего. А он, кстати,— кто?» Мужья у меня меняются каждый день. Мама смеется. «Мужа своего не знаешь? Василий, мой старший брат. Ты с ним в Лихинях живешь, у тебя три девочки и мальчики тоже есть». Так. Мамин брат Василий умер в тридцать втором году, «мальчики» все погибли в войну, а «девочки» — это мои двоюродные сестры, которым давно за шестьдесят. «У своих-то давно была? В своем месте?» И глаза вдруг — такие живые. «А какое, мам, мое место?» Дикая мысль пронзает меня: может именно теперь мама знает, где мое — настоящее место. «Погост». Я смеюсь. Она тоже смеется. Как она меня, а? «Очень мило. И где же — мой погост?» — «Еще спрашивает! Свое место нельзя забывать, там все свои и ждут. Заждались уж. Ой, в окно глянь! Скорее, Раюша! Под яблоней опять козел ходит. Сейчас побегу, надо его гнать».— «Пускай себе ходит»,— говорю я. «Это ты считаешь,— обижается мама.— А отец-то другое скажет. Скажет, козла опять в огород пустила. Нет, надо гнать».— «Да отца же нет дома».— «Нет,— легко соглашается мама.— Он утром в Торжок уехал. А ты откуда знаешь? Ты корову доила, не слышала...»

Она соскользнула со скользкого гребня, мама моя. Я не удержала ее. Но вот что дико. Именно теперь мне с ней легко разговаривать, мне только теперь наше общение не стоит никаких усилий, я с ней именно теперь — какая я есть. Мне всегда было с мамой трудно, мы никогда не были тесно близки, мы понимали друг друга с напряжением, смеялись — разному, ее угнетало вокруг меня многолюдство, я не принимала ее опасливой с людьми осторожности, мама на мои сравнения и метафоры обижалась частенько, я от ее пунктуально логической речи частенько уставала. Мы зачастую просто не понимали друг друга. А вот именно теперь — понимаем друг друга идеально. Она смеется моим словечкам и шуткам. Я — ее. Я, когда вот так сижу рядом в палате, вдруг как бы забываю — где мы и какая беда нас к этому единению привела. Мы с мамой сейчас говорим на равных, на одном языке и мы — будто подружки. Я тоже вижу козла, он уже топчется на морковной грядке, роет рогами, гнать его надо — в шею, у меня в избе надсадно кричит ребенок, младшенькая, ей теперь, кажется, шестьдесят второй годок, надрывается в зыбке, а старшие девки будто не слышат, вот озорницы, я им ужо задам ивовым прутом, не пожалею, у коровы раздуло сосок, может — ужалил кто, ей больно — что я дою, хоть я осторожно, корова хлещет мне хвостом по лицу и переступает ногами, того гляди — опрокинет ведро...

Мы же с Машкой всегда так и общаемся. Если бы нас кто послушал со стороны, наверное — сплошной бред, а нам с Машкой — близость да удовольствие. Тут около мамы я это, кажется, наконец понимаю. Любое воображение — это виртуальные миры, то есть мгновенно вскипающие внутри и мгновенно исчезающие, только мы ими обычно — управляем. Можем интересный и нужный нам мир — задержать, остановить на сколько нам хочется, можем — вовсе на время отбросить все виртуальные и пребывать себе запросто в нашем, обычном, где и проживаем бытово, в горе и в радости, пока живем. А в маме неуправляемо и неостановимо бушуют сейчас только виртуальные миры. Они управляют мамой, а не она — ими, вот в чем — вся разница. Иногда какой-то из этих миров вдруг поворачивается у мамы таким углом, что попадает точно — на наш, обычный. Тогда мама спрашивает меня, что я сейчас пишу и какие у Машки отметки в школе? Но этим — увы! — уже бесполезно обольщаться. Потому что этот ее виртуальный, с нашим случайно совпавший, мир тут же сдвигается. И мама уже говорит, что Машкин муж, торговец скотом из соседней деревни Святцово, ей очень несимпатичен, а я — ленива, опять не чищу колодец, влезла в него грязным ведром, вот отец вернется и мне будет плохо...

Умом я даже понимаю, что маме моей сейчас — гораздо легче уже, чем когда она балансировала на гребне. Она ведь сейчас — по-своему, нам недоступно и страшно для нас — свободна в своих виртуальных мирах. Мгновеньями — может даже и счастлива. Думать про это — жутко. Но это, видимо, так. У мамы, словно в «черной дыре», поменялись местами пространство и время. Она ведь сейчас свободна во времени — назад, в детство, в любую сторону — институты, ее кафедра, Пенза, Ленинград и Орешенки, и даже вперед во времени, вечером она, к примеру, сама сбегает в Лихини, чтобы поглядеть, как подросла моя младшенькая. А пространство ее — съежившееся до постели — приобрело, наоборот, фатальную целенаправленность, с которой уже не свернешь, путь в этом пространстве — только уже к сингулярности,

где кончаются все известные нам психические законы, но — спаси меня физика или хоть облегчи на миг! — вдруг там есть незнаемый для нас выход в какие-то другие миры, что не противоречит современным гипотезам и математическим моделям, что ведь — один сплошной материализм, но в нем есть какая-то нематериальная, а скорее — душевная — зацепка для сердца...

«Раюша, у вас в Лихинях травы нынче хорошие?» — «Травы у нас — что надо».— «Косить уже начали?» — «Начинаем...» — «А чего ж ты сидишь? На покос-то рано вставать. Уже темнеет, гляди. Пока лошадь поймаешь на лугу, пока запряжешь — совсем потемну поедешь. Я беспокоиться буду. Машу тоже бери. Я, правда, ее не видела никогда, но все равно — бери».— «Как это — ты не видела? Машка вчера у тебя была».— «Нет, я Машеньку никогда даже не видала. А я, знаешь, Раюша, встать совсем не могу. Подвернула ногу. Ага. Ходить — могу, утром ходила по ягоды, за земляникой. А вставать не получается почему-то. Как я без тебя встану?» — «А ты, мам, полежи. Что за интерес-то — вставать?» — «Полежи! У меня, между прочим, копейки денег нету, чтобы в лавке конфет ребятишкам купить».— «Заелись. И без конфет обойдутся».— «Это ты верно сказала, Раюша,— заелись,— смеется мама.— А все одно — поторапливайся! До темноты-то успеешь? Завтра мне младшенькую привези, не забудь. Укутаешь, сеном обложишь, ничего, не простынет, какие еще морозы...»

Я иду по коридору. Я иду по пустыне. Я иду по тундре. Я иду по тротуару. Но мама моя никогда уже не пойдет мне навстречу. Никогда. Никогда. Никогда.

То место, где росли стихи,— забыто, и не осталось ни следов, ни тропок, напрасно ночью мается душа — желаньем вспомнить...

Леночка Малевич (десятый «В») завела сдуру дневник, где ежедневно одними и теми же словами записывала, как она любит Сашку Кравчука (девятый «Б», мужская школа), жить без него не может. Ее мама нашла этот дневник под подушкой, начала читать. Тут вошла Леночка. Мама встретила ее вскриком: «Это кто ж такой у тебя „дорогой“ да „единственный“, сопля длинноруая?!» Довольно, по-моему, образно. Леночка вырвала свою тетрадь, бегом — в школу, влетела в кабинет биологии и сунула Нэну (наш биолог, Николай Николаевич, прозвище — «Нэн») в руки: «Дневник, пусть у Вас!» От греха сразу смылась. И правильно сделала, потому что следом вбежала в кабинет Леночкина мама, Малевич. «У вас, Николай Николаич, находится тетрадка моей дочери Елены?» Нэн и не подумал — отказываться: «Да, находится».— «А вы знаете, что это за тетрадка?» — «Знаю». Мама-Малевич обрадовалась: «Давайте сюда скорее. Я не успела дочитать». Нэн удивился. «Это личный дневник. Я никакого права не имею — кому-то давать читать».— «Я — не „кому-то“,— нервно объяснила мама-Малевич.— Я же мать!» — «Если Леночка сочтет возможным,— успокоил Нэн,— она вам сама непременно свой дневник покажет».— «Сочтет она, как же!» — закричала мама-Малевич. «Ничем не могу быть полезен, извините». Многие в нашей школе секретные свои бумажки держали тогда в кабинете биологии.

Нэн с нами ходил в походы по Подмосковью. Кроме нас, в походы тогда никто не ходил! Теперешних туристов крючем бы скрючило, глядя на наше снаряжение. Из научных приборов — был градусник, мы его в первый день разбили, температуру в водоемах измеряли дальше голой ногой, все совали в воду одновременно и выбирали среднее арифметическое. Палаток тоже не было. Ночевали по деревням или где придется. Как-то пришлось — в стогах. Симка Авлеева, тихоня такая, зарылась отдельно в отдельную копну. А утром выяснилось, что она в своей отдельной копне за ночь сожрала бидон сливочного масла, весь общий запас. Мы сперва даже не поверили, что одной тощей Симке удалось столько сожрать. Но масла-то не было! Наш дружный коллектив тут же изгнал Симку из своих благородных рядов и она, давясь рыданьями, потрусила лесом к железной дороге. Нэн узнал, кинулся вслед за Симкой и притащил ее обратно. На нас даже глядеть не хотел. Симку Авлееву двое суток потом рвало, мы из-за нее в этих стогах насиделись.

На пришкольном участке мы выращивали разные фрукты-овощи, с кем-то кого-то скрещивали, выводили сорта, получали могучие урожаи на опытных делянках. Худо приходилось только смородине, которой было много, но в сложных условиях близости школы ей редко удавалось дойти до спелого уровня. Нэн как-то додумался: облил кусты какой-то безвредной и беловатой жижей, жижа эта красиво обсохла и приобрела устрашающий вид. А Нэн понатыкал табличек: «Осторожно — яд. Смертельно для жизни!» Малышню, может, это напугало бы. Мы в то утро — наоборот — хорошо попаслись в смородине, набили живот. Вдруг: «Ата́с!» А куда — атас, если Нэн уже рядом с оравой третьеклашек. Кто-то мгновенно сообразил: «Яд! Сдыхаем!» Мы повалились на грядки в самых дохлых позах. Нэн с интересом между нами прошелся. Остановился возле меня, послушал, как изо всех сил не дышу, брезгливо тронул по голове ботинком. «Эта — готова! — говорит третьеклашкам.— Грузите! Потащим на свалку!» А третьеклашки приволокли на участок навоз для подкормки растений, навоз уже скинули и носилки у них — пустые. Как кинутся на меня! Едва вырвалась. Нэн улюлюкал мне вслед. Потом штраф пришлось отрабатывать на участке.

Зато летом у нас в физкультурном зале открывалась биологическая выставка. Эту выставку посещал весь город, грудных детей приводили, чтоб они прикоснулись к большой науке. Помню, летом после шестого класса я с мамой была в Анапе и оттуда вывезла исключительно редкое растение. Злак! Им в Анапе весь пляж зарос. У него был потрясающий корень. Могучий. Седой. Пра-корень. Весь в жесткой коже, это уже — шкура была, а не кожа. И по шкуре налип черноморский песок. Когда песок этот стал отваливаться, мы вечерами, высунув язык от ювелирности работы, клеем приклеивали наш песок, с нашей речки. Стало — еще лучше! Когда мы этот корень к выставке сшили, склепали, сбили и подогнали куски друг к другу, он чуть не весь физкультурный зал опоясал и, дай ему волю, вылез бы и в коридор — такая была потрясающая длина. Мне этот корень принес тогда специальную премию — за уникальность. Нэн почему-то считал, что я буду биологом. На лето меня прикрепил к студентке Тимирязевской академии, чтоб я — под ее руководством — работала бы с нутриями. Из нутрий шапки тогда не шили, редкий был зверь. Мне понравились красные зубы нутрий и их спортивная злость. Но вскоре нутрия-самка прогрызла в сетке дыру и благополучно удрала, а еще через несколько дней нутрия-самец, протискиваясь в другую дырку, благополучно удушился. Не с кем стало работать! Но я, имея воображение, все лето тщательно вела дневник наблюдений за ростом и поведением вверенных мне нутрий. Первого сентября я этот дневник Нэну представила. Простодушный Нэн меня похвалил и долго ставил мой кропотливый и честный труд всем в пример.

Именно о нашем Нэне мы с Динкой Макарычевой (прозвище — «Динга») вдруг по весне решили на досуге написать роман-эпопею. Я была в седьмом классе, Динга — в десятом. Идея сильно нас увлекла. Начинаться должно было в одна тысяча девятьсот четырнадцатом году, пересечь первую мировую войну, войну — гражданскую, далее — по всем пунктам. В процессе предварительного обсуждения, правда, выяснилось, что про четырнадцатый год и первую мировую войну мы, вроде бы, не все знаем. Маловато. Точнее: ничего. В библиотеке, дивясь, нам подобрали литературу, толстенные тома, помню — обложка красная. Нэн, само собой, должен был быть геройским героем, потерять в гражданскую одно легкое (у Дингиного деда было такое ранение), но вернуться в строй, всех победить. Характерно, что профессию мы ему сохраняли. Он должен был потом работать в школе и преподавать биологию. Значит — первый в моей жизни литературный герой, который меня поразил и привлек, был Учитель.

Над роман-эпопеей мы с Дингой бились месяца три. Уже давно шли экзамены. Динка из-за роман-эпопеи чуть не завалила золотую медаль, забыла — на какой экзамен пришла, выручили выдающиеся способности. Дальше первой сцены нам все равно продвинуться не удалось. Это должен был быть — рассвет на Неве, где Нэн в одиночестве, многообещающий и юный, сидит на парапете, свесив вниз ноги, и думает — крупно — о смысле жизни. Смысл нас

бы не остановил. Остановил — рассвет на Неве. Динга в Ленинграде вообще не была, думаю — место действия я выбирала, все же — родной город. Но и я отбыла из Ленинграда после августовской сессии ВАСХНИЛ, то есть в достаточно нежном возрасте. Ничего проникновенного, художественно яркого и достойного момента и в моей памяти не всплывало. Попутно выяснилось, что мы с Дингой и рассвета-то ни одного толком не видали, просыпали целую жизнь, как идиотки. Если б закат! Но втемяшилось — именно рассвет. Пришлось вставать ни свет ни заря, волочиться, продирая глаза, на пленэр, сидеть, дрожа в мокром тумане, возле реки на обрыве, пытаться постичь и запомнить, что же такое — рассвет...

Все в школе считали, что Динка Макарычева пойдет несомненно по литературной стезе. Стала она цитологом, давным-давно защитила докторскую, занимается иммунной системой и, хоть видимся мы достаточно часто, до сих пор у нас с Дингой все как-то не находится времени, чтобы вернуться к роману-эпопее о нашем дорогом Нэне. Нэн уже очень стар. Мы все к нему ездим. И Нэн до сих пор сокрушается, что я загубила свою жизнь, а к Дингиным биологическим свершениям относится недоверчиво. Вот как глубоко сидят обольщения детства!

Нет, вряд ли моим родителям было тогда со мной много легче, чем мне, к примеру, с Машкой. Я, верно, не хамила, такой привычки у меня не было. Но мне почему-то сдается, что Машка иногда говорит мне правду. Я же твердо помню, что ни одного слова правды я своим папе и маме тогда не сказала, правда, хоть какая пустяшная, всегда была — тайна, а наружу шли только брехня и выдумка. Никаких утилитарных задач я не преследовала, никто дома меня не ругал, пальцем не трогал, наоборот — старались понять да помочь. Но, видно, я-то считала, что им — понять меня, неповторимую и единственную, все равно не дано. Врала — легко и естественно. Меня только убивает — почему же я во взрослом-то состоянии начисто утратила эту обворожительную привычку и почему никак не могу вновь овладеть этим ценным искусством?! Это — самая непостижимая для меня загадка и даже физика тут мне пока ничего убедительного не подсказала...

Не — счастья, по обычным по понятьям, хотела б я, а быть — оставленной Тобою, чтоб Ты ушел внезапно, в одночасье, ушел бы — в белый свет, как в белый снег, и снег бы рухнул за Тобой слепой стеною. А я осталась, и страдала, как сладкую сосульку бы лизала, и почему ушел — не знала, как было хорошо — всё вспоминала, и ничего бы не могла понять, друзей бы самых близких избегала, чтоб жалости ненужной избежать. А снег бы шел да шел на цыпочках, лохматились сугробы, и кто-то бы играл на скрипочке — так тихо, как за пазухой у бога. Ты б от меня ушел — как было б хорошо! Но только осень все тянется запекшейся рябиной. Зачем меня, некинутую, бросил? Зачем меня, неброшенную, кинул?

Этот стишок хорош простым контрастом: белое-черное, как куличок-шипоклювка, как утка-пегавка, только — главные цвета. Этот стишок хорош всем, мне нравятся скромные запросы начала и рябиновая неудовлетворенность концовки, плохого я в нем, честно, ничего не вижу. Так, постепенно, годам эдак к девяноста, дойдем и до самолюбования, дожить бы. Впрочем, все сейчас как-то оптимистически полны веры в свою недолговечность. От этого, мне сдается, возникает даже рискованное небрежение будущим. Мол, надо бы старушке помочь, едва плетется. Раньше говорили: «Сами такими будем!» И помогали. А сейчас чаще говорят: «Мы до такого возраста нипочем не доживем!» И проходят мимо. Время ведь и обидеться может.

В школе я не была давненько. Рассчитала точно — к большой перемене, чтобы всех сразу увидеть, они ж перемену не могут друг без друга прожить. Всем обрадовалась, мне — все обрадовались. Меня слегка удивило, что в учительской нет Маргариты. И Его — тоже нет. Даже нет почему-то и Мирхайдарова, хоть он мне не нужен. Как-то так совпало, что все они сразу вдруг отсутствуют. Но мало ли, это же школа, бурный поток кипятку, мне сроду этого не понять. «У Маргариты Алексеевны сейчас „окно“»,— любезно сообщила Геенна Огненная, от чьей наблюдательности ничему не укрыться. Давно уж она не была ко мне столь мила.

Маргарита — одна в своем кабинете, исключительный случай. И тихо! Никто не ломится в дверь, выпускники в очередь не стоят со своими тайнами, она почему-то не репетирует очередной вечер, памяти, рождения или просто — радости. Даже не проверяет тетрадки. Молчит. И глаза у нее — печальные, я такие у Маргариты вижу впервые. «Что-нибудь случилось?» — пугаюсь я. «Нет»,— говорит Маргарита. И снова молчит. Мне все больше не нравится ее молчание. И совсем уж не нравится, что она до сих пор никого еще не привлекла, чтобы нам не быть — одинокими, ни Чехова, ни Бунина, ни Александра Трифоновича Твардовского, решительно — никого. «А все-таки?» — осторожно настаиваю я. «Наверное, Раечка, ничего,— говорит Маргарита. И голос ее обесцвечен печалью, такой голос я слышу у Маргариты впервые.— Наверное, так и должно быть. Просто — школа наша, видимо, кончается...» Вот это — ничего! «Как это — кончается? — закричала я глупо.— А реформа? А зарплату прибавили?» Будто именно Маргарита нуждается в реформе и именно ее работа требует стимуляции зарплатой. Но она меня даже не услышала. «Пока вздорность и грубость нашего директора распространялись только на нас, на педагогов, это бы еще можно вынести, приспособиться, наплевать и пережить, но когда грубость и вздорность впрямую распространяются уже и на детей — на это уже не плюнешь, тут уж не приспособишься и этого уже пережить нельзя. Думаю — придется из нашей школы уходить. Я твердо уже решила, что я — уйду...» Дикое заявление Маргариты я выслушала, похолодев. Как-то сразу поверила, что это — не момент, а серьезно. Ждала, что ли, такого поворота? Что ли — предчувствовала? Хоть все, что Маргарита там сейчас про себя решила, разумеется, ни в какие ворота не лезет, невозможно и не может быть никогда, потому что никогда быть не может. Да и не будет этого, чушь какая! «Что же все-таки произошло-то?» — «Ничего — неожиданного»,— сказала наконец Маргарита.

...Дима Ананьев, из десятого «А», Маргаритин класс, в перемену выскочил из школы на крыльцо, безо всякой цели, постоять минуту-другую на солнышке. Возле крыльца — в ожидании химички Надежды Кузьминичны, она медленно одевается,— резвился шестой «В», собиравшийся на экскурсию. Шестой «В» плевал — на спор и кто метче — в мусорную урну, мяукал, ловил друг дружку в кустах, вообще — не терял даром времени и жил пока что на всю катушку. Причем — довольно громко. На его жизнь из школы вышла директор, Нина Геннадиевна, и режущим своим голосом, будто — ножом по стеклу, приказала шестому «В» жить потише. Шестой «В» сразу примолк.

Нина Геннадиевна развернулась на крыльце, чтоб удалиться, и тут столкнулась глазами с Димой. Она утверждает, что смотрел Ананьев — «нагло», Дима говорит, что он «глядел просто так и не на нее вовсе». Директор, столкнувшись с Диминым взглядом, на миг задохнулась, набрала в себя побольше воздуха и на него закричала: «А ты чего тут толчешься, Ананьев? Тебе чего тут надо? И в сменной обуви? А ну, марш обратно в школу!» Тогда Дима сказал: «Почему вы так со мной разговариваете?» Нина Геннадиевна утверждает, что сказал он — «с наглой усмешкой и еще глянул на шестой „В“, чтобы они тоже повеселились». Дима говорит, что он сказал «совершенно спокойно, просто удивился — что такой тон». «Еще ты мне будешь указывать, как с тобой разговаривать?! Марш в школу, тебе говорят!» — «Я вас прошу — на меня не кричать. Будет звонок — пойду».— «Нет, ты сейчас же пойдешь. Немедленно!» — «Нет, сейчас я никуда не пойду. Мне тут хочется постоять». Шестой «В» забросил на время вольную свою жизнь и теперь уже взирал на беседу с пристрастием. Ни от Димы Ананьева, ни от директора школы этот здоровый интерес, в общем-то, уже не зависел. Но Нина Геннадиевна уверяет, что «Ананьев затеял все это специально, чтобы унизить директора в глазах шестиклашек, голос у него был наглый и смотрел он — будто хочет ударить». Дима говорит, что от удивления у него, может, и сделался какой голос, но он хотел только — постоять на крыльце и как-то не привык, чтобы на него орали...

Нина Геннадиевна приказала, чтоб Ананьев завтра же к ней явился с родителями, без них — и не думал, нет, пусть родители явятся, а с самим Ананьевым она — и в присутствии родителей — больше разговаривать не желает, поскольку он — хам. Дима ответил, что родителям передаст, но он — не хам, еще раз просит — на него не кричать. На этом директор школы и ее ученик, наконец, на время расстались. Что делал в этот день Дима дальше — никому неизвестно. А Нина Геннадиевна сообщает, что «ее от наглого поведения Ананьева долго еще трясло, она даже рылась в журнале десятого „А", может — кто ему „двойку" с утра влепил, но ничего не нашла, что бы хоть как-то объясняло наглость Ананьева, он даже извиниться к ней — не пришел, хоть она, по наивности, весь день ждала...» Дима объяснил потом Маргарите, что хотел — пойти, но после вызова родителей — уже не мог, вышло бы, что он — струсил.

Утром явились родители. О чем с ними Нина Геннадиевна говорила, никто своими ушами не слышал. Потом они поднялись в кабинет литературы. Мать плакала: «Как же так, Маргарита Алексеевна? Вы ж Диму знаете! Разве он позволит себе?» Отец сердился: «Погоди! Надо разобраться. Димка врать не будет, он, дурак,— правдивый. Но ведь и директор — не будет!» Маргарита успокаивала обоих, что она — сама разберется, поговорит с Димой, поговорит с Ниной Геннадиевной, это — недоразумение, она уверена, директор иногда вспыльчива, нервы, весна, ответственность, но директор быстро отходит и, конечно, поймет...

Маргарита посоветовалась с Ним, Он — с Мирхайдаровым, Мирхайдаров угрюмо сказал: «Не понял», но вряд ли побежал еще с кем-нибудь советоваться, все уже и сами узнали. Диму Ананьева в школе любят, он тут с первого класса, долго был в классе — самым мелким, переживали за него, вдруг — вырос скачком, как у мальчишек бывает, взрослеет он — в отличие от многих — легко, как-то гармонично, все за него спокойны, поступать Дима хочет в Высшее военное училище, не то — в академию, учится очень прилично, поступит, а не поступит — уйдет осенью в армию, сам он считает, что для начала мужской — взрослой — жизни так, может, и лучше, но все в школе уверены, что он — поступит.

Маргарита попробовала объясниться с Геенной. Но Нина Геннадиевна сразу заявила, что Маргарита просто распустила свой десятый «А», слишком много о себе понимают, подумаешь — собственное достоинство, выучились, пусть сперва заслужат это достоинство. Маргарита осторожно заметила, что собственное достоинство — не спортивный приз, чтоб его специально заслуживать, достоинство человеку нужно иметь в любом возрасте, без него — человека нету. Тут в учительскую не вовремя вошел Он. Подозреваю даже, что Он вошел специально, чтоб поддержать Маргариту в трудную минуту и снять напряжение изящной шуткой. «А может, Маргарита Алексеевна,— сказал Он с некоторой даже игривостью,— директор рассчитывает вручить нашему Ананьеву собственное достоинство вместе с аттестатом об окончании десятилетки?» Но Геенна не приняла Его возлюбленной деликатности. Она сухо заметила, что ей надоел сарказм, Ананьев же — вел себя нагло и еще пожалеет об этом. Многозначительность ее замечания, в свою очередь, уже сильно не понравилась Ему. Он заинтересовался, что Геенна имеет в виду? Директор сухо сообщила в пространство, что — пока ничего не имеет, но уверена, что «таких, как этот Ананьев, нужно гнать из разных комитетов, куда они неизвестно — как проникли, за такими — нужно глядеть и глядеть, она ругает только себя, если недоглядела».— «За какими — „такими"?» — прицепился Он. Директор не пожелала уточнять. Но Он не оценил ее сдержанности, а Маргарита уже и вмешаться не успела. Он громогласно возвестил, что говорить в таком тоне о мальчике, об ученике, о человеке вообще и о Диме Ананьеве — в частности,— «это безнравственно и аморально», он буквально поражен, слыша это в собственной школе и от человека, который призван...

Тут уж Геенну прорвало, как она и сама, небось, не ждала, ведь с Ним она так терпелива всегда и осторожна. Она визгливо заявила, что ни в чьих оценках у себя в школе не нуждается, хамства наглеца Ананьева никогда не простит, пусть никто и не думает — его выгораживать, она, Нина Геннадиевна, лично будет присутствовать на каждом экзамене в десятом «А» и задавать Ананьеву вопросы по всем предметам, пусть он и не надеется выйти с приличным аттестатом, а характеристику — такую получит, что его ни к какой академии и близко не подпустят, разве что — к стройбату...

Представляю, как Ему теперь будет трудно — интересно работать с Геенной Огненной, нет, такое Ему бы не нужно про нее знать, зря она все-таки не сдержалась, ох, зря!

«И все?» — «А чего еще?» — вяло удивилась Маргарита. И опять меня обожгло печалью, что даже сейчас она не призвала никого, чтобы мы с ней не были одинокими,— ни Томаса Манна, ни Швейцера, ни Корчака, ни Александра Сергеевича Пушкина. Плохие дела. «Ерунда! — вскричала я пылко.— Неужели ты всерьез думаешь, что она будет вязаться к твоему Диме на экзаменах и вообще?» — «Не будет,— кивнула Маргарита.— И не дадим. Разве в этом дело?» — «А в чем? Что она на него наорала? Подумаешь — новость! Да она давным-давно на всех орет! Можно подумать, что ты этого не знала!» — «Знала,— кивнула Маргарита.— Но раньше — это было другое, раньше было — просто от невоспитанности, от дурного характера. Неужели не чувствуешь разницы?» — «Чувствую. Теперь — от изумительно-прекрасного характера!» — «А теперь она все это себе уже сознательно позволила, понимаешь? А коли человек хоть возле какой власти себе один раз позволил — он уже не удержится. Он еще и еще позволит. Он такое позволит!» Я вдруг ощутила — общей какой-то слабостью внутри,— что Маргарита, пожалуй, права. Есть разница, есть. Недаром раньше-то несдержанная Нина Геннадиевна с Ним — всегда сдерживалась, а теперь — не захотела.

«Нет, кончается школа. Придется уходить».— «Но надо же тогда как-то бороться! Не только — этой Его дурацкой правдой в лицо! Как-нибудь - поумнее, потоньше...» — «С кем? — безмятежно вопросила Маргарита.- Нина Геннадиевна действительно хороший организатор, ее ценят — по справедливости, школа по всем показателям — высоко, дети школу любят...» — «Так ведь любят-то — из-за вас! — заорала я.— Так ведь высоко — из-за вас же!» — «Не скажи. Хороших учителей в городе много, сама знаешь, а хороших организаторов — гораздо меньше...»

Они все — удивительно тупые: Он, Мирхайдаров, химичка Надежда Кузьминична, учительница начальных классов Алла Демидовна, Иван Иваныч наш — по труду, Маргарита,— им разве объяснишь, что они такое, кто — они. Как мне им объяснить? Как? Как? Сердце мое исходит сейчас черной кровью — любви, сопричастности, боли за них, за эту школу, без которой я давно не могу, за наших ребят, которых я узнаю уже от метро, даже если в лицо — не помню, по какому-то счастливо-осмысленному блеску в глазах...

Чего-то я подустала от своей жизни. Где близорукий и физически сильный доцент Пряхин, который бы поносил, что ли, меня на руках по тополиной аллее, словно свою жену, бывшую балерину, сквозь — мирные шорохи ночи и соловьиные трели, поносил бы да побаюкал, что ли, терпеливо и ненавязчиво мою усталую жизнь? Доцента нету. Но, с другой стороны, как любит выразиться мой же дружок-художник, коего я тоже люблю: «У каждого человека — свое счастье...»

Уже ночь. Я мотаюсь по собственной кухне, туда-сюда, ту́та-сю́та, нет мне ни сна, ни дна, ни путной мыслишки. Машка дрыхнет, Айша тоже дрыхнет, не с кем в собственном доме — слова сказать. Машка все обижается, что не пишу ей стишков. Правда — несправедливо. Другим же — пишу. А стишки, как известно, утишают душу.

Села да написала Машке:

Однажды улитка вломилась в калитку и бросилась грудью на теплые плитки садовой дорожки, и так зарыдала, что нежные рожки ее раскрошились на мелкие крошки. Их тут же сожрали бездомные мошки, которые ели обычно повидло из слив, и это повидло давно им обрыдло. Но дело не в них. Мы жили на даче среди георгинов, мы жили — иначе, заботы отринув, валялись, как клячи, копыта откинув, на солнечных плитках горячей земли. И вдруг нам

в калитку вломилась улитка — в слезах и в пыли. Она рассказала ужасную новость: об ней написали бездарную повесть, она прочитала ту повесть в трамвае, где все непрерывно чего-то читают, и с этой минуты ужасно рыдает, и жить не желает. «А мы-то при чем? — закричали мы в страхе.— Мы просто живем — подтвердят черепахи, мы просто купаемся — видят стрекозы, лежим на траве, вон свидетели — козы, жуки, пауки, воробьи и цыплята, а кто написал — разве мы виноваты?» Улитка взглянула печально и горько,— она не поверила нам нипочтолько. С ракушки ее осыпались соринки, их тут же вожрали летучие свинки, которые ели обычно окрошку из книг, и эта окрошка свихнула им ножки. Но дело не в них. Все было так странно вокруг и красиво, цвела под забором глухая крапива, и мятлик беззвучно потрескивал гривой, и звон комариный стелился над ивой, и чей-то в сирени поблескивал бивень... И мы замолчали, печально кивая,— а вдруг мы напишем, откуда мы знаем, быть может — бездарно, а может — толково, откуда мы знаем — к чему мы готовы?..

Творчество — появление Смысла, так. Но тогда — вопрос. Этот никому ранее не ведомый смысл все-таки сам-то для себя объективно уже существовал? И творчество — что же? — проявляет смысл, как фотограф — пленку? Или тот, кто творить способен,— создает этот смысл, которого нигде и никогда действительно не было? Продуцирует — из себя? Эта наша школа — она, что же, была до меня? Или ее без меня — вовсе не было? А Вы, обожаемый сэр, Вы-то без меня — есть? Были? Будете? Или я Вас лишь «проявила» для всех, всего лишь сделала — видимым, не сумев сделать — доступным для подражания? Как все это понять, несравненный сэр?..

Ничего мне не опостылело, ничего! Только жажда жизни раздирает мне душу. Жажда. Жажда.

Р. Горелова

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Странным образом попала ко мне эта рукопись.

Сама я театровед, занимаюсь проблемами театра для детей, то есть — ТЮЗом, это интересно и целиком заполняет мою жизнь, круг моих друзей достаточно специфичен — театральные критики, историки театра, режиссеры, кое-кто из актеров, немного, я не очень общительна. И не слишком любопытна по натуре. Случайных знакомых у меня почти нет. Я бываю в командировках, но лишь — в крупных городах, где есть детский театр. Езжу я неохотно, только — по необходимости. В Москве бываю достаточно часто, центр театральной жизни, это понятно.

В ту ночь я возвращалась из Москвы. Как обычно — «Стрелой». Одно место в нашем купе пустовало, мое было — нижнее, на верхней полке, надо мною, уже лежал, когда я вошла, какой-то мужчина. Я не любопытна. На другой нижней полке — напротив — сидела женщина. Я заметила, что она похожа на ежа. На ней был колючий берет, колючая кофта, глаза тоже казались колючими. Ежей я видала на даче. Я люблю именно «Стрелу», потому что сразу ложишься спать и просыпаешься уже в Ленинграде. Я умылась, почистила зубы, легла и быстро уснула. Я сплю везде хорошо.

Через какое-то время меня разбудил какой-то дребезг. Я сплю чутко. Мужчина на верхней полке тоже проснулся. Женщина напротив меня тоже проснулась. На столике стоял круглый будильник. Он дребезжал. Женщина сказала: «Работает!» Она казалась довольной. Я снова заснула. Минут через десять меня разбудил тот же звук. Мужчину наверху он тоже разбудил. Он разбудил и женщину. Она спала в кофте и в берете. Была, пожалуй, чем-то похожа на ежа. Женщина обрадовалась. «Работает!» — сказала она. И нажала на кнопку будильника. Будильник прекратил звенеть. Мы опять заснули. Через очень короткое время мы все снова проснулись. Будильник звенел очень громко. Было похоже, что он дребезжит. Женщина довольно сказала: «Работает!» Мужчина наверху поинтересовался, что все это значит. Видимо, он был любопытен по натуре. Женщина напротив объяснила, что она компостирует в поездах билеты, ей нужно в Калинине пересесть на встречный поезд «Ленинград — Сочи», она боится проспать, не слишком доверяет проводнице вагона и поэтому проверяет будильник. Кажется, будильник — работает. Мы с мужчиной тоже считали, что будильник работает хорошо. Мы это подтвердили. Я опять быстро заснула. Минут через двадцать будильник нас всех снова разбудил. Женщина напротив казалась удовлетворенной. «Работает»,— сказала она. Я и мужчина с верхней полки с ней согласились.

Спать больше почему-то не хотелось. Я встала, надела халат и вышла в коридор. Вскоре в коридор вышел и мужчина, который лежал надо мною, на верхней полке. В нашем купе опять зазвенел будильник. «Работает вроде»,— сказал мужчина. «По-моему — да»,— сказала я. Мы разговорились. Мужчину звали Горелов Владимир Александрович. Я не назвалась. Я по натуре не слишком любопытна. Он живет в Ленинграде, ездил к старому другу в Москву, ему шестьдесят восемь лет, он давно в отставке, но еще преподает в училище, живут они в отдельной двухкомнатной квартире вдвоем с женой, в Купчино, детей у них нет, они воспитали племянницу, она рано осталась сиротой. Он спросил меня — обо мне. Слышно было, как за дверью нашего купе громко звенит будильник. Звук будильника похож был, пожалуй, на дребезг. «Работает»,— сказала я. «По-моему — да»,— согласился Горелов Владимир Александрович.

Я рассказала, что занимаюсь проблемами театра для детей. Это интересно и целиком заполняет мою жизнь, круг моих друзей — достаточно специфичен. Он слушал меня с интересом. Потом он сказал: «Простите, если я вас правильно понял, у вас, наверное, есть знакомые в литературных кругах?» Я объяснила ему, что круг моих друзей достаточно специфичен, критики, театроведы, кое-кто из актеров, но я пишу статьи по проблемам детского театра и знаю некоторых работников некоторых журналов. Горелов Владимир Александрович сказал, что этого — достаточно. Я не поняла — для чего достаточно. Я не любопытна. В купе снова звенел будильник. Этот звук был, пожалуй, похож на треск. Мужчина спросил меня, не могла бы я показать кому-нибудь в журнале одну рукопись. «Вашу?» — спросила я. Я уже жалела, что назвала ему свою профессию. По натуре я не слишком общительна и не люблю случайных знакомств. Он замялся. Потом он сказал: «Нет, не мою...» Я спросила у него, чья же это рукопись? Горелов Владимир Александрович сказал, что — это разговор долгий, но он мне с удовольствием все объяснит. Я не любопытна. В купе опять задребезжал будильник. «Объясните»,— согласилась я. Он сказал, что эту рукопись написала его племянница, которую они с женой фактически вырастили с детского возраста.

Она немножко странная. Очень увлекающаяся натура. Никак не может в жизни найти свое призвание. Часто меняет места работы. Любит вдруг надолго уезжать в разные концы страны. «Там она, конечно, работает»,— уточнил Горелов Владимир Александрович. Племянница их — одинока, детей у нее нет. «Какого возраста ваша племянница?» — спросила я. Я считала уже своим долгом как-то поддерживать нашу беседу. Мы были в коридоре одни. Все пассажиры почему-то спали. Я посмотрела на свои часы — было тридцать пять минут третьего. «Ей, вообще-то,— сорок семь лет...» — сказал мужчина помедлив. В голосе его мне послышалось сомнение. Я была права. «Но она говорит, что ей двадцать три»,— тут же докончил фразу Горелов Владимир Александрович. «Но в паспорте же написано?!» — удивилась я. Он нехотя объяснил, что его племянница уверяет, что сам человек лучше знает свой возраст, чем любой паспорт. Теперь я с ним согласилась. Его племянница действительно производила странное впечатление.

«Я бы не стал вас утруждать,— сказал мужчина,— но я просто не знаю, что мне делать с этой рукописью. Она очень долго ее писала. Я хотел просить своего друга — показать кому-нибудь в Москве, но мой друг сейчас болен...» — «А почему бы вашей племяннице не показать свою работу кому-нибудь самой?» — мне вдруг пришло в голову такое простое решение вопроса. Будильник в нашем купе опять затрещал. Мы с Гореловым Владимиром Александровичем отметили, что он, кажется, работает хорошо. «Самой? — пере-

спросил он. Эта мысль, видимо, была для него неожиданной.— Вряд ли она сама этим будет заниматься...» — «Почему?» — спросила я. Мне казалось естественным, чтобы человек сам занимался устройством своей же рукописи. Я — лично — всегда так делаю. «Она к ней совершенно остыла...» — сообщил Горелов Владимир Александрович. Я не поняла, что он имеет в виду. Он имел в виду, что пока его племянница писала эту рукопись — эта рукопись ее очень, видимо, интересовала, но когда она кончила писать эту рукопись, то рукопись ее почему-то совершенно интересовать перестала. Я среди своих знакомых с таким явлением пока не встречалась. Но ведь мой круг — достаточно специфичен. Сказала: «Делай с ней, что хочешь. Можешь — выкинуть на помойку, а можешь — напечатать в „роман-газете“...» Так мне передал слова своей племянницы ее дядя, с которым мы в ту ночь стояли в коридоре поезда «Москва — Ленинград». На мой взгляд — несколько странное заявление.

«Чем же ваша племянница сейчас занимается?» — спросила я. «Преподает в школе,— помедлив, объяснил он.— Теперь она считает, что человек должен обязательно выпустить в жизнь хотя бы один класс, тогда он не зря — прожил...» Тоже достаточно странное утверждение. Я, например,— театровед, занимаюсь проблемами детского театра, класса у меня нету, он мне совершенно не нужен. Я твердо знаю, что живу — не зря. «И как вы к ее точке зрения относитесь?» — поинтересовалась я. Пожалуй, мне сделалось даже в какой-то мере интересно. «Никак,— сказал он.— Я уже устал — относиться...»

Мы помолчали. Похоже было, что мой собеседник чем-то огорчен. Я не слишком любопытна и никогда не лезу в чужие дела. Но проходить мимо человека, которому плохо, несовместимо с моими представлениями о порядочности. «Вы так переживаете из-за вашей племянницы?» — спросила я Горелова Владимира Александровича. И он, покоренный моим участием, раскрыл передо мной свою душу.

Он признался мне, что переживает из-за своей племянницы, у них с женой нет своих детей и эту племянницу они воспитали с детского возраста, она рано осталась без родителей, довольно хорошо училась, они с женой надеялись, что эта племянница украсит их старость. Но она выросла и оказалась несколько странной. Она, например, долго писала эту рукопись, о которой Горелов Владимир Александрович мне раньше говорил, потом — сама к этой рукописи остыла, бросила ее в Ленинграде, а сама уехала преподавать физкультуру в школе, они толком даже не знают, где сейчас их племянница, потому что она сказала, что уезжает преподавать в Параллельный мир, в адресном бюро им не смогли найти на карте нашей Родины населенного пункта с таким названием, они пишут своей племяннице только «до востребования», конверт обязательно должен быть зеленого цвета, она их перед отъездом предупредила, в правом верхнем углу должны стоять прописные буквы «ПМ», это код Параллельного мира, а весь адрес выглядит так: «Красноярский край, Верхняя Гутара, до востребования, Гореловой Раисе Александровне».

Сперва жена Горелова Владимира Александровича красила конверты зеленой тушью или зеленым карандашом, а теперь она просто на ночь опускает конверт в зеленку, которой смазывают болячки маленьким детям. Это гораздо проще. Письма до их племянницы доходят. Она им отвечает. Ее письма, то есть — конверты, всегда — наоборот — красного цвета, а внизу — где адрес отправителя — стоят прописные буквы: «ПМ». Племянница пишет, что у них, в Параллельном мире, красивые горы, густой лес — тайга, много живой рыбы, взрослые занимаются охотой, ездят на лошадях верхом, все ребятишки тоже умеют стрелять из ружья, охотиться и очень любят заниматься физкультурой. Их племянница — будто бы — счастлива в Параллельном мире, о своей рукописи давным-давно забыла и просит своего дядю и свою тетю — не беспокоиться, ни за нее, ни за рукопись. Но Горелов Владимир Александрович не может не беспокоиться за свою единственную племянницу и — поэтому — просит меня, хоть ему это и очень неловко, взять рукопись его племянницы, прочитать самой и, если в этом есть смысл, показать кому-нибудь в литературных кругах...

Я не сентиментальна. Но в ту ночь я не смогла отказать в этой дружеской услуге своему случайному попутчику. Я сказала: «Хорошо. Я возьму рукопись вашей племянницы и обещаю вам с ней ознакомиться». Мужчина очень обрадовался. Мне показалось, что он — доволен. Рукопись он как раз возил старому другу в Москву и — таким образом — она случайно лежала у него в портфеле. Он мне эту рукопись передал. Мы с Гореловым Владимиром Александровичем тут же в вагоне обменялись адресами и телефонами. Он с женой живет где-то в Купчино, я — на Петроградской стороне. Мы договорились, что он позвонит мне через месяц.

Женщина, которая ехала вместе с нами в купе, уже вышла в коридор. Поезд подходил к Калинину. Женщина радовалась, что она не проспала Калинин. Она компостирует билеты в поездах и в Калинине ей следовало пересесть во встречный поезд «Ленинград — Сочи», чтобы в том поезде заняться своей работой. Она боялась проспать и поэтому заводила будильник. Будильник оказался исправным. Возможно, мы с Гореловым Владимиром Александровичем слышали, как он звенел? Мы подтвердили, что будильник вполне исправен. Эта женщина чем-то напоминала ежа, который однажды жил у нас на даче. У нее был колючий берет, колючая кофта и глаза тоже, пожалуй, были колючие. Она вышла в Калинине, а мы с моим случайным попутчиком легли на свои места, я — на нижнюю полку, а он — на верхнюю, и проснулись уже перед самым Ленинградом.

Мы тепло попрощались на перроне. Рукопись его племянницы была толстой, но меня встречали муж с сыном. Муж взял мой небольшой чемодан, а сын нес рукопись племянницы Горелова Владимира Александровича. Его в Ленинграде никто не встречал.

Пока в этой истории ничего странного нет. Рукопись я, как и обещала, попыталась прочесть. Сама я театровед, занимаюсь проблемами детского театра, я довольно быстро поняла, что данная рукопись не связана с интересующими меня вопросами. Там попадались сведения, в которых я просто некомпетентна, и суждения, с которыми я не согласна. Составить общее представление об этой рукописи не представлялось возможным. Я позвонила по телефону Горелова Владимира Александровича. Мне ответили, что телефон я набираю правильно, но Горелов Владимир Александрович по этому телефону не проживает и не проживал никогда. Я написала письмо по оставленному мне адресу. Письмо вернулось с официальным указанием, что такой адресат по такому адресу не числится. Сам Горелов Владимир Александрович мне так ни разу и не позвонил. Я не слишком любопытна. Но считаю, что порядочный человек обязан любое дело доводить до конца, раз он за него взялся. Я купила почтовый конверт, покрасила его в зеленый цвет, поставила в правом углу «ПМ» и отправила письмо «до востребования» племяннице Горелова Владимира Александровича. Ни муж, ни сын об этом моем поступке до сих пор не знают. Я сочла возможным скрыть от них этот шаг. Они оба считают, что Параллельного мира нет и быть не может. Но письмо дошло, значит, мой муж и мой сын на этот раз ошибаются. Я не стала огорчать их и рассказывать им правду. Мое письмо дошло, но вернулось с пометкой: «Адресат выбыл, новый адрес неизвестен». Других возможностей как-то связаться с Гореловым Владимиром Александровичем или с его племянницей у меня не было.

Проблемы детского театра целиком заполняют мою жизнь и я не располагаю лишним свободным временем. Но порядочный человек обязан доводить дело до конца, это — пожалуй — мое кредо. Поэтому я сочла необходимым все-таки передать рукопись племянницы Горелова Владимира Александровича, которого я после поезда «Москва — Ленинград» так больше ни разу и не видела, в литературно-художественный журнал, где иногда печатаются мои статьи по вопросам детского театра и вкусу которого я доверяю.

Это все, что я могу рассказать по поводу этой рукописи.

З. Журавлева



Всеволод **АЗАРОВ**

◘ ◘ ◘

Знакомые краски детства,
Тени старых платанов,
От них никуда не деться,
Они зовут неустанно.

День бесконечно длинный,
Он полон громкою речью,
Соленым вкусом маслины,
Соком брынзы овечьей.

Рядами желтые скалы,
Прибрежные камни плоски.
Помнишь влажность причала,
Волной омытые доски.

«Помнишь?» только и слышно,
Дробный голос прилива,
В росе пунцовые вишни,
В сиянье матовом сливы.

Красная мякоть арбуза,
Море в чаечном гаме,
И голубые медузы
Полыми колоколами.

Как все здесь странно знакомо:
Лист оранжево-серый,
Беседка старого дома,
Резкий стон романсеро.

Сюда приехал я другом,
Захвачен давними снами,
Где жар испанского юга
Перекликается с нами.

СОНЕТ

Я видел в Прадо старых мастеров
Веками непогасшие картины.
Их обсуждать сюжеты нет причины.
Для этого моих не хватит слов.

Эль Греко, Гойя, множество годов
Пройдет, я знаю, вереницей длинной,
Но этот мир причудливый старинный,
Все так же человеку будет нов.

Внезапно я заметил, в уголке,
С цветком, а может, с книгою в руке,
Себя в толпе изобразил художник.

Среди вельмож в убранстве неземном,
Он словно неприметный подорожник...
А может, вся душа картины в нем?!

ДОРОГА ДОН КИХОТА

Здесь, где о щит звенел булат,
Наш путь за горизонт и дальше.
Раскатана, как пыльный плат,
Ведет дорога на Ламанчу.

Нет великанов-мельниц, нет
Принцессы, истощились бредни,
Лишь в небо истукан воздет,
Слуга рекламы «Шерри бренди»!

Машины клаксон, словно рог.
На зайца барская охота.
И всюду, где корчмы порог,
Изображенья Дон Кихота.

В любой цене, на всякий вкус,
Из жести, дерева и глины...
Их схожесть навевает грусть
На придорожные маслины.

Приоткрываем старый том.
Не сникли краски переплета.
В быту, в укладе их простом
Живет бесстрашье Дон Кихота.

Да будет, что свершилось днесь,
Лишь равнодушие опасно,
Покуда Дульцинея здесь
И добрый спутник Санчо Пансо.

Мычит пестроголовый скот,
Звенит бубенчиками стадо.
Светило желтый свиток вьет
Над чернотою винограда.

Я вижу Россинанта след.
Звон слышу кузни, он не внове.
Но канареечный рассвет
В цвет переходит бычьей крови.

И в каждом доме рыцарь жив,
На пике золотеет пламя.
Я фиолетовых олив
Нарву, чтоб разделить с друзьями.

Мнацакан **ТАРЯН**

МЕСТЬ

Я сею месть мою
В тех песнях, что пою.
Я кровью месть вспою,
Чтоб проросла в бою.

Пусть знают палачи,
Не жить им на земле.
До срока месть молчит,
Как пуля, что в стволе.

1942 г. Житомирский концлагерь

БЕРЕЗА

От жажды погибаем,
Спасенья нет нигде...
О хлебе не мечтаем,
Мечтаем о воде.

Увядшая до срока
На лагерном дворе
Томится одиноко
Береза на жаре.

Ее не обогнули
Военные ветра,
Шальной горячей пулей
Поранена кора.

Во рту пересыхает...
Не пережить жару...
Как слезы, сок стекает
Из раны на кору.

И в очередь мы встали
На выжженный песок,
Губами к ней припали
И слизываем сок.

И жажду утоляя,
Спасая хоть на час,
Она, как мать родная,
Оплакивает нас.

1942 г. Житомирский концлагерь

ТАТУИРОВКА

Увидев звезд наколки на груди,
Им говорили мрачно: «Выходи».

И за бараком, в поле чистом
Расстреливали их как коммунистов.

И беспартийные, они ушли достойно,
Как коммунисты, гордо и спокойно.

Вот так для многих этим страшным летом
Татуировка стала партбилетом.

1942 г. Житомирский концлагерь

ГЛУБОКАЯ ОСЕНЬ

Глубокая осень. Из туч моросит.
В петле на березе казненный висит.

Как будто, казнив его, враг утверждает,
Что всех непокорных петля ожидает.

Но только напрасен расчет подлеца,
Не страхом, а гневом объяты сердца.

А капли дождя, словно слезы, струятся...
А желтые листья на землю ложатся...

Нам жажда отмщенья рвет душу
на клочья
При виде собрата, казненного ночью,

За то, что главы пред врагом не склонил
И Матери-Родине не изменил.

1943 г. Концлагерь Сельцы

◘ ◘ ◘

Пусть враг меня убьет,
Народ мой не убить.
Фашисту в свой черед
На виселице быть.

Видать, не долго ждать...
Погибну, не крича.
Да жаль, не увидать,
Как вздернут палача.

1943 г. Станция Турченко под Житомиром

Перевел с армянского
Марк **РЫЖКОВ**



Петр КАПИЦА

Это было так

В Ленинград я приехал сразу после демобилизации.

В осажденном городе осталось девяносто три писателя, к 1944 году пятьдесят шесть из них погибли. Оставшиеся едва двигались. Пришлось возвращавшимся фронтовикам брать на свои плечи организационную работу и редактуру журналов. Многие еще не съехались в Ленинград. Но Союз писателей уже действовал. Правда, блокадники с недоверием относились к тем литераторам, которые эвакуировались из осажденного города и всю войну отсиживались в глубоком тылу. Их никуда не приглашали, не избирали. Фронтовикам все радовались.

Александр Прокофьев, ставший первым секретарем Ленинградской писательской организации, встретив меня, обнял и тут же потребовал:

— Давай, Петр, подсобляй. Занимай свое старое место и помоги Саянову в «Звезде».

До войны я был секретарем партийного бюро Союза писателей и членом редколлегии журнала «Звезда».

— А нельзя ли хоть полгодика повременить? — стал я противиться.— Куча фронтовых записей, дневники... Задумана повесть.

— У всех так. Вставай вместе с солнцем и работай на свежую голову, а остальную часть дня Союзу отдавай. Другого выхода нет.

Дел и в самом деле хватало. Немало трудностей было с журналом «Звезда», который выходил в свет с большим опозданием и сдвоенными номерами. Это вызывало жалобы, нарекания подписчиков. Штат редакции был малочисленный, слабый. Хороших стихов и прозы — всегда нехватка. Прозаики, прибывшие с различных фронтов, только еще садились за письменные столы, осмысливали накопленный материал, а пожилые литераторы, вернувшиеся из эвакуации, не могли предложить актуальных произведений. Презираемые блокадниками, они как-то сникли и редко показывались в Доме писателя.

Ответственному редактору «Звезды» Виссариону Михайловичу Саянову приелась повседневная редакционная работа и, видно, его тяготила ответственность. Он был, как тогда говорили, беспартийный большевик. Как только кончилась война, Саянов стал просить у Прокофьева, чтобы тот помог ему освободиться от тяжелой должности.

Вспомнив, что до войны я редактировал молодежные журналы, Александр Андреевич заговорил о саяновских нагрузках.

— В самую трудную пору блокады мы задумали выпускать журнал «Ленинград», Виссарион взялся его редактировать. На фронт ездил и над гранками по ночам корпел. В сорок четвертом его подменил Борис Лихарев. Саяныча мы сразу же перекинули на «Звезду». Почти два года он эту лямку тянет, надо дать передышку...

Прокофьеву удалось меня уговорить. В тот же день он позвонил в Смольный и договорился, чтобы нас принял секретарь горкома по пропаганде.

На следующий день мы втроем прибыли в Смольный и были приняты двумя секретарями горкома партии — Широковым и Капустиным. Выслушав нас, они согласились ввести меня в состав редколлегии с тем, чтобы я стал ответственным редактором «Звезды».

На печатание журнала уходило около трех месяцев. Майский номер «Звезды» уже опаздывал на два месяца, и, чтобы хоть несколько подтянуть сроки выхода журналов, мы с Саяновым договорились выпустить сдвоенные номера. Он должен был закончить свое редактирование на пятом — шестом номере, а я за это время — подготовить к набору седьмой — восьмой.

Не знаю, что побудило Саянова в последнем «его» номере завести новый отдел — для малышей. Он поместил детские стихи Корнея Чуковского и небольшой рассказик Михаила Зощенко «Приключения обезьяны».

Сдвоенный номер «Звезды» с цифрами «5—6» вышел в конце июля, когда я собирался уже сдать в набор первый «свой» номер — «7—8». Но сделать это не удалось. В начале августа нас срочно вызвали в Москву. Выехали Прокофьев, Саянов и я, а от редакции «Ленинграда» — Борис Лихарев, Дмитрий Левоневский и Николай Никитин. В пути мы узнали, что в этой же «Красной стреле» едут секретари горкома партии — Попков и Широков.

«Что же такое стряслось?» — принялись гадать мы. Обсудили многие материалы, напечатанные в последних номерах журналов, но никому и в голову не пришло вспомнить «Приключения обезьяны».

Утром того же дня мы попали на прием к начальнику Управления пропаганды ЦК Александрову. Нам думалось, он сразу начнет распекать нас, но говорил он каким-то приглушенным тихим голосом, оба, мол, журнала печатали сырые, малохудожественные, а порой и идейно вредные произведения, но чашу весов переполнил рассказ «Приключения обезьяны», поэтому нас всех вызывают на Оргбюро ЦК.

— Подготовьтесь к ответу,— посоветовал он.— Приходите к восемнадцати часам.

— Я виноват,— принялся корить себя Саянов.— Ведь знал, что повесть МихМиха «Перед восходом солнца» разнесли в пух и прах и не дали напечатать конец. Не ко времени он ее писал. И вот угораздило!

— Зачем же он «Обезьяну» подкинул вам? — спросил Прокофьев.

— Да не подкинул,— с досадой сказал Саянов.— Я сам выпросил у него.

Время было еще голодное. В ресторане гостиницы «Москва» нам подали постный суп из цветной капусты и картофельные котлеты. Быстренько уничтожив этот вегетарианский обед, мы поспешили на заседание.

Как было принято в те времена, мы сначала зашли в бюро пропусков. Там нам сказали: «Проходите по списку».

Списки были на контрольных пунктах у входа и внутри здания. Всюду сверяли фамилии с паспортами и, как бы ощупывая глазами, спрашивали: «Оружия не имеете?».

Нас удивило, что внутри здания на контроле стояли не старшины, а подполковники. Один из них провел всех шестерых в фойе с буфетом.

— Располагайтесь и ждите вызова,— сказал он.— Если есть желание — можете закусить. Буфет бесплатный.

Дмитрий Левоневский — замредактора журнала «Ленинград» — любил поесть. Он тут же пристроился к бутербродам с севрюгой и копченой колбасой. Мы открыли пару бутылок лимонада, похожего по шипучести на шампанское, и тоже принялись закусывать.

Вскоре к буфету подошли Николай Тихонов, Александр Фадеев, Всеволод Вишневский. Они тоже были приглашены на заседание.

Минут через двадцать нас впустили в зал, где небольшие столики были расставлены в шахматном порядке. За каждый мог сесть только один человек. Впереди был невысокий барьер, за ним — полированный стол и три кресла.

В зал вошли несколько членов Политбюро, секретари Ленинградского горкома партии и работники Управления пропаганды Центрального Комитета. Они уселись за столики впереди нас. Вскоре и за барьером появились трое солидных мужчин. Андрея Александровича Жданова мы, конечно, сразу узнали, так как не раз встречали в Ленинграде. Он занял председательское место. Двое усачей уселись по бокам.

У меня невольно возникла мысль: «Вон тот усач справа, будь лет на десять моложе, мог бы в каком-нибудь фильме выступать в роли Сталина». В те времена, стоило лишь упомянуть имя Иосифа Виссарионовича, как люди на собраниях вскакивали с мест и бурно аплодировали. А если он появлялся сам, устраивали получасовую овацию. Этот же пожилой человек вошел и скромно уселся почти у краешка стола. Одет он был как-то по-домашнему: просторный темно-серый костюм полувоенного, полупижамного покроя. Брюки заправлены в мягкие сапоги с невысокими голенищами.

На красочных портретах, которые висели тогда повсюду, чуть серебристые на висках волосы Сталина росли густо, лицо изображалось без морщин, и усы не топорщились. А у этого старика сквозь редкие седые волосы просвечивала лысина, лицо было рябоватым и бледным.

За соседним столиком, слева от меня, сидел сотрудник аппарата ЦК. Я пригнулся к нему и шепотом спросил:

— А кто тот седой справа?

Сосед посмотрел на меня с недоумением и отстранился. И тут я сам понял, кто это. Просто здесь, в ЦК, когда входил Сталин, не принято было вскакивать и встречать его аплодисментами. Все происходило тихо, по-деловому.

Андрей Александрович Жданов открыл заседание и предоставил слово начальнику Управления пропаганды ЦК товарищу Александрову, предупредив, что ему отпущено десять минут.

Александров скороговоркой доложил, что оба ленинградских журнала — «Звезда» и «Ленинград», наряду со значительными художественными произведениями, напечатали вещи серые, недоработанные, а порой пошлые, идеологически вредные. Для примера он назвал несовершенные, малохудожественные пьесы «Дорога времени» Григория Ягдфельда, «Лебединое озеро» Александра Штейна. К слабым и ошибочным произведениям отнес очерки «Случай под Берлином» Сергея Варшавского и Юлия Реста и «На заставе» Михаила Слонимского; к пошлым — эстрадные стихи Александра Хазина «Возвращение Онегина», в которых, дескать, под видом пародии автор оклеветал современный Ленинград. В упадническую поэзию почему-то зачислил стихи Марии Комиссаровой и Ильи Садофьева, хотя уж они-то этим никогда не грешили. Тут была явная натяжка. Больше всего досталось редакциям за то, что они поместили стихи Анны Ахматовой, а «Звезде» дополнительно за вредный рассказ Михаила Зощенко «Приключения обезьяны».

Закончил он весьма нелестным выводом: редакции обоих журналов не справляются с возложенной на них работой, а Ленинградский горком партии плохо ими руководит.

Александров уложился точно в десять минут.

Затем слово получил ответственный редактор «Ленинграда» Борис Лихарев. Он и так был бледен и худ, а тут побледнел еще больше. Казалось, не шел, а тащился за барьер. Раскрыв блокнот, Борис каким-то отрешенным голосом каждую фразу начинал со слов «Правильно сказал товарищ Александров» и повторял перечисленные недостатки.

Сталин вдруг перебил его:

— Говорите зубастей! Почему со всем соглашаетесь? [1]

Лихарев несколько воспрянул духом и начал оправдываться:

— Я бы не напечатал эстрадных стихов Хазина, если бы у него не было разрешения реперткома.

— Разве репертком дает разрешения для печати? — спросил Сталин.— Это не оправдание. И перед всем иностранным не надо благоговеть и ходить на цыпочках, если хотите, чтобы на ваш журнал смотрел весь мир.

— Вы о том, что мы много переводных вещей печатаем? — не поняв Сталина, спросил Лихарев.

Иосиф Виссарионович, не слушая его, с заметным грузинским акцентом продолжал:

— Получается, будто они учителя, а вы — ученики. Достойно ли это советского писателя? Низкопоклонничество получается.

Борис Лихарев стушевался и умолк.

Вторым пошел за барьер Виссарион Саянов. Очки его сверкали, но сам он походил на сомнамбулу и тоже был бледен. Заговорил глухим голосом: «„Приключения обезьяны“ напечатаны не по вине Зощенко, а случайно, так как на редколлегии решили завести в журнале страничку для малышей».

— Разве ваш журнал для детей? — сердито спросил Сталин.— Элементарной требовательности нет ни у редактора, ни у секретаря. Пустой рассказ. Ни уму ни сердцу ничего не дает. Бездарной балаганной штуке предоставили место. Только подонки могут создавать подобные произведения. У Зощенко есть обиды на советских людей... Хулиган ваш Зощенко! Балаганный писака!!

Вероятно, Сталин и не видел живого, весьма деликатного, скромного и малоулыбчатого Мих-Миха, иначе не обозвал бы его так. Эти грубые ругательства относились к какому-то наглому зубоскалу, злопыхателю и очернителю, а миниатюрный, мягкий и даже застенчивый Зощенко ни одной черточкой не походил на балаганного писаку. Но Сталин не унимался, говорил резко, не сдерживая себя. Чувствовалось, что он очень сердит на автора «Приключений обезьяны»:

— Видите ли, обезьянке в клетке лучше жить, чем на воле. В неволе легче дышится, чем среди советских людей!

— Они там битых у себя в Ленинграде приютили! — вставил реплику член Политбюро Георгий Маленков. Глаза его были без улыбки, а лицо вечно серьезное, как у евнуха.— Герман в «Ленинградской правде» так расхваливал Зощенко — тронуть не смей!

Невольно подумалось: «Ну, худо будет Юре Герману и Мих-Миху, теперь все на них навалятся».

Заседание меж тем продолжалось. Саянов, покорно выслушав реплики и, видимо, сообразив, чем можно вызвать одобрение Сталина, вдруг изменил тему выступления, повел речь о том, как много развелось подражателей всему иностранному, советским-де литераторам не к лицу идти по захоженным тропам буржуазных мастеров. Русская отечественная литература не этим славилась и славится на весь мир.

Все свое красноречие, образованность и хорошую память пустил Виссарион в ход. Сталин слушал его, согласно кивал головой, чувствовалось, что Саянов расположил его к себе.

Виссарион вернулся на место порозовевшим, с распушенными усами. Усевшись за свой столик, он отдышался и написал мне на блокнотном листке коротенькую записку: «Если проживу сто лет, никогда больше не соглашусь быть редактором». Я прочел ее и подумал: «Да, это занятие стало теперь опасным!»

Заседание продолжалось. Секретарь Ленинградского горкома Широков, попросив слова, что-то мямлил, признавая критику в свой адрес, и жаловался на писателей, которые не посещают Университет марксизма-ленинизма.

Сталин резко оборвал его:

— Дайте им книги — сами разберутся. Они взрослые люди.

В этой реплике почувствовалось, что Широкову больше не бывать в горкоме, судьба его решена. Широков что-то еще пробормотал в оправдание и ушел. Его место занял первый секретарь Ленинградского горкома Попков, темнокожий, похожий на цыгана. Он стоял с видом провинившегося комсомольца.

— Должен признаться,— говорил,— заела текучка. Блокада, теперь восстановление... Не всегда удавалось прочитывать «Красную звезду»...

— Как? Как? — перебил его Сталин.

Словно мальчишка, не выучивший урок, Попков с просящим лицом повернулся к нам: «Подскажите-ка, как называется ваш проклятый журнал?» Чувствовалось, что до истории с обезьянкой ему не доводилось брать его в руки.

Мы принялись шепотом подсказывать:

— «Звезда»... просто «Звезда»!

— Да фу-ты, господи, «Звезда»,— подхватил Попков.— Перепутал с газетой «Красная звезда».

Сталин, видимо, услышал подсказку, потому что понимающе ухмыльнулся в усы и неторопливо стал ломать папиросы, вытащенные из красной коробки, и набивать добытым табаком трубку.

Попков сник, говорил упавшим голосом, и уже не было озорства в его темных глазах.

Потом вышел Александр Прокофьев. Каким-то не своим, звенящим голосом он сообщил, что из писателей, оставшихся в осажденном городе, выжила только треть, остальные недавно прибыли в город с фронтов и из эвакуации, что не все еще всерьез уселись за стол. Чаще всего несут в журналы не готовые произведения, а отрывки, филейчики...

— Это как на Кавказе... Подведет к висящей туше и спрашивает, какой кусок тебе нравится? — спросил с усмешкой Сталин.

— Именно так, филейную часть предлагают,— ответил Прокофьев.

Их разговор вызвал смех. Нависшие тучи как бы развеялись.

Почувствовав изменение в настроении Сталина, Прокофьев попробовал выручить Марию Комиссарову, которую мы все звали Машей. Он сказал, что тоскливые нотки в одном из ее стихотворений случайны.

— Творчество ее светлое, жизнерадостное,— уверял он.— Она наша поэтесса. И Илья Садофьев никогда упадничеством не грешил, он человек бодрый, неунывающий. А Анна Ахматова не сама стихи принесла, их у нее выпросили сотрудники редакции.

— Зачем вытащили старуху? — неодобрительно спросил Сталин.— Она, что ли, будет воспитывать молодежь?

Если бы в этот момент у кого-нибудь из нас хватило мужества защитить Анну Андреевну, то Жданов, быть может, и не назвал бы ее в своем докладе «не то монахиней, не то блудницей». Но Прокофьеву Маша Комиссарова была дороже. Дворянка Ахматова вышла из чуждой ему среды. Он промолчал. Не взяли слово ни Николай Тихонов, ни Александр Фадеев. И из нас, более молодых, никто не осмелился встать и напомнить, что Анна Ахматова бескорыстно служила отечественной литературе. Ведь это она писала:

Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам

И как только началась война, появилась ее «Клятва»:

И та, что сегодня прощается с милым,—
Пусть боль свою в силу она переплавит.
Мы детям клянемся, клянемся могилам,
Что нас покориться никто не заставит!

Но ни у кого даже такой мысли не возникло — заступиться. Прокофьев лишь сказал:

— Ее не переделаешь.

— Тогда пусть печатается в другом месте. Вам надо поднимать свою ленинградскую тему, а не печатать такие случайные вещи, далекие от жизни, как «Волшебник из Гель-Гью» Леонида Борисова. Он изящно пишет, но не то, что нужно для воспитания нашей молодежи.

Сталин не останавливался и говорил не менее десяти минут. Я лишь кое-что успевал записывать, смысл речи был примерно таков:

— Наши журналы не могут быть аполитичными. Некоторые думают, что политика — дело ЦК и правительства. Написал красиво — и хорошо. А в рукописи могут быть плохие и вредные места. В этом у нас расхождения с писателями, занимающими посты в журналах. Мы требуем, чтобы наши писатели воспитывали молодежь идейную. Почему я недолюбли-

[1] Протокола этого заседания, как мне известно, нет. Читатель, конечно, понимает, что все дальнейшее — не стенографическая запись. Я восстанавливаю эти реплики и выступления отчасти по памяти, отчасти по торопливым записям, сделанным во время заседания. За общий смысл сказанного ручаюсь, но за то, что это было сказано именно так, ручаться, естественно, не могу.— *Прим. автора.*

ваю людей вроде Зощенко? Они проводники безыдейности. Мы хотим отдохнуть, смеясь. Он это улавливает, но его смех — рвотный порошок. Получается так: Зощенко пишет, а другие заняты, не успевают. Выходит, Зощенки воспитывают молодежь. Этого мы больше терпеть не можем. У вас в редакциях не политические, а приятельские отношения. Чтобы не портить отношения, пропускаются плохие произведения. Что выше: приятельские отношения или идеи? Человек, который боится критики, правды о себе,— трус. У него нет мужества. Запускать болезнь нельзя. Критику нужно встречать мужественно: «А не мог ли я лучше поработать?». Это совершенствование. Приятели готовы поступиться идейными интересами. За миллион получить грош. Журналу нужен Главный редактор. Он один станет отвечать перед государством и партией за направление журнала, а редколлегия будет помогать. Важно, чтобы этот пост занимал человек, имеющий моральное право критиковать писателей, делать замечания по рукописям. А если вы посадите олуха царя небесного, какая польза от него авторам?

Наши журналы не частные предприятия. Есть в Англии лорды, которые содержат журналы. Вы же работаете в государственных, народных журналах. Не надо считаться со вкусами людей, которые не хотят нас признавать.

Что касается журнала «Звезда», то в нем напечатано немало хороших вещей, но плохих больше.

Редактор журнала обязан вести свое дело мужественно, не оглядываясь на других, не считаясь с авторитетами, говорить правду, какая бы она ни была. «Звезда» может стать хорошим журналом. Если у Саянова хватит мужества не превращать его в почтовый ящик,— пусть останется в журнале. А кто не хочет перестраиваться — может убираться ко всем чертям!

В Ленинграде не хватает материала двум журналам. Трагедии не будет, если плохой журнал «Ленинград» закроем. Это называется рационализацией. Чем иметь два слабых журнала, лучше — один солидный. Дадим ему больше бумаги. И если дела пойдут хорошо, позже можно будет открыть в Ленинграде два, три, даже пять журналов. А пока — лучше один хороший, чем два хромающих. Кто же у нас возглавит «Звезду»?

Тут Иосиф Виссарионович полистал какие-то бумажки на столе и, взглянув на одну, сказал:

— Ленинградский горком рекомендует...— и он назвал мою фамилию.— Кто такой Капица? — И он вслух начал читать так называемую «объективку».

— Молодой литератор... написал «Боксеры», сценарий. Был редактором журналов... так, так... А не будет ли Зощенко прятаться за спиной молодого?

Когда в 1933 году обком комсомола назначил меня редактировать «Юного пролетария», мне было двадцать четыре года. Теперь шел тридцать седьмой. Восемнадцать лет был в партии. Но не мог же я выкрикнуть: «Я уже не молодой!» Я не встал, не показался, хотя кто-то меня подтолкнул в спину. Сработало правило фронтовиков: «Не высовывайся!».

Затем Сталин прочел вторую «объективку»:

— Саянов... М-м... пьет. Нет воли, характер слабый... Эге... так, так. Я все-таки попробовал бы оставить его на «Звезде», если он, конечно, найдет в себе достаточно мужества.

Тут к Иосифу Виссарионовичу склонился Жданов и что-то шепнул. Сталин приподнял брови, как бы что-то соображая, и вместо председательствующего сказал:

— Сделаем на пять минут перекур!

Вместе со Ждановым они ушли в соседнее помещение, а мы направились покурить в фойе. Там к Саянову подошел секретарь ЦК по кадрам Алексей Кузнецов. Он начал уверять Виссариона, что сказанное Сталиным надо принять как похвалу. При этом пожал ему руку и произнес:

— Поздравляю, держи голову выше!

К нам подошли секретари Ленинградского горкома, а потом присоединился и Жданов, решивший, видимо, нас подбодрить:

— Не теряйтесь, держитесь по-ленинградски, мы не такое выдержали. Покажите, каким нужно журнал выпускать!

В дверях показался Сталин. Видя толпящихся ленинградцев, шутливо удивился:

— Чего это ленинградцы жмутся друг к дружке? Я ведь тоже питерский.

Жданов отошел от нас.

— Продолжим заседание! — произнес он.

Проходя в зал, Саянов взял меня под руку:

— Ты, пожалуйста, не огорчайся. Будешь у меня заместителем. Я сейчас подходил к Кольке Тихонову, он пообещал отдать нам новую вещь. Фадеев тоже будет иметь в виду. В общем, в Москве материала наберем на несколько номеров.

Виссарион был возбужден, он уже считал себя вновь назначенным ответственным редактором «Звезды», не зная, что редакторская его судьба решена по-другому.

Как я узнал позже от заместителя начальника Управления пропаганды ЦК Еголина, Жданов, выйдя в перерыве в другую комнату, сказал:

— Иосиф Виссарионович, на секретариате решено Саянова освободить.

Сталин, словно сдаваясь секретарям, приподнял обе руки и ответил: «Подчиняюсь большинству»,— хотя это не часто с ним случалось.

На продолжавшемся заседании выступил Всеволод Вишневский. Он был одет по-парадному — при всех орденах, медалях и даже при царских георгиевских крестах. Говорил, как на большом митинге. Звучные слова вылетали сквозь зубы. Всеволод рассказал, какой боевой и самоотверженной была опергруппа флотских писателей, которой он руководил. При нем такого в Ленинграде не могло случиться. Он бдительно следил за журналами. Стоило уехать, и... оставшиеся опозорились. Но дело будет поправлено, он не оставит «Звезду» без внимания.

Видимо, Сталину не очень понравилось выступление Вишневского.

— Писатели свои дела должны делать без оглядки на начальников с большими званиями и орденами,— сказал он.— Награды они получали за дела, не имеющие отношения к литературе. Под ружьем у нас находилось двадцать с половиной миллионов. Не все были ангелами...

Потом выступили Николай Тихонов и Александр Фадеев. Они пообещали учесть критику в свой адрес и проверить работу всех толстых журналов Союза писателей.

В Комиссию по составлению и редактуре постановления ЦК были введены москвичи и мы — как руководители Ленинградской писательской организации.

Выступив с коротким заключением, Жданов сказал:

— Переходим ко второму вопросу. Товарищи, пришедшие по первому, могут покинуть заседание.

Мы стали подниматься. Сталин, недоумевая, спросил:

— Это кто — писатели? Разве им неинтересно послушать про кино? Пусть останутся.

Мы опять уселись на свои места. Теперь со стороны можно было спокойно понаблюдать, как ведут себя кинематографисты, когда их работу обсуждают на столь высоком заседании. Наши дела, нам казалось, окончились благополучно. Не зря ведь Сталин столь благосклонно оставил нас послушать.

В зал вошли режиссер фильма «Большая жизнь» Леонид Луков и автор сценария Павел Нилин. Они знали уже, что на заседании присутствует Сталин, и держались скованно.

По новому вопросу докладывал Жданов. Он говорил так же коротко, как и Александров. Речь шла о второй серии фильма «Большая жизнь». Андрей Александрович сказал, что в этом кинопроизведении нет идей, смешаны две эпохи. Остается впечатление, что не было достижений в технике после пятилеток. Показан примитивный, грубый физический труд. Коллектив все делает на свой риск, даже вопреки решениям государственных органов. Разве мыслимо восстановление без организаторской роли государства? Восстанавливают шахту, и никто не вспомнит, что прошла тяжелая, все разрушившая война. Общая обстановка в фильме не соответствует жизненной правде.

— Мы мобилизовали миллион работников на Донбасс! — вставил Сталин.

— В «Большой жизни» никто не поднимает людей на восстановление,— продолжал Жданов.— Руководители словно изолированы от народа. Герои фильма малокультурны, политически плохо воспитаны. В картине не соблюдена пропорция личного и государственного.

— Сколько израсходовано денег? — вдруг спросил Сталин.

— Четыре миллиона восемьсот тысяч,— торопливо ответил режиссер.

— Пропали деньги! — как бы про себя пожалел Сталин.

После этой реплики режиссеру и сценаристу стало не по себе. Они заметно побледнели, у обоих дрожали руки. Оправдываясь, они просили только об одном: разрешить им изменить некоторые сцены, доснять картину.

— Не понимаю, как вы это сделаете? — возразил Сталин.— Я смотрел первую серию. Она сделана лучше, но тоже есть неудачные сцены. Я замечаю, что люди мало работают над предметом, который демонстрируют, легко и безответственно относятся к делу. Эта легкость доходит до преступности. Чарли Чаплин в немом кино умел говорить, работая над деталями. Без деталей нельзя создать характеры. Щепетильно надо работать. Некоторые наши поэты в месяц пишут по две поэмы, а Гете проработал двадцать лет над «Фаустом». Возьмите фильм Пудовкина «Нахимов». Режиссер не потрудился как следует. Нет элементарной добросовестности. Показал два-три корабля, танцы, свидания. Фильм о чем угодно, только не о Нахимове. Совсем забыто, что русские Синоп брали и свои порядки там установили. Куда легче показать танцы. А ведь картина должна демонстрироваться всему миру. Или Эйзенштейн сделал две серии об Иване Грозном. Получилась омерзительная вещь! Исказил историю, изобразил войско Грозного — опричников — сборищем идиотов и дегенератов, вроде ку-клукс-клана. Неверное отношение к опричникам! Старые историки неправильно расценивали Грозного. Они не учитывали обстановки. В фильме Иван Грозный — безвольный Гамлет. Изучение эпохи требует большого труда и терпения. Не знаю, как научить людей относиться к своим обязанностям и к себе с достоинством?

В «Большой жизни» все собрано, чтобы заинтересовать зрителя. Гармошка, пьяный разгул, романсы, легкие любовные похождения. А у зрителей вкусы разные, многих не привлечешь лживыми сценами. Процесс восстановления занимает восьмую часть картины. Очень больно, когда хотят хороших людей испачкать. Все на Донбассе пахнет старинкой. Вместо инженера поставили простого рабочего. Такое было лишь в первые годы советской власти. Теперь это неправильно. Шахты вводят в строй при высокой механизации. В фильме ни слова о врубовой машине. Спутали прошлое с сегодняшним. И типы не те. Другие люди прибыли на Донбасс. Что останется от картины, если выкинуть из нее цыганщину, девушек, над которыми крыша течет, а их сказками и песнями утешают? Это не типично у нас. Когда над людьми течет вода, а здоровые парни, вместо того, чтобы крышу починить, приходят забавлять. Нехорошо получается! При существующих персонажах навряд ли возможны переделки. Надо целую группу новых героев вводить. Как они войдут в старую картину? Частичные переделки не помогут. Пропали деньги!

Мы ушли с заседания возбужденные встречей со Сталиным и потрясенные его короткими выступлениями. Ни на какой транспорт садиться не хотелось, до гостиницы «Москва» шли пешком. Всю дорогу восхищались: «Вот она — гениальная простота! Такой занятой, а почти все журналы читает и фильмы смотрит. Ну и работоспособность! А как четко и ясно формулирует!».

Мы в ту пору больше верили Сталину, чем наши деды всемогущему богу. Бог ничего не смог, а Иосиф Виссарионович во время войны сумел сохранить дисциплину, дух сопротивления и привести народ к победе. За это мы ему прощали и то, что никогда и никому нельзя прощать.

Так было. Я не хочу примешивать к воспоминаниям сегодняшние оценки и ощущения. А тогда нам и в голову не приходило усомниться в высочайшей мудрости сказанного.

И на Зощенко, казалось нам, Сталин не зря сердился. Ведь в самую тяжелую годину войны Михаил Михайлович в повести «Перед восходом солнца» начал копаться в себе, пытаясь объяснить происхождение своей тоски, хандры, угнетенного состояния духа. Не до этого тогда было. Да и теперь с обезьянкой...

Через день в гостиницу «Москва» приехал Андрей Александрович Жданов. Нас пригласили в номер Попкова. Здесь Жданов зачитал проект постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград». В нем были важные и нужные пункты о том, что советская литература не может быть безыдейной и аполитичной, что она обязана помочь государству воспитывать молодежь бодрой, верящей в свое дело, готовой преодолеть всяческие препятствия, но резкость формулировок и несправедливость по отношению к Зощенко, Ахматовой и другим писателям ошеломила меня. Ничего подобного мы не ждали. Нам казалось, что в конце заседания все относились к нам со снисхождением и пониманием обстановки, сложившейся в городе, едва оправлявшемся после девятисотдневной блокады. После некоторого замешательства мы попытались смягчить формулировки, стали вносить поправки. Но Жданов не принимал их.

— Подрессорить хотите? — спросил он.— Не выйдет!

— Скажите, а товарищ Сталин видел этот проект? — упавшим голосом спросил Прокофьев.

— Видел и согласен.

Нам ничего не оставалось, как подняться с мест. Сталин своих решений не менял.

— Ну что ж, друзья,— сказал Жданов,— собирайтесь в путь. Сегодня выезжаем «Красной стрелой» в Ленинград.

Меня и Прокофьева он попросил задержаться.

— Мне с вами нужно посоветоваться о новом составе редколлегии «Звезды»,— сказал Андрей Александрович.— В постановлении указано, что главным редактором будет Еголин с сохранением за ним должности заместителя начальника Управления пропаганды ЦК. Он сможет только наездами бывать в Ленинграде. Кто из ваших будет его замещать?

Прокофьев предложил мою кандидатуру, но, оказывается, меня уже определили в ответственные секретари. Сталин брал за основу состав редакций партийных газет, в которых вторым лицом был ответственный секретарь.

— Хорошо,— согласился Жданов,— пусть исполняет две должности.

В редколлегию вошли еще Прокофьев, Борис Лавренев, драматург Борис Чирсков и философ Евгений Кузнецов.

— Надо еще кого-то из литературных критиков ввести,— предложил Жданов.— Только с русской фамилией.

Мы принялись перебирать имена ленинградских критиков. Из блокадников никого не осталось. Те, что эвакуировались с университетом, не годились. О них фронтовики говорили: «Они защищали не Родину, а свои диссертации». Многие еще служили в армии и находились за пределами Советского Союза. Прокофьев вспомнил Валерия Друзина, который когда-то писал стихи, потом стал критиком и преподавателем литературы. Он был на войне, в армии вступил в партию.

— Хорошо,— согласился Жданов,— Мы попросим его демобилизовать и направить в Ленинград.

В Ленинград мы ехали, не дотрагиваясь до коньяка, который разносили по вагонам официантки. Актив был назначен в необычное время — в тринадцать часов, как по поводу чрезвычайного происшествия. Нас, конечно, заставят выступать, поэтому надо быть с ясной головой. Трезв был и Саянов. Усы его не пушились, он был мрачен, так как уже знал, что не вошел в состав редколлегии. Мы его не утешали, потому что сами чувствовали себя отвратительно, особенно я, еще ничего не сделавший в «Звезде» и попавший в эту историю, как кур в ощип.

Еще в Москве в газетном киоске мне попалась на глаза книжечка Михаила Зощенко, вышедшая приложением к журналу «Огонек» стотысячным тиражом. В ней был напечатан рассказ «Приключения обезьяны». Вышла она весной. Почему же в августе поносят «Звезду», у которой только двадцатипятитысячный тираж? Видимо, Сталин не видел этой книжки, а то бы досталось и «Огоньку». Мы так и эдак пытались объяснить для себя происшедшее. Появилась, мол, насущная необходимость круче подвернуть гайки во всей идеологической работе. За войну люди, побывавшие в оккупации и на территории капиталистических государств, стали терять ориентиры, потянулись к иностранщине. Особое внимание следовало уделить молодежи. Война превратила безусых юношей в храбрых, самоотверженных мужчин, научила самозабвенно любить родную землю, облагородила, но многих и развратила.

Многие пришли в действующую армию прямо со школьной скамьи, не имея никакой специальности. На войне они не заботились ни о еде, ни об одежде. Их одевали, кормили и даже давали сто граммов водки. Они, мол, привыкли к походной, довольно беззаботной жизни, особенно в последний год успешного наступления, когда население освобождаемых стран, особенно на Балканах, встречало победителей цветами, вином, фруктами. Крестьяне зазывали в дом каждого советского солдата, поили и кормили до отвала. К такой жизни человек привыкает быстрее, нежели к трудовым будням.

Я вспомнил, как у нас на Черноморском флоте десантники на отдыхе превращались в опасных дебоширов. За вино они отдавали и обмундирование, и припрятанное трофейное оружие. А если ничего не было, могли в загуле и ограбить, искалечить, убить. Человеческая жизнь не ставилась ни в грош. Некоторые именно на отдыхе попадали под трибунал, лишались орденов, званий и... вновь в штрафных батальонах высаживались десантом, чтобы кровью искупить вину и вернуть награды.

Как они будут привыкать к мирной жизни? Куда их приспособишь, если они не научились ничему другому?

Кроме того, в стране развелось много беспризорников, сказывалась безотцовщина. Конечно же, думали мы, тут надо принимать решительные меры, по-новому строить воспитательную работу...

Я решил на партактиве не молчать и высказать все, что думаю об ошибках московских и ленинградских журналов. Приведу в пример огоньковскую книжицу.

В Ленинграде, добравшись на трамвае домой, мы успели лишь побриться, позавтракать, как пришло время отправляться в Смольный.

Партактив собирался в Актовом зале. Делалось это неспроста — хотели придать весомость обсуждаемым делам.

Мы с Прокофьевым попали в президиум собрания. Зал был переполнен работниками райкомов, директорами заводов, пропагандистами, преподавателями вузов. Рядом с нами сели секретари горкома и обкома.

Слово для информационного доклада было предоставлено Жданову. Он зачитал постановление Центрального Комитета, а затем продолжал доклад не по писаному, а лишь заглядывая в листки. Говорил резко, с преподавательской четкостью выговаривая слова.

— Товарищи! Из постановления ЦК ясно, что наиболее грубой ошибкой журнала «Звезда» является предоставление своих страниц для литературного творчества Зощенко и Ахматовой. Я думаю, что мне нет нужды цитировать здесь «произведение» Зощенко «Приключения обезьяны». Видимо, вы все это читали и знаете не хуже, чем я. Смысл этого «произведения» Зощенко заключается в том, что он изображает советских людей бездельниками и уродами, людьми глупыми и примитивными. Зощенко совершенно не интересует труд советских людей, их усилия и героизм, их высокие общественные и моральные качества. Эта тема всегда у него отсутствует. Зощенко, как мещанин и пошляк, избрал своей постоянной темой копание в самых низменных и мелочных сторонах быта. Это копание в мелочах быта не случайно, оно свойственно всем пошлым мещанским писателям, к которым относится и Зощенко. Об этом много в свое время говорил Горький. Вы помните, как Горький на съезде советских писателей в 1934 году клеймил, с позволения сказать, «литераторов», которые дальше копоти на кухне ничего не видят.

Я вспомнил, что эти слова Горького не относились к Зощенко. Алексей Максимович любил Михаила Михайловича и предупреждал, что его ждет «нелегкая судьба сатириков».

— «Приключения обезьяны» не есть для Зощенко нечто выходящее за рамки его обычных писаний,— продолжал Жданов.— Это «произведение» попало в поле зрения критики только лишь как наиболее яркое выражение всего того отрицательного, что есть в литературном «творчестве» Зощенко. Известно, что со времени возвращения из эвакуации в Ленинград Зощенко написал ряд вещей, которые характерны тем, что он не способен найти в жизни советских людей ни одного положительного явления, ни одного положительного типа. Зощенко привык глумиться над советским бытом, советскими людьми, прикрывая это глумление маской пустопорожней развлекательности и никчемной юмористики. Если вы внимательно вчитаетесь в рассказ «Приключения обезьяны», то вы увидите, что Зощенко наделяет обезьяну ролью высшего судьи наших общественных порядков и заставляет читать нечто вроде морали советским людям. Обезьянка представлена как некое разумное начало, которому дано устанавливать оценки поведения людей. Изображение жизни советских людей нарочито уродливое, карикатурное и пошлое понадобилось Зощенко для того, чтобы вложить в уста обезьяны гаденькую, отравленную антисоветскую сентенцию насчет того, что в зоопарке жить лучше, чем на воле, и что в клетке легче дышится, чем среди советских людей... Можно ли дойти до более низкой степени морального и политического падения, и как могут ленинградцы терпеть на страницах своих журналов подобное пакостничество и непотребство? — обратился Андрей Александрович к сидящим в зале.

Зал отозвался грозным гулом. Актив слушал докладчика с повышенным вниманием. На нас с Прокофьевым смотрели, как на главных виновников, отдающих страницы журналов всяким проходимцам. Как бы уловив настроение зала, Жданов добавил:

— Как слаба должна быть бдительность людей, руководящих журналом «Звезда», чтобы в нем можно было помещать произведения, отравленные ядом зоологической враждебности к советскому строю? Только подонки литературы могут создавать подобные «произведения», и только люди слепые и аполитичные могут давать им ход.

Все, что говорил дальше Жданов о Зощенко, мы уже слышали из уст Сталина. Удивлялись только тому, как это Андрей Александрович запомнил все, чтобы повторить слово в слово. Новым было лишь то, что относилось к «Серапионовым братьям» и высказываниям Зощенко в двадцатые годы.

— Какова была общественно-политическая физиономия Зощенко в период организации «Серапионовых братьев»? — продолжал Жданов.— Позвольте обратиться к журналу «Литературные записки» номер три за тысяча девятьсот двадцать третий год, в котором учредители этой группы излагали свое кредо. В числе прочих и Зощенко, никого и ничего не стесняясь, публично там обнажается и совершенно откровенно высказывает свои политические, литературные «взгляды». Послушайте, что он говорил.

И Жданов начал читать выдержки из старого пожелтевшего журнала:

«...Вообще писателем быть очень трудновато. Скажем, та же идеология... Требуется нынче от писателя идеология... Этакая, право, мне неприятность».

«С точки зрения людей партийных я беспринципный человек. Пусть. Сам же я про себя скажу: я не коммунист, не эсер, не монархист, а просто русский и к тому же политически безнравственный».

Приведя еще несколько цитат, Жданов вытащил закладку и открыл журнал в другом месте.

— Позвольте привести еще одну иллюстрацию о физиономии так называемых «Серапионовых братьев». В тех же «Литературных записках» номер три за тысяча девятьсот двадцать второй год другой серапионовец Лев Лунц также пытается дать идейное обоснование того вредного и чуждого советской литературе направления, которое представляет группа «Серапионовых братьев». Лунц пишет:

«Мы собрались в дни революционного, в дни мощного политического напряжения. „Кто не с нами, тот против нас!“ — говорили нам справа и слева.— С кем же вы, Серапионовы братья,— с коммунистами или против коммунистов, за революцию или против революции?»

«С кем же мы, Серапионовы братья? Мы с пустынником Серапионом...»

«Слишком долго и мучительно правила русской литературой общественность... Мы не хотим утилитаризма. Мы пишем не для пропаганды. Искусство реально, как сама жизнь, и, как сама жизнь, оно без цели и без смысла, существует потому, что не может не существовать».

— Такова роль, которую «Серапионовы братья» отводят искусству,— продолжал Жданов,— отнимая у него идейность, общественное значение, провозглашая безыдейность искусства, искусство ради искусства, искусство без цели и без смысла. Это есть проповедь гнилого аполитизма, мещанства, пошлости...

Жданов только забыл упомянуть, что автору этих высказываний не было двадцати лет, что все «Серапионовы братья» были молоды, модничали, да и время было совсем иное.

В докладе досталось также и Анне Ахматовой. Мне запомнились лишь отдельные характеристики:

— Анна Ахматова является одним из представителей безыдейного реакционного литературного болота. Она принадлежит к так называемой литературной группе акмеистов, вышедших в свое время из рядов символистов, и является одним из знаменосцев пустой, безыдейной, аристократически-салонной поэзии, абсолютно чуждой советской литературе.

— Тематика Ахматовой насквозь индивидуалистическая. До убожества ограничен диапазон ее поэзии,— это поэзия взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и молельной. Основное у нее — любовно-эротические мотивы, переплетенные с мотивами грусти, тоски, смерти, мистики, обреченности. Чувство обреченности — чувство понятное для общественного сознания вымирающей группы. Мрачные тона предсмертной безнадежности, мистического переживания, пополам с эротикой — таков духовный мир Ахматовой, одного из осколков безвозвратно канувшего в вечность мира старой дворянской культуры и добрых старых екатерининских времен. Не то монахиня, не то блудница, а вернее, блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой.

Далее Жданов сказал о других писателях, напечатавших свои неудачные, оторванные от жизни страны произведения, крепко досталось и секретарям Ленинградского горкома.

Прений на активе не открывали. Их решили провести на другой день, когда в Актовом зале собрались все писатели и приглашенные композиторы, художники, артисты и работники издательств.

На этом собрании доклад Жданова ничем почти не отличался от информации на партийном активе, но он ошеломил слушателей резкостью и несправедливостью суждений. После ободряющей концовки: «Мы уверены, что ленинградские литераторы правильно воспримут критику и сумеют показать, что они передовой отряд советской литературы»,— мало кто захлопал в ладоши. Многие были подавлены. Зощенко и на это заседание не был приглашен.

Сев рядом с председательствующим, Жданов спросил:

— Кто желает выступить?

В зале наступила неловкая тишина, никто не стремился появиться первым на трибуне. Пришлось говорить нам, участникам совещания. Прокофьев, чтобы разрядить обстановку, рассказал, с какой благожелательностью обсуждались журналы, что Сталин внимательно читает их, и поразил нас знанием напечатанных стихов и прозы. Время сейчас сложное, надо быть бдительным.

Я тоже вспомнил кое-какие детали из прошедшего заседания и сказал, что рассказ «Приключения обезьяны» напечатан не только у нас, а гораздо раньше в Москве стотысячным тиражом в книжечке-приложении к журналу «Огонек». Жданов сделал недовольный жест и вставил:

— И до москвичей доберемся, говорите о своих ленинградских делах.

Мне, без согласования с новым ответственным редактором, пришлось рассказать, как «Звезда» будет перестраиваться и что напечатает в ближайших номерах.

Потом вышел на трибуну Николай Никитин. Он был связан с «Серапионовыми братьями», но ничего не мог сказать, стоял и молчал, губы у него дрожали. Наконец, как робкий ученик, стоявший перед воспитателем, он шепотом попросил:

— Разрешите уйти...

Жданов, словно опасаясь, что Никитин сейчас разрыдается, согласно закивал головой:

— Пожалуйста... пожалуйста!

После Никитина на трибуну стали выходить литераторы, пытавшиеся резкой критикой поправить свои дела. Особенно запомнился прозаик М., который ни одной книги не написал самостоятельно, а всегда — с чьей-нибудь помощью. К концу войны он проштрафился и за пьяные похождения в освобожденном Таллине был уволен с флота, хотя война еще не кончилась. Он-то и принялся поносить всех «Серапионовых братьев» — заслуженных, известных литераторов, таких, как Константин Федин, Николай Тихонов, Вениамин Каверин. Почему-то называл их «у́родами», делая ударение на первой букве. Слушая его, Жданов морщился.

— Перехватывает. Кто такой? — спросил у меня.

Я шепотом объяснил.

Затем стали выходить кликуши и каяться в грехах, о которых никто не имел понятия. Одна из пожилых детгизовских редакторш, бия себя в грудь, призналась, что она первая напечатала Зощенку. Казалось, что она сейчас завопит: «Казните меня!» Жданов этого не ждал, он поднялся и обратился к Герману:

— Юрий Павлович, а почему вы молчите? Ваше выступление нам важнее многих.

Юрий встал. Ему, наверное, было не легче, чем под пулями во время высадки десанта, но он нашел в себе мужество не дрогнуть и сказать:

— Зощенко мой друг. Выслушав все, я ничего не могу сказать. Я должен подумать... Возможно, что-то понять.

И он сел на место, сильно побледнев.

Выступали еще какие-то окололитературные люди, которых, как пену во время наводнения, выносит на поверхность в такие дни. Они, не задумываясь, поносили оба журнала и предъявляли какие-то свои претензии.

Позже Юрий Павлович Герман написал

письмо в Центральный Комитет партии. Он передал его мне. Содержания письма я не знаю, так как, не распечатывая, передал конверт Еголину с просьбой передать его Жданову или Сталину.

Писал письмо и Зощенко. В его архиве осталась копия этого письма.

«Я никогда не был антисоветским человеком. В 1918 году я добровольцем пошел в ряды Красной Армии и полгода пробыл на фронте, сражаясь против белогвардейских войск. Я происхожу из дворянской семьи, но никогда у меня не было двух мнений, с кем мне надо идти — с народом или с помещиками. Я всегда шел с народом. И этого никто у меня не отнимет. Мою литературную работу я начал в 1921 году. И стал писать с горячим желанием принести пользу народу, осмеивая все то, что подлежало осмеянию в человеческом характере, сформированном прошлой жизнью.

А если иной раз люди стремились увидеть в моем тексте какие-либо, якобы, затушеванные зарисовки, то это могло быть только лишь случайным совпадением, в котором никакого моего злого умысла или намерения не было.

Я ничего не жду и не прошу никаких улучшений в моей судьбе. А если пишу вам, то с единственной целью облегчить свою боль. Мне весьма тяжело быть в ваших глазах литературным пройдохой, низким человеком или человеком, который отдавал свой труд на благо помещиков и банкиров. Это ошибка. Уверяю вас».

Отец Михаила Зощенко был известным художником-передвижником, работавшим иллюстратором в широко читаемом журнале «Нива».

Когда Михаил учился в гимназии, то за сочинения обычно получал двойки, так как не умел излагать общеизвестные истины, в тетрадках он выражал свое личное мнение, не совпадавшее с общепринятым. Преподаватель литературы предполагал, что молчаливый и обидчивый гимназист не способен воспринимать то, что другие ловят с ходу, что у него нет литературных способностей. Но на самом деле у него не было способности приспосабливаться, способности жить и говорить, «как все».

Потеряв после этих событий многих друзей, Михаил Михайлович попытался забыться в работе за письменным столом. Но тут жена принялась допекать. Она без стука входила в кабинет и каждый раз начинала разговор с одной и той же фразы: «Я бы на твоем месте...». И дальше шли самые нелепые советы, раздражавшие писателя.

Жена знала, как он самолюбив и чем можно давить на его психику, поэтому у нее возникали все новые и новые мысли. И, если Михаил Михайлович их отвергал и просил не мешать работать, она способна была раскричаться на самых высоких нотах, хвататься за сердце, лить слезы, глотать валерьянку...

В одной квартире они жили по-разному. Ее просторная комната была обставлена дорогой старинной мебелью. Висели ковры. Блестели зеркала. А его кабинет был скромен — кровать, заправленная по-солдатски, полки с книгами, небольшой письменный стол. Этого было достаточно, чтобы творить. Михаил Михайлович называл среди приятелей свою жену «Мадам», потому что она держалась среди знакомых, как держатся уважающие себя жены знаменитостей. Вместе они почти никуда не ходили. Всегда поодиночке, у каждого были свои друзья, свои интересы. Они жили вместе только из-за сына, которого писатель очень любил.

Мы с Зощенко жили в одном доме, часто встречались на улице.

Однажды я поздоровался с ним и спросил:

— Как живется, Михаил Михалыч?

— Неважно,— ответил он, но тут же не без сарказма заметил: — Вы упустили хорошую возможность пройти, не заметив меня.

Недоумевая, я пожал плечами.

— Это вы всерьез? Зря. Я ведь тоже один из пострадавших. Не оставлен редактором только потому, что Сталин сказал: «Не будет ли Зощенко прятаться за его спиной?»

— Если вы действительно пострадавший, то прошу прощения.

О происшедшем мы больше молчали: из деликатности я не рассказывал ему о грубых высказываниях Сталина, а он из той же деликатности, а может, по другой причине, не расспрашивал, как все происходило.

В редакцию журнала «Звезда» меж тем потоком шли осуждающие Зощенко письма, в них были адреса и должности корреспондентов. Зато сочувствующие стремились остаться анонимными.

Мне запомнилось послание, пришедшее из Черкасс от некой Александры Салопай. Оно начиналось с восклицания: «Поделом хулигану Зощенко!» — а дальше сообщалось:

«Жертвой одного Вашего рассказа вот уже много лет имею удовольствие быть. Десять лет назад я учительствовала в селе Волицы, около курорта „Сосновка“. Будучи вдовой, я второй раз вышла замуж за начальника почты. Мой муж был красивый парень. Я имела много соперниц и завистниц. И вот появился ваш глупый рассказ о вдовице, которая купила на время у скаредной молочницы мужа за пять червонцев. А тот и прижился у вдовы, не захотел вернуться назад. В общем, злостное, хулиганское изображение нашей действительности. Кому-то из моих соперниц попал на глаза этот дурацкий рассказ, и она пустила слух, будто это я купила мужа у какой-то разини. Много эта насмешка, гулявшая меж соседок, испортила мне крови, а особенно моему мужу, нас повсюду преследовали этой идиотской выдумкой.

По заслугам вам, Зощенко! Жалею, что постановление сделано поздно. Много вреда принесла ваша помойная литература».

Летом 1954 года в Ленинград прибыла группа английских студентов. В обкоме комсомола они высказали желание побывать на могилах Михаила Зощенко и Анны Ахматовой.

— На каких могилах? Они живы и здоровы. Если хотите, можем устроить встречу.

И такая встреча действительно состоялась в Красной гостиной Дома писателя имени Маяковского. Тут стало ясно, что английских студентов кто-то подготовил. Один из них, обращаясь к Зощенко порусски, спросил:

— Как вы относитесь к постановлению ЦК по журналам «Звезда» и «Ленинград»?

И вот на этой-то ненужной встрече Михаил Михайлович сорвался, не сдержав обиды:

— Я не признаю постановления, в котором обо мне говорится как о пошляке и хулигане. Весь мир знает меня другим. Я честный писатель.

Такой же вопрос, но уже другим студентом, был задан и Анне Андреевне. Она несколько располнела, не походила на свои ранние портреты, но сохранила величавую осанку и голову держала гордо.

С высокомерием королевы, едва взглянув на иностранных юнцов, поэтесса как бы сквозь зубы процедила:

— Я согласна с постановлением. В своих внутренних отношениях мы разберемся без постороннего вмешательства. В сочувствии не нуждаюсь.

Организаторы этой встречи переполошились. Чтобы снять с себя вину, они на собрании писателей принялись «прорабатывать» Зощенко. Усердствовали Всеволод Кочетов, тогдашний первый секретарь Ленинградского Союза, и Валерий Друзин, ставший после Еголина ответственным редактором «Звезды».

Михаил Михайлович и на этом собрании не оправдывался, а подтвердил свое несогласие с постановлением и выкрикнул в зал: «Не надо мне указчиков, не надо мне Друзиных»,— покинул зал и ушел домой.

Его, конечно, исключили из Союза писателей.

Старые друзья Зощенко — Михаил Козаков, Анатолий Мариенгоф и Евгений Шварц после голосования шли пешком по набережной Невы, кляли себя за малодушие и вслух размышляли, как лучше сообщить Мих-Миху о случившемся.

Решили зайти на квартиру к Михаилу Эммануиловичу Козакову, так как он единственный из них жил в одном доме с Зощенко.

Придя к Козаковым, Мариенгоф и Шварц решили, что лучше всех разговор поведет Козаков. Он умел дипломатично излагать самые неприятные вести.

В это время зазвенел телефон. Звонил Зощенко, Михаил Козаков узнал его по голосу.

— Приходи,—сказал он и повесил трубку, опасаясь, что телефонные разговоры подслушиваются.

Зощенко появился минуты через три. Он, как всегда, был опрятно одет, гладко выбрит. Друзья, не глядя ему в глаза, пожали сухую твердую ладошку.

Волнуясь, Евгений Львович Шварц решил закурить. Пальцы у него всегда тряслись. А тут руки совсем перестали слушаться — спички ломались, не загорались.

Михаил Михайлович, сочувствуя, отнял у него растерзанный коробок, зажег спичку и коснулся огоньком папиросы. Его рука была твердой и спокойной.

Михаил Козаков, решив не тянуть, как можно мягче сказал:

— Мишенька, дорогой, чудеснейший наш друг! Мы вот пешком шли с собрания и забрели сюда, чтобы побеседовать с тобой. Тебя, Миша, невозможно устранить из литературы. Но волею обстоятельств... Я уверен, что ошибка будет исправлена... тебя сегодня исключили из Союза писателей. И самое ужасное, что мы, твои старые друзья, голосовали за это решение...

Зощенко жалостливо посмотрел на друзей, прячущих глаза, и принялся успокаивать:

— Не винитесь! Останься я на этом собрании, вместе с вами поднял бы руку. Зачем ставить себя и других под удар? Ваши голоса не могли повлиять на результат, а скандал вызвали бы большой. Уже не один крамолу развел, а целая группа. Так что спокойно курите, не прячьте глаза и индифферентно смотрите вперед...

Получилось, что не они пришли его успокаивать, а он их.

В эту пору он утерял всякий интерес к литературной славе и действительно никого не боялся. Гордое достоинство соединялось с бесстрашием. Мих-Мих привык к нужде и спартанской жизни. Кроме узкой койки, серого солдатского одеяла и письменного стола ему ничего больше не требовалось. В пище он был неприхотлив: обходился малой тарелкой супа и паровой котлеткой со сметаной. А на еду он умел заработать. Популярность уже не тешила Михаила Михайловича, он больше не поддавался ее дешевым соблазнам.

При жизни Сталина были опубликованы только рассказы Зощенко о партизанах, правда, написанные не в его стиле.

Михаил Михайлович в течение нескольких лет зарабатывал на жизнь переводами прозы с подстрочников. Существует его превосходный перевод повестей финского классика Майю Лассила «За спичками» и «Воскресший из мертвых», которые стали еще смешней от того, что до них дотронулась рука такого мастера.

Вновь печататься Зощенко стал по-настоящему только после смерти Сталина и осуждения культа личности. Вновь начали появляться в газетах и журналах фельетоны, рассказы, пьесы. Лишь конец повести «Перед восходом солнца», печатание которой было прервано во время войны, не удалось опубликовать при жизни.

После своего шестидесятилетия Зощенко добился издания однотомника в Гослитиздате и начал хлопотать о персональной пенсии. Я тогда был вторым секретарем правления Ленинградской писательской организации. Мне приходилось подбадривать его, писать бумаги в Москву. После длительной переписки весной 1958 года пришло, наконец, сообщение, что просимая пенсия назначена, что он может ее получать. Я немедленно сообщил об этом Зощенко. Разговаривали по телефону. Он был доволен, на здоровье не жаловался, только удивлялся:

— Не понимаю, почему худею? Видно, сердце постарело и плохо кровь разгоняет.

И вдруг летом, словно постепенно усыхая, он неожиданно скончался от сердечной недостаточности.

Постановлением секретариата меня назначили председателем комиссии по похоронам Зощенко. Хлопот было много. Всем еще помнилось постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Нам удалось поместить в ленинградских газетах лишь траурные объявления без указания места гражданской панихиды.

Почитатели Зощенко оборвали телефон. Все были советчиками, но никто не хотел заниматься нудными хлопотами.

Много хлопот было о месте захоронения. Когда жена Зощенко узнала, что мы не добились места на «Литераторских мостках», то твердо сказала:

— Похороним в Сестрорецке. Там наша дача, там он жил каждое лето.

Ей никто не возразил. Решено было похоронить в Сестрорецке, а гражданскую панихиду провести в Ленинграде, в Доме писателя имени Маяковского.

И в последние часы не обошлось без приключения. Я позвонил старым друзьям Михаила Михайловича — «Серапионовым братьям», но никто из них не решился выступить на траурном митинге, у каждого нашлись какие-то веские причины не явиться. Пришлось уговаривать других ровесников Зощенко, таких, как Леонид Борисов, Леонтий Раковский. Они дали согласие после некоторых колебаний.

Утром я решил пораньше прийти в Дом писателя. Приехал на трамвае и вдруг на углу Литейного и Воинова увидел группу милиционеров в белых кителях, вызывающих любопытство прохожих.

Я хорошо знал начальника ленинградской милиции Героя Советского Союза Соловьева, тайно писавшего стихи. Придя в Союз писателей, я немедля позвонил по смольнинской «вертушке» в Управление милиции.

— Иван Владимирович, чего ты милиционеров возле нас выставил? — спросил я.

— Как — чего? Всякие инциденты возможны. Даже иностранные туристы интересуются похоронами Зощенко.

— Убери, пожалуйста,— попросил я.— Твои милиционеры соберут такую толпу любопытных, что писатели не смогут пройти попрощаться.

— Ладно,— согласился он.— Но в случае чего — звони прямо ко мне, не теряйся.

На панихиду собралось много людей. Гроб был усыпан живыми цветами. Траурный митинг открыл Александр Прокофьев. Он сказал несколько добрых слов о Михаиле Михайловиче, а затем предоставил слово Леониду Борисову. Старик произнес речь о своей дружбе с Зощенко, а затем вдруг начал кланяться покойнику и благодарить:

— Спасибо тебе, Миша, что ты не стал предателем... Спасибо, что не предал русский народ.

Прокофьев, стоящий рядом, возмутился:

— Вы что? Почему это он должен предать? Он был нашим, советским писателем!

Публика недовольно зашумела, послышались сердитые голоса:

— Прекратите спор! Дайте ему хоть в гробу спокойно лежать!

Митинг длился около часа, затем на автобусах все отправились в Сестрорецк.

У ворот сестрорецкого кладбища похоронную процессию встретил композитор Дмитрий Шостакович. Он держал в руке небольшой букет цветов.

От ворот гроб мы понесли на руках. Он был очень легок. Похоронили Михаила Михайловича Зощенко на пригорке, поросшем молодыми сосенками. Могилу засыпали сухим, на удивление чистым желтым песком.

В дни огорчений 1946 года Анна Андреевна Ахматова написала такие строки:

Теперь меня позабудут,
И книги сгниют в шкафу.
Ахматовской звать не будут
Ни улицу, ни строфу.

Но ее не забывали, чтили по-прежнему и заботились. Благодаря хлопотам Александра Фадеева она получила в сорока шести километрах от Ленинграда на Карельском перешейке в поселке Комарово в пожизненное пользование половину литфондовского щитового домика, купленного в Финляндии.

Я жил неподалеку от этих четырех финских домиков Литфонда, стоявших в тени, среди молодых сосенок. Их сдавали на лето писателям, по полдачи каждому на один, два срока.

Пока на даче жила Аня с собачкой — девочка приемной дочери Анны Андреевны — было кому ходить в продуктовые магазины за хлебом, картошкой, молоком и мясом. Потом девочка подросла, собаку подстрелили какие-то подлецы, и Анна Андреевна большую часть лета жила одна.

Она потяжелела, стала еще величественнее, ходила с гордо поднятой головой, но очень медленно. Ходьба через лесок в продуктовые магазины утомляла ее, а длинные очереди унижали, приводили в отчаяние. Однажды жена поэта Александра Гитовича Сильва уступила свою очередь Ахматовой, а сама ушла в промтоварный ларек. Через некоторое время одна из зазевавшихся зимогорок, увидев впереди величественную, почти царственную фигуру, не без робости заметила:

— Вас здесь не стояло.

За Анну Андреевну заступились дачницы и оставили в очереди. Сама она, конечно, не удостоила ответом зимогорку, но забавную фразу «Вас здесь не стояло» запомнила и часто вспоминала.

Гитовичи жили рядом с Ахматовой в соседнем финском домике.

Когда Анна Андреевна занималась для заработка переводами корейских поэтов, Александр Гитович переводил китайских классиков. Его поражала начитанность Ахматовой, ее знание мировой литературы. Но и он ей мог помочь, так как закончил войну в Корее и кое-что мог рассказать о поэтах, быте и традициях. Они оба не знали языков переводимых поэтов, пользовались подстрочниками университетских специалистов, которые приезжали на дачу подышать свежим воздухом и посидеть вместе за стопкой вина. И это вскоре стало традицией.

Добрейшая Сильва Гитович освободила Анну Андреевну от походов в магазины и взяла на себя заботу о пропитании. Чтобы Анна Андреевна не теряла времени за газовой плитой, она готовила обеды на троих.

Иногда к Ахматовой и Гитовичам набивалось столько гостей, что их некуда было усадить. Все приезжавшие на дачу, видимо, полагали, что холодильники у них ломятся от яств... А у них не было ни холодильников, ни лишних припасов, зарабатывали они очень мало. Легкомысленным гостям приходилось самим отправляться за колбасой, маслом, хлебом и вином.

У меня с Александром Гитовичем были давние приятельские отношения, не раз приходилось бывать у него на пиршествах в Комарове.

К концу жизни Анна Андреевна была обречена на какое-то неприкаянное, бродячее существование. В ее доме и на даче не было ни уюта, ни комфорта. Не налаживались и отношения с сыном. Она не имела своего гнезда, хотя получила отдельную трехкомнатную квартиру в писательском доме на улице Ленина. В новый дом Анна Андреевна забрала с собой семью приемной дочери, оставшейся с нею после ареста известного искусствоведа Николая Николаевича Пунина.

Летом Анна Андреевна обитала на даче, а зимой стремилась к друзьям в Москву, где вела кочевую жизнь: ночевала то в одном доме, то в другом, имея с собой только небольшой потрепанный чемоданчик.

Всех удивляла ее выдержка, ее непреклонность и политическая мудрость. Ее всюду встречали с глубоким уважением и почетом. После смерти Сталина она была избрана в Президиум писательского съезда и как должное, без осуждения, принимала то, в чем прежде ей отказывали. Она получила и европейское признание, выезжала в Италию получать за стихи международную премию «Этне-таормина» и в Англию за мантией почетного доктора литературы Оксфордского университета. Осаждавшие ее буржуазные писаки всегда получали холодный отпор.

В стихотворении про Комарово Ахматова писала:

Здесь все меня переживет,
И этот воздух, воздух вешний,
Морской свершивший перелет.

Так и случилось. Она умерла в Москве от инфаркта, а похоронена в Комарове. По ее завещанию сын где-то раздобыл большой старый ржавый крест и установил среди плит над могильным холмом. Могилу ее посещают толпы любителей поэзии.

Деятельность поэтов и прозаиков всегда вызывает всеобщее внимание и строгий суд. Всякий норовит вмешаться, учить, указывать верный путь, подталкивать к нему... И надо научиться не реагировать на скоропалительные советы, суметь переносить и заслуженные похвалы, и зубодробительную критику. От твоей стойкости будет зависеть, останешься ли ты собой.

Лев САМОЙЛОВ



Конвоир долго вел меня по длинным коридорам и гулким железным лестницам. Я неловко нес в охапке свои вещички, а также выданные мне тощий матрас и грязное затрепанное одеяло, изо всех сил стараясь не выронить их. Затем с грохотом и лязгом отворилась дверь. Я невольно отшатнулся от тугой волны спертого воздуха и влажной вони, которые буквально оттолкнули меня. Очки сразу запотели. Меня впихнули в это нутро, и дверь с тем же грохотом и лязгом захлопнулась.

Когда стекла очков отошли, я увидел, что нахожусь в битком набитой камере, очень тесной: примерно два с половиной на три с половиной метра. Четыре человека лежали на пристенных койках («шконках») в два яруса, еще пятеро размещались на полу в узком промежутке между койками и даже под ними. Я — десятый. У двери — унитаз и раковина водопровода. В камере — небольшое оконце с решеткой, а за решеткой — плотные железные ставни-жалюзи. Естественного света нет совсем. «Небо в клеточку» — это прошлый век. Яркие лампы мертвенного дневного света, не гасимые ни днем, ни ночью. И сизая завеса табачного дыма.

Где-то снаружи, совсем рядом, но теперь недосягаемая, залитая солнцем и овеваемая ветрами ширь Невы. По ней сейчас скользит пароход с туристами и оттуда доносится усиленный мегафоном голос экскурсовода: «А вот слева мрачная громада красного кирпича за глухими стенами. В прошлом это страшная царская тюрьма „Кресты", ныне картонажная фабрика...»

Все это было в той жизни, на воле: и Нева, и солнце, и благонамеренный обман экскурсовода. А я нахожусь внутри этой каменной громады, и для меня это все те же «Кресты». Официально — действительно не тюрьма, а «следственный изолятор». Ведь надо же изолировать подозреваемого, пока идет следствие, чтобы он не мог сговориться с сообщниками, скрыться от правосудия, а то и совершить новое преступление. Раз уж ты подозреваемый, значит, потерпи, пока разъяснится, виновен ты или нет. Раньше было в ходу название «дом предварительного заключения», теперь вот «следственный изолятор». Признаться, от меня ускользали эти официальные тонкости. Тюрьма есть тюрьма, какими бы обтекаемыми словами ее ни называть, хоть картонажной фабрикой.

Моими первыми сокамерниками оказались бомжи, алкоголики и тунеядцы. Грязные, небритые, будто изжеванные, они целыми днями лежали на нарах и с горячечным азартом подогревали себя воспоминаниями. Не о прожитом — о выпитом. Бормотуха, самогон, одеколон, политура, с закусью и натощак, запивая и занюхивая... Некоторых трясло и корчило — эти еще не отошли.

Постепенно я стал привыкать к тюремной баланде, различать «хряпу» из овощей от «могилы» (рыбной похлебки с плавающими скелетиками) и «опарышей» (раваренных в слякоть макарон). Чаще в кормушку просовывалась каша в алюминиевых мисочках, вполне съедобная, но если ее есть изо дня в день... Пища без протеинов, без витаминов, без вкуса позже начинала сказываться — появлялись вялость, головные боли, фурункулез.

Через две недели, очнувшись от шока и оцепенения, я написал письмо в высокие инстанции, жалуясь на произвол, и передал надзирателю. В ответ пришла бумажка от тюремного начальства, что разрешаются письма только в правовые органы. И тотчас меня перевели в другую камеру, во всем такую же, но с иным контингентом, посерьезнее: крупный квартирный вор, валютчик, мошенник; прочие обвинялись в убийстве, в причастности к банде, хотя вину свою отрицали. Адвокатов к нам не допускали: следствие еще не закончилось.

И потянулись долгие тюремные дни и ночи, пустые и никчемные. С трудом привыкал и к тому, что днем сокамерники почему-то спят, а ночью рассказывают байки, ссорятся и режутся в карты. Игра эта запрещена (мало ли на что будут играть!) и все же карты делаются из газет, и игра идет ночи напролет. Играющих кто-нибудь спиной заслоняет от дверного глазка. Но «цириков» (надзирателей) не проведешь. Распахивается дверь, в камеру врывается молодая полная «циричка». Кто-то схватывается с унитаза, но «циричка», добродушно хлопнув его по плечу («какай, какай!»), устремляется в проход и молча протягивает руку: «Ну!» Немая сцена. «В „стакан" захотели?!» «Стакан» (или бокс) — это глухой узкий железный ящик наподобие холодильника, в котором можно только сидеть или (в других) только стоять. Таких много в тюремных коридорах. Мои сокамерники «стакана» не очень боятся (там позволяется держать заключенного только до пересменки надзирателей), но самодельную колоду отдают. Через час будет готова другая...

Я не картежник, ненавижу это пустое времяпрепровождение, и для меня вид сокамерников, склонившихся над картами, только подчеркивает ужасающую реальность пустоты, остановленного времени: вот еще одни сутки, неделя, месяц, вырванные из жизни.

Я еще не знал, что здесь, в этих камерах, одинаковых, как соты, мне предстоит провести более года — сначала на полу между «шконками», потом под «шконками», потом — на правах старожила — на «шконках». В том мире, отсеченном этими крепостными стенами, осталась жизнь — мои лекции студентам, дискуссии, написанные мною книги. Туда, в прошлое, отступили тревожные и печальные лица потрясенных коллег, друзей и родных. Все это было теперь недосягаемо далеко и даже в памяти подернулось какой-то дымкой. Назойливо выступала новая реальность: черед унизительных допросов, обследований, обысков, переводов из одной камеры в другую.

В том мире я привык к всеобщему уважению, к тому, что моим словам внимают и верят. Здесь же я не просто песчинка в огромном потоке — на каждом шагу мне дают почувствовать, что это поток грязи. «Эй ты, старое падло! Тебе говорю, очкарик! Ну что торгуешь зевалом?» Это молодая надзирательница кричит мне (только лицо она назвала не «зевалом», а словцом покрепче). Я не выдерживаю: «Мы все-таки люди. Я вдвое старше вас, и я не преступник. Суд еще впереди, и он меня оправдает». Она даже опешила: «Удивил! Я не первый год тут, а что-то не слыхала об оправданных. Попал сюда, значит, преступник!»

Потом я понял: здесь все убеждены в том, что каждый попавший сюда — преступник. Ну, а с такими чего уж церемониться. Лица рангом повыше — на порядок вежливее, но в возможность оправдания не верит никто. Прямо хоть надпись вешай, как на воротах ада у Данте: «Оставь надежду всяк сюда входящий!»

Приходится привыкать и к тому, что ни одному моему слову здесь нет веры, что исповеди и наветы одинаково гладко ложатся на бумагу и в столкновении наветы далеко не всегда проигрывают. Они почему-то весомее. А застыв на казенной бумаге, сухие и мертвые слова наливаются буйной силой и превращаются в факты, с которыми уже волей-неволей начинаешь считаться. И на опровержение приходится тратить неимоверные усилия...

Впереди были долгое следствие и многодневный суд, требование прокурора (шесть лет!) и приговор к трем годам лишения свободы. Это было в 1981 году. Правда, приговор был отменен вышестоящей судебной инстанцией, но меня не оправдали, а дело направили на доследование. Я продолжал сидеть в тюрьме. По новому приговору я снова был осужден, только срок уменьшили еще вдвое, и уж этот я отбыл «до звонка».

С трудом, но многое из прежней своей жизни, еще той, до ареста, я восстановил. Снова выходят мои статьи в научных и популярных журналах, у нас и за рубежом пишут о моих открытиях (простите за нескромность). Но я не реабилитирован. Я и по сей день отрицаю свою виновность и продолжаю добиваться отмены последнего, полностью отбытого приговора. Однако написать статью в «Неву» меня побудила не надежда таким образом обелить себя. Ныне для всех слово «юстиция» обретает свой буквальный смысл: по-латыни это значит «справедливость». И я верю, что со своей бедой я справлюсь сам, действуя, как положено, по юридическим каналам. Поэтому я не называю своей подлинной фамилии, не пишу о сути своего дела. Более того, я готов к тому, чтобы в этом разговоре меня считали *бывшим* преступником (до тех пор, пока приговор не отменен). Я пишу о проблеме, которая касается многих — и «бывших» и не «бывших». Может коснуться любого. Просто мне довелось познакомиться близко с рядом ее болезненных аспектов.

Возможно, читатель проглядывает эту статью несколько отстраненно и свысока: любопытно, конечно, но меня-то это никак не затрагивает, я ведь туда не попаду никогда. Бывало, я тоже так думал. Даже не думал — ощущал. И лишь оказавшись там, убедился: каждый может познакомиться с юстицией в качестве подозревае-

мого или даже обвиняемого. Говорится же: от тюрьмы и сумы не зарекайся.

Достаточно случайного совпадения — поблизости ЧП: кража, убийство, пожар. Вы попали в число подозреваемых. Обстоятельства сложились так, что подозрение сгустилось именно на вас. Вы невиновны, и, разумеется, без твердых доказательств вас не осудят. Точнее, не должны осудить (бывают и судебные ошибки). Но пока суд да дело, вы под следствием. В детективных фильмах и романах все это чертовски занимательно. Подозрение, как черная тень, переходит с одного персонажа на другой, держа всех в напряженном ожидании, пока не обнаружится подлинный виновник (в конце детектива это всегда происходит, и уж тут-то ошибок не бывает). Но ведь и в жизни детективных историй немало, и бродит, бродит эта черная тень! Ищет — на кого бы упасть.

Но отбросим случайности. Если быть искренним: всегда ли вы были идеально чисты перед законом, не нарушали закон (или так называемые подзаконные постановления) — пусть из самых лучших побуждений, субъективно считая себя честным? Не подписывали (ради дела) фиктивных бумаг, не прибегали к «левым» услугам, не закрывали глаза на то на се? Скажем, вам никогда не доводилось «подмазывать» какой-нибудь винтик многоэтажного и многоподъездного бюрократического механизма? Но ведь на юридическом языке это очень близко к взятке, а за взятку полагается ого какой срок! А сколько хозяйственников, радеющих за успех своего предприятия, село на скамью подсудимых только за то, что они не соблюли устаревшие нормативные документы, хватающие их за горло инструкции, которые связывали инициативу и новаторский подход к делу.

Допускаю, что вы никогда ничего такого не нарушали и не нарушите. Из принципиальных убеждений или по робости перед любым предписанием, идущим свыше. Но в любом случае вы принадлежите к одной из двух половин человечества: либо водитель, либо пешеход, третьего не дано (разве что прикованный к постели инвалид, но это исключение). Многим ли водителям удавалось избежать столкновения, а там поди разберись, чья вина. А если вы пешеход, то не поверю, что всегда, даже в спешке переходили улицу только в установленном месте и только на зеленый свет. Но ведь это значит, что подвергались риску не только заплатить штраф или попасть под машину, но и создать аварийную ситуацию. А это может оказаться и подсудным делом.

Никого не хочу пугать. Хочу лишь дать понять, что никто не застрахован от встречи с юстицией лицом к лицу. И для каждого это очень личная забота — чтобы меч правосудия никогда не опустился на невинного, не ударил со всего маху человека, случайно оступившегося. Ведь он нанесет неизгладимую травму на всю жизнь. Я провел *там* только полтора года, но вся моя жизнь — до конца дней — отныне делится на «до» и «после». Иначе и быть не может. Можно забыть телесную рану, но если уязвлена душа, то боль не проходит. Она лишь уходит в глубину.

В памяти «Кресты» воздвигнуты намертво. Я сорок лет в Ленинграде, но не знал, почему старая питерская тюрьма называется в обиходе «Кресты». Лишь попав туда, узнал. Оказывается, название происходит от архитектуры тюремных зданий. Они были построены в прошлом веке по самым для того времени современным образцам — в виде крестообразных корпусов. В центре каждого креста застекленные будки — пункты наблюдения, а от них во все четыре стороны расходятся длиннющие коридоры с камерами по обеим стенкам. И так — на каждом этаже. Один крест служит для содержания подследственных — это и есть собственно следственный изолятор, другой крест — для содержания осужденных: сюда помещают уже после суда. Здесь заключенные ожидают утверждения приговора, ответа на кассационное обжалование, затем — этапа, то бишь отправки в исправительно-трудовую колонию, на зэковском жаргоне — в «зону».

После первого суда, получив приговор, я покинул первый крест — корпус подследственных — и был переведен во второй — корпус осужденных. Там я провел несколько месяцев в камере (такой же, как прежние). Там составил и послал подробное обжалование, хотя все вокруг — и сокамерники, и надзиратели — говорили, что это пустое дело: отмен приговора почти не бывает. Но чудо произошло: отменили! Как только пришла бумага об этом, меня тотчас же перевели назад, в первый крест — корпус подследственных.

Прошло еще несколько месяцев, и снова суд, продолжавшийся пять дней. Снова приговор, и опять — в корпус осужденных, во второй крест. Новая камера, потом еще одна — эту последнюю называют «этапной»: отсюда уходят по этапу в «зону». Кстати, именно из «этапных» камер некоторых заключенных, у кого есть желание, водят в небольшую тюремную мастерскую, «картонажку», клеить картонные коробки (это и есть «картонажная фабрика»).

Побывав дважды в положении подследственного и осужденного, я невольно начал сравнивать условия содержания. Два креста, и оба одинаковы. Но позвольте, тут что-то не так. Во втором корпусе содержатся осужденные, им *положено* нести кару за преступления, и суровые условия содержания для них правомерны. Можно спорить о целесообразности этих мер перевоспитания, можно возражать против средств, унижающих человеческое достоинство и причиняющих физические страдания, но, отвергая грубые виды физического воздействия, надо признать, что какое-то страдание осужденных неизбежно. Без страдания нет кары, страдание составляет часть кары.

Иное дело — те, кого держат в первом корпусе. Это подследственные. Их подозревают в совершении преступлений, но вина их еще не доказана. Любой из них может оказаться непричастным к преступлению. И тогда приговор должен свестись к оправданию. Это же аксиома правосудия: до суда подозреваемый в преступлении считается невиновным. По какому же праву содержание ему назначено такое же, как осужденному? Суда еще не было, а меч правосудия уже опустился, уже карает. Тюрьма уже «перевоспитывает» — всей сложившейся системой жестких ограничений, лишений, невзгод, травмирующих и тело, и душу.

Все приговоры, как правило, заканчиваются добавлением: «время предварительного заключения (такое-то) зачесть в срок отбытия наказания». Что ж не зачесть, коли они неразличимы? А если оправдают, куда засчитывать это время? Чем компенсировать невзгоды? И как вернуть невозвратимое — вычеркнутые из жизни месяцы и даже годы?

Оговорюсь, у первого креста некоторые отличия от второго все же есть: подследственным разрешается получать пищевые передачи от родных раз в месяц, то есть чаще, чем осужденным. Получают далеко не все, а содержимое, естественно, делится в камере на всех, так что получившему передачу остается самая малость. Другие различия и вовсе несущественны. Такие же камеры, та же теснота, духота. Летом, когда солнце накаляет железные жалюзи, в камере нечем дышать. Мы периодически льем воду мисочками на жалюзи и, рискуя попасть в карцер, продавливаем стекло глазка. Пока застеклят снова, все-таки чуточку легче.

Вспоминается и борьба со вшивостью. Вши появляются часто именно в корпусе подследственных. Как только в камере обнаружились вши, всех ведут в душевую, одежду и постели прожаривают в специальных печах, а в это время в пустую камеру входит дезинфектор с ведром карбофоса, обильно поливает ее и уходит. Нас опять загоняют в камеру и закупоривают. Насекомые подохнут, а человек живуч. Такую дезинфекцию я проходил несколько раз.

А медицинское обслуживание? Оно предусмотрено — помереть не дадут. Но вот у меня заболел зуб. Через три дня добился вызова к врачу. «Тут не лечим. Можем только вырвать».— «Помилуйте, почти здоровый зуб!» — «Тогда терпите».— «Так ведь невмоготу!» — «Разговор окончен. Следующий!» Написал заявление начальнику тюрьмы. Жду. А зуб болит. Через неделю вызвали и молча запломбировали. Кажется, за долгое время я был первым и единственным, кто этого добился. Пока мне пломбировали, пятерым выдернули.

Однако все эти испытания — не самые тяжелые из тех, на которые обречен подследственный. Что труднее всего перенести — это конфликтность и агрессивность самой среды, сокамерников. От их норова, блажи, диких потех, произвола («беспредела» на жаргоне заключенных) ты практически беззащитен. Бандиты, грабители, хулиганы, насильники — здесь ты с ними бок о бок на нескольких квадратных метрах. Весь день и всю ночь, и все время. Призывать милицию? Она, конечно, близко, но за толстой каменной стеной. Дозваться ее непросто, да и вообще *ломиться* в дверь и жаловаться очень не советую, как бы тебе ни пришлось худо. Ну, поругают или даже накажут обидчика и уйдут, а ты ведь все равно остаешься «наедине со всеми». Только к тебе уже пристанет кличка «ломового». Не дай бог такую заслужить. Это не просто кличка, это статус и судьба.

В камере есть радиоточка, работает несколько часов в день. Время от времени вещает местный радиоузел. «Граждане заключенные. В камере номер ... заключенные такой-то и такой-то систематически издевались над таким-то, нанесли ему увечья. Они сурово наказаны... Во всех случаях надругательства и насилия обращайтесь к администрации».

Охотников обращаться мало.

За грубые нарушения режима (драки, неподчинение, попытки наладить связь с «волей») грозит карцер. В отличие от «стакана», карцера боятся все. Это холодная сырая одиночка. Заключенного помещают туда в трусах и майке. Нары откидные и на замке — ложиться можно только на ночь. Горячая пища один раз через день, и то по уменьшенной норме. Даже сутки в карцере выдержать трудно, а ведь дают и по десяти. В драки лучше не ввязываться. Но это трудно: нервы у всех натянуты до предела, а контингент тут большей частью не отличается тонким воспитанием. В карцер же часто сажают обоих участников драки — и зачинщика и вовлеченного, да и где тут разберешь, кто зачинщик.

Есть наказания и почище карцера, правда, неофициальные.

В нашей камере завелся отчаянно драчливый тип — Толя, злобный, истеричный и агрессивный. Постоянные драки нам до смерти надоели и вывели из себя офицера, ответственного за наше отделение. Он пригрозил: «Переведу в напряженку!»

«Напряженка» — это камера, где сидят самые отпетые нарушители режима, где сокамерники «напрягают» (притесняют) новичков. Толя не угомонился. На следующий день он затеял новую драку, метался по камере с острым куском стекла от выбитого окошка — самодельным кинжалом. Пришел офицер, сказал: «Я тебя предупреждал». И велел увести Толю с вещами.

Через неделю надзиратели привели его назад, бледного и осунувшегося. Он тихо забился под «шконку» и сутки оттуда не вылезал. Потом выкарабкался и, пересилив себя, хрипло сказал: «Вот что, ребята. Делайте со мной что хотите. Бейте, наказывайте. Только простите и не гоните из камеры. Опер сказал, что если простите, оставит здесь. А туда я не могу. Лучше смерть. Порешу себя, вот увидите». Мы помялись и с какой-то неловкостью выразили свое согласие.

Только через неделю Толя отошел, успокоился и как-то ночью, шепотом, дрожа всем телом, рассказал мне, что творилось в той камере. Толя описывал сцены, стоявшие перед его глазами, по многу раз возвращаясь к одному и тому же, и мне было нетрудно представить душную камеру, ее татуированных с ног до головы обитателей и парнишку по прозвищу Умка. Трусы у него разрезаны внизу и превращены в юбочку. Только возле унитаза, где лежит его матрасик, ему разрешается стоять. В остальную часть камеры позволяют проходить только на четвереньках — для уборки, которую ежедневно по три раза проводит он один.

«Умка! Танцуй!» И Умка, приподняв свою юбочку, вертит голой задницей и пытается улыбаться. «Пой!» Умка поет, но скоро останавливается. «Забыл слова»,— говорит он севшим от ужаса голосом. Один из отпетых берет в руку башмак: «Вспоминай!» — удар башмаком по лицу. Умка трясет головой: «Не помню...» Еще удар: «Вспоминай!» Удар за ударом. Умка бледен, шатается, но вспомнить не может. «Ладно, хватит. Становись в позу»... Пересказывать дальнейшее не решаюсь. Толя же, наговорившись, умолкал, широко раскрыв глаза, и его трясло. Видимо, перед его глазами снова и снова проходили страшные сцены повседневного быта «напряженки». Но он никогда не рассказывал, что там проделывали с ним самим. А я не спрашивал.

Потом я слышал много других подобных рассказов о людях, доведенных до уровня бессловесных и послушных животных, да и видел таких. Я интересовался у бывалых уголовников, заправил «напряженности»: «Сколько же требуется времени, чтобы превратить человека в такую жалкую тварь?» Отвечали: «Смотря как бить. Если понемногу, но постоянно, то недели две». «И любого можно вот так за две недели?..» Ответ был: «Почти любого. Некоторые возникают, конечно. Таких уносят на носилках»...

Вот ведь и в «напряженку» можно попасть не за провинность, а так, за здорово живешь, просто потому, что в других камерах не оказалось свободных мест.

К самой администрации «Крестов» у меня нет особых претензий. Более того, по отзывам тех, кто прибыл по этапу из других городов, это еще одна из лучших тюрем — она отличается сравнительной чистотой, благоустроенностью, сносным обращением.

В камеру ежедневно доставляются газеты — каждый день какая-нибудь одна. Помню, в газете описывались злоключения какой-то ирландской семьи. Мужа и жену арестовали и подвергли пытке — трое суток заставляли спать при ярком свете ламп. Читая статью, мои сокамерники покатывались со смеху: у нас во всех камерах свет не выключался и не пригашался никогда. Не разрешалось даже завешивать лампы полотенцами. Надзиратели всегда должны видеть через глазок, что творится в камере. Не позволялось даже лица прикрывать (а вдруг человек уже мертв?).

Привожу этот случай не для того, чтобы показать промахи нашей пропаганды, проистекающие из двойной шкалы оценок (*для них* и *для нас*). Хочу оттенить другое: нести неудобства и страдания вынуждены как виновные, так и люди, еще не признанные таковыми.

Конечно, и подозреваемых правомерно содержать, если дело того требует, под стражей и в изоляции. И конечно же, сам факт ареста до суда неизбежно влечет за собой разумные ограничения свободы и определенные лишения, дискомфорт. Но, согласитесь, условия такого содержания должны (и могут) быть иными — такими, на которые имеет право любой гражданин нашей страны, не признанный по закону виновным. А признать виновным и назначить более суровые условия содержания, согласно Конституции, может только суд.

Гораздо серьезнее другие ограничения, которые признать неизбежными и логически оправданными еще труднее. Почему подследственный лишен возможности иметь под рукой уголовный и уголовно-процессуальный кодексы? Уже выйдя на волю, я узнал, что закон не запрещает пользоваться ими в тюрьме. Но попробуйка попросить — тебе ответят категорическим отказом. Чтобы не набрался ума-разума для умелого сопротивления следствию? Но ведь кодекс может обучить только одному — *законному* сопротивлению *незаконным* приемам и нарушениям, к которым иногда прибегают работники следствия и суда. Ничему другому. Правда, перед допросом тебе дают расписаться в том, что ты предупрежден о том-то и о том-то, дают прочесть какой-то абзац. Там что-то сказано о правах. Не запомнилось. В потрясенном состоянии до того ли было. Все как в тумане. Вот вернулся в камеру — спохватился: что там говорилось о правах? Да и говорилось-то скороговоркой, а ведь на самом деле прав у подследственного немало, но никто не помогает разобраться в них. А не зная своих прав, подследственный не может установить их нарушения. Как бы кстати пришелся в таком положении адвокат! Но общаться с ним, пока не закончено следствие, нельзя. Не предусмотрено законом. В большинстве стран предусмотрено, и осуществляется это общение буквально с первого вызова к следователю — адвокат оказывается рядом с подследственным. А у нас запрещено. Почему?

Теперь о суде. Есть у юристов такое расхожее утверждение: суд — это состязание сторон. С одной стороны, подсудимый и его адвокат (тут уж он рядом с подсудимым), с другой — обвинитель, прокурор. А судьи — над ними, беспристрастные и справедливые.

В реальности очень это неравное состязание. Подсудимый провел много недель и месяцев в условиях, мало способствующих подготовке к состязанию. Особенно, если судебный процесс вопреки ожиданиям затянулся. Со мной рассчитывали разобраться за день, но первый суд продолжался три дня, а второй — пять. Такое случается часто. Между тем, на суд уводят насовсем — с вещами. И пока приговора нет, ты возвращаешься не в свою камеру, а в какую придется, где и будешь пережидать ночь на корточках у двери. К тому же в суде не кормят и не разрешают родственникам подкармливать, а привезут назад в тюрьму уже к ночи, ужин прошел. Так что весь день «состязания сторон» довольствуешься пайкой хлеба и миской «могилы», полученных в пять-шесть утра. А тогда они не лезли в горло. Так что практически я не ел и не спал все трое суток первого процесса и пять суток второго. На первом суде пришлось вызывать ко мне «скорую помощь», второй перенес хорошо — закалился.

К тому же из «Крестов» развозят по районным судам специальные, «воспетые» Ахматовой машины, хорошо всем знакомые снаружи. А вы заглядывали внутрь? В этот железный ящик легко умещается человек шесть, восьмерым уже тесно, набивают же туда человек пятнадцать — двадцать. Вытащили измотанного, измятого, измочаленного, недоспавшего, голодного — и приступай к состязанию, в котором тебе противостоят люди спокойные, сытые, со свежей головой. Нередко в чрезмерной тяжести или даже ошибочности приговора виноваты не только судьи, виноват и сам подсудимый: плохо защищался на суде. Но мог ли он защищаться лучше? У французов есть такое выражение — «остроумие на лестнице». Это те меткие ответы в споре, которые человек упустил произнести, надумав их уже выйдя, на лестнице. Всем осужденным хорошо знакома горечь этого состояния.

По идее следователи избирают содержание под стражей как «меру пресечения», то есть предотвращают таким способом нежелательные эксцессы. Но часто это делается без действительной надобности. Закон допускает эту меру в порядке исключения, а на практике арестовывают почти половину подследственных. Вроде бы из перестраховки. Мне кажется, истинные мотивы такого пристрастия следователей не столь бесхитростны. «Мера пресечения» превращается иной раз в средство давлении на психику подследственного, в средство разрушения его внутренней защиты. Она имеет целью ошеломить его и разоружить перед судом. Пострадавший от воров обыватель скажет: ну и что, так и надо, чего с ними чикаться? Пусть преступники растеряются и выдадут все, что хотели скрыть!

Хочу напомнить: это не преступники, это подследственные, и лишь суд должен установить, кто из них преступник, а кто нет. А «выдать» человек может и то, чего не было. Известный русский юрист Кони говаривал, что много есть причин, по которым на следствии и в суде делаются «признании», и действительная виновность — лишь одна из них.

У подследственных складывается впечатление, что в коридорах юстиции никто не заинтересован в том, чтобы выяснить истину, отсеять наветы от фактов, отделить виновных от невинных. Почему все работает только на подтверждение виновности, спрашивают они, почему все старания — натянуть статью на человека, надеть на него приговор, как коронку на зуб, «засудить»? Конечно, у подследственных и подсудимых взгляд особый, субъективный. Но ведь какая-то доля истины тут есть.

Я много думал над тем, почему в судебной практике так редко случаются оправдательные приговоры — та надзирательница не врала. Почему допускаются (и не так уж редко) грубейшие судебные ошибки?

Говорят, дело в личных особенностях некоторых следователей и судей — некомпетентности, недобросовестности, карьеризме. Значит сказывается плохая подготовка юристов в вузах и бюрократический отбор туда — по анкетным данным и связям. А может, виновата профессиональная черствость, которая вырабатывается от постоянного столкновения с преступлениями, низостью, горем, ложью? Если нет широты кругозора и мудрости, душа может ожесточиться и на-

чнешь в каждом видеть злодея, раз он приведен под конвоем, возникнет некий рефлекс.

В Венеции эпохи Возрождения был казнен пекарь. Его невиновность выяснилась уже после исполнения приговора. С тех пор во все века существования Венецианской республики перед каждым судом специальные глашатаи громогласно напоминали судьям: «Помни о пекаре!» По Лиону Фейхтвангеру, эту легенду не забывали даже в таком «правовом государстве», как Германия 20-х годов. В романе «Успех» писатель рассказывает, что в кабинете министра юстиции Баварии висела надпись: «Помни о пекаре!» (не знаю, факт это или вымысел). У нас нет таких надписей, но боюсь, если бы решились их сделать, не хватило бы стен министерского кабинета.

Значит, какая-то вредная червоточина завелась в самой системе осуществления правосудия, в его структуре, в отношении к подсудимому. Я не знаю, по каким формальным критериям в милиции и прокуратуре судят о работе следователя, какую работу считают успешной. Оцениваются ли работоспособность и искусство следователя по проценту раскрытых преступлений, а его добросовестность — по проценту подтвержденных версий? Или по быстроте расследования дел? Как учитываются различия в сложности и значительности дел? Похоже, что эти или очень близкие критерии в оценке присутствуют. Как-то от них зависят поощрения и взыскания, карьера следователя и уж во всяком случае его служебное реноме. Видимо, недостаточно отработан механизм, который бы стимулировал равную заинтересованность следователя в обвинительной и оправдательной версиях. На практике не приходится ждать от него спокойного отношения к такой розовой перспективе: подозрения не подтвердились, обвинение растаяло, версия разрушена, подсудимый оправдан. Психологически для следователя это фиаско! А дел — невпроворот, и дела зачастую сложные — впору Шерлоку Холмсу разбираться, а следователь далеко не всегда обладает такими талантами и знаниями, как его коллега с Бэйкар-стрит.

Вот и рождаются маленькие хитрости. В нашей камере квартирный вор угощал всех шоколадом, курил фирменные сигареты, словом, всячески шиковал. На мой вопрос, откуда такие блага, куражился: «Следак (следователь) и не то принесет! На нем висят хаты, а кто их разбомбил — хрен найдешь. Вот и уламывает, чтобы я взял на себя. У меня их и так двадцать две, а двадцать или сорок — ответ-то один. По моей статье верхний предел — пятерка. Больше дать не могут, а меньше мне никак не светит».— «Так ведь иск вырастет!» — «Ну и что? Хрен с меня возьмешь! Все равно вычитать больше двадцати процентов нельзя. Двести лет вычитать будут. Хрен с ним, возьму на себя его хаты».

Мне пояснили, что такие фокусы — нередкая практика. Так сказать, профессиональные секреты следовательского ремесла. Сводка о раскрытых преступлениях пухнет, а преступления, сами понимаете, остаются нераскрытыми — воры гуляют на свободе и продолжают «бомбить хаты». А вдумайтесь в суть этого приема: следователь вступает в сделку с вором — они совместно обманывают государство.

Но со всеми делами так не разделаешься. И тогда для следователя-неудачника все замыкается на одном-единственном подследственном, который упорствует, не сознается, клянется в своей невиновности и портит всю картину. Появляется подсознательная уверенность, что этот подозреваемый виновен. Он должен быть виновен. Надо лишь чуть-чуть подтянуть факты, чуть-чуть поднажать на психику подследственного. А может, и не только на психику. А может, и не чуть-чуть.

Так из подсознания, из подполья выползают незаконные методы допроса. Добро бы только обман, угрозы, шантаж (и они незаконны!). В камере я как-то опросил всех, кто сидел со мною, кого из них били в милиции или у следователя. Из 10 заключенных оказалось 8 битых. Врать им было незачем, это ведь не жалобы начальству, тут были все свои. Все же я мог бы не поверить своим сокамерникам (ну, прихвастнули: за битого двух небитых дают!). И вообще, я понимаю, что моя тогдашняя статистика хромает: выборка маловата, сведения не вполне надежны. Но теперь, когда мы прочли в газетах и журналах целую серию статей на эту тему, становится ясным: это не отдельные исключения, а негативное явление, не столь уж редкое. Опасное для общества.

Большей частью со мной сидели действительно преступники — воры, мошенники, хулиганы. Но ведь преступление совершали и те, кто их бил. Подтверждалась воровская мораль: не за то они терпят, что нарушали закон (вон следователь тоже нарушает!), а за то, что попались.

Сидевший со мной парень не вытерпел избиения и взял на себя кражу, которой он не совершал вообще. Решил, что лучше отсидеть несколько лет, но сберечь здоровье. Он явно не врал: поведал все только мне, тайно, чтобы не слышали другие, а то засмеют, что сидит зря. Засмеют не потому, что сдался, а что — не воровал. Срок-то все равно получит. Признаться, я нарушил «тайну исповеди»: сообщил тюремному начальству, что знал. Парня увели, и больше я его не видел.

Я далек от намерения очернить всех следователей. Сам знаю среди них энтузиастов правосудия, бескорыстных и самоотверженных тружеников с небольшой зарплатой и тяжелым бременем дел. Но опубликованные данные недавно проведенного выборочного опроса судей показывают, что 82 процента их оценивают работу следственных органов как плохую или посредственную. Мне трудно судить, как нужно усовершенствовать критерии и стимуляцию труда следователя — это виднее профессионалам. Скажу лишь, что на мой взгляд, если бы удалось разгрузить следователя, он мог бы внимательнее и спокойнее относиться к каждому делу. С целым рядом проступков общество вполне могло бы справиться воспитательными и административными мерами, а также воздействием общественного мнения, без помощи закона, стало быть, без суда и следствия. Например, лет десять назад из кодекса исчезла статья о суровых наказаниях за скотоложство. Что-то незаметно, чтобы с той поры этот порок широко распространился и чтобы пострадали колхозные стада. И такие «резервы» в кодексе еще есть (их указывают в прессе).

Только ли следователь в двойственном положении? Прокурор — блюститель законности, он должен быть образцом объективности. Но ведь в суде он выступает как обвинитель. Он поддерживает обвинение, сформулированное следствием, и запрашивает наказание. Более того, почти в половине случаев он уже дал санкцию на арест и во всех — подписал обвинительное заключение. Поэтому он почти всегда отстаивает обвинение до конца. Он должен отстаивать интересы государства, но получается (объективное положение таково), что он отстаивает и амбиции своего ведомства. Если суд «дал» меньше (или много больше) запрошенного, психологически это неудача для обвинителя, а оправдательный приговор что-то вроде поражения.

Судья это понимает, и ему по многим причинам не резон ссориться с прокурором. Одна из них такая: если прокурор опротестует оправдание и высший суд с ним согласится, то судье не сдобровать, а если смягчат или отменят слишком суровый приговор, то ему ничего не будет. Ну, пожурят. Накопится таких многовато — укажут. Да и свои причины есть у судьи отворачиваться от возможностей оправдания или, правильнее сказать, от обязанности и от радости оправдать невиновного. Для судьи, по крайней мере, еще совсем недавно, это не было радостью. Его, по закону независимого, могли обвинить в либеральничаньи, так или иначе выразить недовольство. Ему, независимому, спускали сверху установки, какой мерой в данный момент взвешивать содеянное подсудимым, оглядываться или нет на его бывшие должности, мнимые или действительные заслуги. Звонили сверху по телефону в святая святых — совещательную комнату, где вершится заключительный акт суда — составляется приговор.

Но, кроме судьи, в процессе участвуют и народные заседатели, равноправные с ним в решении судеб людских! Да, участвуют. На жаргоне заключенных они прозываются «кивалы». В судах я понял, какое это меткое определение: сидят неподвижно, как манекены, по сторонам судьи и, когда возникают процедурные поводы для коллективного решения, судья вопросительно поворачивает голову направо, налево, а «кивалы» молча кивают. Судья объявляет: «Суд, посовещавшись на месте, постановил...» Секретарь заносит в протокол результаты совещания. Обычно этим видимая функция заседателей и ограничивается.

В скрижали истории занесены судебные реформы 1860-х годов. Они существенно демократизировали российское общество после отмены крепостного права, изменили правосознание народа. Это они создали суд, который оправдал Веру Засулич, стрелявшую в палача-генерала за то, что он приказал высечь заключенного. У суда присяжных были свои недостатки, их горько высмеивал Лев Толстой в «Воскресении». И все же...

Ныне все чаще раздаются голоса о необходимости судебной реформы, и, мне кажется, она должна быть широкой, глубокой, отвечающей духу добрых перемен во всех сферах жизни нашего общества. Нужны гарантии от произвола и нарушений справедливости. Такие гарантии, на мой взгляд, подразумевают разделение функций между разными правоохранительными органами и расширение прав адвоката. Как уже предлагалось в прессе, адвокат должен участвовать в деле, начиная с предварительного следствия. Ничем не оправдано, что он может исполнять свои функции лишь с момента, когда его клиенту уже предъявлено обвинение, ибо к этому времени подозреваемый может запутаться в трех соснах от незнания собственных прав и понести непоправимый ущерб от незаконных действий. Речь не идет об ознакомлении адвоката еще в ходе следствия со всеми материалами, собранными следователем,— это помешало бы следствию, но присутствовать на допросах и консультировать своего клиента он может без ущерба для следствия — если, конечно, оно ведется законным образом. А вот незаконные методы допроса это исключит. Да и ложные жалобы на следователя — тоже.

Не менее необходимо существенно ограничить охоту следователей избирать «мерой пресечения» арест, содержание под стражей. Это далеко не так часто необходимо, как делалось раньше. А изоляцию подследственного надо лишить тю-

ремного характера. Никто не вправе требовать замены тюрьмы отелем-люкс, но любой человек, чья вина еще не доказана, не должен ждать решения своей участи в условиях, которые уже сами по себе являются тяжелейшим наказанием. Мне представляется, что пока суд не вынес окончательный приговор, подследственный или подсудимый мог бы содержаться в условиях, близких к обычному общежитию, с полноценным питанием, с предоставлением всех возможностей для подготовки к защите на суде.

Хочу поддержать и такое предложение (оно тоже высказывалось в печати): отделить следствие от прокуратуры и милиции, выделить его в самостоятельное ведомство. Стоит подумать над тем, кому надлежит выступать в качестве обвинителя: разумно ли соединять надзор прокурора (и только ли над следствием?) с задачей, по самой своей специфике — односторонней и необъективной — с поддержкой обвинения на суде? Прокурор — фигура, в которой общество воплощает авторитет закона. Нельзя ли избавить такую фигуру от азарта состязания?

Я целиком на стороне идеи размежевать функции заседателей и судьи, то есть вернуться к суду присяжных. Заседатели все равно не то же, что судья: у них, как правило, нет профессионального опыта юристов. Уравнивать их в правах и обязанностях бессмысленно. В суде присяжных (как бы их ни называть) функции разделены. Присяжные-непрофессионалы (их больше, чем двое) уходят в совещательную комнату и сами, независимо ни от кого, на основании своего житейского опыта отвечают на заданный им вопрос относительно виновности подсудимого в предъявленном составе преступления. И выносят вердикт: «виновен» или «не виновен». Или «виновен», но «заслуживает снисхождения», и тому подобное. Житейского опыта для этого вполне достаточно. А уж тогда судья-профессионал, руководствуясь кодексом и своим развитым правосознанием, назначает наказание. Но виновность определена не им, а коллегией присяжных заседателей, над которыми он не властен и на которых он повлиять не может.

Чтобы усилить в судье сознание независимости, возможно, следует сделать его должность пожизненной, как, скажем, в Англии, где, кстати, и отбирают судей не из следователей, юрисконсультов или нотариусов, а из опытных адвокатов. Согласитесь, в этом что-то есть. Ну, а если окажется, что судья стал плохо работать или сам преступил закон, процедуру его снятия с поста разработать нетрудно.

Думается, что нуждается в перестройке и самый высший судебный эшелон: стоило бы нашему Верховному суду придать функции и права конституционного. Чтобы к нему мы могли обращаться, если заметим, что тот или иной государственный акт, закон или отсутствие такового противоречит Конституции.

Даже когда все корректировки будут приняты, путешествие по лабиринтам Фемиды все равно не превратится в увеселительную прогулку. Даже у невиновного повестка в суд всегда будет вызывать тревожное волнение. Даже у невиновного. Но, по крайней мере, для него будет намечен четкий и кратчайший путь выхода. А преступники...

Не хочу, чтобы кто-либо подумал, что моя цель — помочь преступникам избежать возмездия. Вот, мол, побывал *там* и проникся чувством солидарности с ворьем. Нет. Ни на минуту меня не оставляло сознание, что я заброшен в чуждый мне мир. Мне претили вкусы, нравы, ценности и убеждения многих моих сокамерников, и я этого не скрывал. Я не мог проникнуться их ненавистью к «ментам», ибо всю жизнь мое отношение к милиции было однозначно: моя милиция меня бережет. Несмотря ни на что оно осталось тем же. Я полон уважения к людям, которые самоотверженно заботятся о том, чтобы преступники вылавливались быстро и чтобы ни один не мог уйти от наказания. Чтобы всем честным гражданам было спокойно жить.

Цель этой статьи — привлечь внимание к злободневной задаче: добиться, чтобы машина правосудия давала поменьше сбоев и имела надежный механизм для их исправления. Чтобы невиновные люди имели все возможности доказать свою невиновность. Чтобы, пока не доказана их вина, им было обеспечено подобающее содержание и обращение. Чтобы «всяк туда входящий», даже преступник, был гарантирован от произвола и знал, что получит наказание строго соразмерно содеянному. Ни больше ни меньше. От общества, которое само живет и судит только по закону.

Статью Л. Самойлова «Правосудие и два креста» комментирует доктор юридических наук И. БЫХОВСКИЙ

Марк Твен как-то сказал: «Чтобы хорошо знать закон, надо испытать его на своей шкуре». Л. Самойлов прошел такое испытание. Поэтому его взгляд «оттуда» представляет определенный интерес, заставляет о многом задуматься. И прежде всего о том, что идущая в стране перестройка неотвратимо ставит на повестку

дня и такие в недавнем прошлом закрытые для общественного мнения темы, как серьезные недостатки в деятельности правоохранительных органов, как право человека на человеческое отношение даже тогда, когда он совершил преступление или в этом подозревается. Да даже тогда, когда его разделяет с обществом глухая тюремная стена, призванная ограждать интересы общества от тех, кто злоумышленно ли, по недомыслию или воле случая пренебрег этими интересами.

Кому не знаком вот такой стереотип нашего отношения к преступлению. Вас обворовали, но воров не могут найти, хотя вы, не без оснований, подозреваете в этом нескольких человек. Однако милиция мешкает, не торопится их задерживать. Вы негодуете: доказательств, видите ли, мало, улик не хватает! За решетку их всех, а там выяснится, кто есть кто! Пусть пострадают десять невиновных, лишь бы не оказался безнаказанным один преступник. Эта идея не кажется столь зловредной, если пострадавший — вы.

А если подозрение пало на вас или ваших близких? Скорее всего, вас оскорбит сам факт подозрения, и вы тут же вспомните юридическую мудрость древних: лучше оправдать десять виновных, чем осудить одного невиновного.

Даже если отвлечься от крайностей (лучше десять тех, чем десять других), нетрудно понять: общество нередко предъявляет юстиции требования, которые очень трудно совместить. А совмещать надо. В этом суть проблемы.

Многое из того, о чем пишет Л. Самойлов, справедливо по постановке вопроса. Но говоря о «белых пятнах» в системе правосудия, о необходимости более широкой гласности в работе этой системы, нельзя забывать и о второй стороне дела — о том, чтобы сохранить правосудие эффективным, не усложнить осуществление его, а надежно оградить от всего того, что мешает утверждению закона и справедливости.

Значительная часть статьи Л. Самойлова — описание условий содержания лиц, находящихся под предварительным следствием, то есть подозреваемых в совершении преступления, но в глазах закона еще не виновных. Ибо, как известно, признать человека виновным может суд и только суд.

Я не вижу возможности подтвердить или опровергнуть все то, что пережил и перенес Самойлов, находясь в следственном изоляторе. Работая в прошлом почти десять лет следователем, я довольно часто бывал в следственном изоляторе № 1, который до сих пор неофициально именуется «Крестами». Однако мое посещение этого учреждения ограничивалось следственными кабинетами, где я допрашивал обвиняемых или проводил другие следственные действия. Но я полностью солидарен с утверждением автора: нет никаких оснований превращать предварительное заключение в наказание, содержать в одинаковых условиях тех, кто пока лишь подозревается в совершении преступления, и того, кого закон уже признал преступником. Кстати говоря, порядок содержания на предварительном следствии регулируется «Положением о предварительном заключении под стражу», а эти же вопросы применительно к лицам, отбывающим наказание по суду, регламентированы Исправительно-трудовым кодексом РСФСР. Таким образом, по идее должен быть не только разный порядок содержания, но даже и два разных закона, определяющих этот порядок. «Ну, а в жизни?» — вправе спросить читатель. В жизни же содержание и тех, и других, по существу, одинаковое, отличающееся разве что наличием у следственных заключенных права на передачи, выписку некоторых продуктов за счет средств, переведенных на их счет. Все остальное — камерные условия, питание, прогулки, врачебная помощь и так далее — как в известной песне: «Если радость на всех одна, то и беда...»

Думается, что нужно разработать соответствующие правила, в силу которых граждане, находящиеся под стражей до суда, содержались бы в более благоприятных условиях, нежели осужденные, отбывающие наказание по судебному приговору.

По целому ряду причин мне представляется целесообразным вообще раздельное содержание подследственных и признанных судом виновными. И Л. Самойлов, и авторы других статей на эту тему, опубликованных в последнее время, очевидно, не без оснований утверждают, что профессионально нечистоплотные следователи используют гнетущую обстановку следственного изолятора, диктат уголовников для психологического, а то и физического давления на слишком «несговорчивых» обвиняемых. Надзор прокуратуры над следствием, как это определено законом, не всегда в состоянии уловить все нюансы такого давления, истинные причины того, почему еще вчера не признающий вину человек вдруг соглашается со всеми позициями обвинения, а то и берет на себя вину других. Или опять-таки вроде бы ни с того ни с чего оговаривает честных людей, которых совсем недавно убедительно защищал. Какая гарантия, что эти «признания» получены не от отчаянного решения любой ценой и как можно быстрее оказаться в исправительно-трудовой колонии, вырваться из кошмара сосуществования в одной камере с отпетыми уголовниками, освободиться из омерзительных пут их «методов» обесчеловечивания человека — пресловутой

иерархии унизительного подчинения и услужения слабого — сильному, новичка — завсегдатаю тюрем и колоний.

Нынче, в условиях гласности не только светлых сторон нашей жизни, но и таких теневых, как преступность в стране, ее причины, вопрос о целесообразности «завинчивания гаек», о воспитательном эффекте тех или иных жестких мер ставится гораздо шире, чем он звучит в статье Л. Самойлова. Ставка на искоренение негативных явлений в нашей жизни, перевоспитание человека жестокостью, ограничением его законных прав без оглядки на закон — это все оттуда же, из нашего печального прошлого, из времен искусственно раздуваемого недоверия друг к другу, извращенного толкования лозунга «кто не с нами, тот враг». Ставка на крутые меры для «повышения» правосознания людей, нарушивших закон,— это и нежелание искать иные пути (более конструктивные) в борьбе с преступностью, а в конечном итоге — в борьбе за человека.

Еще на заре Советской власти, во времена неизмеримо более трудные и сложные, чем все последующие годы, были заложены гуманные начала в порядок содержания нарушителей закона. В принятых в 1919 году «Руководящих началах по уголовному праву РСФСР», в частности, говорилось: «Являясь мерой оборонительной, наказание должно быть целесообразно и в то же время лишено признаков мучительства и не должно причинять преступнику бесполезных и лишних страданий».

Хочу обратить внимание на одну деталь. В этом юридическом документе речь идет о целесообразности гуманного отношения не только к подследственным, то есть еще не признанных судом виновными, но и к тем, кого закон назвал *преступниками*. Не могу не согласиться со своим коллегой доктором юридических наук, профессором А. М. Яковлевым, который считает, что лишение свободы — это и есть наказание преступника. «Закон,— резонно утверждает А. М. Яковлев,— не приговаривал его ни к антисанитарии, ни к унизительной скученности, ни к холоду, ни к оскорбительному, жестокому обращению... Предполагать, что, занимаясь мучительством, мы достигнем исправления осужденного, по крайней мере, наивно. Гуманность — такая вещь, которая в принципе не может быть избирательной: если ее нет на одном полюсе общества — по отношению к преступникам, то не дождешься ее и на другом, законопослушном,— по отношению ко всем нам».

Л. Самойлов совершенно правильно ставит вопрос об особой ответственности главной фигуры в расследовании любого преступления — следователя. От его отношения к обвиняемому, от его профессионального мастерства и нравственной зрелости зависит очень многое. В том числе и конечная цель его нелегкого труда — предъявление подследственному в соответствии с законом обвинения.

Надо признать, что мы, ученые, в большом долгу у следователей. Порой увлекаясь теоретическими изысканиями (что само по себе явление положительное), введением в научный оборот новых криминалистических терминов, позаимствованных из кибернетики, системотехники, теории управления и других наук, мы недостаточно уделяем внимания непосредственным, сиюминутным нуждам следователей, которые ждут не дождутся четких ответов на такие вопросы, как: можно или нельзя провести такой-то тактический прием, законно это или незаконно, этичны ли такие-то действия или они противоречат этике советского следователя? Криминалистика — прикладная наука, обязанная прежде всего обеспечивать нужды следователя, а не быть лишь материалом для различных философских экзерсисов.

Допустимость и правомерность того или иного тактического приема — вопрос первостепенной важности для следователя. Вспомните прекрасный фильм «Место встречи изменить нельзя», тот эпизод, когда Жеглов с целью изобличить карманного вора, незаметно подложил ему в карман кошелек, найденный в трамвае. Правомерны ли действия Жеглова? Разумеется, нет. Но ведь он так поступил из самых лучших побуждений — вывести на чистую воду явного преступника, припереть его, что называется, к стенке единственной в этой ситуации уликой.

Кстати говоря, я не раз смотрел этот фильм, с интересом следя за реакцией зрителей. Абсолютное большинство — в восторге от находчивости Жеглова. Пробовал повыспрашивать студентов-юристов об их отношении к экранному эпизоду с вопиющим беззаконием обаятельного Жеглова-Высоцкого. И что же? Соглашаются, что противозаконно, но... ситуация, дескать, оправдывает, даже подсказывает: в критической ситуации можно поступить и так.

А теперь вернемся к статье Л. Самойлова, вспомним квартирного вора, шиковавшего в следственном изоляторе («угощал всех шоколадом, курил фирменные сигареты», да еще и похвалялся: «Следак (следователь) и не то принесет»). Понимаю и согласен, что между беззаконием киношного служителя Фемиды Жеглова и вполне реального следователя, готового принести подследственному что угодно, лишь бы тот взял на себя лишнее глухое уголовное дело, дистанция огромного размера. А точнее — кажется таковой.

В жизни же, к сожалению, иные следователи преодолевают эту дистанцию со спринтерской скоростью. Сегодня чуть-чуть отступил от закона, конечно же, не из корысти, а в интересах расследования дела. В интересах изобличения коварного и опытного преступника. Завтра — опять-таки безобидное отступление: свидетель забыл поставить подпись под протоколом допроса — расписался за него. Послезавтра — еще одно пренебрежение к требованиям процессуального закона, отношение к некоторым его требованиям как к чему-то необязательному, чем можно и поступиться. А ведь именно пренебрежение к этим требованиям порой уводит следователя очень далеко от истины, к которой он должен стремиться.

Опасно для следователя, особенно молодого, заимствование методов оперативно-розыскной деятельности, которые совершенно правомерны и эффективны при использовании их работниками уголовного розыска или ОБХСС и чреваты последствиями и противозаконны, если их применяет следователь, в силу своего положения обязанный действовать только официально. А между тем к такого рода методам прибегают следователи, оправдывая себя все той же пресловутой «пользой дела».

Вот так иные следователи и преодолевают дистанцию от закона — к беззаконию, от многотрудного поиска истины к закреплению соблазнительной, единственно перспективной версии свидетельскими показаниями, актами экспертиз, вещественными доказательствами. Вот так и возникают уголовные дела, подобные нашумевшему на всю страну «витебскому делу», когда совершенно безвинным людям были приписаны четырнадцать гнусных злодеяний, совершенных одним-единственным преступником, неким Михасевичем.

Л. Самойлов, как я понимаю, пытается доказать, что сама система правосудия побуждает следователя к предвзятости, стремлению во что бы то ни стало довести возбужденное уголовное дело до обвинительного заключения. Это неправда. Ничто и никто не понуждает следователя к тому, чтобы он вел следствие необъективно. Более того, действующий уголовно-процессуальный закон даже освобождает следователя от обязанности выполнять некоторые прямые указания надзирающего за ним прокурора, если он, следователь, с ними не согласен.

Обратимся к части второй статьи 127 УПК РСФСР. «В случае несогласия следователя с указаниями прокурора о привлечении в качестве обвиняемого, о квалификации преступления и объеме обвинения, о направлении дела для предания обвиняемого суду или о прекращении дела, следователь вправе представить дело вышестоящему прокурору с письменным изложением своих возражений. В этом случае прокурор или отменяет указание нижестоящего прокурора или поручает производство следствия по этому делу другому следователю».

К сожалению, следователи весьма редко используют это положение закона, которое освобождает их от обязанности действовать против своих убеждений. Почему? Чаще всего из-за нежелания портить отношения с начальством, из-за недостатка принципиальности.

Однако в чем-то Л. Самойлов и прав: бывают и ситуации, сложившиеся по уголовному делу, которые могут подталкивать следователя к нарушению законности. Представим себе, что, оценив собранные по делу доказательства, следователь пришел к выводу о виновности Н. в хищении. Есть основания полагать, что, находясь на свободе, он может скрыться от следствия и суда, уничтожить важные доказательства, подговорить свидетелей. И следователь, руководствуясь положениями УПК РСФСР, предъявляет Н. обвинение и заключает его под стражу. Проходит месяц. Выясняется: свидетельские показании, которым следователь верил,— ложные, акт ревизии содержит серьезные ошибки, то, что казалось следователю бесспорным, заколебалось. Порядочный следователь еще раз оценит собранные по делу доказательства и вынесет постановление об изменении мер пресечения, хотя отлично знает, что может быть строго наказан за арест невиновного человека. Непорядочный следователь будет стремиться тем не менее всеми правдами и неправдами создать видимость доказанности вины Н., ибо его осуждение «прикроет» ошибку предварительного следствия.

Ущербности принятой в нашей стране системы следствия я здесь не вижу. Но зато невооруженным глазом усматриваю другое: трусливое, аморальное поведение следователя, спасающего свое реноме ценой свободы невиновного гражданина. Опасность подобного «расследования» очевидна для всех. Профессия следователя требует мужества, в том числе и в признании собственных ошибок. Недаром основатель науки криминалистики австрийский ученый Ганс Гросс писал, что следователь — это сочетание «отваги и точности».

Заинтересован ли следователь в том, чтобы суд вынес обвинительный приговор человеку, по делу которого составлено и подписано обвинительное заключение? Да, конечно. Но дело не в том, что жестокосердный следователь «жаждет крови», а в том, что он, как и каждый человек, удовлетворен, когда его точка зрения подтвердилась, и недоволен, когда ее признали ошибочной. Оправдание обвиняемого естественно и закономерно ставит вопрос

об ответственности следователя за то, что он отдал под суд человека, виновность которого не была им доказана. Но ежели дело рассматривает суд, то следователь не в состоянии повлиять на приговор, и следовательские амбиции и эмоции здесь ни при чем.

В своей статье Л. Самойлов выражает серьезные претензии и к некоторым сторонам деятельности прокуратуры. «Разумно ли соединять надзор прокурора над следствием,— спрашивает автор,— с задачей односторонней и необъективной — с поддержанием обвинения в суде...»

Если согласиться с предложением Л. Самойлова и освободить прокурора от поддержания обвинения в суде, то кто же будет осуществлять эту важную функцию? Адвокат? Суд? Или вообще следует отказаться от обвинения при судебном рассмотрении уголовных дел?

Между тем, с античных времен известно, что в споре рождается истина. Состязательный характер советского уголовного судопроизводства как раз и направлен на установление этой истины.

Л. Самойлов, говоря о прокуроре, который поддерживает обвинение, сформулированное следствием, считает, что он «должен отстаивать интересы государства, но получается (объективное положение таково), что он отстаивает и амбиции своего ведомства». Если слово «амбиции» заменить на слово «интересы», то я, пожалуй, соглашусь с этим утверждением автора статьи.

Есть определенные минусы, но и определенные плюсы в том, что прокурор, надзиравший за следствием по конкретному делу, по нему же выступает в суде в качестве государственного обвинителя. О минусах Л. Самойлов уже сказал: приняв определенные решения в процессе предварительного следствия, прокурор, в ущерб объективности, старается доказать в суде обоснованность этих решений. Но есть и плюсы. Осуществляя надзор за следствием, прокурор хорошо знает материал дела и способен оказать суду максимальную помощь в установлении истины.

Гораздо более важен другой вопрос, обсуждаемый нынче юристами, да и не только ими. Речь идет о целесообразности сочетания в одном лице прокурора — руководителя прокуратуры, которому подчинен следователь, и прокурора, надзирающего за следователем. Писатель и публицист Ольга Чайковская вопрос ставит так: «Можно ли дальше терпеть тандем прокуратуры и следствия?»

Тут можно согласиться и с Л. Самойловым, и с другими сторонниками разделения существующего тандема. Сосуществование под «одной крышей» следственного аппарата и прокуратуры приводит к смешению функций руководства следствием и надзора за следствием. В определенной степени это ослабляет прокурорский надзор. По существу, прокурор надзирает за подчиненными ему работниками, плохая работа которых может быть поставлена и ему в вину.

По моему мнению, самое разумное решение — создание комитета по расследованию либо при Совете Министров СССР, либо при Министерстве юстиции СССР. Он должен представлять собой строго централизованную систему.

То, что правоохранительные органы нуждаются в перестройке, сомнений не вызывает почти ни у кого. В периодической печати уже высказано немало предложений на этот счет. Но обратимся к статье Л. Самойлова.

Перестройку нашей судебной системы он видит в создании суда присяжных, как это было в России после реформы 1864 года.

С моей точки зрения, введение суда присяжных не панацея, автоматически гарантирующая вынесение только справедливых приговоров. Опыт буржуазных стран свидетельствует о том, что и суды присяжных допускают чудовищные ошибки. Вспомним хотя бы дело супругов Розенберг или дело Сакко и Ванцетти.

Хочется высказать и еще одно соображение. Возникновение суда присяжных относится к тем далеким временам, когда для решения вопросов факта (а задача присяжных как раз и состоит в том, чтобы решить, например, имело ли место убийство, совершил ли его Н., сделал он это умышленно или неосторожно и так далее) достаточно было здравого смысла и житейского опыта. А как быть сейчас, когда решение виновности или невиновности опирается чаще всего на результаты сложнейших экспертиз, всесторонних исследований вещественных доказательств, проводимых при помощи самых современных приборов?

Уголовные дела у нас рассматриваются судьей и двумя народными заседателями. Л. Самойлов правильно подчеркивает: народные заседатели часто подпадают под влияние той позиции, которую занимает судья — профессиональный юрист, разбирающийся во всех тонкостях права.

Но предположим, что один из заседателей занимает позицию, отличную от точки зрения судьи. И в этом случае судье достаточно убедить второго заседателя, чтобы восторжествовала его точка зрения. Мне представляется более разумным, если бы заседателей было бы, предположим, не двое, а четверо. Тогда их мнение на весах Фемиды играло бы более существенную роль, повысилась бы ответственность за справедливость приговора, который бы в большей мере зависел от позиции, занимаемой именно народными заседателями.

Несомненно, очень важную роль в отправлении правосудия, расследовании преступлений играют моральные качества работников правоохранительных органов. Они должны обладать иммунитетом против бессердечия, формализма, предубеждения к людям, совершившим порой омерзительные преступления. Им противопоказано канцелярски бездушное следование букве закона, но и опасно преувеличение роли его духа. Не нами и очень давно сказано: «Закон есть закон».

Путь к истине нередко проходит через многомесячное предварительное следствие, проведение самых разных ревизий и экспертиз, скрупулезное исследование вещественных доказательств, допросы многочисленных свидетелей. И это еще не все. И следователи, и судьи живут и работают не в безвоздушном пространстве. Путь к истине проходит и через такие баррикады заступников, через такое безудержное восхваление «деловых», «организаторских» и прочих качеств обвиняемого, что судьям впору склонить перед ними колени и отказаться от обвинения. Вот что пишет по этому поводу Председатель Верховного суда СССР В. И. Теребилов: «По моему мнению, главная причина судебных ошибок — это нарушение принципа независимости судей. К сожалению, не у всех судей хватает гражданского мужества противостоять прямому или замаскированному давлению, просьбам, искусственно созданному общественному мнению и многим другим способам влияния на суд. Нам всем надо независимость суда охранять как зеницу ока — это ключ ко многим проблемам законности».

Я поддерживаю высказанное в печати предложение об установлении уголовной ответственности за попытки повлиять на решение суда, склонить его к вынесению более мягкого или оправдательного приговора.

И еще мне хотелось высказать одно соображение: любой законодательный акт, так или иначе связанный с охраной прав человека в нашем обществе, должен прочно основываться на социалистическом гуманизме. Кое-кто может, наверное, пожать плечами: гуманизм и борьба с преступностью? Любовь к ближнему и статьи Уголовного кодекса?

Да, так. И только так! Нельзя забывать, что человек, совершивший преступление и отбывший наказание, будет жить и работать вместе с нами. И государству, и обществу далеко не безразлично, какими вернутся на свободу вчерашние преступники. А это во многом зависит от справедливости наказания и от тех условий, в которых это наказание отбывается.

В статье первой Исправительно-трудового кодекса РСФСР указано, что этот закон «имеет своей задачей обеспечение исполнения уголовного наказания с тем, чтобы оно не только являлось карой за совершенное преступление, но исправляло и перевоспитывало осужденных в духе честного отношения к труду, точного исполнения и уважения к правилам социалистического общежития, предупреждало совершение новых преступлений как осужденными, так и иными лицами, а также способствовало искоренению преступности. Исполнение наказания не имеет целью причинения физических страданий или унижение человеческого достоинства».

Я думаю, что читатель, сопоставив эту статью закона и рассказанное Л. Самойловым, сам в состоянии сделать необходимые выводы.

Нет, я не за сюсюканье с ворами и грабителями, расхитителями и убийцами, а за жесткий режим, за дисциплину, за обязательный напряженный труд, который когда-то создал человека и, верю, в состоянии перевоспитать вчерашнего преступника. Но я против грубости и издевательств над заключенными, против содержания их в условиях антисанитарии и скученности, против произвола и беззакония.

Сознание нынешнего поколения, его мировоззрение формировались не на пустом месте. Мы унаследовали от прошлых поколений не только достижения науки и техники, но и нравственные ценности. В истории нашей страны были труднейшие и жестокие времена.

Была гражданская война, когда героическими усилиями наши отцы и деды защитили Советскую власть.

Была Великая Отечественная война. Естественно, что она требовала напряжения всех сил, жестких, а порой и жестоких мер.

Были и ничем не оправданные жестокости времен культа личности, и «ежовые рукавицы», и ставший на время привычным и обыденным термин «враг народа», и «теории» Вышинского, из коих следовало, что личное признание обвиняемого по делам о контрреволюционных преступлениях является бесспорным доказательством его вины, а бремя доказательств невиновности может возлагаться и на обвиняемого. Были и произвол внесудебной расправы, и такой «порядок» расследования, который не оставлял обвиняемому права на защиту.

Но все эти жестокости, все эти беззакония не смогли истребить гуманизм и милосердие в душе нашего народа. И это главная гарантия того, что наше правовое законодательство будет очищено от таких наслоений, о которых рассказал в своей статье Л. Самойлов.



Л. ШУБИН

ГОРЯТ ЛИ РУКОПИСИ?

(Или о трудностях диалога писателя с обществом)

В 1972 году на Западе впервые вышел «Чевенгур» Андрея Платонова. Рукопись его свыше сорока лет ждала публикации — роман был окончен, очевидно, в 1928 или в начале 1929 года. Платонов неоднократно предпринимал попытки опубликовать его целиком или фрагментами, для чего переделывал, переписывал, исправлял и сокращал рукопись, вычленения из нее разные части и отрывки. Однако все это трудно назвать продолжением работы над произведением, и вряд ли мы вправе говорить, что Платонов «работал над романом до самой смерти». Это были отчаянные попытки писателя спасти от забвения любимое свое детище. В предисловии, предпосланном парижскому изданию русского текста, говорится о том, что появление романа через сорок с лишним лет после его создания и через двадцать один год после смерти писателя еще раз, «казалось бы, подтверждает правоту булгаковского Воланда, утверждавшего, что „рукописи не горят“».

Эту метафору, «выскочившую» из «Мастера и Маргариты» и зажившую самостоятельной жизнью, сейчас любят повторять, говоря об издании книг, которые прождали в рукописи десять, двадцать, тридцать, сорок, а то и пятьдесят лет. Говорят это часто и о книгах Платонова. Конечно, такое утешение очень сомнительно для писателя, который и дожить-то, как правило, до этого времени не мог. Нельзя, никак нельзя забывать, что сказана эта фраза в романе Воландом и потому содержит в себе некий соблазн. Писатель прежде всего обращается к своим современникам, а уж во вторую очередь — к потомкам. Кроме всего прочего, если рукопись печатается через много лет после ее написания, уж это одно — свидетельство тому, что она представляет некую духовную ценность для общества. И, пролежав все это время втуне, она обеднила людей, которые ее ждали и не получили. Она могла обогатить их и на какую-то, пусть микродолю, изменить. Обогащенные и измененные раньше, они, пусть опять на микро-микродолю, изменили бы мир, и мы жили бы в мире ином.

Люди утратили темп движения. Мы привыкли к мысли, что каждое новое поколение прочитывает книги заново, открывает в них новое, неведомое прежде содержание и обогащает сами эти книги, ибо они — идеологическое общение читателя с автором. Но ведь эта мысль верна и в обратной перспективе: утратив общение со своим современником, книга тоже обеднела и утратила нечто в своем содержании. И, наконец, сомнителен уже самый союз с Воландом. Обдумав все это, начинаешь понимать, как не проста булгаковская метафора, какие в ней сокрыты странные и «подмигивающие» смыслы и значения.

Эта тема — горят ли рукописи и почему они горят — волновала многих наших писателей. У Михаила Булгакова она становится темой его произведений, точнее — одной из тем. Она есть и в «Кабале святош», и в «Жизни господина де Мольера», и в «Театральном романе», и в «Мастере и Маргарите». Посмотрим, как эта тема ставится писателем.

Лукавый царедворец Мольер льстит королю, чтобы спасти свои гениальные комедии. Он уверен, что Король-Солнце не считает и не может считать себя «первым среди равных», он воспринимает себя не иначе, как первым лицом на Земле — сразу после бога — и потому, никак и ни в чем не отождествляя себя со своими придворными, министрами, духовенством, легко отдаст их на посмеяние. Из этого следует, что абсолютный монарх, подобный Людовику XIV, может стать если не союзником, то, по крайней мере, лояльным зрителем сатирической комедии, в которой ведется острый диалог сатирика с обществом и в которой об этом обществе сказана резкая и нелицеприятная правда. Таков — в истолковании Булгакова — тонкий расчет Мольера. И писатель внимательно исследует попытку своего героя выиграть борьбу за свое право сатирика говорить правду в «союзе» с королем. Эту тему романа очень своеобразно истолковал его редактор-рецензент А. Н. Тихонов. Вот что писал по поводу его замечаний М. Булгаков: «...Рассказчик мой, который ведет биографию, назван развязным молодым человеком, который верит в колдовство и чертовщину, обладает оккультными способностями, любит альковные истории, пользуется сомнительными источниками, а что хуже всего, склонен к роялизму» [1]. Обвинение в роялизме, очевидно, и было вызвано попыткой обсудить в романе возможность «союза» художника с монархом. Но вот как подводится итоги жизни-борьбы художника в самой книге: «Итак, мой герой ушел в парижскую землю и в ней сгинул. А затем, с течением времени, колдовским образом сгинули все до единой рукописи и письма. Говорили, что рукописи погибли во время пожара, а письма будто бы, тщательно собрав, уничтожил какой-то фанатик...» [2].

Итог поисков «союза» с королем оказался страшным. Рукописи горели, несмотря ни на что. Биографии Мольера писалась в 1932—1933 годах. В пьесе «Кабала святош», которая создавалась с октября 1929 года, трагизм был подчеркнут еще сильнее, это отчасти объяснялось и драматургической формой. Здесь не рассказчик, а сам герой понимает всю утопичность своей затеи. Вот характерный итоговый монолог Мольера: «Понимаешь, я сегодня утром спрашиваю его — за что? Не понимаю... Я ему говорю: я, ваше величество, ненавижу такие поступки, я протестую, я оскорблен, ваше величество, извольте объяснить... Извольте... я, быть может, вам мало льстил? Я, быть может, мало ползал? Но ведь из-за чего, Бутон? Из-за „Тартюфа“. Из-за этого унижался. Думал найти союзника. Нашел? Что еще я должен сделать, чтобы доказать, что я червь? Но, ваше величество, я писатель, я мыслю, знаете ли, я протестую...» [3].

Попытки господина де Мольера, великого драматурга, отстоять свое право художника говорить правду обществу и спасти свои рукописи от огня в «союзе» с Королем-Солнцем — все это «дела давно минувших дней». Аллюзии! Обвинение в «поверхностных исторических аналогиях» с неизбежностью возникает, как только начинается выяснение темы горящих рукописей. Пресекая этот нежелательный разговор, один из самых доброжелательных критиков Булгакова пишет, что писатель «всегда брезговал этой литературной дешевкой». А как обстоит дело с горящими рукописями в произведениях М. Булгакова, посвященных нашей современности?

[1] Письмо М. А. Булгакова П. С. Попову от 13 апреля 1933 г. Цитируется по изданию: М. О. Чудакова. Архив М. А. Булгакова. Материалы для творческой биографии писателя. Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина, Записки Отдела рукописей. Вып. 37. М.: 1976, с. 104.

[2] М. Булгаков. Жизнь господина де Мольера. М.: 1962. Далее цитаты из романа даются по этому изданию.

[3] Михаил Булгаков. Драмы и комедии. М.: 1965.

Возьмем «Театральный роман». После того, как Максудов закончил чтение своей рукописи, воспроизводится обмен репликами среди слушателей. Одна дама: «...А ваш роман пропустят?» Пожилой литератор: «Об „пропустить“ не может быть и речи! Просто нет никакой надежды на это». Все хором: «Не пропустят!» Вновь Пожилой литератор: «...пойми! Пойми ты, что не так велики уж художественные достоинства твоего романа... чтобы из-за него тебе идти на Голгофу. Пойми!» [1] Вскоре, правда, часть романа появилась в одном частном журнале. Это произошло после того, как в комнате Максудова, решившегося с отчаяния на самоубийство, появился некто, до странности похожий на Мефистофеля. «Некто» был пока еще не Воланд, а издатель Рудольфи. Впрочем, вскоре журнал Рудольфи запретили, и роман так и не успел полностью выйти в свет...

В романе «Мастер и Маргарита» уже больной Мастер, находясь на излечении в психиатрической клинике, рассказывает Ивану Бездомному историю своей рукописи. Сначала ее просто отвергали — журнал за журналом. Но потом, когда в одной из газет удалось все же напечатать небольшой отрывок, критика с упоением и страстью набросилась на Мастера и на его роман. Статьи шли непрерывным потоком. Над первыми Мастер смеялся и иронизировал, но чем больше их было, тем более менялось его отношение к ним. Второй стадией было удивление. И лишь потом появилось чувство страха: «Нет, не страха этих статей, поймите, а страха перед другими, совершенно не относящимися к ним или к роману вещами». Началось психическое заболевание. Мастер сжигает свою рукопись...

Это психическое заболевание и этот поступок надо точно объяснить. Прежде всего в тексте самого романа. Перечтем места, с этим связанные, более внимательно. Итак, из рассказа Мастера следует, что психическое заболевание спровоцировано травлей его в печати. Но дело не просто в психической неустойчивости. Были ли у него какие-нибудь реальные основания для страхов? В его рассказе Ивану Бездомному есть один пробел. Он рассказывает: дело было осенью, в половине октября, около двух часов пополуночи его охватил страх, он разжег печь и бросил в нее рукопись; вскоре приходит Маргарита, которая еще застает горящие

[1] Михаил Булгаков. Белая гвардия. Театральный роман. Мастер и Маргарита. Л.: 1978. Далее цитаты даются по этому изданию.

в печи листы и выхватывает оттуда обгоревшие их остатки. Она уходит, обещая утром вернуться, на этот раз уже навсегда. Дальше Мастер говорит: «Через четверть часа после того, как она покинула меня, ко мне в окно постучали». Здесь пропуск, ибо он понизил голос до шепота, так как в коридоре клиники началось оживление. Мы дальнейшего рассказа не слышим, но то, что говорил в этот момент Мастер, «по-видимому очень волновало его», комментирует Булгаков. Мастер вернулся домой только зимой, в середине января, и увидел, что в его квартире живут другие люди. И он вновь уходит в ночь, но уже без сопровождающих, чтобы уединиться в обители скорби, в новой психиатрической клинике профессора Стравинского. Со слов Азазелло и Маргариты мы знаем, что новым жильцом квартиры Мастера стал Алоизий Могарыч, который, чтобы добиться этой квартиры, написал на Мастера донос, или, как говорит Азазелло, «жалобу с сообщением о том, что он хранит у себя нелегальную литературу». Все эти детали легко раскрывают «инкогнито» тех, кто стучал Мастеру в окно и с кем он ушел тогда из дома в ночь. Потому и Маргарита, сидя в Александровском саду, вполне резонно размышляет: «Если ты сослан, то почему же ты не даешь знать о себе? Ведь дают же люди знать». Для страхов были реальные поводы.

Так объясняют вопрос о горящих рукописях булгаковские герои. И те, которые жили давно, как господин де Мольер, и те, которые жили в наше время.

Современная критика любит подчеркивать, что в сатире Михаила Булгакова большое место занимает «фантастика». В этом есть некий призыв не понимать его дословно и стремление многое в его сатире объяснить этой «фантастикой». С другой стороны, любят подчеркивать, что сатира Булгакова обращена против московской обывательской, в том числе окололитературной и околотеатральной среды конца двадцатых годов, с ее, как тогда говорили, «отрыжками нэпа»... Другой Москвы того времени, другого, более широкого поля для наблюдения в романе почти не чувствуется [1], и в этом выразилась «ограниченность взгляда» автора. Поскольку это говорит критик, любящий Булгакова, более того, человек, добившийся публикации романа, то есть сделавший нечто более важное, чем Воланд, который только восстановил сожженную рукопись, но опубликовать ее не смог, то остается только недоумевать, почему же книга не выходила в свет столько лет. Неужели «обывательская» публика, неужели «окололитературная и околотеатральная» богема, вся эта «отрыжка нэпа» смогли воспрепятствовать печатанию романа? Неужели те, против кого был направлен роман, были так сильны все эти годы?

Другой критик направляет свой охранительный удар не против сатирической линии, а против «романа в романе». Не прямо, конечно. Сначала так: «...не следует, по-видимому, думать, что писатель полностью на его (т. е. Мастера.— *Л. Ш.*) стороне или хотел бы им быть». Потом жестче: «Это Мастер, а не М. А. Булгаков, натягивает на себя серьезно шапочку с вышитым „М“, для Булгакова, к счастью, мастерство не было проблемой». И еще: «Не „роман в романе“, демонстрирующий технический класс (обезьянство стилей, не забудем, отдано дьяволу), и не величественные раздумья о судьбах искусства (очевидно, о горящих рукописях.— *Л. Ш.*), но что-то жизненно необходимое, еще не решенное, как раздвигающиеся полюса одной идеи, в центре которой — Россия» [1]. Так подготовлен парадоксальный вывод: роман написан не о Иешуа, не о Пилате, не о Мастере и Маргарите, а... о Иване Николаевиче Понырeве, о бывшем поэте Иване Бездомном. Он — главный герой, и роман, если и не о нем, то для него написан, в эволюции его и заключен идейный и художественный смысл произведения.

Читая все это, невольно начинаешь думать: полно, уж не плод ли больного воображения все эти крики и рассуждения булгаковских героев о каких-то горящих рукописях? Может быть, в романе речь действительно идет о каких-то литературных неудачниках, об окололитературной богеме? Может быть, и Сергей Леонтьевич Максудов, и Мастер принадлежат к той категории лиц, о которой тот же П. Палиевский зло сказал: «гений без гения, но обладающий всеми признаками гениальности»? [2]

Но нет! Никак не вяжутся эти предположения с общеизвестными фактами. Образ Максудова явно автобиографичен, а вся история его романа совпадает с историей булгаковской «Белой гвардии». Роман Мастера, то есть «роман в романе»,— у нас перед глазами. И хотя П. Палиевский пугает нас «обезьянством стилей», но ведь и он не рискует его всерьез дискредитировать: ведь без «романа в романе» нет и романа «Мастер и Маргарита». Да и рукописи самого Михаила Булгакова пролежали втуне сколько лет! Не одну, видно, богему и «окололитературную» публику, не одних только «гениев

[1] К. Симовов. О трех ромавах Михаила Булгакова. В кн.: Мвхаил Булгаков. Белая гвардия. Театральный роман. Мастер и Маргарвта. Л.: 1978.

[1] П. Палиевский. Пути реализма. Литература и история. М.: 1974, с. 194, 195.

[2] Там же, с. 104.

без гения» волнует тема горящих рукописей. Правда, в статье публикатора и одного из первых критиков романа есть весьма странные оговорки: «Булгаков дописал свой роман до конца, поставил на нем точку, и в этом смысле „Мастер и Маргарита“ — произведение завершенное. Но, как я уже говорил, доведя до конца задуманное повествование, Булгаков до последних дней своей жизни все возвращался и возвращался к написанному, видимо, внутренне все еще не считая свою работу завершенной». И далее нечто совсем уже невероятное: «Трудно сказать, как бы выглядел этот роман, если бы и так растянувшаяся на двенадцать лет работа над ним длилась еще и еще» [1]. Вот как далеко заводит стремление оправдать действительность: все разумное действительно, а действительное разумно. Двенадцать лет писатель работал над романом и так и не завершил свой труд. Можно подумать, что издатели прямо из рук его рвали, а Булгаков затягивал и затягивал сдачу договорной рукописи. И если бы не умер, то кто знает, сколько лет еще работал бы!

Какие же реальные обстоятельства жизни писателя стояли за темой горящих рукописей? Вот краткий перечень основных событий, который дает сам М. Булгаков в 1929 году. Пьесы «Бег», «Дни Турбиных», «Зойкина квартира», «Багровый остров» были к концу 20-х годов запрещены. «Все мои пьесы оказываются запрещенными»,— подводил он итог. В 1926 году, в день генеральной репетиции «Дней Турбиных», Булгаков был задержан и отправлен в ОГПУ, где его допрашивали. Несколькими месяцами раньше у него на квартире был произведен обыск и изъяты «Мой дневник» и рукопись сатирической повести «Собачье сердце». Было запрещено издание «Записок на манжетах» и переиздание сборника сатирических рассказов «Дьяволиада». Запрещено публичное исполнение «Похождений Чичикова». Публикация романа «Белая гвардия» была прервана из-за запрещения журнала, где он печатался. Запрещения, обыск, изъятие рукописей, арест, допрос...

В 1929 году Михаил Булгаков собирался обратиться с письмом к И. В. Сталину, М. И. Калинину, А. И. Свидерскому, А. М. Горькому. Он писал: «По мере того, как я выпускал в свет свои произведения, критика в СССР обращала на меня все большее внимание, причем ни одно из моих произведений, будь то беллетристическое произведение или пьеса, не только никогда и нигде не получило ни одного одобрительного отзыва, но напротив, чем большую известность приобретало мое имя в СССР и за границей, тем яростней становились отзывы прессы, принявшие наконец характер неистовой (зачеркнуто: травли.— *Л. Ш.*) брани». Писатель заканчивает письмо словами: «К концу десятого года силы мои надломились, не будучи в силах существовать, затравленный, зная, что ни печататься, ни ставиться более в пределах СССР мне нельзя, доведенный до нервного расстройства, я обращаюсь к Вам и прошу Вашего ходатайства перед Правительством СССР ОБ ИЗГНАНИИ МЕНЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ СССР ВМЕСТЕ С ЖЕНОЙ МОЕЙ Л. Е. БУЛГАКОВОЙ, которая к прошению этому присоединяется» [1].

Вот какие серьезные и страшные события кроются за темой горящих рукописей! Сказать, что доброжелательные критики этих фактов биографии Михаила Булгакова не знают или не понимают, к сожалению, нельзя. Никак нельзя. Остается предположить, что их ложь вынужденная, ложь «во спасенье». По крайней мере, это относится к критику-публикатору. Это ложь во имя спасения от забвения романа Булгакова. Но ложь — это союз с Воландом — с дьяволом! Рукописи не горят, говорит Воланд и спасает рукопись. И, чтобы ее опубликовать, понадобилась тоже ложь.

Почему в романе эта фраза отдана именно Воланду? Ведь мог же ее сказать кто-нибудь другой! Ну, скажем, Маргарита или Мастер. Или сам автор, наконец. Мог или не мог?

Попробуем поискать ответ на этот вопрос в биографии писателя, в его опыте. Письмо Сталину, написанное в 1929 году, судя по всему, не было отослано. Другое — еще более отчаянное, отправленное 28 марта 1930 года, имело неожиданный результат: 17 апреля 1930 года Сталин неожиданно позвонил Булгакову домой. Этому телефонному разговору так же, как и тому, что Сталин любил пьесу «Дни Турбиных», принято придавать большое значение. Конечно, это давало некоторую передышку. Но была она временной и проблему горящих рукописей не решала. Однако следует сказать, что телефонный разговор породил, кажется, у Булгакова некоторые иллюзии. По крайней мере, в новом письме Сталину, в 1931 году, есть такие строки: «Но, заканчиаая письмо, хочу сказать Вам, Иосиф Виссарионович, что писательское мое мечтание заключается в том, чтобы быть вызванным лично к Вам. Поверьте, не потому только, что вижу в этом самую выгодную возмож-

[1] К. Симонов. О трех романах Михаила Булгакова, с. 9—10.

[1] ИРЛИ, ф. 369, л. 302. Цитируется по рукописной копии из архива Л. Шубина. Все остальные ссылки на переписку М. Булгакова с правительством сверены по публикации В. Лосева в журнале «Октябрь», 1987, № 6, с. 175—191.

ность, а потому, что Ваш разговор со мной по телефону в апреле 1930 года оставил резкую черту в моей памяти. Вы сказали: „Может быть, вам, действительно, нужно ехать за границу“. Я не избалован разговорами. Тронутый этой фразой, я год работал не за страх режиссером в театрах СССР»[1]. Трудно и рискованно, конечно, гадать, но как знать, не виделась ли Булгакову в такой встрече возможность по-своему переиграть судьбу Мольера?

Приведенные выше строки тем более загадочны, что самое это письмо — о совсем других настроениях и планах. Передышка оказалась слишком краткой и мало что изменила в судьбе писателя. Он обращается к Сталину с просьбой разрешить ему поездку за границу, но теперь уже только на три месяца. Формально, разумеется, просьба о свидании связана с планом поездки за границу, но, по сути, она находится с ней в каком-то странном контрапункте. Письмо вообще построено сложно — оно своеобразный литературный документ, а не крик души, как первое. Оно начинается большим эпиграфом из Гоголя, где говорится о том, что в Гоголе усиливается желание быть писателем современным, но настоящее «слишком живо, слишком шевелит, слишком раздражает, перо писателя нечувствительно переходит в сатиру». И Гоголь видит единственный исход для себя в том, что ему нужно «воспитаться где-то вдали» от Родины, чтобы «узнать цену России». Булгаков, как бы ссылаясь на опыт и авторитет Гоголя, говорит, что и ему тоже необходимо сейчас, когда в нем тоже вновь «загорелись новые планы», пожить хоть немного за границей, чтобы восстановить свои иссякшие силы. Он пишет: «С конца 1930 года я хвораю тяжелой формой неврастении с припадками страха и предсердечной тоски, и в настоящее время я прикончен»[2]. Чтобы не было соблазна толковать эти слова как ссылку на «дипломатическую», так сказать, болезнь, процитирую отрывок из письма к П. С. Попову от 25 января 1932 года — писатель жалуется на бессонницу и говорит: «...В моей яме живет скверная компания: бронхит, ревматизм и черненькая дамочка — неврастения. Их выселить нельзя. От них надо уехать самому. Куда?»[3].

Это — о сложных своих проблемах и о болезни, а вот и об их причинах: «На широком поле словесности российской в СССР я был один-единственный литературный волк... Со мной и поступили как с волком. Несколько лет гнали меня по правилам литературной садки в огороженном дворе. Злобы я не имею, но я очень устал и в конце 1929 года свалился... Зверь заявил, что он более не волк, не литератор. Отказывается от своей профессии. Умолкает. Это, скажем прямо, малодушие. Нет такого писателя, чтобы он замолчал. Если замолчал, значит был не настоящий. А если настоящий замолчал — погибнет. Причина моей болезни — многолетняя затравленность, а затем молчание»[1]. Именно в таких условиях горят рукописи, иногда горят буквально. В письме правительству от 28 марта 1930 года Булгаков писал: «И лично я, своими руками, бросил в печку черновик романа о дьяволе...»[2]. Совсем как Мастер — травля, болезнь, страх и сожжение рукописи.

Во второй половине октября 1932 года в Ленинграде Булгаков начинает восстанавливать рукопись. «Я все помню»,— говорил он Е. С. Булгаковой[3]. В 1933 году он писал В. В. Вересаеву: «В меня же вселился бес. Уже в Ленинграде и теперь здесь, задыхаясь в моих комнатенках, я стал мазать страницу за страницей наново тот свой уничтоженный три года назад роман. Зачем? Не знаю. Я тешу сам себя! Пусть упадет в Лету! Впрочем, я, наверно, скоро брошу это»[4]. Так Воланд восстанавливал писателю рукопись романа.

А рукописи между тем продолжали гореть. В мае 1936 года Булгаков пишет заявление в бюро драматургов Союза советских писателей: «В начале 1936 года театры внезапно сняли со сцен всю мою драматургическую продукцию последних лет. Московский Художественный снял, после нескольких представлений, мою пьесу „Мольер“, Московский Театр Сатиры, после первой генеральной,— мою комедию „Иван Васильевич“, Вахтанговский — прекратил начинавшуюся работу над пьесой „Александр Пушкин“. Означенное снятие моих пьес разного жанра сопровождалось появлением в прессе статей такого характера, который показал мне с неоспоримой ясностью, что дальнейшее сочинение моих пьес и представление их в драматические театры является совершенно бесполезным»[5]. Но — вспомним — настоящий писатель не может замолчать, а если замолчал — погибнет. Надо было работать. Он вновь

[1] М. Булгаков. Письма. «Октябрь», 1987, № 6, с. 182.
[2] Там же, с. 181.
[3] М. О. Чудакова. Архив М. А. Булгакова. Материалы для творческой биографии писателя, с. 102—103.

[1] М. Булгаков. Письма. «Октябрь», 1987, № 6, с. 181.
[2] Там же, с. 179.
[3] М. О. Чудакова. Архив М. А. Булгакова. Материалы для творческой биографии писателя, с. 105.
[4] Там же.
[5] ИРЛИ, ф. 369, л. 302. По рукописной копии из архива автора статьи.

и вновь берется за роман о Мастере, работает над «Театральным романом», переделывает пьесу «Бег». Продолжаются попытки работы для театра — либретто «Петра Первого», инсценировка «Дон Кихота», балетное либретто «Калоши счастья» по Андерсену... Одновременно Булгаков ищет выхода. Мольер, его любимый драматург, чтобы ублажить короля, любящего балет, вставлял в свои комедии балетные номера, писал для версальских праздников «Элидскую принцессу» и костюмированное представление «Утехи Очарованного Острова». Теперь времена были серьезными, и балетными либретто спасти свои рукописи нельзя. Надо было искать других, новых путей. В марте 1936 года в «Правде» был объявлен конкурс на учебник по истории СССР, а тремя месяцами раньше там же напечатали «замечания» по учебникам истории СССР и новой истории. Булгаков решает принять участие в конкурсе. Одновременно он заводит тетрадь «Материалы для биографии И. В. Сталина». Речь шла о батумском периоде жизни последнего. Возникает замысел пьесы «Батум». В 1939 году пьеса написана. В начале августа решено ехать в Батум с артистами и режиссерами МХАТа. 14 августа Булгаковы выезжают в Батум, но уже в Серпухове их догоняет телеграмма: «Надобность поездке отпала возвращайтесь Москву»[1]. Дальше последовали болезнь и смерть. Булгаков умирал не только от болезни — от затравленности, безысходности и молчания.

Михаилу Булгакову казалось, что на широких полях российской словесности он — единственный литературный волк. Конечно же, он заблуждался. Это была вполне естественная и понятная ошибка. Он слышал вокруг крики, обвинения, сам собирал на себя опасное досье, куда складывал тщательно вырезанные из газет и журналов злобные статьи и заметки о своем творчестве. Он хорошо знал людей, которые запрещали его повести, рассказы, романы и пьесы, видел агентов ОГПУ, обыскивающих его квартиру, изымающих его рукописи. Наконец, вся печать старательно внушала ему, что он стоит особняком в нашей литературе. Ну как тут было не поверить, что ты единственный литературный волк? Приблизительно то же самое переживали и другие писатели. А на широких полях словесности в СССР их было много, этих литературных волков, и с каждым годом становилось все больше. Евгений Замятин, Борис Пильняк, обериуты в Ленинграде — Н. Заболоцкий, К. Вагинов, Д. Хармс, Н. Олейников, А. Введенский. «Столбцы» и поэма «Торжество земледелия» Николая Заболоцкого были использованы для самой оголтелой травли их автора. Тут же, в Москве, в стенах Комакадемии, травили «подпильнячников»-перевальцев — Ивана Катаева за рассказы «Молоко» и «Сердце», Петра Слетова за повесть «Мастерство», а вместе с прозаиками и поэтами-«перевальцами» — критиков А. Воронского, А. Лежнева, Д. Горбова. Уже нависла черная тень приближающейся трагедии над Осипом Мандельштамом, который в 1934 году пойдет страшными путями тюрьмы, больницы, ссылки, снова тюрьмы и лагерей к неминуемой смерти. В 1929 году лидер рапповцев Леопольд Авербах начал травлю Андрея Платонова, а в 1931 году сам Сталин удостоил его «бедняцкую хронику» «Впрок» своим монаршим гневом. В годы уничтожения кулачества как класса Андрея Платонова, как и Николая Заболоцкого, окрестят «подкулачником»[1].

...Реальная ситуация, когда писателя начинает беспокоить и волновать тема, так сказать, противопожарной охраны рукописей, всегда исторически конкретна. Она, конечно, носит и вневременной характер — писатель, который по самой природе своей социальной задачи призван говорить обществу правду и задавать острые и нелицеприятные вопросы, сплошь и рядом встречается с нежеланием общества выслушать его. Поэтому честь, достоинство и право литератора свободно говорить всегда находится под угрозой. Он вынужден их отстаивать и защищать. Защищать рукописи от огня в том или ином смысле слова, будь то невозможность издать свои произведения, открытый запрет, давление издателя, редактора, цензуры, изъятие рукописи, травля печати. Писателя, напоминает Булгаков, можно убить, но нельзя заставить молчать. Если писатель замолчал, значит, он был не настоящим, а если настоящий замолчал — погибнет. Есть времена, есть отрезки истории, когда тема горящих рукописей становится особенно актуальной, жизненно важной, типической темой. Это личностная идея, каждый

[1] М. О. Чудакова. Архив М. А. Булгакова, с. 137.

[1] «Всякий, знающий классовую борьбу в нашей деревне и участвующий в ней, знает этот тип хитрого, пронырливого классового врага, знает, как часто пытается кулак надеть маску „душевного“ бедняка, заботящегося за народ, за „всеобщую действительность“. Подобного типа кулацкие агенты стремятся использовать и художественную литературу. Одним из кулацких агентов указанного типа является писатель Андрей Платонов. Как и у всех его собратьев по классу, по идеологии, под маской простоватого „усомнившегося Макара“ дышит звериная кулацкая злоба ⟨...⟩ Платонов распоясывается ⟨...⟩ Омерзительно фальшивый кулацкий Иудушка Головлев...» и т. д. (А. Фадеев. Об одной кулацкой хронике. «Красная новь», 1931, кн. 5—6).

писатель в такие времена самостоятельно ищет свой ответ, который оплачен самой высокой ценой, какой можно оплатить идею,— ценой собственного жизненного пути, ценой своей жизни. Это, разумеется, не значит, что ответ писателя, его путь и его выбор представляют интерес только для него самого и безразличны для других людей. Нет. Свой путь надо искать и выстрадать самому. Не всегда посильно для человека найти выход, но, как говорил Платонов, «когда он осуществился, то это имеет принципиальное и всеобщее значение».

Борис Пастернак писал:

> Другие по живому следу
> Пройдут твой путь за пядью пядь,
> Но пораженья от победы
> Ты сам не должен отличать.

Михаил Булгаков думал несколько иначе, он искал свой путь осознанно и целеустремленно. И отличал победы от поражений, по крайней мере, стремился к этому.

В романе «Мастер и Маргарита» есть такая сцена. Перед тем, как покинуть Москву, Воланд с крыши старинного высокого дома обозревает городскую панораму. Появляется Левий Матвей, он сообщает оценку романа Мастера: «Он прочитал сочинение мастера... просит тебя, чтобы ты взял с собой мастера и наградил его покоем...». И на вопрос Воланда, почему они не берут Мастера в свет, Левий Матвей отвечает: «Он не заслужил света, он заслужил покой...». Оценка произнесена высшим судией, и эти слова можно толковать только в высоком оценочном смысле. Интересно, что Воланд, пересказывая Мастеру оценку его романа, передает ее такими словами: «Ваш роман прочитали... и сказали только одно, что он, к сожалению, не окончен...» И предлагает Мастеру окончить роман одной фразой. Мастер кричит: «Свободен! Свободен! Он ждет тебя!» Такой конец «романа в романе» — прощение Понтию Пилату,— конечно, очень важен и значителен. Но это завершение романа не меняет его высшей оценки, которая была передана Левием Матвеем и которую опустил Воланд в своем пересказе: «Он не заслужил света, он заслужил покой». Здесь следует напомнить, что с «романом в романе» читатель начинает знакомиться по рассказу самого Воланда о событиях, происходивших во дворце Ирода Великого. Это он вводит нас в историю прокуратора Иудеи Понтия Пилата, судившего Иешуа Га-Ноцри. Евангелие от Воланда естественно и органично потом переходит в роман Мастера, они тождественны. Недаром Мастер, выслушав изложение рассказа Воланда, восклицает: «О, как я угадал! О, как я все угадал!» Некоторые критики полагают, что это должно свидетельствовать о существовании некоего «пратекста», «изначально существовавшего и лишь выведенного из тьмы забвения в „светлое поле“ современного сознания гением художника». Если и есть некий «пратекст», то он вряд ли должен и может совпадать с «версией» Воланда, хотя тот и был свидетелем и, разумеется, участником событий, происходивших тогда. Получается, что «союз» с Воландом заключен не только в тот момент, когда он восстанавливает сожженную рукопись, но значительно раньше. На этом пути неизбежны компромиссы.

Вот как об этом рассказывается в «Жизни господина де Мольера». В трудной ситуации, когда горят писательские рукописи, каждый ищет свой путь. Но есть способы и приемы, отработанные и проверенные веками,— сознательное авторское членовредительство. Мольер «...решил прибегнуть еще к одному способу для того, чтобы вернуть пьесу к жизни. Способ этот издавна известен драматургам и заключается в том, что автор под давлением силы прибегает к умышленному искалечению своего произведения. Крайний способ! Так поступают ящерицы, которые, будучи схвачены за хвост, отламывают его и удирают. Потому что всякой ящерице понятно, что лучше жить без хвоста, чем вовсе лишиться жизни. Мольер основательно рассудил: королевские цензоры не знают, что никакие переделки в произведении ни на йоту не изменяют его основного смысла и ничуть не ослабляют его нежелательное воздействие на зрителя».

Писателям всегда хотелось веры в то, что рукописи не горят, даже тогда, когда они самолично отрубают им не только хвост, но и руки, и ноги. Надо помнить, что автор идет на это под воздействием силы. Это — крайний способ. Булгаков верил в нетленность произведений искусства, ради сохранения рукописи допускал такой способ и тоже прибегал к нему. Он был тверд в своих убеждениях и мало поддавался всякого рода идеологическим увлечениям и поветриям тех лет. Вероятно, поэтому он не прибегал к другому «крайнему методу» — к отречению от своих произведений, к признанию ошибок, к покаяниям и заверениям в своем желании исправиться.

Булгаков очень рано осознал, что литература вступила в такую историческую полосу своего развития, когда писателю необходимо принимать срочные и действенные меры, дабы защитить свое достоинство и право говорить. Он искал и творил свой путь и делал свой выбор. Свои методы защиты и спасения рукописей он сделал темой художественных произведений. С этой точки зрения высший суд, прозвучавший над творением Мастера, следует рассматривать и как самооценку собственного пути. Он согласен признать, что его путь и его методы самозащиты и спасения рукописей приводят к компромиссам. Время, как бы говорит нам художник, таково, что без «союза» с Воландом спасения нет. Но этот «союз» не может не сказаться на произведении искусства, а поэтому художник и его творение не достойны Света, они достойны только Покоя. Таков суровый самоприговор Булгакова. История, кажется, склонна пересмотреть его и реабилитировать писателя.

Позиция Михаила Булгакова если не уникальна, то, по крайней мере, очень редка для пореволюционной литературы. Он был последовательным, и бы даже сказал, традиционным реалистом не только в искусстве, но и в политике. Он признал революцию как объективную реальность, но не связал с ней никаких иллюзий. Принимал такой, какой она была. И полагал, что художник обязан и имеет право говорить об этой реальности всю правду и обсуждать с обществом те проблемы и вопросы, которые возникают в действительности. О положении художника в обществе он тоже думал весьма традиционно — художник говорит обществу правду о нем и задает очень сложные и трудноразрешимые вопросы, а общество не всегда хочет его слушать и понимать. Никакого «модернизма» в этой проблеме он не признавал. Так было всегда, так есть и так будет. Поэтому и тема горящих рукописей поставлена им с такой ясностью. Проблема выступает здесь с предельной глубиной и отчетливостью, что очень удобно для анализа. Но, повторяю, позиция Булгакова особая. В трудной ситуации, когда у писателя начинают гореть его произведения, каждый художник ищет свой путь. Выбор пути определяется множеством трудно учитываемых факторов.

* * *

Судьба Андрея Платонова складывалась совсем иначе. Юность его была эмблематична для того времени, и, хотя уже в Воронеже наметились у него противоречия и конфликты [1], социальное происхождение и активное участие в пореволюционном строительстве поначалу создавали ему положение независимое и давали большую свободу.

В Москве первые сатирические вещи Платонова тоже «сошли с рук» молодому сатирику. Только потом критика стала вспоминать «Город Градов». Но уже «Усомнившийся Макар» вызвал окрик рапповцев [2]. Столь же резко и неприязненно были встречены очерки «Че-Че-О», написанные в соавторстве с Борисом Пильняком. Не вняв грозному предупреждению, прозвучавшему в статьях об «Усомнившемся Макаре», Платонов продолжал настаивать на своих сомнениях. В 1929 году он сдает в «Федерацию» роман «Чевенгур» и получает отказ. Посылая это произведение Горькому, Платонов писал ему: «...я прошу прочитать мою рукопись. Ее не печатают (в „Федерации“ отказали), говорят, что революция в романе изображена неправильно, что все произведение поймут как контрреволюционное. Я же работал совсем с другими чувствами, и теперь не знаю, что делать...» [1]. Горький прочел рукопись быстро, через месяц он уже направил Платонову свой отзыв. Он писал: «...Но, при неоспоримых достоинствах работы вашей, я не думаю, что ее напечатают, издадут. Этому помешает анархическое ваше умонастроение, видимо, свойственное природе вашего „духа“. Хотели вы этого или нет,— но вы придали освещению действительности характер лирико-сатирический, это, разумеется, неприемлемо для нашей цензуры. При всей нежности вашего отношения к людям, они у вас окрашены иронически, являются перед читателем не столько революционерами, как „чудаками“ и „полоумными“. Не утверждаю, что это сделано сознательно, однако это сделано, таково впечатление читателя, т. е.— мое. Возможно, что я ошибаюсь» [2]. Словом, романа Горький не поддержал и, хотя сначала сослался на цензуру, которая, дескать, не может допустить «лирико-сатирического» изображения революционной действительности, в конце все-таки тоже разделил сомнения цензоров, упрекнув Платонова в ироническом изображении революционеров. Платонов Горького не послушался и продолжал отстаивать свой роман. В 1930 году «Чевенгур» набирается в издательстве «Молодая гвардия». Правда, дальше корректуры дело не пошло...

«Лирико-сатирическое» освещение действительности, «нежность отношения к людям» и ироническая окрашенность их образов — в этих словах Горький уловил своеобразие платоновского стиля, необычный и непривычный синтез патетики и иронии. Этот стиль казался тогда недопустимым не только для цензоров, но и для самого Горького. Время требовало пафоса. Молодое государство оказалось очень чувствительным к смеху и нервно на него реагировало. Предполагалось, что смеяться следует над старым или, в крайнем случае, над пережитками старого внутри нового. В другом письме к Платонову

[1] См.: Л. Шубин. Поиски смысла отдельного и общего существования. М.: 1987, с. 112—113, 125—128.

[2] См.: Л. Шубин. Сказка про усомнившегося Макара. «Литературное обозрение», 1987, № 8.

[1] Горький и советские писатели. Неизданная переписка. «Литературное наследство». М.: 1963, т. 70, с. 313—314.

[2] Там же, с. 313.

Горький говорил: «...В психике вашей,— как я воспринимаю ее, есть сродство с Гоголем. Поэтому: попробуйте себя на комедии...» [1]. Остро почувствовав некоторые стилистические черты Платонова, Горький, к сожалению, не понял и не оценил этого писателя. Прочтя его рассказ «Мусорный ветер», он опять, глухо ссылаясь на цензуру, говорил о том, что «рассказ едва ли может быть напечатан где-либо». Но в то же время признавал силу художественного дара Платонова: «Рассказ ваш я прочитал, и — он ошеломил меня. Пишете вы крепко и ярко, но этим еще более — в данном случае — подчеркивается и обнажается ирреальность содержания рассказа, а содержание граничит с мрачным бредом» [2].

Конечно, часто бывает так, что старшие и маститые писатели не принимают и потому не могут поддержать молодого коллегу. Это естественно и, быть может, даже закономерно. Но в данном случае речь идет о другом. Когда Платонов в 1929 году впервые обратился к Горькому за поддержкой, над ним разразилась гроза, и в этих условиях академически спокойные ответы Горького читаются совсем иначе, нежели простое приятие или неприятие старшим писателем младшего. Невозможно предположить, что о травле Платонова Горький не знал. Знал, конечно, но поддержать опасался. Вот и утешал, как Лука: «Сожалею, что не могу сказать ничего иного, и продолжаю ждать от вас произведения, более достойного вашего таланта» [3]. Это — о «Мусорном ветре», а вот строки из письма по поводу «Чевенгура»: «Не сердитесь. Не горюйте... Все минется, одна правда останется... „Пока солнце взойдет — роса очи выест“? Не выест» [4].

В 1930 году Платонов пишет повесть «Котлован». Она остается в рукописи. В 1931 году вокруг повести «Впрок» разыгрывается грандиозный литературный и политический скандал [5]. Но и это не останавливает писателя. Слишком уж сильна была инерция, заданная первыми пореволюционными годами в Воронеже. Он продолжал верить в свое право, обретенное в революции, говорить вслух, обсуждая сложные и важные для народа вопросы: «кто учился думать при революции, тот всегда говорил вслух, и на него не жаловались» («Чевенгур»). Писатель был убежден, что его просто неправильно понимают. Он стремился объясниться и писал новые вещи: рассказ «Первый Иван», повесть «Ювенильное море», рассказ «Мусорный ветер». Однако это было написано уже на излете. Рукописи горели, и надо было осмыслить происшедшее. Началась рефлексия, а с ней и медленное отступление писателя. Он спасал свои рукописи, отрекаясь от них, признавая свои ошибки. Платонов пишет свои «Возражения без самозащиты» и хочет «исправиться» [1]. Ему казалось, что за странными и несимпатичными лицами его критиков проступают образы трудящихся, а в бессмысленных криках, обвинениях и упреках чудились осуждающие слова простых людей труда. И он искал свои ошибки, промахи, просчеты. Так и не поняв «критики», Платонов стал отступать дальше, оставляя завоеванные рубежи, отказываясь от обсуждения нерешенных проблем и вопросов. Ему было недоступно булгаковское открытое противостояние, он искал свой путь и тоже выстрадал свою истину.

* * *

Эти два пути спасения горящих рукописей — путь Михаила Булгакова и путь Андрея Платонова — приводят нас к выводу: происходило нечто очень серьезное и страшное, если два столь непохожих писателя, чьи произведения входят в основной наш художественный фонд, при всех различиях их талантов и того пути, который они себе выбрали, оба стали жертвой единого процесса. Если отвлечься от политических причин и от выяснения исторических корней, то в общей форме эту проблему можно сформулировать как полную победу монологизма в идеологии и закрепление его как идеологии государственной. Причем парадокс состоял в том, что господствующее мировоззрение объявляло себя материализмом, а в действительности побеждал самый открытый и явный идеализм. М. М. Бахтин очень четко и основательно показал связь между монологизмом и идеализмом. Проследим за ходом его мысли. Только идеализм превращает монистический принцип, утверждающий единство бытия, в принцип единства сознания. С точки зрения идеализма нет нужды и потребности во множественности человеческих сознаний, ибо все, что существенно и истинно в них,

---

[1] Там же, с. 314.
[2] Там же, с. 315.
[3] Там же, с. 315.
[4] Там же, с. 314.
[5] Вот лишь названия нескольких статей, появившихся в то время: А. Фадеев, «Об одной кулацкой хроввке» («Впрок») — «Красная новь», 1931, № 5—6; И. Макарьев, «Клевета» («Впрок») — «На литературном посту», 1931, № 18; Д. Хавин, «Пасквиль на колхозную деревню» — «За коммунистическое просвещение», 1931, № 137; П. Березов, «Под маской» («Впрок») — «Пролетарский авангард», 1932, № 2.

[1] «Литературная газета», 1937, № 69, 20 декабря: «... Мои литературные ошибки совсем не соответствовали моим субъективным намерениям... Мне, быть может, легче совершенствоваться в своей работе, изживать свои ошибки и недостатки, опираясь на свои статьи, пробиваясь вперед сначала хотя бы одной публицистической мыслью...»

в этих эмпирических человеческих сознаниях, входит в единый контекст «сознания вообще». Независимо от того, добавим от себя, как называется это «сознание вообще» — «научное мировоззрение», «классовое мировоззрение», «мировоззрение партии» и так далее. Единственный принцип познавательной индивидуализации, какой признает идеализм,— это ошибка. Все истинное не закрепляется за личностью, а довлеет некоторому единому системно-монологическому контексту. Единственный вид взаимодействия в процессе познания, который знает идеализм, есть изучение знающим и обладающим истиной незнающего и ошибающегося. Все истинное вмещается в пределы одного сознания, и если не вмещается фактически, то лишь по соображениям случайным и посторонним самой истине. В идеале одно сознание и одни уста совершенно достаточны для всей полноты познания, во множестве сознаний нет нужды и для них нет основы. И вот тогда, когда монологизм такого рода, независимо от того, осознается это обществом или нет, побеждает, становится господствующим, тогда и возникает ситуация, которую Булгаков условно обозначил метафорой — «горят ли рукописи?».

* * *

Все эти философские построения выглядят совсем не отвлеченно, если внимательно всмотреться и вдуматься в события, какие происходили, да и сейчас происходят, в нашей литературе. Начнем с крайнего и резкого в своей определенности примера. В январе — марте 1925 года (как помечена рукопись автором) Михаил Булгаков пишет сатирическую повесть «Собачье сердце». Автор не делал из нее секрета, читал ее сам друзьям и знакомым, готовился опубликовать. Но в самом конце 1925 года или в начале 1926-го, по свидетельству Булгакова, на его квартире производится обыск и агентами ОГПУ рукопись изымается. Что так напугало в повести общество, вынудив его прибегнуть к столь экстраординарным мерам? Согласимся, что это не совсем обычное отношение к новому литературному произведению, если исходить из общепринятых представлений о литературном процессе в цивилизованном обществе. Что произошло? Разве писатель выступил против Советской власти? Написал прокламацию? Листовку? План заговора? Нет, это была повесть, злая сатирическая повесть. Вряд ли даже можно сказать, что обобщающая и бичующая сила этой сатиры была столь же велика, как, скажем, в «Истории города Глупова» Щедрина или в «Ревизоре» Гоголя. Сатира Булгакова носила более локальный характер. И все-таки рукопись решили изъять, она, к счастью, сохранилась, но до сих пор остается неопубликованной на родине писателя [1].

В чем же сатирическая соль этой крамольной повести Булгакова? В чем ее «крамола»? Герой повести, профессор Филипп Филиппович Преображенский, известный хирург и крупный ученый, увлечен модной в те годы проблемой «омоложения». Он ставит рискованный и дерзкий по тем временам эксперимент — пересаживает гипофиз умершего человека собаке. Результат этого эксперимента не только фантастичен, но и неожидан для ученого — возникшее существо подобно человеку и восстанавливает в своем облике умершего человека. На фоне этого фантастического сюжета и разворачивается сатирическая коллизия повести. Гипофиз принадлежал некому Климу Чугункину, уголовнику и пьянице, погибшему в пьяной драке от удара ножом в спину. И вот теперь профессор, его ассистент, его прислуга, а вместе с ними и читатели становятся свидетелями того, как вместо милого пса Шарика появляется отвратительное человекоподобное существо, в котором пробуждается и побеждает смутное, темное и примитивное сознание бывшего уголовника и пьяницы, прорезается его сущность подонка и хама. Оказывается, что этот гомункулюс не только примитивен, но и полон агрессии. Зато он очень быстро мимикрирует в социальной среде. В той борьбе, или точнее склоке, которая ведется вокруг большой квартиры профессора, он принимает активное участие, и его охотно используют.

Тут следует, очевидно, сказать более определенно о позиции профессора. Не о научных его взглядах, а о позиции, так сказать, общественной. Он, конечно, говорит много «крамольных» вещей, этот ученый-чудак. Он, например, говорит так: «Да, я не люблю пролетариата...» Профессор придает «космическое значение» какой-то калошной стойке, которая стояла когда-то в Калабуховском доме.

Для Филиппа Филипповича калоши, разумеется, важны не сами по себе, он, декларируя, так сказать, эмпиризм, стремится к обобщениям и видит в калошах своеобразный символ эпохи. Прислушаемся к его речам. Несмотря на свою агрессивность, он совсем не склонен легкомысленно отрицать новый порядок, напротив, именно отсутствие порядка и вызывает его гнев. Он хотел бы новый порядок упрочить: «Городовой!.. Городовой!.. Городовой! Это и только это. И совершенно неважно — будет ли он с бляхой или же в красном кепи». Профессор настаивает на установлении порядка совсем не ради порядка, он исходит из того, что в современном обществе порядок необходим, ибо это общество строгого разде-

---

[1] Повесть опубликована в журнале «Знамя», 1987, № 6.

ления труда. «В Большом пусть поют, а я буду оперировать. Вот и хорошо. И никаких разрух...» Разруху как объективно существующий фактор он не признает: «...если я, вместо того чтобы оперировать, каждый вечер начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, ходя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах...» Преодолеть разруху в головах, конечно, очень трудно (вспомним опыт нашего общества за прошедшие десятилетия). Все же следует напомнить, что победить эту «разруху» стремились в те годы не только чудак-профессор, но и государство. Однако если бы это было и не так, вряд ли для молодого государства критика Филиппа Филипповича представляла социальную опасность. Но опыт нашей пореволюционной сатирической литературы показывает, что молодая власть очень нервно реагировала на смех, она хотела бы только серьезно-восторженного к себе отношения. Такая позиция сама по себе могла бы стать объектом смеха, но с сатириками стали говорить таким громким голосом, с такими политическими обвинениями и «оргвыводами», что смех в «недозволенных местах» и над «недозволенным» стал постепенно гаснуть...

Вернемся к рассуждениям чудака-профессора. Если всерьез разобраться в нелюбви его к пролетариату, то здесь многое проистекает из недоразумения и социальной неприязни, к тому же сознательно разжигаемой тогда как с одной, так и с другой стороны. Таково было время. Революция провозглашала пролетариат господствующим классом, руководителем общества, но это не означало, что гегемонию в социальной и культурной жизни можно просто утвердить декретом. Предполагалось, по крайней мере в теории, что пролетариат приобщается при этом к мировой культуре. Социальная практика революции была, разумеется, иной. Люди, усвоив на митингах и собраниях нехитрую логику передачи всей власти — экономической, политической, идеологической — в руки трудящихся, сделали для себя естественный вывод, что самая их принадлежность к трудящимся группам обеспечивает их права и преимущества. Профессор Преображенский, чей опыт общения с трудящимися был невелик, сталкиваясь с такими людьми, не мог не возмущаться. Он — ученый, знающий цену знаниям и трудный, медленный путь к овладению ими,— естественно, возмущается, когда мальчишки, «молодые выдвиженцы», еще плохо владеющие русским языком, начинают поучать его и всех вокруг, излагая скверным языком наскоро прочитанные марксистские брошюры. И это вместо того, чтобы просто учиться. Филипп Филиппович — хирург, причем хирург уникальный, чьи практические и теоретические работы известны не только в России, но и за рубежом, специалист, мастер своего дела, естественно, терпеть не может ничего не умеющих болтунов, распевающих хором. Доведись ему поговорить с платоновскими героями, они наверняка, как только преодолели бы первый барьер взаимного недоверия, нашли бы общий язык...

Но Швондер и его молодые друзья... Разве он мог говорить с ними? Дело совсем не в том, что они пришли его «уплотнять». У него с ними нет никаких точек соприкосновения. Боюсь, что и любимые платоновские герои восприняли бы этих «выдвиженцев» — Швондера, Вяземскую, Пеструхина, Шаровкина — очень иронически. Булгаковский герой отождествлял их с пролетариями, но сейчас нам становится понятным, что они скорее их «заместители». И появление таких «заместителей» беспокоило не только старого профессора, но и потомственного пролетария из очерка «Че-Че-О»[1]. Профессор Преображенский, как мы помним, желает порядка: разруха кончится, когда швондерам просто не будет в обществе места. Платоновский герой тоже полагает: надо «...делать вещи, покорять природу и — самое главное — искать дороги друг к другу»[2]. И это не следствие их социальной пассивности — просто их социальная активность проявляется совсем в иных сферах. У них своя иерархия ценностей.

В повести Булгакова эти выдвиженцы-заместители дискредитируются не тем, что хотят «уплотнить» профессора Преображенского, не тем, что разрушают привычный и устоявшийся быт Калабуховского дома бессмысленными своими действиями, а своим союзом с Шариковым, с тем самым человекоподобным существом, которое возникло в ходе рискованного эксперимента профессора.

И тут мы вступаем в «третий этаж» сложной булгаковской метафоры. Опыт профессора Преображенского, создание искусственным путем нового человекоподобного существа,— опыт социально опасный. Искусственный организм, возникший, минуя эволюционные ступени развития природы и опыт социальной истории человечества, представляет собой физиологического и социального монстра. Природа и человеческая история не зря

[1] См.: Л. Шубин. Поиски смысла отдельного и общего существования, с. 164—172.

[2] А. Платонов, Б. Пильняк. Че-Че-О. Областные организационно-философские очерки.— «Новый мир», 1928, № 12. (Перепечатано в журнале «Литературное обозрение», 1987, № 10. Послесловие В. Свительского).

и не впустую вершили свою шлифовку живых организмов во времени. Этим нельзя легкомысленно пренебрегать. Работа природы и истории обеспечивает физиологическую и социальную устойчивость человека, которой начисто лишен созданный искусственно получеловек-полусобака. Профессор прав, когда говорит: «Ну так вот Швондер и есть главный дурак. Он не понимает, что Шариков для него более грозная опасность, чем для меня, не соображая, что если кто-нибудь натравит Шарикова на самого Швондера, от него останутся только рожки да ножки». Шариков, имея минимальные запасы интеллектуальной энергии и будучи начисто лишен моральных стимулов и критериев, не только легко мимикрирует и приспосабливается, но и полон агрессии и активности, которую, учитывая его бездуховность и аморальность, легко направить куда и как угодно. Филипп Филиппович Преображенский, осознав страшные социальные опасности, возникающие в результате его фантастического эксперимента, успевает произвести повторную операцию, вернув Шарику его собственный гипофиз, и тот возвращается в свое первоначальное собачье бытие. Но герой другой сатирической повести Булгакова — «Роковые яйца», профессор Владимир Ипатьевич Персиков, открывший «красный луч», под воздействием которого неимоверно быстро растут и размножаются различные организмы, не успел предотвратить социальную катастрофу. Его изобретение попало-таки в руки очередного Швондера, которого там зовут Александром Семеновичем Рокком, и тот, перепутав куриные яйца с яйцами различных гадов, вырастил громадное поголовье змей-гигантов, которые двинулись на Москву. Эти предостережения Булгакова-сатирика наши современники могут оценить сейчас с большим пониманием.

Но дочитаем повесть и вникнем в те итоги, к которым пришел профессор Преображенский. Он вынужден признать не только опасность результата своих опытов, но и их ошибочность. Можно, конечно, рассуждает он, привить гипофиз Спинозы и соорудить из собаки другой, более высокий организм, а не Шарикова. Но зачем? Зачем искусственно создавать Спинозу, если любая баба может родить кого угодно? Родила же мадам Ломоносова своего гениального сына в простой крестьянской избе? Он говорит: «Человечество само заботится об этом и в эволюционном порядке каждый год упорно, выделяя из массы всякой мрази, создает десятками выдающихся гениев, украшающих земной шар». Мысль профессора поднимается к новому обобщению, одновременно к новому обобщению приходит и сатирик,— евгеника, пытающаяся улучшить человеческую породу физиологическими экспериментами и опытами, столь же бесплодна, как и легкомысленные уверения швондеров, что они путем социальных опытов улучшат человечество. Вот основной итог размышлений профессора: «Наука еще не знает способов обращать зверей в людей. Вот я попробовал, да только неудачно, как видите. Поговорил и начал обращаться в первобытное состояние. Атавизм». Профессор явно ерничает, он обращается к швондерам,— а разве им объяснишь серьезные идеи? Он-то знает, что не вмешайся он хирургическим путем, Шариков мог бы торжествовать победу и над ним самим и, при случае, над швондерами. Обращать зверей в людей наука не может,— ни медицина, ни социология,— шариковы были и остаются зверями. Атавизм, знаете ли!

По современным понятиям, повесть является своеобразной повестью-предупреждением. Мы хорошо теперь знаем, чего стоил и во что народу обошелся лозунг о «социально близких» нам уголовных элементах, о «классовом подходе», помним об «уничтожении кулачества как класса». Мы помним, хорошо помним все эти швондеровские социальные эксперименты по превращению людей в зверей и наоборот. И нам внятны и близки предупреждения Булгакова. Ни социальным экспериментом, ни декретом, ни медицинским вмешательством нельзя сделать хорошего человека плохим, а зверя человеком. Это под силу только природе и человеческой истории.

Сила булгаковской сатиры не ослабевает с годами, писателю многое было видно из далекого 1925 года. Он понимал профессиональный риск сатирика. Комментируя слова Мольера в его предисловии к «Драгоценным», где он заверил читателей, что выступает в пределах «сатиры честной и дозволенной», Михаил Булгаков писал: «...в Париже нашлись люди, которые заметили, что сатира действительно, как известно всякому грамотному, бывает честная, но навряд ли найдется в мире хоть один человек, который предъявит властям образец сатиры дозволенной». Впрочем, продолжал он, предоставим «Мольеру защищаться, как он умеет». Булгаков писал честную сатиру, но «дозволенной» писать так и не научился, хотя многие вокруг него учились этому. Однако и замолчать окончательно он не мог, ибо был настоящим писателем. Поддерживала его, очевидно, «странная» убежденность в том, что искусство нетленно, что рукописи не горят...

* * *

Андрей Платонов критиковал общество с других позиций. Это особенно бросается в глаза при сопоставлении своеобразия историзма двух этих писателей. Для Бул-

гакова революция есть определенная историческая данность, некий отрезок пути России в историческом времени, и он стремится к осознанию и к пониманию этого отрезка «как главы меж глав, как событья меж событий», если воспользоваться точной метафорой Бориса Пастернака. Андрею Платонову революция виделась как некий рубеж, с которого начинается новый, принципиально иной период в развитии человеческой истории. Он считал, что марксистское мировоззрение в форме русского большевизма должно слиться с исконно русским народным правдоискательством, где под правдой жизни народ понимает ее смысл. Как ни «уклонялась» в крайности мысль Платонова, для него характерна вера в то, что революция должна вносить смысл в жизнь человека, одухотворять его деятельность, его отношения к другим людям, к обществу, к природе.

С другой стороны, Платонова и Булгакова разнило их понимание роли и места народа. Это во многом определялось различием их биографий, их жизненным опытом, или, как тогда любили говорить, их разным социальным происхождением и положением в обществе.

Булгаков был потомственным русским интеллигентом, и, что бы там ни говорили порой его герои о своей нелюбви к пролетариату, он, как и большинство русских интеллигентов, вырос и сформировался в среде, где народ всегда любили и всегда прислушивались к «мнению народному». Именно отношение народа к революции и определяло, в конечном счете, «выбор» интеллигента. Об этом свидетельствуют и личный жизненный путь Булгакова, и его творчество, где герои произведений проходят разные варианты такого же пути. Место интеллигента, полагал Булгаков, там, куда приходит народ. Переход основной массы народа на сторону красных решал исход гражданской войны и революции и, следовательно, решал судьбу интеллигенции. Таково было убеждение Булгакова. Однако писатель был далек от какого бы то ни было поклонения народу. В этом он был тоже традиционен и следовал за передовыми представителями русской интеллигенции. Поэтому он считал, что, при всей любви к народу, писатель сохраняет за собою право говорить о нем всю правду точно так же, как и о революции.

Платонов сам был человеком народа. Он разделял с ним не только сильные, но и слабые стороны — ошибки, иллюзии, заблуждения, предрассудки. Он, в частности, разделял до определенной степени народное «недоверие» к самому понятию «интеллигент». Следуя определенным народным иллюзиям, Платонов порой слишком безусловно настаивал на «автономии» народа в обществе. Иногда он формулировал эти мысли с такой, например, резкостью: «...народ живет особой, самостоятельной жизнью, связанный с „высшими" кругами, со „светом" лишь цепью своей неволи...» [1]. Если бы все это было действительно так, то не существовало бы, наверное, ни общества, ни истории, и, как говорил сам Платонов, тогда «каждый класс и эпоха представлял бы из себя безмолвные „острова уединения"». Но как ни объяснять эти противоречия мысли писателя, как ни оспаривать и как ни оценивать их, они противоборствовали и многое определили в его художественном видении мира.

Мне уже приходилось писать о своеобразном психологическом феномене «неузнавания» революции [2]. Для многих она оказалась иной — то ли лучше, то ли хуже, чем они себе ее представляли, но — иной. Это несовпадение программ, деклараций, прогнозов, предсказаний, просто мечтаний, надежд и иллюзий с реальностью есть факт не только психологический, но и социальный, причем факт колоссальной исторической важности. Необходимо сказать, что чем дальше развивалась революция, постепенно переходя в послереволюционное строительство нового общества, тем более определенным и более осознанным становился этот конфликт. И наша общественная мысль, в том числе и литература и искусство, уделяла этому конфликту, в меру своих сил и возможностей, конечно, очень большое внимание.

Обычно принято говорить о двух направлениях, в которых проходило осознание русской общественной мыслью этого конфликта: движение и борьба в русской эмиграции, где вокруг этой проблемы сталкивались страсти и кипела мысль — общественно-политическая, историческая, философская, художественная,— и в самой пореволюционной России, где проблема эта исследовалась как проблема интеллигенции в революции. Это, разумеется, очень узкая постановка вопроса. Очевидно, например, что именно в этом разрезе можно и следует изучать историю партийной борьбы и партийных разногласий, в которую вылилось осмысление этого конфликта. Здесь, вероятно, уместно сослаться на свидетельство В. И. Ленина, который в 1920 году комментировал это так: «История вообще, история революций в частности, всегда богаче содержанием, разнообразнее, разностороннее, живее, „хитрее", чем воображают самые лучшие партии, самые сознательные авангарды наиболее передовых классов. Это и понятно, ибо самые

[1] А. Платонов. Размышления читателя. М.: 1970, с. 40.

[2] См.: Л. Шубин. Поиски смысла отдельного и общего существования, с. 27—29.

В СТАРОМ ПЕТЕРБУРГЕ



Городская дума в праздничном убранстве. 1903



Въезд на Николаевский мост. 1901



Зимний дворец. 1912—1913



Здание германского посольства на Исаакиевской площади. 1912



Вид на Фонтанку с Лештукова моста. 1900



Садовая улица в начале века

Снимки предоставлены Центральным государственным архивом кинофотофонодокументов.

лучшие авангарды выражают сознание, волю, страсть, фантазию десятков тысяч, а революцию осуществляют 〈...〉 сознание, воля, страсть, фантазия десятков миллионов»[1]. Признание В. И. Ленина следует напомнить тем, кто противопоставляет «сознательное» начало революции так называемому «преклонению перед стихийностью», поскольку здесь подчеркивается именно значение «стихийного». Но речь здесь идет все же не столько о характере нашей революции, сколько о тех практических выводах, которые следует делать руководителям революции из этих ее особенностей. «Корабль революции» в бушующем океане стихии, которую он сам развязал, совершает сложные «маневры» и беспрерывно «меняет курс», и эти изменения не поддаются реальному «контролю» и не всегда совпадают с программами и теориями. Поэтому лидеры революции, ее вожди, если они хотят оставаться у штурвала «корабля революции», должны обладать способностью отказываться от «балласта» старых программ, теорий и представлений. Только выбрасывая за борт «балласт», можно оставаться вождем, руководителем.

Это отступление в область политики и партийной борьбы вызвано необходимостью подчеркнуть, что не только русские эмигранты и русская интеллигенция встречались с неизвестной им революцией и потом долго и мучительно приводили в соответствие с реальностью свои представления, мечты и иллюзии. С незнакомой революцией сталкивались все, ибо «знакомых» революций не бывает, они неповторимы и уникальны, как и люди. Вопрос стоял только так — как скоро и в какой степени люди сумеют и смогут адаптироваться. И еще так — будут ли они настаивать на своих мечтах, своих утопиях и иллюзиях. Реальность всегда обладает тем преимуществом перед теорией и мечтой, что она есть, а в период революции это преимущество усиливается тем, что реальность опирается на силу, и ее нетерпимость к инакомыслию достигает максимума. Однако она не может и не хочет прерывать свою историческую преемственность с утопиями прошлого, она утверждает, что является их воплощением. Людей, конечно, трудно убедить в том, что встреченная ими новая реальность точь-в-точь совпадает с тем, чего они ждали и о чем мечтали, если это не так или не совсем так. На это требуются время и серьезная идеологическая работа. Надо было доказать, что утопии осуществились и мечты сбылись, а то, что не осуществилось и не сбылось, было ошибкой, заблуждением или иллюзией. Нельзя не признать: в этом направлении работали почти все — и победители, и побежденные, и те, кто стремился к оправданию реальности, и те, кто ее не принимал, и те, кто в силу разных обстоятельств должен был ее принять. Срабатывала какая-то магия действительности — то, что есть, постепенно обретало характер и признаки долженствования.

Булгаков, как я уже говорил, был в определенной степени исключением в этом повальном «неузнавании» происшедшей в России революции. Никакого краха своих мечтаний и иллюзий от встречи с реальностью революции, гражданской войны и пореволюционного строительства нового общества он не пережил. Он был, так сказать, просветителем и верил в постепенное развитие людей в ходе истории, верил в гуманитарные силы искусства и науки. Поэтому писатель не мог признать и принять насильственные методы революционного преобразования общества, хотя и понимал причины, вызывающие и провоцирующие насилие.

Иначе складывались взаимоотношения с новой реальностью у Андрея Платонова. Он пришел в нее с «грузом» своих идей и представлений о грядущей революции. Более того, в первые пореволюционные годы, когда духовная жизнь Платонова протекала особенно бурно и интенсивно, его концепции складывались и формировались порой в каком-то странном отчуждении от реальности. Но она все более конфликтовала с платоновскими идеями интеллектуальной бескровной революции и начала наступления на Вселенную. Причем эти интеллектуальные построения в сознании Платонова причудливо переплетались с народными мечтами о всеобщей справедливости, об обществе добрых людей, о «нечаянном» обретении земли обетованной, где царят благоденствие, справедливость и братство. Конечно, все эти утопии и мечтания мало были похожи на реальную жизнь и практику революции, гражданской войны и пореволюционного строительства. Утопии приходили в конфликт с действительностью. Писатель с неизбежностью вступал в острый диалог с обществом.

Сатирический дар Платонова пробудился очень рано и обнаружился еще в первых произведениях воронежского периода. Вспомним его фельетон «Душа человека — неприличное животное». В нем уже потенциально заложены основные темы зрелой сатиры Платонова. Там есть фрагмент «Революция в полном облачении». «Площадь. Красные войска, рабочие, женщины, дети. 〈...〉 Гремит и движется под солнцем живая революция 〈...〉 Черные чертики-фотографы — снимают пролетариат. Люди в полном облачении, т. е. галифе, нагане, коже и т. д., устанавливают порядок, чтобы было приличное лицо у революции. К суетящейся

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 41, с. 80—81.

толпе ⟨...⟩ подскакивает официальный революционер ⟨...⟩

— Осади, осади назад! — говорит зам...

Революция сменилась „порядком“ и „парадом“»[1].

Отметим, казалось бы, полную противоположность разрешения здесь оппозиции «революция и порядок» по сравнению с булгаковской точкой зрения. Если булгаковские герои в «Собачьем сердце» мечтают о порядке, то у Платонова именно эта смена революции порядком и является объектом сатиры. Даже самое это слово — «порядок» — забрано в злые кавычки. Гнев сатирика вызывают «люди в полном облачении», которые и олицетворяют этот ненавистный ему порядок. Булгаковский герой патетически заверяет, что будет рад городовому, даже если он будет в красном кепи, без бляхи. Все, кажется, полярно. Но ведь булгаковский герой, который так уповает на нового городового, не принимает и не может принять Швондера и компанию, а именно они, а не милиционер в красном кепи, точнее всего олицетворяют подобный «порядок». Платонов именовал их — «люди в полном облачении, т. е. галифе, нагане, коже...». Товарищ Швондер тоже «в коже», а Александр Семенович Рокк из «Роковых яиц», тот и подавно — человек в «полном облачении». Хотя действие повести и отнесено к 1928 году, но Рокк подчеркнуто «старомоден»: «...на вошедшем была кожаная двубортная куртка, зеленые штаны, на ногах обмотки и штиблеты, а на боку огромный, старой конструкции пистолет маузер в желтой битой кобуре». Оказывается, что, при всех различиях своего подхода к действительности, и Булгаков, и Платонов в равной мере обеспокоены появлением и ролью в новой действительности «людей в полном облачении».

В литературе двадцатых годов все эти галифе, кожаные куртки, наганы и маузеры, словом, внешние атрибуты революционеров «кочевали» из произведения в произведение, от писателя к писателю. Евгений Замятин даже сокрушался по поводу того, что молодые писатели видят только «тело», и даже не столько «тело», сколько куртки, френчи, сапоги, но каким-то странным образом проходят мимо того «размаха духа» новой эпохи, который разрушает быт, чтобы «поставить вопросы бытия»[1]. Этот упрек ни к Булгакову, ни к Платонову не относится, они зафиксировали все эти куртки и френчи только потому, что так выглядели их герои. Но говорят об этих явлениях оба писателя очень серьезно, их споры и сомнения носят мировоззренческий характер. Булгаков настаивал на необходимости обсудить проблемы, которые возникают, когда «люди в полном облачении», безосновательно претендующие на руководство общественной и культурной жизнью страны, начинают ставить и проводить научные и социальные эксперименты. Он видел в этом большую опасность и предупреждал об этом общество. Платонова эти «официальные революционеры» беспокоили потому, что в социальных амбициях он видел опасность пренебрежения народными творческими силами революции. Спор и диалог, предлагаемый этими писателями обществу, был вполне резонным и основательным.

Конечно, кратко очерченные здесь исходные позиции двух писателей не были неподвижными, застывшими и замкнутыми в себе, самодовлеющими. Это были живые и развивающиеся мировоззренческие позиции, которые в творческой практике подвергались проверке, критике, испытанию «на прочность», «на излом», словом, формировались в художественное мировоззрение. Сложными путями движется вперед художественная мысль писателя...

1980 г.

Публикация, подготовка текста и примечания
Е. Д. ШУБИНОЙ

[1] Газета «Огни», 1921, 4 июля. Текст полностью воспроизведен в книге: Л. Шубин. Поиски смысла отдельного и общего существования, с. 112.

[1] «Русское искусство», 1923, кн. 2—3, с. 58.



В. СКОБЕЛЕВ

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ И ДРУГИЕ

Жизнь Льва Алексеевича Шубина (1928—1983) по внешним признакам вряд ли чем примечательна: один из московских педагогических институтов, аспирантура ИМЛИ, а после ее окончания и до конца дней — работа в издательстве «Советский писатель» в должности старшего редактора. При жизни печатался мало; несколько статей в «Вопросах литературы» и в «Литературном обозрении» — вот, пожалуй, и все. Однако было в Шубине нечто внутренне значительное, привлекавшее к нему людей: логика, сила ума, но главное — высокая *учительность*. Именно она, а не поучительность: не склонный поучать, стремившийся больше слушать, чем говорить, Лев Алексеевич был из тех прирожденных педагогов, которые умеют воздействовать на человеческую душу незаметно, так, что сначала может показаться: ты до всего додумался сам, и только потом начинаешь понимать, кто тебе внушил идею и как ты до нее доходил. Может быть, именно поэтому работы Шубина выходили нечасто: много сил требовало общение и «по службе», и «по душе». Люди тянулись к этому человеку, потому что говорить с ним было интересно, непросто и радостно. И он расходовал себя на людей щедро, безоглядно, словно бы забывая о своем письменном столе, о собственных замыслах...

И вот Льва Шубина нет. Но публикуются его работы. Перед нами книга и тематически примыкающая к ней статья. Первая умело составлена Е. Д. Шубиной, сопровождена емким и глубоко личным предисловием С. Г. Бочарова.

Несмотря на внешнюю разнородность (статьи о творчестве А. Платонова, главы из книги о нем, статьи о других авторах, рецензии для издательства «Советский писатель»), книга внутренне едина. Здесь два проблемных центра. С одной стороны, интерес к исходным показателям творческого сознания (художественного и научного), к тем путям, на которых реализуется мысль ученого и художника-прозаика. С другой — к способам художественного воплощения массовой народной жизни, к тому, как «память сердца» становится социально активным сознанием и исторически ответственной памятью. К одному из этих центров сводятся издательские рецензии, статьи о М. Бахтине и В. Шкловском. К другому — работы «платоновского цикла» и статья о критической прозе А. Адамовича. Сюда же тяготеет и журнальная статья о сатире Платонова.

С «платоновским циклом» естественным образом увязываются издательские рецензии. Их общность — в интересе к творческой личности. Нельзя не согласиться с автором предисловия: Шубин, опираясь на «биографический метод» Сент-Бёва, «...наметил свою теорию биографии писателя». Следует напомнить: активизировавшийся в 60-е годы интерес к проблеме автора дал хорошие результаты, но одновременно вызвал и известный перекос — больше занимались писателем как организатором художественного текста, нежели «автором биографическим». Сделанное Шубиным восполняет существенный пробел.

Обусловленность писательской судьбы Шубин трактует диалектически гибко: «Личная судьба человека творится им самим, правда, на фоне и в жестких рамках судьбы исторической». Человек, следовательно, живет не только по «заданному», но и по логике соотношения между этим «заданным» и потенциально творческим «я». В исходных позициях нет противоположности между художником и так называемыми простыми людьми, между «я» и «мы», личностью и народом — всех преследует соблазн «мифологизированных образов», но для всех же есть и выход: «Народ, как и отдельная личность, несет прожитую жизнь в своем сердце и разуме. Этой исторической памятью люди живы, в ней их сила».

А. Платонов органично соответствует этому теоретическому толкованию — он в шубинской трактовке столько же у «времени в плену», сколько и в противостоя-

Шубин Л. Поиски смысла отдельного и общего существования. Об Андрее Платонове. Работы разных лет. М.: Советский писатель, 1987; Шубин Л. Сказка про усомнившегося Макара. Андрей Платонов. Опыт сатирической мысли. «Литературное обозрение», 1987, № 8.

нии этому «плену»: «Юность Платонова эмблематична для того времени, но она и глубоко оригинальна, ибо самобытна его личность». Исследователь выявляет закономерность появления А. Платонова именно в Воронеже, одном из русских «областных культурных гнезд». Это — общий план, а рядом — крупный: начальная школа, местная библиотека, читательские интересы воронежских рабочих, занимавшихся в предреволюционные годы самообразованием. Реконструируются и неповторимый облик минувшей эпохи, и детство, и юность будущего писателя; дается постоянная прописка в истории как А. Платоноау, так и его «сокровенным», задумавшимся героям. Тем самым совмещаются большой и малый контексты писательской биографии.

Проблема самоосуществления — чрезвычайно значимая для Платонова, независимо от того, идет ли речь о жизни личности или о массовой жизни. С Л. Шубиным и тут нельзя не согласиться: «Счастье личной и общей жизни — такова основная метафора в художественном мире Платонова, это ядро вещества существования». Здесь важны, по меньшей мере, два вывода, сделанные в книге: во-первых, «Платонов — интеллигент, который не вышел из народа»; во-вторых, как следствие — для Платонова «...понятие „интеллигент“ не было самостоятельным и поглощалось понятием „мастер“».

Л. Шубин показывает, как писатель, живя в единстве с массовым народным сознанием и притом сохраняя самостоятельную позицию, и разделял заблуждения этого сознания, и преодолевал их: «Особенно важна разработка им столкновения утопических представлений народа о социализме с реальной практикой революции и пореволюционного периода, которое точно и глубоко зафиксировано писателем». Преодоление утопизма означало переход от линейности к стереоскопичности. И если некоторые современные исследователи (например, В. Васильев) резко противопоставляют раннего и позднего Платонова как утописта — реалисту, то Л. Шубин сосредоточивается на внутреннем родстве обоих, подчеркивает диалектически утверждавшееся единство и, в конечном счете, верность первоистокам. Вывод здесь прям и однозначен: «...„поздний“ Платонов мало что добавлял к „раннему“...».

«Мало что добавлял» — это, так сказать, стратегия движения. Между тем на уровне тактики изменения были и — достаточно значительные. Мы видим — вслед за Л. Шубиным, что «у Платонова сложно, часто трагически-напряженно противостоят друг другу человек и природа, человек и другие люди». Все это, добавим, укладывается в знаменитую формулу «прекрасного и яростного мира». С позиций высоких требований, предъявленных и к отдельному человеку, и к народной массе, и к обществу в целом, оценивает жизнь А. Платонов. Не случайно Л. Шубин привлекает наше внимание к малоизученному очерку «Че-Че-О», написанному его героем в соавторстве с Б. Пильняком («Новый мир», 1928, № 12). Один из персонажей здесь говорит: «А ведь это... только сверху видать, что внизу — масса, а на самом деле внизу отдельные люди живут, а один умнее другого». Это уже не только требование, но и оценка, и вывод — основа для того, чтобы заявил о себе сатирический пафос.

Изучение платоновской сатиры еще только начинается. Работы Шубина в значительной мере восполняют и этот пробел. Статья, опубликованная «Литературным обозрением», и другие работы, так или иначе посвященные Платонову-сатирику, объединяются в том, что с наглядной, я бы сказал, исчерпывающей четкостью доказывают старую и вместе с тем постоянно нуждающуюся в подтверждении истину: сатира с ее тотальностью обличения и праведностью гнева немыслима без высокого идеала. Исследователь подчеркнул антибюрократическую устремленность сатиры писателя. Главный враг А. Платонова — те, кому «...только сверху видать, что внизу масса...», те, «...кто пытался присвоить себе право „думать за пролетариат“».

Сейчас вряд ли нужно напоминать о том, насколько своевременной и перспективной оказалась деятельность сатирика. Важнее обратить внимание на другое. Л. Шубин убедительно опровергает выводы о неконструктивности платоновской сатиры 20-х — начала 30-х годов. Они делались при жизни писателя и после его кончины, вплоть до наших дней. По точному выражению Л. Шубина, имело место «несовпадение реплик» в диалоге между Платоновым и критикой. Пришедшееся на рубеж 20—30-х годов, оно определило надлом в судьбе писателя. С горькой ясностью пишется в книге о том, как после беспощадных статей рубежа десятилетий писатель сделал отчаянную попытку воспринять эту критику «как голос масс». А. Платонов и сам отказывался от сатиры, и других пытался от нее отучать.

Показателен контекст, в котором рассматривает Шубин платоновскую сатиру: Свифт, Радищев, Гоголь, а рядом — Пушкин, пытавшийся заступиться за Радищева, напомнить о нем читателю «Современника»... Советский писатель оказывается в родстве с теми, у кого сатирический запал художника совмещается с пафосом публициста, кому словно бы мало являться к читателю в облике только художника.

И дело тут в особенностях не одной только сатиры А. Платонова, но и во всей его жизни — жизни человека, тяготевшего и к публицистике, и к практической работе при беззаветном служении художеству. Вспомним биографию главного героя книги: квалифицированный рабочий, специалист по вопросам электрификации и мелиорации, газетчик, литературный критик. Может быть, именно поэтому — тут мы воспользуемся словами Л. Шубина — «художественная проза Платонова всегда находится на грани между литературой и философией». Опыт практической жизни, попадая в зону платоновского художества, приобретал облик философской обобщенности.

Л. Шубин не оставил работ, посвященных непосредственно изучению поэтики А. Платонова. Однако он разработал основы для ее изучения: «И „неправильная“ гибкость языка Платонова, и его „прекрасное косноязычие“, и странная „шероховатость“ его фраз, и его особые, очень близкие народному языку „спрямления“ — все это есть своеобразное *мышление вслух*...» Итак, «мышление вслух» — и героев, и повествователя, который словно бы находится внутри «множеств». Не над массой, а внутри, где ничей голос не теряется и вместе с тем все голоса перекликаются, сходясь к высшей — авторской — инстанции. Отсюда и идет платоновская установка на всеобщность — притом, что голос героя не утрачивает своей «самости».

Интерес Л. Шубина к «чужому-своему» голосу в системе платоновского повествования не случаен. Исследователь много и результативно думал о проблеме диалогических отношений не только в прозе А. Платонова, но и вообще в словесном искусстве и — шире — в культуре. Одним из показателей плодотворности этого интереса является статья «Гуманизм Достоевского и „достоевщина“».

Статья памятна поколению 60-х годов. Написанная как рецензия на второе издание книги М. Бахтина о Достоевском, она уже в те годы переросла рецензионные рамки. Шубину уже тогда удалось разграничить автора как носителя тенденциозности и как воплощение высшей инстанции на уровне целостности художественного произведения. Точно истолковав суть бахтинской концепции, он сумел показать, что «полифонизм» («диалогизм») выступает, во-первых, как сила, противостоящая авторскому произволу, и, во-вторых, как самостоятельная тенденция художественного развития, полярная «монологизму», эквивалентная ему.

Вспоминая о спорах 60-х годов вокруг книги М. Бахтина, видишь, что позиция Л. Шубина была, пожалуй, наиболее точно выбранной и перспективной: устанавливалось, что в «полифоническом» романе (в данном случае — Достоевского) конфронтация идей, столкновение идеологических позиций ведет не к разобщению и, значит, разрушению или к невозможности создать идейно-художественную целостность, а, напротив, к достигнутым на путях диалектики согласию и целостности. И если таким образом обнаруживалась свобода персонажа, то она, с одной стороны, резко отличается «...от простого саморазвития реалистического характера», а с другой — это отнюдь не свобода от авторского отношения. Л. Шубин обратил внимание на то, что концепция М. Бахтина имеет огромное значение также и для теории познания, для понимания диалогической природы самого феномена культуры.

Бахтинское положение о том, что «идея начинает жить, то есть формироваться, находить и обновлять свое словесное выражение, порождать новые идеи, только вступая в существенные диалогические отношения с другими *чужими идеями*», сопровождало Л. Шубина всю его творческую жизнь. Поэтому в 60-е годы он настаивает на том, что «истина принципиально невместима в одно сознание, она событийна по своей природе и рождается в общении людей друг с другом». В 70-е годы, откликаясь на «Тетиву» В. Шкловского, он с удовлетворением отмечает, что писатель смог услышать критику в адрес своих ранних работ, активно приняв во внимание не только новые книги Д. Лихачева и М. Бахтина, но и «старую книгу П. Медведева». Наконец, анализируя в 80-е годы критическую прозу А. Адамовича, Л. Шубин задумывается над проблемами документальной прозы, которая интересна ему как осуществляемая возможность выразить народное многоголосие: «...прислушаться к голосам, записать их, чтобы сохранить для истории...»

Вернемся к высказыванию одного из платоновских персонажей: «...внизу отдельные люди живут, а один умнее другого». Человеку, который — без преувеличения можно сказать! — всю свою творческую жизнь отдал А. Платонову, было внутренне близким стремление белорусского писателя сделать фактом общественной жизни и фактом художества неофициально закрепленную память *каждого* из тех, кто составляет массу, народ, нацию, человечество.

С. Бочаров точно определил творческую суть деятельности Льва Шубина: «талант идееобразующий». Все, кто изучает платоновское наследие, не проходят мимо идей, сформулированных и обоснованных Шубиным, как не пройдут мимо них те, кто занимается проблемой автора, теорией художественной речи, особенностями документальной прозы. Разумеется, что-то будет уточняться, что-то оспариваться. Суть, однако, в том, что этим идеям суждено стать «веществом существования», понуждая думать и действовать. Жизнь идет. Диалог продолжается.



НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ

Е. В. Анисимов. Россия в середине XVIII века. М.: Мысль, 1986

9 ноября 1740 года нельзя сказать «малолетний» — маломесячный российский император Иоанн VI объявил манифест (!) об отрешении от власти регента государства герцога Бирона. На его место с теми же полномочиями грудной младенец «назначил» свою мать Анну Леопольдовну. Счастья это ему не принесло. Через год внучатого племянника Петра I свергла с престола его тетка Елизавета...

Что же такое русская политическая история сороковых — пятидесятых годов XVIII века? Неужели какой-то фантасмагорический карнавал на фоне стропил растреллиевского барокко? Автор книги о «борьбе за наследие Петра» рисует и сросшиеся с лицами маски этого карнавала, и вполне романический ход дворцовых интриг. Потому что все это действительно было реальностью придворной жизни, от которой зависели порой судьбы всего населения.

Но главное в книге — при всей занимательности ее фабулы — другое. Автору удалось показать основные социально-идеологические аспекты борьбы в русском обществе середины XVIII столетия, установить наличие в нем идей, способствовавших известной стабилизации жизни в елизаветинское царствование. А самое поучительное в исследовании — это рассказ о том, как то, что мы называем «духом времени», одолевает субъективные волеизъявления правителей, влияет на ход истории.

В этом отношении характерно само появление Елизаветы на историческом поприще. Настроение Анны Леопольдовны было достаточно мирным. Тем не менее всего три сотни гвардейцев с Елизаветой на плечах (в буквальном смысле слова) безо всякого труда совершили государственный переворот. Конечно, Анна Леопольдовна не обладала государственным умом. Но, как доказывает историк, не была политическим мыслителем и Елизавета. Получила она русский престол благодаря тому, что ее образ мог утвердить — и утвердил — возрожденную национальную символику. Кому как не дочери великого императора было встать во главе движения, вдохновленного, как пишет Анисимов, «ностальгией» по Петру? Курляндские ли, брауншвейгские ли фамилии, заправлявшие русскими делами в тридцатые годы — все они разваливали дело Петра, ничего не предложив взамен. Поэтому простая реставрация петровских начинаний и идей Елизаветой показалась многим современникам едва ли не их возрождением и развитием.

Однако в любой реставрации нет прежде всего как раз развития, нет творческого начала. Так, при упразднении послепетровских государственных институтов и восстановлении петровского принципа непосредственного руководства императором всеми делами Елизавета ни разу не задумалась — по плечу ли ей бурная деятельность отца? У нее не был выработан комплекс оригинальных политических идей и вообще отсутствовал постоянный глубокий к ним интерес. Многие насущные для России преобразования Петра остались в елизаветинское царствование попросту забытыми. Анисимов приводит наглядный тому пример с «любимым детищем» Петра — военно-морским флотом. Уменьшившись и количественно, он был в таком состоянии, что «больше боялся свежего ветра, чем неприятеля».

Разумеется, не все обстояло так мрачно. В конце царствования Елизаветы Россия явно выигрывала Семилетнюю войну. В буквальном смысле слова эта победа была выкована — дело решила необыкновенно развившаяся в сороковые — пятидесятые годы металлургия. В этой области успехи петровского времени были действительно закреплены. Русская артиллерия опять заняла передовые позиции в Европе. В металлургическом подъеме нашла отражение вторая важная черта, благоприятствовавшая долгому и никем не поколебленному положению Елизаветы на троне.

Императрица, как никто до нее, способствовала укреплению положения дворянства в России, утверждению его особенного корпоративного духа. В государственном организме оно стало суверенным образованием. Дворянство в целом, а не одна аристократическая придворная верхушка, получило все необходимые для процветания права и льготы. Именно это — в основном, кстати, как показывает Анисимов, низовое — дворянство и возвело Елизавету на престол. Вознаграждено оно было сторицей — за счет крестьянства. Крепостная зависимость при Елизавете лишь увеличилась. Подневольное население страны и обеспечило стремительный прирост рабочей силы на промышленных предприятиях, на льготных условиях отдававшихся дворянам. Начался своего рода промышленный бум, последствия которого никого опять же не занимали.

При известном просветительском направлении дворянских мыслей ни Елизавета, ни ее эфемерные идеологи никак не могли понять, что подневольный труд в конце концов не выгоден ни промышленности, ни экономике страны в целом, ни даже помещичьему хозяйству. Никому, например, не открыла глаза судьба известнейшего и, как казалось, богатейшего владельца металлургических заводов П. И. Шувалова, оставившего наследникам одни долги.

При этом людей, в большей степени радеющих о пользе отечества, чем о своем кармане, среди приближенных императрицы, кроме, может быть, И. И. Шувалова, не было. Из казны старался ухватить на собственные нужды каждый. Парадоксально, но сребролюбие виднейших лиц государства не мешало укреплению в России общего кодекса дворянской чести и распространению идей Просвещения. Роскошная жизнь тоже имеет свои резоны. И если при дворе Просвещение преимущественно гремело царскосельскими балами и фейерверками, то в разряд этих украшающих жизнь императрицы празднеств постепенно входила и настоящая культура — архитектура, музыка, театр, живопись — не уступавшая европейским образцам. Ясно, что эта культура имела в русском обществе резонанс более громкий, чем эффекты дворцовых пиротехников. Все-таки недаром на время правления Елизаветы приходится открытие Московского университета и Петербургской Академии художеств, а также явление России Ломоносова...

Положительной особенностью русской общественной жизни середины XVIII века являлось то, что ведущая политическая сила страны — дворянство — каким бы оно ни было, не отказалось ни от идей Просвещения, ни от мысли о национальном — в петровском духе — возрождении.

Как убеждает исследование Анисимова, европеизация жизни в России вполне может сочетаться с ее национальными интересами. Это тем более важно отметить, что в целом идеология Просвещения — наднациональная идеология, она опирается на понятие «человечество», а не на понятие «нация». Однако общечеловеческая духовная ориентация, что в условиях России середины XVIII века означало «европейская ориентация», прекрасно уживалась с патриотическим подъемом мысли. Этот сплав, даже при явной неодаренности, как это явствует из книги Анисимова, управляющего аппарата, шел стране на пользу. Популярное со времен славянофилов противопоставление нашей «самобытности» нашему же «европеизму», видимо, далеко не всегда актуальная для России проблема.

Андрей АРЬЕВ

В ДВУХ МИРАХ

И. М. Меттер. Будни. Л.: Советский писатель, 1987

О прозе И. Меттера писали не раз, отмечая и ее психологическую достоверность, и правдивость, и социальную остроту. Поэтому я остановлюсь лишь на последних вещах, в которых автор высказывается впрямую,— прежде всего, на «Поселковых заметках», написанных среди «не совсем типической действительности» полугорода-полусела, где сады и огороды до сих пор называют участками. Здесь нет ни гениальных открытий, ни великих произведений искусства, ни политических потрясений — все это проникает из большого мира в малый через капилляры массовой информации, но — «здешняя действительность не зыблется».

Автор «Заметок», погруженный в оба мира, не может забыть об одном именно потому, что постоянно помнит о другом. Именно проглядывающая то и дело пронзительная любовь писателя ко всему живому заставляет его не отворачиваться от темных сторон «нетипичной действительности».

В «Литературной энциклопедии» об И. Меттере написано, что постоянный антагонист его любимых героев — корыстный «служака-карьерист», камуфлирующийся «ссылками на параграфы инструкций и велеречивой демагогией». Инструкции, велеречивая демагогия — это, казалось бы, все-таки не из поселковой действительности; однако в советах милого ассенизатора-алкоголика не касаться мрачных предметов, а лучше написать что-нибудь повеселее, чтобы люди «отдохнули», автор обнаруживает удивительное сходство с тем, «чего требовал Комитет по делам кино». А полуграмотный бывший фельдъегерь, навеки облученный значительностью «больших людей», с которыми соприкасался десятки лет назад, изрекает, что Маяковский не заслуживает памятника: как же, коммунист, а застрелился, не выдержал борьбы. В каких только мутных и кривых зеркалах не отражаются мучительно знакомые казенные формулировки!

Язык «Заметок» точный, образный и какой-то неподкупный: «обезжиренная порошковая интеллигентность», «стихотворные сборники слеживаются на полках в лед, в вечную мерзлоту». Читая «Заметки», начинаешь отчетливее понимать, что такое «личность автора»: с ним хочется говорить еще и еще, задавать ему вопросы и — возражать.

Мне, например, кажется, что И. Меттер слишком возвышенно объясняет влечение массового читателя к документальной литературе. Бесспорно, у кого-то есть и «жажда правды», но сколькие упиваются сведениями о третьестепенных знакомых Пушкина, не помня из него ни строки... Имн и для них придумано это идиотское слово — информация: от искусства они, видите ли, получают информацию — как раз то, что либо десятистепенно в искусстве, либо вообще не имеет ничего общего с ним. Удивительно ли, что нищие духом, ищущие в искусстве «информации», рано или поздно обращаются к «более обильным» ее источникам!

Но возражать хочется именно *этому* автору — а как часто несогласие вызывает желание не поспорить с писателем, а отойти поскорее и подальше!

Ни одной пустой строчки — то мимоходом брошенная мысль (фраза «добро должно быть с кулаками» часто прочитывается как простое разрешение ими пользоваться — люди с крепкими кулаками нередко убеждены, что именно они и являют собою добро), то интереснейшая зарисовка (целый зал писателей нескончаемо аплодирует речи Сталина, в которой из-за неисправного приемника никто не разобрал почти ни слова). Страница за страницей пролетают очень быстро, как ни стараешься читать помедленнее.

К счастью, впереди еще очерки, воспоминания. Автор был знаком с Твардовским, с Зощенко, с Ахматовой, он помнит, какие писатели на самом деле были любимы и знамениты в двадцатых — тридцатых годах,— они и составляют великую славу русской советской литературы, несмотря ни на какие домкраты, которыми стараются удержать на не принадлежащих им пьедесталах других, более «нужных» (нужных — кому?).

Интересно заметить: правдивые писатели не изменяют своей правдивости, даже когда пишут о людях, которых любят и безмерно уважают. Они не скрывают, что видели их и страстными, а следовательно, пристрастными, и неоправданно резкими, и сломленными,— и это только усиливает боль нашей любви к ним. Писатели же другой школы полагают, что зоркими и правдивыми могут быть лишь равнодушие или неприязнь, а дело любви — только украшать. У мемуаристов этой школы, среди их единомышленников царствуют вечная безоблачность и бесконфликтность, «воспоминаемые» излучают исключительно свет и тепло. Всякая «земная» черта выдающегося человека не подлежит обнародованию.

Поклонников этой школы может коечто задеть и в воспоминаниях И. Меттера,— те, о ком он пишет, предстают живыми людьми. Поэтому в утешение им приведу отрывок из других воспоминаний, в которых знаменитый человек именуется Человеком с большой буквы — и более ничего к этому не прибавляется. Отрывок этот взят из воспоминаний о Ф. И. Панферове, написанных Ш. Рашидовым, счастливо сочетавшим литературную и государственную деятельность, подобно Тютчеву и Щедрину, однако далеко превзойдя их по служебной лестнице.

«Федор Иванович обладал необыкновенной творческой прозорливостью, умел подмечать в жизни ростки нового, стремился расчистить им путь. Он смело разрабатывал самые сложные и самые актуальные темы современности. С какой глубиной, с какой страстностью анализировал он в последних романах проблемы совершенствования руководства сельским хозяйством!

...Редколлегия журнала „Октябрь" во главе с Ф. И. Панферовым показывала пример того, как любовно и терпеливо надо работать с литераторами, пишущими на современные темы...

Федор Иванович повернулся ко мне:

— Слышал, что пишете новый роман.

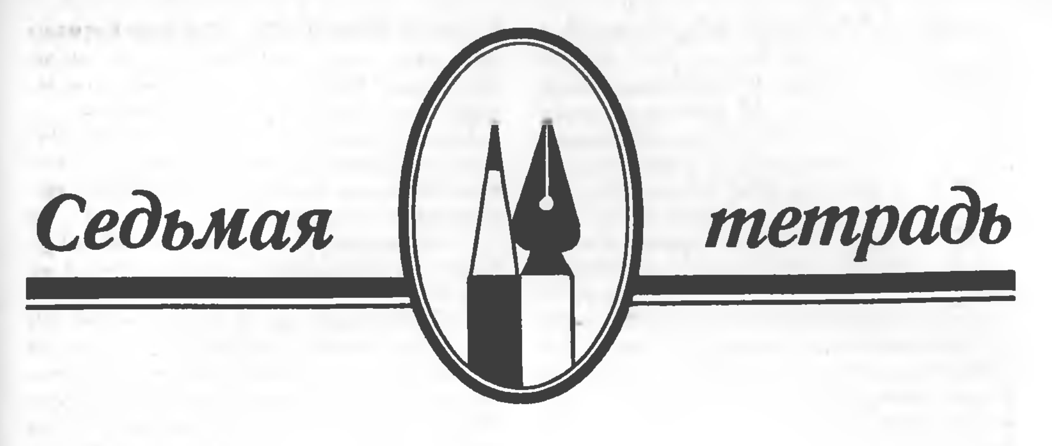
Я ответил, что действительно работаю над романом, и, по просьбе Федора Ивановича, коротко изложил сюжет нового произведения, посвященного формированию рабочего класса в Узбекистане, трудовым подвигам молодежи в дни войны, строительству Фархадской гидроэлектростанции... Федору Ивановичу сюжет понравился. Он встал, подошел к телефону, позвонил домой — Антонине Дмитриевне Коптяевой, поведал ей о сюжете моего будущего романа... Антонина Дмитриевна посоветовала ускорить работу.

— Поторопитесь, обязательно поторопитесь с романом,— сказал Федор Иванович, когда мы снова уселись за стол.— Тянуть с этим — грех. Читатель ждет такие произведения».

У Меттера все обстоит не так безмятежно! Он мог бы и умолчать о том, как Твардовский, вступаясь за его произведение, все же не преминул подчеркнуть, что Меттер, мол, не Лев Толстой (хотя автор воспоминаний на равенство с Толстым, естественно, и не претендовал). Но — «так это было».

Любовь и боль — вот из чего рождается правда книги И. Меттера. Чувствуется, что он открыл нам лишь небольшую часть своего былого и дум. И потому будем ждать продолжения.

А. МЕЛИХОВ



Очарованная душа

Вячеслав КОРОБКИН

ЛИСТЬЯ ЖЕЛТЫЕ НАД ГОРОДОМ КРУЖАТСЯ...

В Ленинграде вновь запели соловьи. Нет, я не имею в виду ни Викторию Иванову, ни Алибека Днишева. Не говорю о «Соловье» Алябьева и о «Соловьях» Соловьева-Седого. Пусть меня простят и курские соловьи: не о них сказ. Поведу речь о соловьях наших, северных. Точнее, ленинградских. А еще точнее — елагинских. Об истории их возвращения на невские берега.

А истории этой уже два десятилетия.

1966 год. Ленинград. Эрмитажный театр. Первая всесоюзная конференция по садово-парковому искусству. Выступающих много. Рассуждают о несовершенных парковых аттракционах, о реставрации садовых оград и павильонов, о недостаточном количестве торговых точек мелкой розницы, о тысячах других всевозможных проблем, только не о садово-парковом искусстве. Тут-то и взял было слово скромный молодой мастер садово-паркового отдела Центрального парка культуры и отдыха имени С. М. Кирова Андрей Рихардович Метс. Его доклад был как раз для этой конференции. Но выступить ему не дали: дескать, мелкотемно для форума такого масштаба. Да и неудобно как-то: при дамах — о навозе!.. Так и вернулся он в свой родной ЦПКиО...

Приберег доклад до следующей конференции. Ан нет! Не состоялась она. Та, первая,— пока что и последняя...

Однако скромный, с виду даже застенчивый Метс оказался довольно-таки зубастым. Доклад докладом, а дело делом. И он принялся на практике осуществлять теорию, познанную когда-то на отделении зеленого строительства жилищно-коммунального техникума и на инженерном факультете Лесотехнической академии имени С. М. Кирова, усовершенствованную в библиотеках и в беседах со старейшими петербургскими садовниками.

Когда Метс пришел работать в ЦПКиО, он первым делом ознакомился с материалами последней инвентаризации зеленого «населения» Елагина острова, где расположен парк. В 1947 году на его газонах произрастало шестнадцать видов трав, из них ровно половина — сорняки. Еще хуже обстояло дело с деревьями. Со времен войны пришлось спилить не один десяток мощных с виду, но больных изнутри стволов. А к середине шестидесятых подгадала новая беда: дубовая листовертка — крошечная гусеница, смертельный враг дубрав.

Тонны ядохимикатов — гербициды, пестициды, инсектициды — упорно делали свое дело. Но не совсем, правда, так, как хотелось бы садовникам. Первым делом погибли птицы, отравившись пропитанными ядами насекомыми и гусеницами. Лишенные своих естественных врагов — птиц,— гусеницы плодились и размножались в геометрической прогрессии. А болезни деревьев тем временем из острых переходили в хронические. Тогда пошли в ход химические удобрения. Но сорняков не убавилось, а деревья чахли еще быстрее...

Метсу стало интересно: а как действуют ядохимикаты на человека? Фармакологи сообщили, что одним граммом тиофоса можно убить семь человек. «А ведь мы потребляем четыре тонны тиофоса в год! — с ужасом подумал Андрей Рихардович.— Двадцать восемь миллионов смертельных доз!». И он решил положить этому конец.

Но не пришлось: как раз в это время в СССР были запрещены многие виды ядохимикатов, в том числе тиофос и пресловутый ДДТ — как особо токсичные и вредные для человека и окружающей среды. Это несказанно обрадовало Метса. Но ненадолго. На смену прежним ядохи-

микатам пришли новые. Менее губительные, но все же не безвредные. Только мастер Метс не привык дважды повторять свое упрямое «нет!». Он принял решение начисто отказаться от любых химических веществ, будь они даже и удобрениями.

«Чем организм дерева, всякого другого растения отличается, скажем, от человеческого?» — подумалось Андрею Рихардовичу. Ответ дали ученые различных отраслей биологии. Цитологи, например, давно доказали единство происхождения растительных и животных организмов. «Значит — ничем». Дерево тоже питается, дышит, рождается, умирает, болеет. Только деревья болеют и умирают молча, безропотно. Они не могут вызвать по телефону «скорую». Выходит, ботаническая «скорая помощь» должна производить патронаж своих зеленых подопечных, не дожидаясь вызова.

Когда спиливали на Елагином острове десятки погибших деревьев и изучали их годичные кольца, Метс обратил внимание на, казалось бы, парадоксальное явление: кольца времен революции, гражданской и Великой Отечественной войн, голода и разрухи были гораздо мощнее, чем кольца мирных лет. Особенно тощими выглядели кольца начала шестидесятых.

На деле никакого парадокса не было. Просто в годы великих потрясений людям было не до садов и парков. Зеленые городские оазисы пребывали как бы в запустении, развивались по своим, естественным законам. Деревья не подстригали, не подпиливали нижние раскидистые ветви, не убирали с газонов опавшие листья. То есть, не нарушали сложившийся в природе за сотни миллионов лет круговорот веществ.

Сам коренной ленинградец, блокадник, Андрей Рихардович Метс (любопытно, что эстонское слово «метс» по-русски означает «лес») на всю жизнь запомнил подвиг рядовых горожан и выдающихся ученых, умиравших от голода, но не тронувших ни одного зернышка из государственной коллекции семян, умиравших от холода, но не спиливших ни одного дерева из городских садов и парков. Из бесед со старыми петербургскими садовниками он узнал полудраматическую, полукомическую историю военных лет о смотрителе Летнего сада. Этот почтенного вида шустрый старичок уговаривал командиров кавалерийских полков расквартировываться непременно возле Летнего сада. Он гарантировал, причем безвозмездно, кормление лошадей свежим сеном, обещал достать овса, уборку навоза целиком и полностью брал на себя. Взамен не просил для себя никаких благ. Время было более чем серьезное. Поэтому вполне естественно, что попытки старорежимного садовника войти в тесный контакт с воинскими частями не могли не заинтересовать СМЕРШ. Не один раз подозрительного деда допрашивали, но затем отпускали. Видавшие виды чекисты каждый раз падали со смеху: старику-садовнику, оказывается, позарез был нужен... конский навоз. Именно ради него и готов был он обихаживать каждую кавалерийскую лошадку.

— Я, петербуржец до мозга костей, ни минуты не сомневаюсь, что мои сограждане в ближайшее время вышибут немца из-под Ленинграда, из России,— объяснял он сотрудникам СМЕРШа.— Где после Победы будут гулять бойцы со своими барышнями? В Летнем саду. А что нужно для того, чтобы он стал еще краше, чем до войны? Удобрение. А какое удобрение самое что ни на есть лучшее? Прошу пардону, навоз.

Когда Андрей Рихардович заикнулся было о том, что хорошо бы удобрить и газоны ЦПКиО конским навозом, реакция последовала весьма бурная:

— Да ты что, голубчик, очумел, что ли? В парке куль-ту-ры — и... навоз! Да там должно быть чище, чем в казарме. Мыльной пеной надо мыть каждую аллейку!

— Какая же это культура, когда верхушки сохнут на живом дереве? — возражал Метс.— Культура — когда газоны поросли бурьяном? Культура — когда могучие дубы чахнут и гибнут, насквозь пораженные паршивыми червями — дубовой листоверткой?

— Почаще убирай листья. В них-то и заводятся всякие черви. Погуще разводи ядохимикаты. Черви и подохнут!

— Деревья и травы гибнут и болеют от голода, от ядов,— не унимался мастер Метс.— Их нужно кормить, укреплять их организмы, а не травить вместе с гусеницами.

На него посыпались партийные и административные выговоры. Но он не отступал с занятой позиции. Начисто отказался от любых, даже самых «безобидных» ядохимикатов, запретил убирать на территории Елагина острова опавшие листья, перестал вносить в почву минеральные удобрения, распорядился удобрять газоны торфом, проводить регулярное известкование почвы. И болезнь начала отступать. К острову медленно, но верно возвращалось здоровье...

— Что, по-вашему, означает весьма модное ныне словечко «биосфера»? — спрашивает у меня главный садовник острова. И, не дожидаясь заведомо дилетантского ответа, поясняет:

— Биосфера — это тонкий слой почвы, воздуха и воды, в котором обитают, взаимодействуя, живые организмы. Вот что такое биосфера. Это сказал мой научный наставник академик Калесник. Еще в 1955 году в своей работе «Основы общего землеведения» он писал (Метс раскрыл записную книжку): «Совершенно очевидно, что измененный или преобразованный ландшафт продолжает оставаться природным комплексом, потому что в нем действуют те же природные силы и законы, что и в первобытном ландшафте». Или вот: «Природа, даже измененная человеком, не может развиваться по общественным законам». А вот еще: «Растение в искусственно насаженной роще всасывает воду корнями, испаряет ее листьями, размножается по таким же законам, что и в естественном лесу... Природа всегда развивается по своим законам. Человек не во власти их отменить. Он может повлиять только на направление и скорость природных процессов, а не на их сущность».

Андрей Рихардович оторвал взгляд от записей, поджал губы:

— Самое обидное именно то, что никаких правительственных указаний насчет уборки опавших листьев нет и никогда не было. Все решается и делается на местах. Создают «культурный ландшафт», отнимая у трав и деревьев (да и не только у них) естественный корм. Но ведь понятие «культурный ландшафт» происходит не от эстетического значения слова «культура», а от научного. Культурный ландшафт — это участок территории, где есть растения одного или нескольких определенных видов, то есть одной или нескольких *культур*. А тут садовники-грамотеи услыхали слово «культура» и пошли чесать по газонам граблями и сжигать мягкий опад. Все равно, как если бы вас за обеденным столом культурно попросили чуток обождать, пожелали приятного аппетита, смахнули в помойное ведро тарелки с закусками и сказали: «Будь здоров!». А потом бы разводили руками, дескать, что это с вами случилось? Бледны, нездоровы и... неблагодарны.

Мой собеседник кивнул на хоровод высоких и грациозных, ослепительно белоствольных березок, выглядевших на редкость женственными, кокетливыми:

— Вы когда-нибудь видели в городе плакучую березу?

— Только в лесу да еще в деревне.

— Плакучесть появляется у деревьев от достатка питания. Основные ветви дают дополнительные, незапрограммированные природой побеги. Словно воздушной фатой, украшают они березки. А все это они, опавшие листья. По-научному — мягкий опад.

— Ежик! Ежик! — послышались детские голоса, и группа ребятишек стремглав промчалась мимо нас вслед за колючим шариком.

— Наш, елагинский,— сказал Андрей Рихардович.— Перестали трогать опавшие листья — и экологический баланс пришел в равновесие, своими, неведомыми путями пришли на остров всякого рода зверюшки: ежи, полевые мыши, мышовки, белки, ящерицы, даже... змеи. Да вот, прислушайтесь... Узнаете? Колено за коленом выводит. Да, да! Обыкновенный лесной соловей.

— Лесной? В центре города?

— Видите ли, к сожалению, работников садов и парков не обучают хотя бы азам зоологии. Восполнить же этот досадный пробел самостоятельно у них не хватает времени. А вернее всего — желания. Попробуйте кому-либо рассказать об основах круговорота веществ в природе, об экологической цепочке, о цепочке питания животных и растительных организмов — тут же заткнут рот: мы, мол, это еще в начальной школе проходили. Сами-де знаем. А знают-то лишь то, что все это происходит где-то... в природе. Здесь же — не «природа», а парк... Впору усомниться, что в школе дают знания для того, чтобы применять их в жизни. Вы вот тоже, чувствуется, много знаете, много читали, а много ли вам известно о биосфере? Что это вообще такое?

— Итак, биосфера,— сильно поморщившись от дыма моей сигареты, начал новый монолог садовник Метс.— Тонкий слой почвы, воздуха и воды. Сколько лет, по вашему мнению, нужно для того, чтобы образовался слой почвы толщиной, скажем, с этот спичечный коробок?

Я пожал плечами.

— Отвечу словами Владимира Чивилихина: «На восстановление слоя почвы в два сантиметра, при хорошем состоянии покрова, природа тратит от двухсот до тысячи лет!». До тысячи! Подумать страшно! Что такое хороший покров? Это опавшие листья, мягкий опад. Многие ли доморощенные садовники знают, что из четырех тонн опавших листьев образуется около тонны гумуса — основы почвы? В тонне же богатой гумусом почвы живет около шестисот килограммов дождевых червей — этих маленьких «заводиков», которые денно и нощно рыхлят и обогащают почву незаменимыми микроэлементами. Да далеко и ходить не надо. Вот почитайте статью члена-корреспондента АН СССР Ковды.

Метс протянул мне номер журнала «Знание — сила».

«Современная наука,— пишет В. А. Ковда,— считает, что без озонового экрана жизнь бы погибла. Общепризнано, что его защитная роль способствовала сохранению и развитию жизни на планете.

Я же пришел к выводу, что почвенный покров на суше и на мелководьях играет, подобно озоновому экрану, столь же важную защитную роль. Если разрушение озонового экрана может уничтожить жизнь, то разрушение почвенного покрова, его деградация приведут к серьезным последствиям в биосфере.

Ведь у почвы много задач в биосфере.

Мало кто знает, что она — экологическая ниша, то есть убежище живых организмов. Ни в атмосфере, ни в гидросфере нет такой высокой концентрации живого вещества, как в почвенном покрове».

— Вот почему я принял решение сказать «нет!» ядохимикатам. Минеральные, то есть химические удобрения, кстати говоря, удобрять-то удобряют, но вместе с тем сжигают оболочки корней деревьев. В итоге деревья задыхаются от недостатка кислорода, а затем чернеют, чахнут и гибнут.

— Но,— пробую возразить я,— деревья же дышат углекислым газом через устьица на их листьях.

— Это так,— соглашается Метс,— но для усвоения этой самой углекислоты им требуется кислород. Растворению же кислорода в почве способствуют и исключительно органические вещества.

— Вы хотите сказать — опавшие листья?

— И разложившиеся опавшие листья, и торф, и навоз. Любая органика.

Я посмотрел на газоны. Ни одного прошлогоднего листика не заметно в густой траве.

— То, что не видно листьев,— не чудо. Их мягкие ткани полностью разлагаются за время от одного листопада до другого. На земле остаются нетленными, да и то до поры, лишь их жилочки. А, кстати, знаете, из чего вьют гнезда соловьи?

— Из веток?

— Нет.

— Из травы?

— Не угадали!

— Из листьев? Неужели из прошлогодних листьев? — обрадовался я своей догадке.

— Слегка горячо, но все же холодновато,— усмехнулся Метс.— Из жилочек опавших листьев двух-трехлетней давности. И только из них. Поэтому не удивляйтесь, что на Елагином острове поют соловьи. Вообще же они вьют гнезда не на деревьях, не на кустарниках, а непосредственно на земле. Так что, сгребая осенью или весной опавшие листья, мы разоряем жилища соловьев и еще тридцати пяти видов птиц, тем же способом вьющих гнездышки. Умиляемся пением и оперением пичужек, а сами бездумно убиваем их.

— Вы не досказали о дубовой листовертке,— напомнил я Андрею Рихардовичу.

— Деревья от достатка питания окрепли, как и любой другой, в том числе человеческий, организм. Отросли высохшие было верхушки, раскинулись, создавая прохладную тень, их нижние ветви, восстановилась иммунная деятельность. Дубы сами, своими защитными веществами убили смертельного врага — листовертку. Количество видов трав увеличилось с восьми до пятидесяти. Я говорю о полезных, не о сорняках. Те попросту исчезли с острова. Нет даже вездесущих одуванчиков.

— Но ведь, кроме органики, вы вносите в почву и известь. А это же вещество минеральное...

— Человеку тоже нужны минеральные вещества. Соль, например. При заболеваниях костей необходим кальций. И основу скелета животных и растений тоже составляют именно кальциевые соединения. Рыбья чешуя — тоже кальций. Так что такие добавки благотворно влияют на весь экологический баланс. Кстати, на дне елагинских прудов и рек, омывающих его, образовался, благодаря нашим мероприятиям, мощный слой ила. Живущие в «здоровом» иле микроорганизмы разлагают нефтепродукты и прочие отравляющие воду вещества на безвредные составляющие.

Мимо нас с кряканьем пролетела стая диких уток.

— Ну, этим уже ленинградцев не удивишь! — воскликнул Метс, провожая их взглядом.— Тысяч двадцать этих чистоплотных птиц изменили своему тысячелетнему перелетному инстинкту и уже который год живут у нас все двенадцать месяцев. Это радует. Значит, им хватает природного корма, значит, вода в дельте Невы стала на несколько порядков чище... А в городских садах и парках выгребают из-под носа у деревьев, трав и животных организмов опавшие листья и сжигают их как мусор. Отнимают пищу, жилье, одежду. Лишают почву согревающего и охлаждающего покрова, мешают ей тучнеть. Богатство, необходимое всей природе, а в конечном счете и человеку, буквально сыплется к нам сверху, словно манна небесная, а мы крадем его у себя...

К нам подошли десятка три молодых парней.

— Извините, я должен подписать студентам справки о производственной практике,— сказал он и удалился с ними в свой кабинет. Кажется, я забыл сказать, что Андрей Рихардович Метс теперь заведует садово-парковым отделом ЦПКиО...

Я остался наедине со своими мыслями. А думалось вот о чем.

Почему же никто из ленинградских садовников не решается следовать примеру А. Р. Метса? Вероятнее всего, и в других городах их коллеги работают по старинке: ведь Вторая всесоюзная конференция по садово-парковому искусству так пока и не состоялась, обмена опытом не произошло и по-прежнему смотрители городских садов и парков не ведают о последних достижениях зоологии, ихтиологии, ботаники, орнитологии, микологии, биохимии, агротехники. А ведь все изыскания в этих областях биологии сводятся к тому, чтобы не нарушать ни одного из звеньев экологической цепочки. И особого труда это не представляет: достаточно оставлять у почвы, у городской природы в целом пищу, покров и жилище — опавшие осенью листья.

«Листья жгут, листья жгу-ут, листья жгу-у-ут!» — безмятежно голосит с телеэкрана популярная эстрадная парочка. Слушая ее, мы как-то забываем, а подчас и не подозреваем, что в этой легкомысленной песенке с развязным мотивчиком звучит горькая правда о трагедии живой природы.

XX век — век прогрессирующей урбанизации. Уже сегодня в городах живет шестьдесят пять процентов населения страны. К двухтысячному году количество горожан, по прогнозам демографов, составит три четверти! Во сколько же раз возрастет нагрузка на зеленые оазисы городов!

Мне возразят: взгляни на новостройки — город-сад.

Трудно не согласиться с тем, что новые кварталы утопают в зелени — это очевидно. Тем более обидно, что огромные затраты на интенсивное озеленение оборачиваются ничтожным коэффициентом полезного действия. Каждый новый или старый городской сквер, сад, парк, газон должны существовать не только для «галочки», служить ае только местами прогулок, развлечений, игр, натурой для художников и элементом городской архитектуры. Они самой природой предназначены быть полноправной частичкой той драгоценной и вместе с тем хрупкой, нежной биосферы, неотъемлемой частью которой являются незаслуженно выдворяемые со своего законного места и безвинно сжигаемые опавшие осенние листья.

К нашей вклейке

А. ПЕТРОВ

В СТАРОМ ПЕТЕРБУРГЕ

В Центральном государственном архиве кинофотофонодокументов на Мокательном переулке — в бывшем купеческом лабазе хранятся редчайшие снимки.

Когда их раскладывают перед тобою веерами, ты забываешь обо всем на свете. Перебираешь их, сортируешь, выхватывая наугад то один, то другой, всматриваешься, вооруженный сильным увеличительным стеклом, а застывшие фотографические образы города, и та призрачность его, о которой сложено столько преданий, вдруг начинает обретать некую определенность.

Мелькают перед глазами улицы, площади, дворцы, каналы, магазины с нерусскими названиями, здания причудливой архитектуры, бородатые лица, экипажи, вывески, аристократы, конки, нищие, храмы, городовые, особняки, пожарники, кинематографы, артисты — боже мой, так от всего этого разбегаются глаза, что волей-неволей прикрываешь их ладонью, а в ушах тем временем нарастает шум, и в нем все отчетливее и отчетливее прорезаются голоса извозчиков, рыночных зазывал, слышатся цокот копыт, звон колоколов и церковное пение, а на все это торжественно наплывает чудная музыка, и священный трепет, проникая в самую душу, постепенно охватывает всего тебя. И тут ты открываешь глаза.

Но где ты? Почему тебе так незнакомо будто бы знакомое? Будто бы ты увидел собственный любимый костюм перешитым по иному фасону,— и, не веря себе, разглядываешь его, не зная еще, что делать: радоваться или горевать.

«А-а!» — спохватываешься и, хлопнув себя по лбу, замираешь внезапно, осененный невероятной догадкой: «В Петербурге, что ли?».

Колеса пролеток двоятся в глазах, золотые кресты слепят и пугающе множатся в синем небе, городовой грозной поступью надвигается на тебя, сжимая эфес длинной, как оглобля, шашки и расправляя прокуренные усы...

«Мне б на метро»,— готовишь для него оправдание и внутренне холодеешь от мысли: куда ж теперь ехать-то?..

Ах, архив! Ах, эти старые фотографии!

Как все-таки нас притягивает прошлое! Как нам хочется узнать его поподробнее, вжиться в него и понять! Что это? Ностальгия? Нет. Это желание увидеть себя в нем и глянуть оттуда, из давнего далека на наше сегодня. Петербург растворен в Ленинграде. Как и Петроград. Мы каждый день видим целое, но чтобы по-настоящему его познать, нам необходимо знать его составляющие.

Городу исполнилось двести восемьдесят пять лет.

Кто не обращается сейчас к нему своими думами, лелея собственный образ Ленинграда! Кто не жаждет, снова и снова обозревая его сегодняшние кварталы, заглянуть в его вчера, чтобы получше представить его завтра!

По случаю юбилея

Сергей ПОГОРЕЛОВСКИЙ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ХАРАКТЕР

Один ленинградец, переживший блокаду в осажденном городе, вспоминает: «Когда на доске появлялся свежий номер „Ленинградской правды“, мы первым делом спешили прочесть сообщение Совинформбюро. А потом, смеясь, разглядывали новую карикатуру Гальбы». Едкая насмешка над зарвавшимся врагом, испепеляющее презрение к нему помогали выжить, выстоять, победить.

В послевоенные годы искрометное жизнелюбие художника привело его в детскую литературу. Тут мы встретились и подружились.



Владимир Гальба. Автопортрет

Жаль, что ныне иллюстраторы детских книг порой даже не знакомы с их авторами. Не так было у нас. Вместе задумывали и создавали мы веселые книжки для малышей. Интересно было смотреть, как Володя рисует — восторженно резвясь, точно увлеченный игрой озорной дошколенок. Он не просто иллюстрировал мои стихи,— его пылкая неистощимая фантазия порой открывала в них новые, для меня не реализованные возможности. И я «догонял» художника, переписывая, улучшая стихи.

И все же содружество наше не было идеально гармоничным. Причина? Гальба точно выразил ее в надписи на подаренном мне своем альбоме: «Восхитительно упорядоченному Сереженьке — от возмутительно безалаберного Володьки».

«Поверять гармонию алгеброй» Гальба не умел. Бурный напор творческого азарта сметал все ограничения: лимит места, особенности макета. А то даже и тему книжки. Позволь, приходилось мне вмешиваться, при чем тут крокодилы? И опять ты не оставил места для стихов! — Ах, спохватывался он, забыл! Ну ничего, переделаю...

Но однажды мой сумбурный друг неожиданно проявил себя в совсем противоположном качестве.

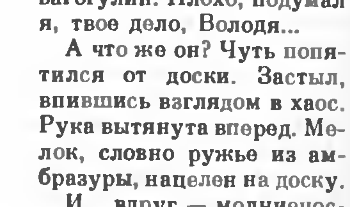
Было так. Я гостил у него на даче. Нам захотелось поколесить на моей машине по живописным местам Карельского перешейка. Около сельской школы Гальба попросил остановиться. Встревоженная (не комиссия ли роно пожаловала?) учительница вышла навстречу. Гальба, представив нас, попросил разрешения «порезвиться с ребятишками». Учительница, несколько успокоившаяся, но все же настороженная — очень уж необычным было наше вторжение — повела в класс.

Сначала я читал стихи. Потом Гальба предложил ребятам нарисовать на доске любые штрихи, круги, линии. Взяв мелок, соединил их — и разрозненное превратилось в целое: в пейзаж с солнцем и радугой.

Восторгу ребят не было предела. Но — аппетит приходит с едой — им захотелось загнать художника в тупик. Один мальчуган заполнил доску невообразимым хаосом всяческих крюков, завитушек, загогулин. Плохо, подумал я, твое дело, Володя...

А что же он? Чуть попятился от доски. Застыл, впившись взглядом в хаос. Рука вытянута вперед. Мелок, словно ружье из амбразуры, нацелен на доску.

И вдруг — молниеносный бросок к ней. Раз! Раз! Раз! Взмахи мелка вырвали из хаоса диковинные деревья и цветы. Еще, еще — возникло туловище какого-то зверя. Штришок — и две волнистые линии соединились. А, это горбы верблюда! Вот и ноги — одна, другая, третья. Но... для четвертой внизу «материала» уже не осталось... Миг — и она взлетает над головой верблюда. Приподняв ею шляпу, тот галантно раскланивается с хохочущими зрителями.



Зимние забавы





В цирке

Мой сумбурный друг сумел увидеть в сумбуре гармонию! Сумел извлечь ее из хаоса!

Даже в горькие минуты жизни Володя не терял чувства юмора. Из-за внезапно возникшей необходимости в операции сорвалась его поездка в Париж. И вот — уже на каталке, по пути в операционную — он «выдал» такой экспромт:

Когда б не аденома Гальбы,
гулял бы он по Пляс
Пигаль бы!

Редактор «Ленинградской правды» Варсобин долго выдерживал в резерве Володину карикатуру. И снова экспромт:

— Любите вы Гальбу? —
спросили у Варсобина.
— Люблю...
Но не особенно!



На брудершафт с Пегасом

Уже смертельно больной, исхудавший, Володя встретил меня своеобразной бравадой:

— А я теперь — уцененный!

Он стал мало двигаться. Чтобы дать ему стимул к движению, я принес шагомер. Володя бурно обрадовался, словно малыш новой игрушке. Пристегнув шагомер, стал азартно вышагивать по комнате, поручив мне считать — для контроля — шаги. А потом притворно возмущался, что шагомер «зажилил» целых три шага.

Даже у самого края жизни он не расстался с задорной шуткой, с доброй улыбкой — этот обаятельный старик-ребенок.

Таков вот характер. Жизнелюбивый и жизнестойкий. Ленинградский характер.

Воспоминания

Василий АСТАПОВ

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

В июле 1960 года, чтобы я мог стать на очередь для получения квартиры в Ленинграде, Ольга Федоровна предложила мне прописаться по ее адресу.

— У меня жилплощадь позволяет,— сказала она, узнав, что ни старые друзья, ни даже ближайшие родственники не нашли возможности помочь мне в то очень тяжелое для меня время. А она взяла и прописала, хотя у самой всего две комнаты...

16 мая 1975 года я поехал на Черную речку навестить Ольгу Федоровну. Ей в этот день исполнилось 65 лет.

Лет семь-восемь минуло с тех пор, как мы в последний раз виделись с Ольгой Федоровной, если не считать мимолетную встречу с нею и с Михаилом Дудиным на премьере кинофильма «Первороссияне», поставленного по ее сценарию и уже через неделю снятого с проката по чьему-то распоряжению «свыше».

Я периодически, хотя и с большими трудностями, связывался с нею по телефону. Но всегда она была «не в форме», всегда говорила, что прежде чем прийти к ней, нужно договориться о времени визита. Иногда трубку снимала ее домработница (и, казалось мне, всегда другая), с которой вообще невозможно было говорить о хозяйке квартиры. Мне сообщали, что она или больна, или же находится в больнице. И так шли годы. Я подозревал, что Ольга Федоровна просто из-за своего тяжелого состояния избегает встречи со знакомыми и близкими. В ней всегда сосуществовали рядом большой души талантливейший человек, могущий быть в своем откровении резким и бескомпромиссным, и чуткая, даже стыдливая женщина, стесняющаяся своей физической немощи и активно прогрессирующей старости.

И вот я стою перед нею. Она несколько смущена и растеряна нежданным моим посещением. Это легко читается во взгляде ее вылинявших бледно-голубых глаз под припухшими веками на бескровном одутловатом лице.

— Здравствуйте, Ольга Федоровна,— говорю я, наклоняясь и целуя ее исхудалую, тонкую, уже со сморщенной кожей руку, потом обе щеки и бледный выпуклый лоб.

— Вася, солнышко мое, здравствуй,— растроганно и устало отвечает она на мое приветствие.— Ах, как ты изменился за эти годы! И стал таким толстым... Спасибо за розы... Ты не забыл, значит, что эти цветы — мои любимые, да?.. Ну, еще раз спасибо...

И обращается к домработнице:

— Антонина Николаевна, поставьте, пожалуйста, этот букет здесь на столике, пусть цветы побудут со мной. Сегодня — мой День...— Потом, передохнув, как-то быстро и со срывами дыхания продолжает: — Вася, не смотри на меня! Я стала такая безобразная... страшная и... старая... Ведь мне сегодня шестьдесят пять... Каково? Ты не обращай внимания на эту перебинтованную в локте руку: я стряхивала термометр, резко махнула рукой — и вот вывих и растяжение сухожилий в локтевом суставе... Вообще вся расклеилась... А после гриппа, этой дерьмовой болезни (в космос давно летают, по Луне ходят, а грипп никак не одолеют!), после этого самого гриппа у меня не работают ступни ног. Вот и лежу. А мне — шестьдесят пять,— вновь повторила Ольга Федоровна, словно частым напоминанием о своем возрасте, напоминанием, царапающим сердце, облегчала свою душевную боль.— Вот уже и шестьдесят пять... Что, старая стала, да?..

— Право, я сейчас этого не вижу. А вот глядя на телевизионные изображения, представлял вас несколько иной. Там мощные «юпитеры» так высветят человека, что он сам себя с трудом может узнать, выявляется лик человеческий натуралистически... А то, что вам сегодня шестьдесят пять, так это ж еще «не возраст». И опять же: куда деться — такова жизнь. Мне ведь тоже уже под шестьдесят...

— Как это «под шестьдесят»?..

— Да так вот... А если точнее — идет пятьдесят восьмой.

— Неужели!.. Еще совсем недавно был мальчиком... А помнишь, как я тебя в сорок четвертом приняла за шпика? Иду по Воиновой с группой литстудийцев (у нас при журнале «Ленинград» в то время своя литературная студия была, помнишь?), иду, значит, по Воиновой, а поодаль за нами шагает какой-то военный. И все посматривает на нас. Знаете, Антонина Николаевна,— продолжает она,— мы идем, а он за нами. Ну, думаю, увязался солдат, волоку за собой «хвоста». Я рассталась со студийцами и — на Литейный, в трамвай. Смотрю, а он — на ступеньку передней площадки. Вот, думаю, прилип, проклятый, не избежать «гостей», нагрянут с арестом и обыском... Я тогда жила у Пяти Углов на улице Рубинштейна... Выхожу из трамвая на углу Невского. Озираюсь... Вижу, идет за мною. Ну, все! Никуда не деться! И народу на улице мало, не то, что теперь... теперь не протолкнешься. А он догнал меня и спрашивает: «Извините, пожалуйста, мне нужно, чтобы вы выслушали меня. В Доме писателей я подавал записку, но до меня очередь не дошла: вы закончили консультацию... А мне так необходимо...».— «Мне очень некогда,— отвечаю,— я спешу»,— а у самой отлегло от сердца: значит, не из шпиков. А солдат уже настойчивее: «Извините, Ольга Федоровна, мне тоже очень некогда: я с фронта и у меня... стихи. Очень прошу прослушать».

(Вспоминаю: мы уже шли по улице Рубинштейна. Она в конце концов согласилась: «Ну, ладно, я вас прослушаю, но только не здесь, не на улице. Я могу уделить вам не более пяти минут: у меня и в самом деле времени в обрез... А вот и мой дом. Поднимемся на последний этаж».)

— Знаете, Антонина Николаевна,— после некоторой паузы продолжила Ольга Федоровна,— я звоню в свою квартиру, дверь открывает Юрка (мой муж) и делает страшные глаза. Потом говорит, что меня уже давно ждет обед. А я ему: «Я должна прослушать этого товарища, потом приду». А этот товарищ стал на память читать свои солдатские стихи. И какие стихи!.. Как там у тебя: «Здравствуй, здравствуй, ты, моя стихия — зарево немеркнущее трупов!..». Или такое: «Пусть зубами проскрежещет мина, в клочья разрывая человека...».

Летом 1944 года, при первой нашей встрече, я читал ей свои стихи. И первым прочел написанное в январе-феврале сорок третьего в дни прорыва кольца ленинградской блокады вдоль левого берега Невы от Шлиссельбурга до Арбузова. Там огромное заснеженное поле, называемое нами Беляевским болотом (это пониже искореженных и вздыбленных гигантских бетонных глыбищ взорванной 8-й ГЭС имени Кирова), было густо завалено трупами солдат, шедших в наступление. Теснота от павших была такая, что трудно было шагать по полю, не задевая их тел... Жуткое до неправдоподобия и вместе с тем какое-то страшное своею грандиозностью ощущение от всего, что там было, вылилось в стихотворение «Зарево трупов».

Когда я его прочел Ольге Федоровне, она, помолчав, внимательно и твердо взглянув на меня, коротко заметила:

— Да, это настоящее. Я за время войны подобное не читала. А что еще у вас есть? Прочтите...

Я продолжал читать, а в голове уже стучала радостная мысль: значит, не зря!.. не зря доверился ей!.. И она захотела послушать еще что-нибудь!.. И я читаю взволнованно, отчего сам чувствую дрожь своего голоса, не столь громкого (не солдатская же здесь аудитория!), а какого-то внутреннего... Да, это великое и не всем представляющееся счастье читать свои стихи такому большому и знаменитому поэту. Я прочел еще «Рощу „Ландыш"» «Из черновика» («Земля трясется орудийным кашлем») и «Упрямую, заветную мечту», и еще что-то, а потом фрагменты — куски начатой, но заглохшей, застопоренной поэмы, куски, появившиеся в начале 1942 года в жесточайший период блокады Ленинграда. Там были такие строки: «...Вы, разжиревшие на казенных харчах, в уюте квартир интендантства осевшие, разве понять вам, что нет для плеча груза, распроданных чувств тяжельшего! Разве понять вам, жирной губой смакующим бараньи туши, что человек пойдет на убой, лишь бы его накормить получше!».

Эти слова в адрес интендантов были реакцией на мой же поступок: я дважды «продал» себя за порцию блокадной похлебки, отстояв по доброй воле суточные наряды за служащих продовольственной части полка.

Когда я закончил читать так называемые «куски» поэмы о блокаде, она, отметив отдельные удачные места, заострила внимание на вышеприведенном отрывке:

— Были бы интенданты сытыми и такими, как они выведены у вас, или же мерли от голода, это не повлияло бы на судьбу Ленинграда и ленинградцев. Дело совсем не в интендантах... Дело в неистребимом мужестве и великом, несгибаемом духе всего русского народа, сумевшего устоять в жестокую зиму сорок первого — сорок второго. Вот вы тоже пережили блокаду и умирали с голоду даже будучи в армии. А каково было горожанам?..

Мы, наверное, еще поговорили бы какое-то время, но нас уже несколько раз прерывал Георгий Макагоненко (он же — Юрий), сообщая, что Ольгу Федоровну вызывают к телефону. Когда же, заглянув в кабинет, он взволнованно сообщил: «Ольга, просят срочно подойти к телефону!.. Убит...» (он назвал фамилию убитого),— стремглав сорвавшись с места, она скрылась за дверью, а возвратясь, срывающимся торопливым голосом сказала, что убит ее университетский товарищ, что это очень тяжелая утрата, что она просит извинить ее, дала мне номер своего домашнего телефона и маленькую книжицу в мягкой серо-зеленой обложке: «Ленинградский дневник. Стихи и поэмы, 1941—1944». На оборотной стороне обложки этой, теперь такой дорогой мне, реликвии четким, слегка округленным почерком написала: «В. Астапову, солдату и поэту,— дружески — Ольга Берггольц, Ленинград, 1944 г.».

С тех пор прошло тридцать лет и еще один год. И вот мы вспоминаем ту первую нашу встречу. И мне кажется, что эти воспоминания как-то молодят Ольгу Федоровну, она становится свежее и веселее. И естественнее.

— А знаешь, Вася, я ведь храню твою тетрадку со стихами, присланную мне в сорок девятом «оттуда»...— Она делает пальцем заговорщицкий жест, не желая, видимо, вслух упоминать о страшных годах моей послевоенной жизни, а всего лишь... «оттуда»...

— Как же так?.. Вы мне говорили в пятьдесят пятом, что сожгли мои стихи вместе со стихами... Пастернака, что, ожидая обыска, уничтожили все, что может усугубить положение близких вам людей...

— Да, Бориса Пастернака я в самом деле сожгла. И теперь очень жалею, что тогда струсила. Сожжение его стихов все равно ему не помогло. А тебя... нет, не сжигала. И то, что после твоего возвраще-

ния «оттуда» сказала неправду, прости... Пожалела тебя...

(Не знаю, когда она сообщила мне правду — сейчас или тогда, в пятьдесят пятом, когда у нее на квартире я застал спецкорреспондента «Комсомольской правды», только что возвратившегося из командировки по Енисею. В тот вечер читалось много стихов, еще больше было выпито водки. Потом мы поехали в Дом писателя имени Маяковского, там в буфете добавили еще. Она представляла меня своим знакомым как человека, «вышедшего со дна Цимлянского моря». А когда возвратились к ней на улицу Рубинштейна, я впервые увидел этого добрейшего ко мне человека в состоянии тяжелейшего опьянения. Потом уже, в конце пятидесятых и в начале шестидесятых годов, видя ее в ужасном таком состоянии, я принимал. с большой горечью принимал это за неисправимую и трагическую норму ее бытия. Об этом вспоминать тяжело, да и нужно ли? Наверное, все-таки нужно. Ибо от подобного факта ее жизни нам никуда не уйти. Нужно принимать ее такою, какою она была: с тяжелым недугом и с чистым и светлым именем, святым для каждого ленинградца, пережившего блокаду. Святым на все времена. Остальное простится.)

— Антонина Николаевна, дорогуша, сообразите нам по стопочке красненького,— попросила Ольга Федоровна свою домработницу, исполняющую обязанности няни и сиделки и ставшую в ее затворнической жизни близким человеком, безотлучно находящимся при ней. И на мой недоуменно-вопрошающий взгляд коротко ответила: — Ничего, сегодня по одной стопочке пропустить можно. Ведь мне сегодня — шестьдесят пять,— сказала она, будто подводя некую черту под тем, что видится только ей одной.— Выпьем... Да и тебе спасибо, что не забыл, пришел в этот день.— Потом, помолчав, спросила:

— Ну, а сам-то пишешь что-нибудь? Или забросил?

— Нет, уже не пишу. Стихов во всяком случае. Пробую иногда писать что-то вроде очерков о творчестве, главным образом о своем деле. Но ничего путного не получается. Наверное потому, что отсутствует опыт работы с пером. А вот в скульптуре работаю много. В будущем году планируется моя персональная выставка.

— Персональная?.. Это хорошо. Я тогда напишу о твоей выставке,— пообещала она.

— А что, Ольга Федоровна, не послушаете ли одно из моих стихотворений, с которым вы прежде, пожалуй, и не были знакомы?..

— Читай!.. Антонина Николаевна, идите сюда скорее, Вася свое стихотворение читать будет. Только — тихо! — предупредила она.

После первой же фразы: «Я не родился черным» у Ольги Федоровны удивленно приподнялись бесцветные, почти не видимые на лице брови. Вероятно, она не ожидала такого начала и насторожилась.

Я не родился черным...
Не верьте, коль скажут: белый.
Не верьте, что я не черный,
Хотя голова поседела.

. . . .

...Люди с далекой воли,
Губы мои разомкните!..

Вот он и страшный, и грубый
Рот мой. И черные десны.
(Белые крепкие зубы
Оставлены на допросах.)

Рот мой — кричащая рана
О злодеяниях века...
Разве меня не странно
Белым считать человеком?!

Когда я прочитал заключительные строки, она произнесла:

— Васи, да это ж блистательно!.. Но ты перепиши эту вещь на бумагу, а то на слух стихи часто бывают обманчивы. Хочется их видеть глазами...

— Это, пожалуй, так же, как и в нашей работе: фотография не всегда расскажет правду о скульптуре. Бывает, скульптура плохая, а на фотографии кажется прекрасной. Бывает и наоборот: как ни снимай хорошую скульптуру, все равно на фотографии — дрянь.

— Об этом я уже слыхала. Когда-то мне говорил Натан Альтман (ты знал Натана Альтмана?), что скульптуру вообще фотографировать нельзя. Это кощунство... издевательство над искусством... И вообще: что творится сейчас со скульптурой? Возьми хотя бы Летний сад: на мраморные статуи там напяливают какие-то полиэтиленовые презервативы и все это объясняют мне сохранением культурных ценностей. А то, видите ли, говорят, на скульптурах всякое там хулиганье пишет разные непристойности, как в наших подъездах. Что, эти непристойности смыть, что ли, нельзя?!.. Ты, Вася, знаешь ведь Натана Альтмана? — снова вспомнила Ольга Федоровна своего близкого друга и знаменитого ленинградского художника.— Он рисовал Анну Ахматову. Он рисовал и меня. Он, в конце концов, рисовал и самого Ленина!.. Постой, я тебе сейчас расскажу об одном интересном случае. Слушай.

— В тысяча девятьсот тридцать восьмом году меня пришли арестовывать. Учинили обыск. Переворошили все. Когда же искать уже было нечего, обратили внимание на стенку, на которой висели кое-какие репродукции.

— А это еще что такое? — вызверился один из «правильных товарищей», глядя на рисунки Натана Альтмана.

— Это?.. Это портрет товарища Ленина,— еще не совсем понимая его вопроса, ответила я.

— Сразу видно, что ты за птица. Не могла ничего *хужего* повесить... Почему это у тебя висит на стене?..

— Во-первых, вы мне не «тыкайте». А во-вторых, что значит «это»? Разве вы не видите, что «это» — широко известные рисунки художника Альтмана?! Сам Владимир Ильич ему позировал. По совету Луначарского...

Не знаю, убедили ли мои слова «правильных товарищей», но я поняла, с кем приходится иметь дело. И когда они воззрились на репродукцию Лукаса Кранаха-старшего, изображающую Венеру и Амура у ее ног, с неизменными атрибутами — луком и стрелами в колчане, купленную мною в Эрмитаже (хорошая была репродукция!), и спросили: кто это, я нагло ответила:

— Это — я...

— Это — ты?.. Видишь *какая* ты? Оказывается, еще и бесстыжая. Голая фотографируешься! Да еще при ребенке!.. Совести у тебя и впрямь никогда не было... Фотографию приобщим к делу...

Нам было не смешно от этого прямо-таки мерзкого анекдотического случая. Ведь после того, еще довоенных времен, обыска Ольга Федоровна попала во внутреннюю тюрьму соответствующих органов. Там уже сидел ее муж — известный поэт Борис Корнилов, которого вскоре расстреляли.

...Какими-то судьбами Ольге Федоровне удалось избегнуть трагической участи своего мужа, но пройдя застенки, потеряв там преждевременно рожденного ребенка, она обрела великую несгибаемую силу гражданского мужества, неподкупной совести и братского участия ко всем обездоленным и отверженным. Ей навсегда памятен 1938 год. А через десять лет, в послевоенном 1948 году, в ту же тюрьму жестокий, несправедливый режим того времени бросил и автора этих записей. Так что, можно сказать, мы были крещены одними и теми же тюремными решетками.

Грустные мысли вызвали воспоминания о Борисе Пастернаке и еще кое о ком из тех, кому в недавнее время было предложено покинуть пределы родины.

— Ко мне ведь приходили, чтобы я подписала документ, обличающий этих писателей во всех смертных грехах, но я выгнала непрошеных «товарищей от литературы», заявив, что таким позором Ольга Берггольц не запятнает своего имени. Никогда!..

— Однако же некоторые, и довольно известные писатели подписывали такие бумаги.

— Да, таких я знаю. Они уже давно ссучились. И я с ними давно перестала дружить. Но хватит об этом... Хочешь послушать пластинку с записью голоса Саши Твардовского? Он читает свою гениальную поэму «Теркин на том свете». Давай послушаем... Антонина Николаевна, поставь, голубушка, на проигрыватель пластинки... Только сначала мои, с моими стихами... Ты знаешь, Вася, приехали как-то ночью... Думала: с чего бы это глубоко за полночь быть незваным гостям? Но оказалось, что это из студии грамзаписи собрались меня записывать. И, представляешь, в два часа ночи в помещении Ленинградской капеллы записали. А почему так поздно? Чтобы не мешали городские шумы... Давай послушаем...

С пластинки доносился такой знакомый всем ленинградцам голос Ольги Федоровны. Читала она «Разговор с соседкой» («Дарья Власьевна...»), «Херсонесскую подкову», «Бабье лето», «Февральский дневник» и еще немало стихов. Слегка картавя, каким-то грудным голосом, резко обрывая некоторые фразы и слова, отчего усиливалось смысловое звучание последующих строк. Я слушал и посматривал на маленький кружок грампластинки. Прочитано было уже много, а игла проигрывателя, казалось, все стоит на одном месте. Такой маленький диск, и такое множество слов он может в себя вместить...

Не дослушали... Включили Анну Ахматову. Потом — Твардовского.

Ольга Федоровна влюблена в «Теркина на том свете». Считает, что так точно и безжалостно-издевательски показать нашу действительность с ее огромным бюрократическим аппаратом, чинодральством и волокитой мог только Александр Твардовский, великой простоты человек, простоты в смысле формы мышления и стихосложения, ибо формула «Все гениальное — просто» здесь себя выражает полностью.

...Ушел я от Ольги Федоровны, пробыв у нее около четырех часов, в хорошем, приподнятом настроении. Главное — она была совсем трезвая и не то, чтобы веселая, но оживленная и очень обаятельная, простая и доступная в разговоре с ней. А ожидал я увидеть ее совсем, совсем иную. При расставании Ольга Федоровна напомнила, чтобы я обязательно переписал ей «Я не родился черным» и принес в следующий раз...

Следующая встреча с Ольгой Берггольц у нас не состоялась. В том же 1975 году, 13 ноября, ее не стало.

Библиофил

С Алексеем Лебедевым я познакомился за четыре года до войны, когда мы стали членами Объединения молодых поэтов при Ленинградском отделении Союза писателей. Руководителем этого Молодого объединения (так оно именовалось для краткости) был Александр Гитович — поэт талантливый, смелый в творческих поисках и воззрениях. Объединение наше вел он твердой рукой, природная доброта соединялась в нем с неподкупной требовательностью — там, где дело касалось Поэзии. Он учил высказывать при обсуждении стихов всю правду, какой бы горькой она ни была. И мы не щадили друг друга. Но наши придирки к строчкам и словам, наши споры никогда не переходили в ссоры. Все мы, члены Молодого объединения, были друзьями — это оно нас сдружило.

Помню одно из ранних обсуждений стихов Лебедева. Когда он кончил читать, слово взял Анатолий Чивилихин. Полушутя-полувсерьез он сказал, что Лебедев — это наш Айвазовский в поэзии, только с военным уклоном. А раз так, то вот такие-то и такие-то строчки могли бы быть и посильнее. Потом выступил Владимир Лифшиц, за ним Михаил Троицкий, еще кто-то и еще — теперь уж не помню, кто именно. Вставил и я несколько словечек. После обсуждения мы ехали с Лебедевым в одном трамвае на Васильевский остров. «Ну как, бока не болят?» — спросил я Алексея. «Намяли, намяли бока новоявленному Айвазовскому — хоть „кисть" бросай!» — ответил он с некоторой грустью. Но обиды в голосе не было: он уже знал, что в него верят, и сам верил в себя. А вообще-то в жизни он был очень скромным, порой даже какая-то застенчивость им овладевала. И в то же время веселым он был человеком. Не бодрячком, нет. Не шумная, добрая, отзывчивая веселость жила в его душе. Таким я его помню.

Поэт-моряк Алексей Лебедев погиб на Балтике поздней осенью 1941 года: подводная лодка Л-2 ушла тогда в свой последний боевой поход. Но поэзию — если это подлинная поэзия — нельзя торпедировать, нельзя погрузить в море забвения. Идут годы, десятилетия, а книги его стихов живут, переиздаются. И ширится круг читателей. Их теперь больше, чем было при его жизни. И память о нем не тускнеет, не ржавеет. В трех городах — в Кронштадте, Суздале и Иванове — в его честь названы улицы.

Нет, пожалуй, на свете такого поэта, у которого все стихи — до единого — были бы напечатаны при его жизни. Всегда что-нибудь остается неизданным, где-то у кого-то хранится, а потом вдруг как неожиданный подарок предстает перед читателем. И Лебедев — не исключение. Время от времени почитатели его таланта выискивают в архивах, в письмах неопубликовавшиеся произведения — и через печать дарят их любителям поэзии.

Вадим ШЕФНЕР

Алексей ЛЕБЕДЕВ

ИЗ СТАРОГО БЛОКНОТА

I

Друзья твердят: жениться,
А ты — ни в зуб ногой.
Смотри, тебе под тридцать,
Товарищ дорогой!
Хотя и тощ ты брюхом,
И в сердце вечно брешь,
Но кудри русым пухом
Едва прикрыли плешь.
Зачем не ждешь с тревогой
Морщин или седин,
Зачем идешь дорогой
Своей всегда один?
Под черепные своды
Вонжу догадки нож:
Ты холостой свободы
своей не отдаешь!

15.VIII.39 г. Балтийское море

II

Пусть каждая дума кошмарни —
Терпел я, и это снесу,
Не спрячусь, не скроюсь в кустарник,
Подобно трусливому псу.
А сердце — его не химера
Скрутила веревкой в кулак:
Отпущена полная мера
Излишнего яда и зла.
Устал я от чувства, зевотой
Коверкает рыжую бровь...
Таким я и выйду к расчету
За ночи, за дни, за любовь!

15.VIII.39 г. Балтийское море

III

Когда зеленая комета
Летит над тихою водой,

Когда тяжелый пламень лета
Обуглит мертвенный покой,
Лучи с утра песок лобзают,
К полудню бьют они, сверля,
И раны трещин разверзает,
Взывая о дожде, земля,—
И навзничь падаю с размаху,
Тяжелой глыбою руды,
И я — одно с песчаным прахом,
Безумно жаждущий воды.

НА ВОДЕ

И вот весна, и над заливом
Над синим плещущим стеклом
Метнулось ввысь нетерпеливо
Тугое паруса крыло.
Балтийский март идет на убыль,
Высок за молами прибой,
Трепещет вымпел над яхт-клубом —
Весенний, сине-золотой.
Не раз, сменяясь с жаркой вахты,
Мы приходили в эллинг наш,
Чинили и смолили яхты,
Вытягивали такелаж.
Тяжелый гак уже закреплен,
Напрягся мускулистый кран,
И — «майна груз»; а ветер креппет,
Зовет в далекий океан.
И зыбкий мир просторов синих,
И дней, наполненных борьбой,—
Вот в этой крепкой парусине,
Омытой солнцем и водой.
А утром ленту пенных кружев
Форштевень не устанет рвать,
И руки наши будут туже,
И лица будут загорать.
Мы выйдем в море, в ветер валкий,
В любой указанный нам путь,
Как сталь, принявшая закалку,
Чтоб крепла в бурях наша грудь.
Мы победим и шторм, и воду
Вдали от берегов земли,
Чтобы во всякую погоду
Ходили наши корабли.

Публикация И. ЛЕБЕДЕВОЙ-БАЛДИНОЙ

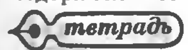
Богатейшие собрания Иностранного фонда Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина хранят старинные книги путешественников, побывавших в Петербурге и поделившихся с современниками своими впечатлениями. Такие сочинения, рисующие живые картины далекой эпохи, по в большинстве своем не переведенные на русский язык, драгоценны для истории города.

Автор книжки «Путешествие в Россию: описание законов, нравов и обычаев этой великой империи...» (полное название занимает полтора десятка строк) — Элизабет Джастис. Нанявшись гувернанткой в дом английского купца Эванса, она приехала из Лондона на исходе лета 1734 года и прожила на берегах Невы три года. Ее восприятие российской действительности чаще всего простодушно, а язык тяжел, чтобы не сказать неловок, и носит явственные черты лондонского просторечия.

Но от бесхитростного и довольно-таки сумбурного рассказа Джастис о виденном и слышанном в Петербурге — замечательного, интереснейшего и единственного в своем роде документа — мы ждем не литературных достоинств. Мы найдем в нем такие живые подробности, детали быта и нравов петербургского общества середины 1730-х годов, какие напрасно искали бы в других сочинениях.

О Петербурге первых десятилетий его существования неоднократно писали очевидцы — западноевропейские дипломаты, ученые, путешественники... Это были люди иного кругозора — несравненно более образованные, лучше понимавшие чужую для них действительность; они и жили как бы в «другом» Петербурге. Гувернантка же знакомит нас с бытом горожан, далеких от света, от императорского двора, знакомит с реалиями жизни основной массы тогдашнего населения, увиденными глазами человека той же среды. Отсюда пристальный интерес англичанки к атрибутам повседневной жизни простого народа, к приготовлению пищи, развлечениям, различным обрядам. Жадный интерес к жизни недоступных ей кругов общества и чисто женская наблюдательность подарили нам подробные зарисовки нарядов Анны Ивановны, принцесс и придворных, описания комнат Зимнего дворца.

Искреннее стремление сочинительницы быть правдивой и точной достойно уважения. Авторы тех времен частенько заимствовали материал из чужих сочинений, не считалось зазорным даже просто-напросто переписать целые эпизоды без ссылки на источник. Здесь таких заимствований нет. Сообщая о том, чего не видела своими глазами, Джастис всякий раз оговаривает это обстоятельство. Едва ли до приезда в Россию она что-либо знала об этой огромной восточной стране, и ее неподготовленность, мешавшая подчас понимать суть дела, обеспечивала неподдельную свежесть восприятия, столь ценную в то время для англичан, а теперь для нас. Не случайно книжка Джастис выдержала в Англии два издания с интервалом в семь лет: во втором (Лондон, 1746),



сокращенный перевод которого мы здесь помещаем, опубликованы еще и четыре частных письма Джастис из Петербурга в Лондон.

Все, что нам известно о Джастис, известно от нее же самой. Получив какое-то образование, она не сумела, по-видимому, найти работу в Англии и приняла смелое и непростое решение — ехать в Россию, не зная русского языка, не имея в Петербурге знакомых. В первое же утро она прошлась по улицам, «погруженная в свои думы»,— без сомнения, тревожные думы о будущей жизни в чужой стране, об оставленных под присмотром родственников или в скромном пансионе детях. Но довольно скоро эта энергичная, очень любознательная и общительная женщина научилась изъясняться по-русски.

В предлагаемом переводе опущено то, что не имеет прямого отношения к Петербургу и вообще к России. В квадратных скобках помещены слова, отсутствующие в оригинале, но необходимые для правильного понимания текста. При подготовке публикации мы с глубокой признательностью пользовались советами главного библиотекаря Иностранного фонда ГПБ И. Г. Яковлевой.

Элизабет ДЖАСТИС

ТРИ ГОДА В ПЕТЕРБУРГЕ

Мы прибыли в Кронштадт — порт назначения, расположенный примерно в десяти милях от Петербурга, 30 августа 1734 года...

Кронштадт — это город, куда приходят все большие корабли, из-за своей величины не способные подняться до Петербурга. Там находится таможня, и таможенные офицеры сразу по прибытии корабля поднимаются на борт и ставят там солдата смотреть, чтобы с корабля ничего не вынесли. Я видела, что принесенные свечи были поставлены в сосуды с водой. Любопытство побудило меня осведомиться о причине этой странности, и мне сказали, что если бы капитан не сделал этого, ему пришлось бы заплатить штраф в десять рублей, то есть почти пятьдесят английских шиллингов. Поскольку этот город подвержен пожарам, то русские не могут позволить разводить огонь на кораблях. Но в возмещение неудобств ее величество построила дом, предназначенный для приготовления пищи.

В этом городе имеет резиденцию адмирал Гордон[1], шотландский джентльмен, ценимый всеми, кто имеет честь его знать; он столь же добр, сколь и велик. Его сочувствие всегда на стороне несчастного и правого. Обязанности высокого поста, занимаемого им, исполняются настолько справедливо, честно и мужественно, что само его имя вдохновляет офицеров и воодушевляет матросов. Я имела честь обедать у него перед отправлением в Петербург; благодаря этой благосклонности я не только разделила с ним превосходную трапезу, но и почувствовала на себе обходительность с чужестранцами и удовольствие, получаемое им от общения и от любезностей англичан. У него есть дочь,

[1] Гордон Томас (умер в 1741), англичанин, на русской службе с 1717 года. Адмирал (с 1727). Был главным командиром Кронштадтского порта в 1724—1729-м и 1733—1741 годах.

вышедшая замуж за сэра Генри Стерлинга...

Мы были задержаны там противными ветрами до 11 августа[1]. Желая попасть в Петербург, мы попытались подняться в шлюпке, но не прошли и лиги[2], как наши матросы заявили, что они не в состоянии выгребать против течения. И сам капитан придерживался того же мнения. Тогда мы вернулись на корабль и взяли в шлюпку даму, приплывшую с нами, но не отважившуюся попытаться дойти в ней до Петербурга. Поскольку же теперь нам нужно было лишь пересечь реку[3] до места, называемого Петергоф, она оказала нам честь своим обществом, и мы благополучно добрались до вышеназванного места, каковое представляет собой дворец ее императорского величества, где в это время находилась императрица, приезжавшая туда каждое лето в июле и остававшаяся там обычно на десять недель[4].

Я сочла большим счастьем для себя возможность лицезреть столь прекрасный город, каковым действительно является Петергоф, в одновременно иметь честь видеть многочисленных придворных; это мне удалось, поскольку многие из них прогуливались в саду. Этот город, по мнению некоторых людей, своими фонтанами превосходит даже Версаль, особенно по мнению тех, кто осматривал и то, и другое. Что же до меня, то поскольку я видела только фонтаны Петергофа, могу лишь сказать: они настолько прекрасны, что описать их свыше моих сил. Что касается

[1] Явная описка. Вероятно, должно быть — 11 сентября.

[2] Меры длины, веса и так далее у Джастис обычно очень приблизительны, поэтому здесь они специально не оговариваются.

[3] Финский залив до Кронштадта считали устьем Невы.

[4] Анна Ивановна (1693—1740), российская императрица (с 1730), дочь Ивана V Алексеевича, сводного брата Петра I.

садов, они, конечно, не сравнятся с нашими английскими. Наиболее же любопытными я сочла гроты в саду, высокие и различной формы, [украшенные] устричными раковинами[1]. Я должна признать их необычными и прекрасными. Там есть много красивых статуй и много деревьев, их подстриженным кронам приданы различные формы. Дворец великолепен и стоит на краю высокого холма. Но поскольку там находилась ее величество, я не осмотрела дворец изнутри.

Мы отправились оттуда в пять часов в карете, как говорят русские, хотя в Англии ее сочли бы просто открытым фаэтоном. Кучер был русским, как и прочие служители. Я заметила, что мы не миновали, без того чтобы не остановиться, ни одной избы, или кабака, который в этой стране — то же, что в Англии постоялый двор...

Было двенадцать часов, когда мы приехали в Петербург, и наши слуги более годились для своих постелей, нежели для дальнейшего путешествия. Мы сами были так утомлены, что скоро распрощались и улеглись спать. Я поднялась в семь часов, примерно до девяти совершила прогулку, погруженная в свои думы, и вернулась в дом дамы, моей спутницы в путешествии, чьим гостеприимством я воспользовалась на эту ночь. Около десяти часов утра за мной пришел мистер Эванс; я приехала в Петербург, чтобы стать гувернанткой его дочерей. Я отправилась с ним и была принята любезно и доброжелательно. С нами ужинали два джентльмена, делавшие честь своей стране. Они были англичанами и людьми превосходного ума. Предметом нашей беседы в этот вечер были добрая старая Англия и мое путешествие.

Мы очень весело провели вечер; наутро я поднялась около восьми часов и была очень хорошо принята юными леди, кои поручались моему попечению. Мои мысли были теперь совершенно заняты этой высокой должностью, в которую я вступала,— должностью гувернантки. Но об этом я не стану более говорить, лишь пожелаю тому, кто хотел бы удовлетворить свое любопытство в этом отношении, осведомиться у мистера Эванса, в чьей семье я находилась в продолжение трех лет и трех месяцев, и если бы не получила письма из Англии [с просьбой] возвратиться и помочь моим собственным детям, то оставалась бы в Петербурге до сих пор.

Петербург — место жительства ее императорского величества на протяжении примерно девяти месяцев в году. Он очень велик и расположен приблизительно в восьмистах верстах от Москвы; верста составляет примерно три четверти ан-

[1] Словом «гроты» переведен глухой термин partitions.

глийской мили. Москва — столица[1], о переезде туда ее величества обычно поговаривают раз в году, но пока я жила в Петербурге, дело не шло дальше разговоров.

Ее величество высока, очень крепкого телосложения и держится соответственно коронованной особе. На ее лице выражение и величия, и мягкости. Она живет согласно принципам своей религии. Она обладает отвагой, необычной для ее пола, соединяет в себе все добродетели, какие можно было бы пожелать для монаршей особы, и, хотя является абсолютной властительницей, всегда милосердна. Ее двор очень пышен. Многие приближенные — иностранцы. Дважды в неделю устраиваются приемы, но туда допускаются только те, кто принадлежит ко двору; все собираются между тремя и четырьмя часами пополудни и разъезжаются около девяти. Ее величество встает очень рано и зимой обедает в двенадцать часов. Для ее развлечения дважды в неделю идет итальянская опера, которую содержит ее величество. Туда допускают только тех, кто имеет билеты. Я имела честь дважды видеть ее величество в опере. Оба раза она была во французском платье из гладкого силезского шелка; на голове у нее был батистовый платок, а поверх — то, что называют шапочкой аспадилли из тонких кружев с вышивкой тамбуром и с бриллиантами на одной стороне. Ее величество опиралась на руку герцога Курляндского; ее сопровождали две принцессы, затем остальная знать. В центре партера стояли три кресла; в среднем сидела ее величество, а по бокам — принцессы в роскошных одеждах. Принцесса Анна[2] была в малиновом бархате, богато расшитом золотом; платье было сшито, как и подобает инфанте. Оно имело длинный шлейф и очень большой кринолин. Кудрявую головку Анны красиво покрывали кружева, а ленты были приколоты так, что свисали примерно на четверть ярда. Ее шемизетка[3] была собрана шелком в складки и плотно прилегала к шее. У нее были четыре двойных кружевных гофрированных воротника, на голове бриллианты и жемчуг, а на руках браслеты с бриллиантами. Одежды принцессы Елизаветы[4] были расшиты золотом и серебром, а все остальное не отличалось от одежд принцессы Анны.

[1] При Петре II, когда к власти пришла старая русская аристократия, императорский двор в конце 1720-х годов переехал в Москву, а с воцарением Анны Ивановны вернулся в Петербург.

[2] Анна Леопольдовна (1718—1746), после смерти Анны Ивановны правительница при младенце-сыне — императоре Иване VI Антоновиче.

[3] Женская блузка.

[4] Елизавета Петровна (1709—1761), дочь Петра I, российская императрица с 1741 года.

Одеяния знати, как мужчин, так и дам, очень богаты. Некоторые дамы были в бархате, и большинство имело крупные жемчужины на отделке платьев. На других были гладкие силезские шелка, отделанные испанскими кружевами. Мужчины обычно носили бархат, расшитый золотом и серебром, каковым умением русские знамениты, как знамениты показной пышностью и парадностью. Думаю, что в этом русский двор невозможно превзойти.

Театр просторен и величествен. Он хорошо отапливается восемью печами. Декорации очень хороши; одежды актеров богаты, и они, как мужчины, так и женщины, обладают превосходными голосами. Иногда дают голландские пьесы, но, я думаю, никто не стал бы смотреть их дважды.

Что же до одежды в России, то там, как и в любом обществе любой страны, каждый появляется в одеждах, присущих его отечеству. В обычае русских женщин носить французское платье; на голову они надевают шапочку с верхом из бархата, сукна или дорогого шелка, отороченную мехом примерно на полквартера в высоту [1]; белье простое, башмаки и чулки редки. Замужние женщины укладывают волосы под головной убор, так что вы не можете их видеть, хотя они у всех очень длинные; однако для замужней женщины считается неприличным показывать их. Незамужние стягивают волосы на затылке лентой; носят жакет без рукавов. Юбки обычно сшиты из очень яркой ткани. Головные уборы даже у бедных людей спереди жесткие благодаря картону и возвышаются над лбом примерно на полквартера; сверху накладывают бисер, золотые или серебряные галуны либо что-нибудь другое, приятное на вид. Эти головные уборы они покрывают кусочками сукна, шелка или миткаля длиной около ярда и держат их за два конца руками, а другие [два] свешиваются над плечами. Зимой русские одеваются в подбитые дорогим мехом жакеты, достигающие до бедер. Некоторые ходят в них и летом, чтобы, как они говорят, не впускать жару. Но я придерживаюсь мнения, что это делается напоказ, так как они обычно сшиты из дорогого шелка; русские приобретут красивый жакет и шапку, даже если у них за душой не останется ни гроша.

Я заметила, что русским [простолюдинам] не приходится много тратиться на пропитание, так как они могут насытиться куском кислого черного хлеба с солью, луком или чесноком. Пить они любят крепчайший напиток, какой только могут достать, и если не удается добыть его честным путем, то они крадут его, так как не в состоянии отказаться от этого пристрастия. Но напиток, обычно продаваемый для простонародья,— это квас, приготавливаемый из воды, которую заливают в солод после того как доброкачественный продукт отцежен и настаивают на различных травах — тимьяне, мяте, сладкой душице и бальзамнике.

У русских в большом изобилии рыба. Там я видела корюшку лучшую, чем где бы то ни было в Англии. Она продавалась по двадцати штук за копейку, равную пенсу. Цена на лосося — три копейки фунт. Среди рыб есть одна, называемая карась, она превосходна и напоминает наш палтус. Но самой ценной мне показалась та, что называется стерлядью, она стóит пять или шесть рублей, то есть равняется почти тридцати шиллингам за штуку. Эта рыба чрезвычайно сочна, и вода, где она варится, становится желтой, как золото. Стерлядь едят с уксусом, перцем и солью.

У русских чрезвычайно хороши судаки и икра, добываемая из осетра. Бóльшую часть икры они кладут под груз и отправляют в Англию. Но такая не идет в сравнение с местной. Икру едят на хлебе с перцем и солью, и вкус у нее — как у превосходной устрицы.

Речные раки крупнее, чем когда-либо виденные мною в Англии. Я обедала с русскими в великий пост и видела, как они с аппетитом ели сырую спинку лосося. Сняв кожу, они режут спинку на большие куски, затем намешивают в тарелке масло, уксус, соль, перец и поливают этим лосося. Рыбу жарят в масле. У них есть маленькая рыбка, очень напоминающая нашего шримса [1]; ее жарят и подают на стол в одной и той же посуде. Все дело в том, чтобы есть эту рыбку горячей и хрустящей.

Там в изобилии превосходное мясо; хотя овцы у русских мелкие, но баранина вкусна и жирна. Есть очень хорошая телятина, однако ее мало. Говядина же исключительно хороша и дешева. У русских имеется также превосходная свинина, и они очень любят козлят, которых там множество. Их ягнята хороши. Способ приготовления пищи у русских — варка или выпечка. Они большие любители мясного бульона, приготавливаемого из самого постного мяса, какое только смогут достать, и заправляют его крупой вместо овсянки, имеющей то же происхождение, а также большим количеством трав и луком. Часто варят суп и из рыбы.

Не могу сказать, что русская манера приготовления пищи мне нравится, но полагаю, что ни в одной части света англичанам не живется лучше, чем в Петербурге.

[1] Квартер, или четверть,— английская мера длины, равная 22,4 см.

[1] Скорее всего, снеток.

Там множество куропаток и вообще дичи, особенно дроздов-рябинников, в Англии называемых садовыми овсянками. Они стóят всего десять копеек за пару. Есть также индейки, цыплята, голуби и кролики. Гуси очень жилистые и хуже наших. В России множество зайцев, но я никогда их не ела. Шкурки у них белые. Нет недостатка в хорошей пище, как и в хорошем ликере, кларете, бургундском, токае, араке, бренди и других превосходных напитках; русские пьют очень умеренно.

Что же до русского климата, то он чрезвычайно холоден, как вы можете себе представить. Я видела, как тридцать две тысячи человек делали на льду военные упражнения. Солдаты они, надо признать, хорошие. Гренадеры носят бакенбарды. Полковая форма офицеров — зеленая, отделанная золотом. Их кокарды [золотые]. [У них] широкие белые ленты [через плечо] и красный плюмаж. На службе ее величества очень много английских джентльменов. Простой человек может выдержать большие лишения и будет жить в таких местах и на такой скудной пище, какая убила бы наших соотечественников. Русские [простолюдины] не знают кроватей, они лежат вместе по шестнадцати и двадцати человек на скамьях или на полу, подстелив рогожи. Ее величество предоставляет большие привилегии своим офицерам и солдатам, особенно первым. Ибо если какой-то господин поссорился с ними, обычно следует решение в их пользу. Они очень сильные люди и в своих шубах выглядят весьма импозантно. Шуба — это большое пальто или плащ, очень длинный и подбитый мехом. В каждую семью ставят на постой определенное число военных, что представляет большое неудобство, так как они беспрепятственно делают все, что угодно, со всем, что попадет им в руки. Но после заключения договора о торговле [1] англичане были освобождены от этой повинности. Ее величество настолько милостива, что дает щедрое обеспечение детям офицеров после смерти родителя — сыновьям до двенадцатилетнего, а дочерям — до пятнадцатилетнего возраста.

Климат [в Петербурге] столь холоден, что вода замерзает и превращается в лед такой крепости, что он выдерживает не только многих людей, но и всевозможные груженые повозки, ежедневно ездящие по нему. Однако милостивый господь, чтобы вознаградить за эту суровость [климата], ниспослал обилие мехов и леса. Русские путешествуют в санях, представляющих подобие мягкого кресла. Дно у них деревянное, закрепленное на железных полозьях, и перед вами фартук, прикрепленный к обеим сторонам саней, такой же, как кожаные фартуки английских фаэтонов. Но здесь — ткань, подбитая мехом. Верхней части у саней нет. Придворные покрывают впряженных лошадей белыми попонами, чтобы снег не летел в лицо. Однако это не дозволено людям, не принадлежащим ко двору. Лошади очень маленькие, но сильные и бегут быстро. Тем не менее большинство из знати и людей света имеет английских лошадей. Обычно перед каретой едут верхом два или четыре всадника из слуг, весьма многочисленных.

Для зимних поездок у них есть то, что они называют дорожной кибиткой, в нее они укладывают свои постели и постельные принадлежности. Там можно и сидеть прямо, и лежать вытянувшись, кому как удобно. В дорогу обычно берут с собой хороший запас крепкого напитка, языков, вяленого мяса или какой-либо еды в горшках (ведь в пути могут встретиться лишь весьма скверные постоялые дворы) и едут день и ночь напролет. Вот то, что мне рассказывали, сама я за время пребывания в этой стране не совершила ни одного путешествия.

Дома, построенные много лет тому назад,— очень низкие и деревянные. Все комнаты — на одном этаже. Однако современные постройки — их называют палаты — очень величественны, воздвигнуты из камня, роскошны, но чрезвычайно холодны.

Способ, употребляемый русскими для обогрева комнат,— печь, как они называют это приспособление, устроенное в лучших комнатах. Печи выложены превосходными голландскими изразцами; но есть и просто кирпичные. Это разновидность нашей плиты. Следить за ними — обязанность одного из слуг, так как печи весьма небезопасны, если их неправильно топить. Когда огонь разгорится, наверху открывают дымоход. Кроме того, эта печь имеет железную дверцу, через нее закладывают дрова и, когда они несколько прогорят, их разбивают кочергой на мелкие куски и оставляют сгорать до мельчайших угольков и золы. То, что не догорит, выгребают, потому что, если несгоревший кусочек останется в печи после того как ее закроют, это может вызвать внезапную сильную болезнь, способную, случись такое ночью, отправить вас в царство мертвых. Когда дрова достаточно прогорели, верх дымохода закрывают как можно плотнее и присыпают песком, дверцу также плотно закрывают. Я должна признать этот способ отопления совершенным.

Окна в домах держат закрытыми всю зиму и все щели забивают паклей так плотно, что они вообще не пропускают воздуха. И если в какой-либо части дома, хотя бы и в самом неприметном месте,

[1] Русско-английский договор о торговле 1734 года.

осталась щель, она затыкается таким же образом. Этой работой занимаются специальные люди, их называют конопатчиками, и они получают за каждое окно в соответствии с его размерами.

Поскольку я сообщила вам, что вода всю зиму остается замерзшей до состояния, способного выдержать очень большую тяжесть, вы можете вообразить, что русские остаются без воды. Но, разумеется, это не так. Ибо есть простолюдины, разбивающие лед в тех местах на реке, где не проходит дорога. И каждая семья платит немного этим людям за поддержание незамерзающей проруби. Туда носят полоскать белье; вытащенное из воды, оно так замерзает, что его, для того чтобы развесить, приходится оттаивать в теплой комнате.

Этот сильный мороз начинается обыкновенно в середине ноября, но в 1734 году он начался 26 октября. Это, однако, необычно рано. Мороз продолжается до 10 апреля, и редко бывает иначе, чем день-два в ту или иную сторону. Мне говорили, будто Петр Великий отправился по льду в крепость, находящуюся за рекой, в своих санях, а возвратился на судне; лед ушел за те каких-нибудь два часа, что он там провел. Но за время моего пребывания в Петербурге ничего подобного не происходило. Ибо хотя река и вскрылась, проходит день или два, прежде чем по ней смогут плавать суда. Но есть некий Томкин, который со вскрытием реки выходит с несколькими малыми судами перед дворцом ее величества и палит из маленьких пушек в знак радости[1].

Зимой у русских бывают очень красивые иллюминации, подобных, я думаю, нет нигде. Иллюминации устраиваются четырежды в год: в день рождения ее величества, в день ее именин, коронации и в Новый год. Ежегодный расход на это составляет пятьдесят тысяч фунтов [стерлингов]. Перед дворцом всегда ставят особую фигуру, замечательно красивую. Помню, в один год стояло [скульптурное] изображение ее величества, а рядом — изображение Изобилия с девизом: «Выше всех похвал». Иногда бывают фигуры Милосердия и Правосудия. Я видела несколько любопытных [скульптурных] изображений: сад, столь естественный, что впору вообразить, будто можно рвать с деревьев апельсины; стены Перу, некоторые из них возводятся, чтобы быть разрушенными; русский алфавит, состоящий из сорока букв[1]. Их Академия также превосходно иллюминована. В те же ночи русские запускают перед дворцом очень красивые ракеты и огненные шары. Все это несравненно и не может быть превзойдено. Перед такими ночами посылают человека с общим приказом осветить окна нескольких домов. Часто сообщают, сколько их должно быть и долго ли им гореть. Есть также человек, обязанный ходить и смотреть, чтобы приказы выполнялись. Потому что если они не выполняются, то генерал-полицеймейстер — должностное лицо, подобное лорд-мэру Лондона,— наложит за такую провинность штраф, какой сочтет нужным.

Другое развлечение русских бывает на неделе перед великим постом, эту неделю называют масленицей. Они уходят из города на расстояние около трех миль, где очень высокие холмы, и все мужчины, женщины и дети развлекаются катанием с гор в санках. Некоторые делают это в высшей степени ловко. Иногда многие все же ломают себе руки и ноги. Эта забава ценится так высоко, что за нею наблюдает ее величество. В продолжение этой недели все позволяют себе есть и пить что угодно. Они очень вкусно готовят [блюда из] молока, масла и яиц и эту пищу, весьма приятную, называют изысканной. Однако в понедельник, предшествующий пепельной среде[2], с которой начинается великий пост, веселье заканчивается. Во вторник при встрече они целуются, объявляют: «Прощай, завтра я умру!» — и продолжают умерщвлять свою плоть до пасхи. Русские ходят в церковь вечером, как и днем. Отправление обрядов состоит в том, что они крестятся, кланяются и бьются головой о пол, повторяя часто и быстро, как только возможно, слова: «Господи, помилуй нас». И те, кто проговаривает это быстрее всех, считаются самыми набожными. В домах у русских есть многочисленные живописные и резные изображения; перед всеми горят восковые свечи со времени ухода хозяев в церковь и до возвращения домой. Они очень строго соблюдают посты в смысле воздержания от пищи, но не в такой степени — от питья. Я не видала, чтобы кто-то хоть раз отказался от вина. Однако во время этого поста надо откупаться. Например, одна знатная дама выбрала русскую женщину в няньки своему ребенку, но не одобряла ее пост. И та, чтобы не потерять место, отправилась к священнику; он дал разрешение на определенных условиях, она их выполнила, и этот грех был ей отпущен.

[1] Иван Степанович Потемкин — управляющий Невским флотом, названный Петром I «невским адмиралом». После вскрытия Невы по традиции выводил в нее буерный флот (буер — полупалубный грузовой или прогулочный одномачтовик) и салютовал из пушек Адмиралтейству, Петропавловской крепости и Зимнему дворцу.

[1] Русский алфавит, введенный Петром I в 1708 году, насчитывал 34 буквы.

[2] Название среды, начинавшей у англичан великий пост.

Перед причастием, примерно за неделю, они выглядят весьма благочестивыми и раскаивающимися во всем дурном, что совершили. Слуги приходят к хозяевам просить прощения за свои провинности и целуют им руку. Но сразу после причастия возвращаются к своему прежнему дурному поведению, и ничего доброго не приходится ждать от них до тех пор, пока опять не подойдет срок причащаться.

В пасху примерно между часом и двумя ночи много стреляют из пушек; палят все орудия, установленные вокруг крепости. В этот день, как и всю эту неделю, у русских принято наносить визиты англичанам и дарить каждому яйцо, говоря при этом, что Христос воскрес.

Очень любопытны эти яйца. Я привезла с собой одно, все фигуры на нем двигались, если потянуть снизу за кисточку. Это яйцо индейки, высосанное, выкрашенное в кремовый цвет и покрытое лаком. Яиц у них очень много — одни сделаны из воска, другие из дерева, а третьи — настоящие, сваренные вкрутую и затем окрашенные в красный цвет. Затем перочинным ножом так соскабливают эту краску, что получается фигура нашего благословенного Спасителя на кресте или его вознесение на небо; это у русских получается чрезвычайно любопытно. Такими яйцами восхищаются более всего, но сохраняются они недолго. Слуги пекут кекс или пирог и, украшенный яйцами, дарят своим хозяевам, или же подносят каравай хлеба. Хозяевам принято что-нибудь дарить, хотя те и отнекиваются. Эта неделя повсюду полностью посвящена развлечениям; в это время трезвый или ведущий себя сдержанно человек выглядел бы странно.

Наблюдения убедили меня, что вера у русских очень велика: на двенадцатый день священник освящает воду, на льду для этого воздвигается постройка вокруг проруби, и отовсюду сходятся люди, часто — чтобы окунать своих детей в эту холодную стихию, хотя при такой церемонии некоторые тонут. Однако русские мало или вовсе не принимают это во внимание и утешают себя словами: они ушли ко всемогущему богу! Очень многие, как старые, так и молодые, приходят с кувшинами и бутылями, дабы набрать этой святой воды. Ибо если и она их не исцелит, они никогда уже не ищут иного лечения. По окончании церемонии появляется большая бадья, покрытая малиновым бархатом с золотым шитьем и длинной бахромой; бадью тащит шестерка прекрасных лошадей, украшенных лентами; ее наполняют водой для конюшни ее величества.

В религии русских есть еще одна примечательная особенность — обряды в церквах за упокой душ. Душу императора Петра они поминают каждый вечер и каждый день в монастыре, находящемся приблизительно в двух милях от Петербурга[1]. Если умирает какая-либо знатная особа, они делают то же самое в течение одного года и одного дня.

Русским священникам дозволено жениться один раз. Одежды священников — из черной ткани, покрывающей и голову. Они носят длинную бороду и оценивают друг друга в значительной степени по ее виду. Во времена Петра Великого многие предпочитали пойти на костер, но не позволяли обрить себя.

Что касается крещения, я ни разу не присутствовала ни на одном обряде, но, как смогла узнать, и мальчики, и девочки имеют двух крестных отцов и крестных матерей. Среди них принято дарить друг другу красивый кошелек или платок, смотря по обстоятельствам дарящего. Подарки делают также роженицам. Русские женщины преодолевают это недомогание гораздо легче англичанок. Я купила кое-что для одной, которая должна была вскоре родить, а ровно через неделю она сама пришла ко мне без башмаков и чулок посреди зимы и сказала, что разрешилась от бремени и чувствует себя превосходно. И это совершенно в порядке вещей.

Мне не довелось побывать на русской свадьбе, но я видела две или три пары, шедшие венчаться. Я заметила, что они были очень красиво одеты, в очень богатых платьях, с лентами и цветами в волосах. Ибо на этот день они занимают у кого только могут, чтобы выглядеть красивыми. Впереди жениха и невесты идет человек с маленьким образком, называемым богом-покровителем невесты; после обряда бракосочетания образ приносят обратно и ставят среди других русских богов, но ему она больше не молится.

Я не видела похорон, пока не пробыла там два года, хотя и жила в очень населенной части города и близко от двора. И в тот день я не видела ничего, кроме необычного света. Подойдя узнать, что это такое, обнаружила, что это многочисленные факелы: их средь бела дня несли перед телом. Я сочла это в высшей степени абсурдным. Но человек, в чьей компании я была, рассказал мне, что русские кладут в гроб, а это еще более абсурдно: туда кладут пару башмаков, несколько свечей и пропуск. Последний — чтобы покойника впустили, но я не знаю, куда. Полагаю, русские считают, будто существуют несколько степеней счастья, ибо такой пропуск можно купить в лавке или на рынке, и его действенность зависит от цены.

[1] Имеется в виду Александро-Невский монастырь (с 1797 года — Александро-Невская лавра), основанный Петром I в 1710 году в честь победы Александра Невского над шведами (1240). Подробнее Джастис говорит о нем ниже.

Раз в году все вдовы приходят плакать над могилами своих мужей...

Местность там очень здоровая; аптекарей нет, но близ двора имеется магазин, называемый аптекой и принадлежащий ее величеству; в нем можно купить нужные лекарства [1]. Есть несколько хороших врачей и хирургов. Заслуживают быть упомянутыми и некоторые другие примечательные особенности: например, лишь очень немногие сходят с ума или накладывают на себя руки, и я не видела ни одного горбатого, будь то мужчина, женщина или ребенок.

В этой стране существует обычай шутить в последний день апреля, как некоторые в Англии делают в первый апрельский день. В 1735 году ее величество изволила забавляться звоном колокола, который там зовут пожарным; в него ударяют лишь в случае какого-либо большого несчастья. Это, конечно, очень многих ввело в заблуждение. Но спустя три дня от молнии загорелась колокольня одной из красивейших тамошних церквей [2], что было расценено как кара; теперь этот нелепый обычай отменен.

В Москве был другой большой пожар, выжегший город на семь верст в длину и пять в ширину (каждая верста составляет три четверти английской мили). Говорили, что убыток ее величества достиг суммы в пятнадцать миллионов рублей, помимо ущерба, понесенного ее подданными. Вскоре после этого вспыхнул пожар в Петербурге, когда я была там. Он обратил в пепел бо́льшую часть города. И я видела в полях сотни людей со спасенными пожитками, не имевших пристанища. А что еще хуже, некоторые из несгоревших домов было приказано снести. Люди так бы и остались без жилья, если бы один знатный господин, коему было поручено отдать этот приказ народу, не явился к ее величеству, чтобы сообщить, какие лишения это принесет бедным страдальцам! Она милостиво изволила разрешить им остаться на некоторое время [в своих домах]. Если бы такое произошло не летом, то, без сомнения, много людей замерзло бы насмерть [3].

---

[1] Речь идет о роскошной главной придворной аптеке, открытой 12 декабря 1730 года.

[2] Вероятно, имеется в виду гроза в Петербурге 21 апреля 1735 года, когда от молний загорелись шпили Петропавловского и Исаакиевского соборов. Но если это так, то Джастис перепутала последовательность событий.

[3] Опустошительные пожары случились в Петербурге 11 августа 1736 и 23 июня 1737 года. Канцелярия петербургского полицеймейстера в противопожарных целях приняла в 1737 году решение о переносе с Адмиралтейского острова «ветхих домов на тесных дворах, так же как кузниц и свечных лавок, расположенных в соседстве мучного ряда, на протоке». Возможно, именно это имеет в виду Джастис, говоря о предполагавшемся сносе домов.

В 1737 году случилась какая-то весьма необычная болезнь. Думаю, ею болел каждый в этом городе, хотя смертельной она оказалась только для младенцев. Они страдали от сильнейших болей в спине, становились совсем холодными и вялыми и за ночь чрезвычайно ослабевали. В это время там жил некий доктор Путтеллер, служивший врачом в английской фактории. Он рекомендовал лишь обильно пить сыворотку из материнского молока с сорока-пятьюдесятью каплями настойки из оленьего рога. Это лекарство было средством для потения, и его следовало дозировать в соответствии с возрастом и силами пациента. Применение его принесло успех. Но недуг был столь силен, что в домах некоторых придворных (в каждом было обычно человек сто) только троим или четверым удалось его избежать. Однако болезнь ни у кого не продолжалась больше недели.

Если кто-то ворует у огня, вы можете столкнуть его в огонь, ничего более не предпринимая. А если кто-то берет слуг и держит их в доме дольше двух дней, не зарегистрировав в полиции, то обязан заплатить такой штраф, какой сочтет уместным начальник полиции. Если слуги виновны в каких-то проступках, вы можете послать за офицером, чтобы тот наказал их — высек плеткой-девятихвосткой по спине до крови. Но такое наказание считается у русских пустячным, и ему не придают никакого значения. Ибо они тотчас же натирают спину водкой, и если это делать часто, спина становится столь твердой, что во время наказания они смеются.

Иных живыми закапывают в землю по шею, на некотором расстоянии [кладут] еду и ставят караул, чтобы наказанному никто ничего не дал. Другое наказание состоит в растягивании конечностей: их сначала вывихивают, а затем человека подвешивают за них на крюке на несколько минут. И если он трижды проходит через эти муки, не сознавшись в преступлении, предъявленном ему истцом, то такому же наказанию подвергается истец. Мне говорили, что были примеры, когда через это проходили люди невиновные, так как преступник выдерживал упомянутое число раз.

Нечего и думать уехать из России без паспорта. И кто-то должен удостоверить, что уезжающий никому не задолжал. А если удостоверить некому, то бьют в барабан, чтобы оповестить таким образом [людей]. Но это делается редко.

Если у какого-то солдата есть сын или сыновья, все они должны стать солдатами: чем бы ни занимался отец, сын должен заняться тем же. Если кто-то из дворян ее величества или из других низших лиц, занимающих какую-либо должность на ее службе, делает что-то такое, чего она не одобряет, то не назначается никакого разбирательства; просто она посылает человека сообщить провинившемуся, что у нее нет более службы для него и что он должен освободить свое место, хотя бы и не знал почему. Но это еще очень мягкий приговор. Иногда человеку дают два дня, а иногда лишь считанные часы. А если кто-то отваживается предстать перед ее величеством и подать ей прошение или возьмет на себя смелость судить, его наказывают смертью.

Все русские простолюдины рождены рабами. Их часто покупают и продают. Но никого из них нельзя вывезти из страны. Цены на людей самые различные. Мне говорили, что у одной дамы было восемьсот таких рабов. Считалось, что у нее самое большое состояние во всей России.

Все таможенные пошлины за товары, привозимые из-за границы купцами, должны оплачиваться талерами, без чего не может быть сделана запись в таможне и купцы не могут получить свои товары.

Там имеют хождение дукаты, чеканенные из золота,— по два рубля десять копеек, что должно равняться полугинее. Но в Англии я получила за дукат только девять шиллингов. Дукаты — из очень хорошего золота. Серебро там очень посредственное; есть рублевые и полурублевые монеты. Размером рубль точно соответствует нашей кроне; на одной его стороне выбито изображение головы ее величества, а на реверсе — орел с распростертыми крыльями. При обмене рубль сто́ит не более четырех шиллингов шести пенсов. Имеются пятикопеечные кусочки меди, равные примерно двум с половиной пенсам. Остальные монеты — копейки, денежки и полушки. Копейку составляют две денежки, а две полушки — одну денежку. Они соответствуют нашим пенсу, полупенсу и фартингу.

Русский фунт составляет три четверти английского, и так соответственно для меньших весов. А при продаже шелков или сукна меряют аршином, составляющим три четверти английского ярда. Товары, обычно продаваемые русскими в Англии,— это железо, пенька, поташ, сукно, меха и так далее.

Поскольку я описала вам русскую зиму, чрезвычайно холодную, то скажу и о русском лете, продолжающемся четыре месяца — май, июнь, июль и август. В июне и июле — жара жестокая. В эти два месяца особенно донимают насекомые; русские называют их комарами, а у нас в Англии они зовутся мошкой. От их укусов тело покрывается волдырями, они воспаляются и жутко зудят. Народ обычно лечится от этого способом, состоящим в том, чтобы натирать укушенное место водкой, но у меня от этого воспаление еще более усилилось. Я использовала кислое молоко и нашла его лучшим средством.

Там часты грозы с громом и молнией, и раскаты грома гораздо громче и длятся дольше, нежели я когда-либо слышала в Англии [1]. Молнии часто причиняют большие повреждения, что уменьшает удовольствие от лета. А потом, невыносимая жара порой вызывает гибель лесов на протяжении нескольких верст. Ее величество иногда чрезвычайно пугается особенно сильных молний.

Там очень мало дождя и скудные фрукты. Правда, много всевозможной земляники, очень хорошей; много смородины и крыжовника. Вишни мало, и она очень плохая. Имеются груши, но весьма посредственные. Но есть яблоко, называемое прозрачным. Спелое, оно такое прозрачное, что сквозь него видны семечки. По вкусу оно превосходит любые яблоки, какие я когда-либо пробовала в Англии.

Много спаржи, фасоли, шпината и салата. Цветная капуста редка. Превосходна кочанная капуста, и имеется она в изобилии. Ее семена привозят из Архангельска. В России в избытке также репа и морковь.

Летом русские развлекаются плаванием на барках, с музыкой на борту они уплывают порой за четыре-пять миль от города ловить рыбу, взяв с собой еды. В лесу они разжигают костер, чтобы приготовить пойманную рыбу.

Другое развлечение — ходить смотреть спуск кораблей на воду; это действительно захватывающее зрелище. Императрица всегда присутствует на церемонии спуска. Чтобы наблюдать за спуском корабля, для ее величества и знати готовится удобное место, его покрывают красной тканью. Готовится и угощение из конфет; кроме того, принято выпить за успешный сход корабля.

Во время схода ее величество трижды или четырежды крестится, молясь за удачную судьбу корабля. На борту находится много священников, господ, а также музыканты, начинающие играть, как только корабль окажется в воде. Затем ее величество следует в Адмиралтейство. Человек, построивший корабль, преподносит ей маленький серебряный молоточек, и она забивает первый гвоздь в [другой] корабль, строящийся на стапеле [2]. Раньше она обычно дарила серебряный кубок [мастеру], но теперь этот обычай

---

[1] Скорее всего, на англичанку произвела впечатление упомянутая выше редкостная по силе гроза 21 апреля 1735 года.

[2] Спуск корабля в Петербурге был всенародным праздниством, общественным развлечением, собиравшим тысячи людей. После спуска Анна Ивановна приняла участие в торжественной церемонии закладки нового корабля, но англичанка не вполне поняла суть происходящего.



упразднен. Императрица соизволяет дать [также] столько дукатов, сколько пушек на корабле. Но когда я находилась в России, мистером Брауном был построен один корабль, признанный всеми настолько превосходным, что он мог бы плавать в океане. Ее величество оказала Брауну честь, поднявшись на борт корабля, устроив там бал и подарив ему, помимо дукатов, золотую табакерку стоимостью шестьдесят фунтов. Браун — англичанин, он имеет честь занимать несколько должностей на службе ее величества, каковые исполняет очень достойно [1]. Все капитаны, с коими мне доводилось беседовать, утверждали, что русские корабли построены не хуже наших английских, однако признавали, что лес, из которого они построены, не служит столь же долго.

Наиболее красивыми зданиями являются дворец ее величества, крепость и монастырь [2]. Дворец великолепен; в нем ее величество дает аудиенции всем должностным лицам и по определенным дням обедает там. Дворец очень обширен и величествен. Потолки превосходно расписаны. Трон очень просторен; балдахин богато расшит золотом и имеет длинную бахрому. Кресло императрицы бархатное; остов его золотой. Там есть также два других кресла, для принцесс. Одна стена комнаты обита красивой позолоченной кожей, покрытой различными прекрасными изображениями, и другая стена, зеркальная, со всевозможными птицами перед ней, тоже выглядит очень мило. Из окна открывается красивая перспектива на реку и плывущие корабли. Все другие комнаты обиты — одни бархатом, другие золотыми и серебряными тканями. Я видела три ложа: одно бархатное, два других — дамастные. Первое — голубого цвета, другие — желтого.

Убранство кафедральной церкви, как мне сказали, великолепно, но я ни разу в ней не была. Церковь украшена шпилем, он ослепительно блестит, как и должно быть, поскольку покрыт сверкающим золотом.

Монастырь (расположенный у красивой реки) чрезвычайно велик, с обширными помещениями; он имеет величественный вид благодаря своему великолепию и огромной высоте здания. В монастыре живут монахи.

У монастыря хороший рыбный промысел, туда часто приезжают господа и дамы и договариваются с рыбаками о продаже улова. В этих водах водится очень много лосося.

Есть дом князя Меншикова, замечательный своей величиной. В нем столько же комнат, сколько дней в году. Этот князь теперь в ссылке [1].

В 1735 году совершил торжественный въезд персидский посол в окружении пятисот своих соотечественников, помимо нескольких карет и должностных лиц ее величества, сопровождавших посла; его же карета ехала пустой. Он был одет в тонкую ткань с золотыми нитями. На голове его был тюрбан с многочисленными бриллиантами, на шее — несколько рядов крупных жемчужин, висевших подобно цепи. Посол был человек приятной наружности, хотя большие бакенбарды придавали его лицу весьма свирепое выражение. Он был высок, но сильно сутулился; я заметила, что сутулились вообще все персы. Он всегда выходил в сопровождении человека, несшего его трубку. Пробыв в Петербурге примерно неделю, он вновь нанес визит императрице, сделал ей подарок из нескольких очень больших редкостей и поднес их на покрытых персидскими шелками блюдах, установленных на головах собственных его слуг. Так как тот день был очень ветреным, [ткань отогнулась, и] я увидела жемчужину очень большого размера и персидские шелка, расшитые золотыми и серебряными цветами. Посол подарил также ее величеству слона, он был приведен ко двору многочисленными слугами и нес на спине пагоду...

Я оставила Петербург 4 августа 1737 года и вечером того же дня прибыла в Кронштадт. Я провела там восемь дней в доме миссис Фанкинбург, ее сын был личным адъютантом ее величества. Меня приняли очень любезно. Иногда я делала визиты, и майор был настолько любезен, что вечерами устраивал концерты музыки. Утренние часы мы проводили за осмотром тамошних достопримечательностей. Я имела честь несколько раз побывать у адмирала Гордона, и, конечно, когда я прощалась с леди Стерлинг, она вновь обошлась со мною великодушно и любезно, не только выказав по отношению ко мне гораздо большее внимание, нежели я в любом случае заслуживала, но и кроме того проявила свое расположение, сделав мне щедрый подарок. Такое же внимание ко мне было выказано семьей, в которой я жила, и многими другими светскими людьми в этом городе.

12 августа 1737 года я взошла на борт корабля, называемого «Сара и Маргарет», им командовал капитан Пэнтон...

Вступительная статья, перевод и примечания кандидата исторических наук **Ю. Н. БЕСПЯТЫХ**; *редакция перевода кандидата филологических наук* **Н. Г. БЕСПЯТЫХ**

---

[1] Брауя, Броун Ричард (умер в 1740), англичанин, один из лучших кораблестроителей 1-й половины XVIII века. На русской службе с 1705 года со званием корабельного мастера. Работал на воронежских, Олонецкой (Лодейнопольской), Новоладожской и петербургской Адмиралтейской верфях, построил около тридцати кораблей. Капитан-комакдор (с 1723). С 1733 года в чине обер-интенданта ведал строительством всего Балтийского флота России. Здесь Джастис говорит, без сомнения, о крупнейшем для того времени стадесяти- или стачетырнадцатипушечном корабле «Императрица Анна», строившемся под руководством Брауна в течение шести лет. Его спуск состоялся 13 июня 1737 года.

[2] Александро-Невский.

[1] Александр Данилович Меншиков (1673—1729), сосланный Петром II в Березов, умер задолго до приезда Джастис в Петербург. Речь здесь идет о его дворце на нынешней Университетской набережной, первом каменном дворце Петербурга.

Антресоли

Чень ТИНЧУ

ДОКЛАДНАЯ О ВЫДВИЖЕНИИ

1. Ли Ли: пол — мужчина, возраст — 25 лет. Окончил филологический факультет Пекинского университета. Начал печататься в возрасте двадцати лет. Опубликовано свыше 20 его произведений. Сей товарищ обладает определенными организаторскими способностями. Рекомендуем на должность заведующего отделом литературы и искусства.

Отдел кадров
Июль 1958 г.

Резолюция парторганизации Управления по делам культуры:

«Перспективный молодой товарищ. Усилить по отношению к нему воспитательную работу. Пусть поработает некоторое время в низах, там видно будет».

Август 1958 г.

2. Ли Ли: пол — мужчина, возраст — 31 год. По окончании университета был распределен на работу в Управление по делам культуры. Весной 1959 года был послан на закалку на механический завод. На заводе, отлично выполняя основную работу, создал ряд реалистических произведений, отражающих жизнь заводского коллектива, подготовил группу писателей-любителей. Товарищ Ли Ли обладает недюжинными способностями как в своей специальности, так и в организаторском отношении. Рекомендуем на должность заведующего отделом культуры.

Отдел кадров
Сентябрь 1964 г.

Резолюция парткома завода:

«Товарищ Ли Ли действительно является высококвалифицированным работником, однако не очень активно участвует в политзанятиях, отличается чрезмерной интеллигентностью. Необходимо испытать еще некоторое время в деле».

Октябрь 1964 г.

3. Ли Ли: пол — мужчина, возраст — 46 лет. Окончил Пекинский университет в 50-е годы. По окончании университета работал в учреждении и на заводе, занимался культурно-просветительной работой. Во время «культурной революции» был зачислен в «контрреволюционеры». В 1978 году был полностью реабилитирован и изъявил желание вернуться на свой завод преподавателем китайского языка профтехшколы. Опубликовал в печати ряд литературно-художественных произведений, очень талантлив. Считаем подходящей кандидатурой на должность главного редактора журнала «Чжигун веньи» («Литература и искусство служащих»).

Отдел кадров
Февраль 1979 г.

Резолюция парторганизации завода:

«Ли Ли действительно способный товарищ. К сожалению, является беспартийным. Место главного редактора печатного органа, руководимого коммунистической партией, не может быть занято беспартийным».

Март 1979 г.

4. Ли Ли, мужчина, 53 лет, высшее образование, в 1983 году вступил в коммунистическую партию. Все 30 с лишним лет, в любых обстоятельствах, был предан партии и ни на миг не сомневался в ней, причем создал немало влиятельных литературно-художественных произведений. Обладает богатым практическим опытом работы, высоким культурным уровнем и художественным вкусом, недюжинными организаторскими способностями. Рекомендуем на должность заместителя начальника Управления по делам культуры.

Парторганизация Управления по делам культуры
Апрель 1984 г.

Резолюция Орготдела:

«Упомянутый товарищ действительно талантлив и даровит. Но в настоящий момент проводится курс на омоложение руководящего состава, а товарищ Ли Ли уже переступил возрастную границу, и посему руководителем быть не может».

Июнь 1984 г.

Перевод с китайского
Нань ЧЖЭНЬЮНЬ

НАШИ АВТОРЫ

● ГОППЕ Герман Борисович. Родился в 1926 году в Ленинграде. Окончил учительское отделение Ленинградского педагогического института. Участник Великой Отечественной войны. Работал на предприятиях Ленинграда и в газете «Смена». С 1977 года — литературный консультант Ленинградской писательской организации. Автор многих поэтических книг. Член СП. Живет в Ленинграде.

● ПОЛЯКОВА Надежда Михайловна. Родилась в деревне Босутино Новгородской области. Окончила ленинградскую среднюю школу. Во время войны была в рядах Советской Армии. После демобилизации училась в ЛГУ, работала в газете «Ленинградская правда». Печатается с 1940 года. Автор нескольких десятков книг в стихах и прозе. Член СП. Живет в Ленинграде.

● АЗАРОВ Всеволод Борисович. Родился в 1913 году в Одессе. Окончил литературный факультет ЛИФЛИ. Работал в печати. В 1941—1945 — военный корреспондент на Балтфлоте. Печатается с 1929 года. Автор многих стихотворных книг, литературно-критических работ, очерков и документальных повестей. Член СП. Живет в Ленинграде.

● ТАРЯН Мнацакан (Мнацакан Вартанович Мхитарян) родился в Эчмиадзине в 1920 году. Учился в педучилище, работал учителем в сельской школе. В 1940 году был призван в Красную Армию. В 1942 году тяжело ранен и захвачен в плен. Его стихи распространялись среди армянских военнопленных, укрепляя в них веру в победу над фашизмом. Автор многих книг стихов и прозы. Член СП. Живет в Ереване.

● КАПИЦА Петр Иосифович. Родился в 1909 году в г. Сувалки (ныне ПНР). Окончил Ленинградский инженерно-экономический институт. Работал ответственным редактором журнала «Юный пролетарий», затем — редактором журнала «Вокруг света». Участник Великой Отечественной войны. В послевоенные годы — заместитель главного редактора журнала «Звезда». Автор многих книг прозы. Член СП. Живет в Ленинграде.

Сдано в набор 26.01.88. Подписано к печати 21.03.88. М-24031. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Бумага тип. № 2. Печать высокая. 18,2+4 вкл.=18,9 усл. печ. л. 21,0 усл. кр.-отт. 23,01+4 вкл.=23,70 уч.-изд. л. Тираж 558 000 экз. Заказ № 787. Цена 95 коп.

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3
Телефоны: главный редактор, заведующая редакцией — 312-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, отдел прозы — 315-84-72, 312-65-95, отдел поэзии и «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики — 312-70-35, отдел критики и искусства — 312-70-96, технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15